

# Октябрь

С НАСТУПАЮЩИМ  
ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ,  
ТОВАРИЩИ!

1967  
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“

10

1967

10

О К Т Я Б Р Ъ

## В ЖУРНАЛЕ «ОКТЯБРЬ» СОТРУДНИЧАЮТ:

### ПРОЗА

А. АБРАМОВ, М. АЛЕКСАНДРОВ, М. АЛЕКСЕЕВ, А. АНАНЬЕВ, С. АНАНЬИН, А. АНДРЕЕВ, С. БАБАЕВСКИЙ, С. БАРУЗДИН, Я. БРЫЛЬ, А. БЫЛИНОВ, М. ГАНИНА, С. ГОЛОВАНОВСКИЙ, М. ГОРЧАКОВ, А. ГУБИН, М. ДЕМИН, Б. ДЬЯКОВ, Б. ЕГОРОВ, В. ЗАКРУТКИН, А. ИВАНОВ, А. КАЛИНИН, О. КАЛИНЕНКО, А. КАРАВАЕВА, Е. КАРПОВ, И. КОВАЛЕНКО, И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ, А. КОРНЕЙЧУК, А. КОПТЯЕВА, В. КОЧЕТОВ, Д. КРАМИНОВ, И. КУПРИЯНОВ, Ю. КУРАНОВ, В. КУРОЧКИН, И. ЛАВРОВ, М. ЛАНСКОЙ, Б. ЛАСКИН, Л. ЛЕНЧ, В. ЛИДИН, Л. ЛУКЬЯНОВ, В. МАКСИМОВ, Г. МАРКОВ, Г. МЕТЕЛЬСКИЙ, И. МУРАТОВ, В. ОЧЕРЕТИН, А. ПЕРВЕНЦЕВ, Л. ПЕРВОМАЙСКИЙ, Е. ПЕРМИТИН, В. ПОЛТОРАЦКИЙ, В. ПОМЕРАНЦЕВ, Е. ПОПОВКИН, П. ПРОСКУРИН, Ш. РАШИДОВ, Н. РОДИЧЕВ, В. РЫНКЕВИЧ, Ю. РЫТХЭУ, С. САРТАКОВ, В. САНИН, М. СЕМЕНОВ, Г. СЕРЕБРЯКОВА, Н. СИЗОВ, В. СОБКО, Л. СОБОЛЕВ, М. СОКОЛОВ, И. СТАДНЮК, М. СТЕЛЬМАХ, Н. СТРОКОВСКИЙ, В. ТЕЛЬПУГОВ, В. ТИТОВ, Вл. ФЕДОРОВ, П. ХАЛОВ, В. ХАНЖИН, Г. ХОЛОПОВ, В. ЧУБАКОВА, М. ШАГИНЯН, Н. ШУНДИК, И. ЩЕГЛОВ, Л. ЮЩЕНКО.

### ПОЭЗИЯ

Г. АБАШИДЗЕ, И. АВРАМЕНКО, Н. АГЕЕВ, П. АНТОКОЛЬСКИЙ, А. БАЕВА, Э. БАЛАШОВ, А. БАЛИН, Н. БРАУН, И. ВАРАВВА, С. ВАСИЛЬЕВ, С. ВИКУЛОВ, И. ВОЛГИН, А. ГАРНАКЕРЬЯН, В. ГОРДЕЙЧЕВ, Н. ДАМДИНОВ, П. ДАРИЕНКО, О. ДМИТРИЕВ, Е. ДОЛМАТОВСКИЙ, Н. ДОРИЗО, О. ДРИЗ, **А. ЕРИКЕЕВ**, А. ЖАРОВ, В. ЖУРАВЛЕВ, А. ЗАУРИХ, А. ЗАЯЦ, Е. ИСАЕВ, Р. КАЗАКОВА, К. КАЛАДЗЕ, М. КАРИМ, А. КЕШОКОВ, С. КИРСАНОВ, И. КОБЗЕВ, Д. КОВАЛЕВ, В. КОСТРОВ, В. КОТОВ, Вал. КОЧЕТОВ, Вал. КУЗНЕЦОВ, Вяч. КУЗНЕЦОВ, С. КУЗНЕЦОВА, Б. КУЛИКОВ, С. КУНЯЕВ, И. ЛИСНЯНСКАЯ, К. ЛИСОВСКИЙ, В. ЛИФШИЦ, В. ЛУГОВОЙ, М. МАМАКАЕВ, А. МАРКОВ, Н. МЕРЕЖНИКОВ, С. МИХАЛКОВ, М. НАЙДИЧ, С. НАРОВЧАТОВ, Г. НЕКРАСОВ, А. НИКОЛАЕВ, Ш. НИШНИАНИДЗЕ, И. НОНЕШВИЛИ, Л. ОШАНИН, В. ПАВЛИНОВ, Ю. ПАНКРАТОВ, А. ПЕРЕДРЕЕВ, Е. ПОЛЯНСКИЙ, А. ПОПЕРЕЧНЫЙ, Л. ПОПОВ,

(Продолжение см. на 3-й стр. обложки.)

# Октябрь

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  
ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ГО Д ИЗ Д А Н И Я 45-й

**10** О К Т Я Б Р Ъ  
1 9 6 7

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

---

## В Н О М Е Р Е :

- Всеволод КОЧЕТОВ. **3**  
**Угол падения.** Роман
- Василий ФЕДОРОВ. **139**  
**Москва, Москва...** Из поэмы «Седьмое небо»
- К. Е. ВОРОШИЛОВ. **145**  
**Рассказы о жизни.**
- Димитр МЕТОДИЕВ. **201**  
**О тех, кто в море. Солнечное притяжение. О чем я думал на прогулке.** Стихи
- Егише ЧАРЕНЦ. **204**  
**«Homo sapiens»**

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- В. ГУРА. **207**  
**Народ и герой.**

### ЧИТАЯ И ПЕРЕЧИТЫВАЯ КНИГИ

- А. ГРЕБЕНЩИКОВ. **219**  
**История, которая всегда с нами.**
- Валентин ШЕПЕЛЕВ. **222**  
**Страницы обжигающей правды.**



# Угол падения

РОМАН ■

## 1

**В**есь день, среди заседаний, среди разговоров с представителями воинских частей и вооруженных заводских отрядов, в непрерывной пестрой суетне, которой с утра до ночи, а то и ночью были заполнены этажи Смольного, Благовидов помнил о том, что после вчерашней стрельбы не почистил и не смазал наган. Еще в училище он прочно усвоил: сам не ешь, не пей, не спи, а оружие приведи в порядок. Его беспокоило, что он никак не мог урвать минутку и выполнить эту железную армейскую заповедь.

Лишь под вечер хромой красноармеец Савельев, прикомандированный к отделу, принес в медной кружке оружейного вязкого масла и лоскут льняной грубой ткани; а вместо шомпола в столе у Благовидова всегда хранилась толстая проволока, на одном конце сплюснутая, на другом — свернутая петлей.

Заодно уж хозяйственный Савельев прихватил со второго этажа, где была столовая, и солдатскую манерку кипятку. Вместе с несколькими дробинками сахара он бросил в кипятик черствую черную корку, помешал оловянной ложкой, которую достал из-за обмотки, и поставил манерку перед Благовидовым. Разбирая наган, Благовидов время от времени прямо через край манерки прихлебывал сладковатую, отдающую распаренным хлебом горячую воду.

Части нагана, кружку с пушечным маслом, манерку — все это он расположил перед собой на мраморном подоконнике одной из комнат бывшего института, в котором российская знать — давно ли то было! — воспитывала своих благородных девиц.

Подоконник был обширен, как стол, и неспроста поэтому использовался он ныне именно в должности стола. Высокими стопами сгрудились на нем — все в красных карандашных отметинах — прочитанные газеты; разлеглись толстые и тонкие папки с бумагами; меж папками и бумажным хламом густо лиловели склянки химических чернил; некогда белый камень подоконника покрылся кругами сажи от котелков и чайников; об него же — до того, конечно, как сюда вселился Благовидов, — гасили махорочные окурки, отчего остались тут ржавые оспенные пятна.

За окном, в вечерних сумерках, падал снег. Снежинки летели вкось, торопливо, густо, как бы спеша еще одним слоем укрыть площадь, и так уже заваленную сугробами, через которые автомобили пропахивали глубокие узкие траншеи, а люди протапывали еще более узкие змеиные тропы.

В снежной кисее дымно плавали контуры отступивших от площади бледно-серых зданий, едва различались устья выходящих на нее Таврической и Шпалерной улиц, Суворовского проспекта.

Скоро год с того мартовского дня, как правительство Советской республики переехало в Москву. Пульс революции бился уже не в Петрограде, а в древней российской столице. Ленин и Свердлов увезли с собой почти всех, кто делал историю в октябрьские дни тысяча девятьсот семнадцатого года. Петроград опустел, сжался от холода и голода, заледенел, оцепенел. Теперь из него только брали и брали. Брали красноармейцев, брали коммунистов; в новые и новые отряды Красной Армии уходили рабочие; кочегарки многих заводов угасли, а с них все еще не переставали требовать оружия, подчищали на складах остатки снарядов, пороха, патронов. Все в Питере было теперь не главным, все стало в нем второстепенным.

Благовидов тщательно, но едва ли замечая это, водил промасленную тряпкой по отливающей синим вороненой стали офицерского самовоза.

Он выкрутил этот револьвер из цепких пальцев осатанелого поручика в тот самый день, когда под истошный визг ударниц батальона Бочкаревой схватился с ним в дальних коридорах Зимнего дворца. Офицер стрелял в упор, но руки его так тряслись, что пули только изодрали Благовидову шинель на плече и под мышкой, вывернув наружу подложенную вату и конский волос.

Новому хозяину наган второй год служил верой и правдой. В последний раз Благовидов стрелял из него не далее как вчерашним вечером, когда отправился навестить брата на Прядильную улицу. Трамваем удалось доехать лишь до скрещения Невского с Литейным, трамвай там застрял: где-то что-то оборвалось и не было току. Долго шел потом по утонувшей в снегах набережной Фонтанки, поскользнулся, спотыкнулся, а едва свернул в Прядильный переулок — началась, перекрестно, из подворотен, гулкая, раскатистая пальба. Пули стучали в промерзшую штукатурку домов, от их тупых ударов брызгами летели известковые крошки. Ничего не оставалось, как отпрыгнуть обратно за угол, пострелять впустую на звуки револьверов и возвращаться восвояси. Можно было бы вызвать наряд из городской комендатуры или из ближайших районных — Адмиралтейской, Спасской, Нарвской, а то даже и из чрезвычайки. Но, пока доберешься до телефона, пока кто-то выедет, пока доедут, разве эти, стрелявшие, станут сидеть и ждать в подворотнях.

— Товарищ Благовидов! Нашел искому! Вот она!

Топая разношенными рыжими сапогами, не вошел, влетел Алексей Лабзаев с большим, увязанным в газеты свертком и грохнул его на стол.

— Фу! — Он утирал вспотевший лоб. — Бегом бежал от Таврического. В ихней библиотеке была. Еще и не давали с собой. Расписку написал.

По метрикам, в которые однажды заглянул Благовидов, Лабзаеву было почти двадцать, но видом своим он едва ли дотягивал до семнадцати. Был этот парняга незаменимым помощником, живым, сообразительным, грамотным. Он рассказывал, что уже заканчивал учение в Земской учительской школе на Петровском острове, в парке Сан-Галли, когда началась Февральская революция. Не устоял будущий учитель перед возможностью принять участие в ломке самодержавия в России и вместо школьных занятий пустился по кипевшему народом городу, толкаясь возле пылающего здания Окружного суда, с толпой забежал в тюрьму за Финляндским вокзалом, когда оттуда выпускали заключенных; путанные дороги тех дней занесли его даже в типографию, где большевики печатали свою газету, — держал там корректуру набора; а в конце концов оказался вот в Смольном, под началом Павла Благовидова. Косился на него в первое время, не мог забыть, что Благовидов — бывший офицер, но мало-помалу привык и освоился: разные же бывают и офицеры.

Поглядывая на своего помощника, Благовидов освободил сверток от газет, и глазам его открылась красиво изданная — золотое тиснение по зе-

леному полю — толстенная книжища. На ее корешке он прочел: «Весь Петроград на 1917 год».

— Весь, значит? — Благовидов распахнул книгу на середине, где после адресов бесчисленных петроградских учреждений и заведений начинались колонки с адресами жителей бывшей российской столицы. — Посмотрим. Ну, где здесь, предположим, буква «Л»? Так, так, так... — Одну за другой листал он страницы. — Вот она! Ла... Лаб... Лабза, Николай Исидорович, живет по Курляндской, шесть, служит в Петроградской портовой таможне. Есть и Лабзина, Анна Анисимовна. А может, Анастасия? Помечено «Ан». Жена потомственного дворянина. А вот и сам потомственный дворянин — Лабзин Алдр. Никл. И всякие другие Лабзины. А Лабзаева Алексея, гляди-ка, нет и нет. И Лабзаева Антона Сергеевича, отца твоего, тоже нет.

— А вы, товарищ Благовидов, есть? Давайте посмотрим.

— Благовидов? Что же, посмотрим. Так — Блав... Благ... Благин, подполковник. Благирев, председатель какого-то правления. Товарищество «Благо». Благова. Еще раз Благова... А вот и Благовидова! Вера Дмитриевна. А еще и Юлия Георгиевна. А дальше уже видим Благовых по мужской линии. И конец. Не нашлось нам с тобой места во «Всем Петрограде», Алексей Антоныч.

— Но вы же офицер, товарищ Благовидов. Вон какой-то подполковник... Он же есть.

— То подполковник! А я из училища вышел прапорщиком, друг мой, самым что ни на есть нижайшим офицерским чином. И не то меня удивляет, что в этой толстой книге нет меня, прапора. Удивительно, что не оказалось в ней моего родного брата. Инженер же, не кто-нибудь. Окончил путейский институт, сколько мостов уже соорудил, человек заметный. А вот и его, видишь ли, нету.

— Кто же тогда тут есть-то?

— Они. Хозяева. Бывшие, конечно. Ну вот что, иди-ка разузнай, не прибыл ли товарищ Раков. Он где-нибудь на первом этаже. Пойщи как следует. Очень мне нужен. Его зовут Александром Семеновичем. Иди!

Благовидов собрал наган, пощелкал впустую курком и, заполнив патронами барабан, втиснул в кобуру. Затем вновь принялся листать принесенную Лабзаевым книжищу.

— Так. Вот они, эти Врангели.

На столе еще с утра перед ним лежала белогвардейская газетка, доставленная из Москвы; в Москву же она пришла с Дона, оттуда, где вновь разворачивает свои действия так называемая Добровольческая армия. В одной из статей газеты красным карандашом подчеркнута: «Врангель Петр Николаевич». Из текста статьи следует, что главнокомандующий южными вооруженными силами белых генерал Деникин на станции Минеральные Воды встретился с носящим эту фамилию другим генералом и принял важное решение. Благовидов уже успел навести справки о П. Н. Врангеле. В архивных бумагах значилось: старинного немецкого рода, барон, гвардеец, окончил горный институт и Академию генерального штаба, под конец войны командовал корпусом гвардейской кавалерии; чекисты еще дополнили, что после Октября он бежал в Крым, откуда перебрался на Дон; а газета приводит последние сведения: стоит во главе «Кавказской армии» белых.

Те, кто ведает военной разведкой, просят петроградцев выяснить все что можно о Врангеле и о его родственниках, если таковые еще остались.

— Так... так... вот, значит, они где! Порядочно их. Штук тридцать, пожалуй. — Благовидов добрался до нужной страницы.

В конце колонки, отведенной Врангелям, он нашел: «бар. Пет. Никл. плк. Миллионная, 26». На всякий случай выписал адрес и Николая Егоровича Врангеля с женой Марией Дмитриевной, по Бассейной, 27, рассудив, что, возможно, это родители деникинского генерала.

Сопровождаемый Алексеем Лабзаевым, в комнату, мягко ступая, вошел неторопливый человек в кожаной куртке и в папаше коричневого барашка. Глаза его смотрели с легкой грустинкой. Большим пальцем левой руки он огладил коротко подстриженные усы, правую подал Благовидову.

— Здравствуй, Павел Андреевич!

— Здравствуй, Александр Семенович!

Оба они знали друг друга с минувшей осени, когда занимались преобразованием красногвардейских отрядов в части регулярной Красной Армии. Теперь Раков был военным комиссаром Спасского района, и время от времени ему по-прежнему приходилось встречаться с Благовидовым, который осуществлял оперативную связь Петроградского комитета РКП(б) с военными организациями.

Обратясь к одной из своих папок, Благовидов мог бы извлечь два листка бумаги, на которых собственноручно была рассказана краткая автобиография этого убежденного большевика. Но и без бумажных биографий в армии знали и ценили Александра Ракова. В февральские дни, когда в 42-м армейском корпусе, где он служил, решали, кого избрать председателем солдатского комитета, а вместе с тем и депутатом в Петроградский Совет от гарнизона Выборгской крепости, на шумном, но дружном митинге сотни ртов прокричали его фамилию.

— Садись, Александр Семенович! — Благовидов указал на венский стул возле стола; сам сел тоже. — А ты, товарищ Лабзаев, можешь пойти и поделаться что-нибудь на свое усмотрение.

Проводив помощника взглядом, Благовидов достал из кармана кисет, клок газеты, оба они с военкомом принялись свертывать самокрутки, слюнявить бумагу, склеивать, заполнять махоркой, и когда дружно выпустили по облаку дыма, в комнате, и так-то завечеревшей ранними февральскими сумерками, стало почти ничего не видно. Благовидов включил настольную лампу под абажуром из газеты.

— Новая работа есть, Александр Семенович, — сказал он.

Раков уже успел заглянуть в белогвардейскую газетку, увидеть очеркнутое красным.

— На юг, что ли, ехать? — спросил он.

— А чего тебе на юге! У нас у самих дел до макушки. В Гельсингфорсе, имеем такие сообщения, сидит удравший из Петрограда генерал Юденич. Может, помнишь, Кавказским фронтом командовал? Белогвардейщина, которой полным-полно в Финляндии, поднимает вокруг него шум. Не хотят ли из этого кавказца сделать северного Колчака или Деникина? А что? Соберет офицерские отряды, рассеянные по Эстонии... Их там немало... Для стычек с нами эстонцы все время вперед себя выпихивают русских... Соберет, говорю, да и...

— Момент подходящий. — Раков качнул головой в папаше. — И весьма-таки подходящий. Там вот Деникин. — Он махнул рукой за окно. — В Сибири, — рука его указала на печку в углу комнаты, — начал наступление Колчак. Финны тоже, видимо, не останутся в стороне. А главное, у нас-то тут, в Питере, силенок почти нет.

— Об этом и разговор, Александр Семенович. Перед лицом угрозы Питеру хотим сколотить несколько новых частей. Но, к сожалению, это лишь слова, что новые. В общем-то, шерстим, наизнанку вывертываем, сам знаешь, старые. Возьми, скажем, Третий Петроградский полк... Полк внутренней охраны Петрограда. Это же бывшие гвардейцы, семеновцы. А мы намерены передать их военному ведомству и влить в создаваемую бригаду Особого назначения. Уже на днях будет такая бригада. А Александру Семеновичу Ракову придется стать ее комиссаром. — По глазам Благовидова пролетела легкая добрая улыбка. — Что я и уполномочен тебе передать.

— Что ж, ладно. — Раков встал, полистал стоя справочник «Весь Петроград», пытаясь, видимо, тоже найти в нем свою фамилию. Не на-

шел. Снова подсел к столу. — Ладно, — повторил. — Бригада так бригада. Но разумно ли бывших этих лейб-гвардейцев включать в боевую да еще и, как ты говоришь, особую часть? Все же в России знают историю семеновцев. Палачи декабрьского восстания в Москве, псы самодержавия. Ты скажешь, сегодня от тех остались ножки да рожки. Но все-таки, заметь, рожки!

— Офицерский состав имеешь в виду?

— И не только офицерский. Там и рядовые — народ отборный. Кулачье, лавочники. Дети, конечно, кулаков и лавочников. Не сами папаши. В Петрограде, так сказать, под неусыпным нашим присмотром они баловаться не будут. Охраняют отведенные им объекты, исправно получают харч, все вроде бы честь по чести. А разве мы знаем, как поведут себя царские орлы, окажись они в бою, в соприкосновении с белыми?

Помолчали, скрутили еще по сигарке.

— И все-таки, — сказал Благовидов, — с этими орлами надо работать. Придешь в бригаду комиссаром, положение изменишь. Ты человек такой, не успокоишься. Тем более что к семеновцам этим бывшим мы посылаем крепких большевиков. Командиром полка идет Таврин, комиссаром — Купше. Знаешь их? Ну, вот. А людей на должности батальонных комиссаров подбери сам. Вместе-то, может быть, вы разбудите в полку тот боевой дух, которого даже сам Александр Первый, шеф одной из рот, перепугался девяносто девять лет назад.

Раков кивнул, поправил папаху, молча подал руку и молча вышел.

Покрутив ручку телефонного аппарата, Благовидов попросил дать комендатуру. Лабзаев оказался там.

— Алексей? Прихвати, братец, свой карабин да пройдемся кое-куда по городу. Жди у подъезда.

Из своей комнаты в левом крыле здания Смольного, противоположном тому, где еще года нет, как жил и работал товарищ Ленин, Благовидов прошагал длинным коридором до парадной лестницы. В здании по сравнению с прошлым было малоллюдно, никакой толкучки, никакого шума. Невольно вспоминались дни, когда по коридорам здесь шли и шли, заглядывая, заходя в комнаты направо и налево, сотни, сотни, тысячи солдат, рабочих, крестьян; когда в водвороте революции рождалась новая власть и возникали неслыханные прежде органы управления страной, от революционных взрывов сошедшей с привычных рельсов государственности; когда образовывались народные комиссариаты; когда в каких-нибудь несколько минут люди от своего фабричного станка могли вознестись на такие государственные высоты, по старым меркам которые были равны по меньшей мере министерским. Тогда и сам он, скороспелый прапорщик шестнадцатого года, был вызван сюда, в это строгое здание, и поступил в распоряжение первого его коменданта Феликса Дзержинского, заняв одновременно несколько постов: и в Военно-революционном комитете, и в Петроградском комитете большевиков, и в комиссиях по борьбе с налетчиками, хулиганами, контрреволюционерами.

Спускаясь по лестнице, Благовидов встретился с невысоким быстрым человеком; над бледным лицом его шапкой стояли пышные волосы, суконную фуражку защитного цвета он держал в руке.

— Привет товарищу Благовидову! — Во многих комнатах Смольного по стенам были развешаны категорические предупреждения «Рукопожатия отменяются», но этот человек всем подавал руку.

— Здравствуйте, товарищ Зиновьев! — Благовидов ответил на рукопожатие.

— Что нового под Петроградом? Что финны? Что белогвардейцы в Эстонии? — Зиновьев говорил отрывисто, как стрелял, и так громко, точно на митинге.

— Новое, товарищ Зиновьев, — это возня вокруг генерала Юденича в Гельсингфорсе.

— Кто? Юденич? Ерунда, товарищ Благовидов! Если из него хотят сделать северо-западного Колчака или Деникина, — пустой номер. Он не политик. Россия его помнит. Он мог душиить и вешать безоружных армян в горах и мирных батумцев, выдавая их в своих реляциях за турок, но с питерцами ему не тягаться. Будь здоров, товарищ Благовидов! — Зиновьев быстро, крепко ступая, зашагал вверх по лестнице. Как тени, двигались за ним, на полтора шага отступив, два его охранника.

Благовидов двойственно относился к Зиновьеву. С одной стороны, он его глубоко уважал, хотя бы за то, что именно Зиновьев, никто другой, провел с Ильичем столько дней в Разливе. Ну мог ли оказаться тогда рядом с Ильичем человек недостойный и случайный, какая-нибудь серая посредственность. Благовидову нравилось, как Зиновьев выступал перед красноармейцами, перед рабочими. Он говорил горячо, захватываяюще, люди за ним по его призыву готовы идти на любое трудное дело, в любое сражение. Но у Зиновьева было и нечто такое, что царапало душу Благовидова. Не мог он принять ни сердцем, ни головой, как такой видный, серьезный человек дошел до того, чтобы печатно оправдываться перед Временным правительством за события 3—5 июля. Ленин тоже отвечал своим преследователям летом семнадцатого. Но как Ильич отвечал? Он был не обвиняемым, а обвинителем, с полным сознанием своей правоты громил противников, всю эту кадетско-эсеровскую свору. Зиновьев же странно и жалко крутился, оборонялся, почти выпрашивал прощение. Никому из товарищей Благовидова тогдашняя статья Зиновьева в газете «Рабочий и солдат» не понравилась. О ней много было толков и пересудов, и хотя на собраниях в воинских частях, на фабриках, на заводах дружно выносились резолюции протеста против преследования вместе с Ильичем и его, Зиновьева, люди то отделяли их, никак не смешивали одного с другим. В человеческой жизни, считал Благовидов, бывают минуты, когда даже прирожденный трус не имеет права трусить, когда и он должен, обязан преодолеть себя. Товарищ Зиновьев, кажется, не трус; своей деятельностью в партии он доказал это. Тогда в чем же дело, в чем?.. А потом — и новая статья, которой он и Каменев фактически выдали врагам тайну предстоявшего Октябрьского восстания... Почему? Зачем? Что их толкнуло на это?

Была у Благовидова и третья причина непрочного отношения к Зиновьеву. Почти физически ощущал он в душе боль оттого, что все, кому он был предан, с кем разделял и преодолевал тяготы революционных дней, уехали в Москву. А здесь, в красном Питере, оставили кого? Не того ли, кто не надобен в центре государственного управления и военной защиты республики? Не по принципу ли: на тебе, боже, что нам не гоже?

Застегивая шинель на крючки, Благовидов вышел через главный подъезд, задержался на каменных ступенях среди колонн, где в недавние дни стояли пулеметы и трехдюймовки, готовые к бою, устремившие дула в сторону площади, озаряемой огнями костров. Сейчас на этих ступенях его ожидал Алешка Лабзаев со своей укороченной драгункой на ремне за плечом.

— Как решим? Пешочком пройдемся или на моторе? — задал ему вопрос Благовидов.

— На моторе бы лучше. — Лабзаев поплясывал в рыжих, изношенных сапогах. Ноги у него зябли.

Улицы, по которым, трудно переваливая через сугробы, покатылся автомобиль, походили на черные ущелья среди угрюмых гор. Дома стояли темные. Редко где, то в нижнем окне, то в верхнем, далеко разбросанные один от другого по этажам, светились слабые светлы, зыбкие, как болотные огни.

Но это еще не означало, что дома пустуют. Благовидов с Лабзаевым не раз бывали на обысках, на реквизициях, присутствовали при арестах в квартирах, которые с виду казались такими вот мертвыми, на самом же де-

ле в глубинах своих жили бурной, затейливой жизнью. Это верно — народу в Петрограде поубавилось, сильно поубавилось. Одни — буржуи, прежняя знать царского режима — поудирали, кто в Финляндию и дальше по заграницам, кто в Киев, в Крым, на Дон; другие — рабочие, солдаты, кое-кто из служивой интеллигенции — отправились на фронты, со всех сторон опоясавшие Советскую республику. Но сколько бы ни уезжало народу, а в бывшей российской столице все еще оставалось более миллиона жителей. Из них, как числят в Петроградском Совете, триста с лишним тысяч рабочих, несколько десятков тысяч красноармейцев, несколько десятков тысяч чиновников, которые, покончив с открытым саботажем, ни шатко, ни валко служат новой власти. Ну, а остальные-то кто? Кем заняты дворцы и особняки на Миллионной, на Сергиевской, Моховой, на Английской и Дворцовой набережных? Кто проживает в домах на Офицерской, на Вознесенском, на Садовой, на Невском, наконец? Много семей переселилось сюда с городских окраин; в сотни буржуйских, генеральских, княжеских квартир въехали новые жильцы из подвалов и с чердаков. Но все ли такие квартиры очищены от прежних хозяев? И разве до всех улиц, до всех переулков и закоулков огромного города, одного из крупнейших в мире, дойдешь, доберешься за какой-нибудь год Советской власти? И князья еще здравствуют в Питере, и бывшие финансовые, банковские воротилы чем-то в нем заняты, и офицерье ходит несчитанными табунами, и торговцев толпы, лавочников, спекулянтов. В посольских особняках, всем известно, целые общежития оборудованы для спешно принятых в английское, французское, турецкое подданство. До крайности щедрыми на выдачу своих паспортов оказались дипломаты Швейцарии.

Темный, зимний город был и дружелюбен Благовидову с его молодым спутником: они же его завоевывали, они устанавливали в нем свою народную власть; но был он и остро враждебен обоим: в нем все еще таились не пойманные с поличным, не обезвреженные силы внутренней контрреволюции, которая, хватаясь за все, что возможно, поспешно искала путей для объединения с контрреволюцией, действовавшей извне.

На Миллионную Благовидов решил захватить лишь для порядка; конечно же, генерала Врангеля там давно нет, поскольку означенное лицо командует одной из армий у Деникина. Дом № 26, как они с Лабзаевым установили в домовом комитете, дежурные члены которого, как и повсюду в городе, бодрствовали у запертых на цепь ворот, принадлежал наследникам князя Абамелек-Лазарева. Квартира, занимаемая до революции семьей барона Врангеля, пустовала. «После большевистского переворота, — охотно объясняли домкомовцы, — он уже и не появлялся. А жена его, молодая-то баронесса, та по мужнему, должно быть, извещению укатила в Крым, пока еще поезда ходили».

На Бассейной, 27, в большом богатом доме братьев Черепенниковых, оказалось то же самое. Шестикомнатная квартира родителей генерала, по которой хоть на роликах кататься, стояла пустая, ободранная, нежилая. «Муж ихний, Николай Егорович, старый-то барон, он еще в начале восемнадцатого выбыл не то в Финляндию, не то в Ревель. Перед отъездом обоим они с Марьей Дмитриевной все свое добро расторгивали, что на базаре. Двери раскрыты, подходи-налетай! — Так среди пустых комнат подробно и обстоятельно рассказывала Благовидову жена бывшего старшего дворника черепенниковского дома. — А Марья Дмитриевна пожила-пожила после его отъезда да и тихонько, легонько, бочком, бочком, никто этого и не приметил, куда-то подевалась. Мо-быть, вслед за ним? А то и к старшему сыну на фронт?»

При свете фонаря «летучая мышь» — жена дворника старалась поднять его как можно выше — Благовидов с Лабзаевым осматривали избытые топорами паркетные полы, двери с вывинченными ручками, ободранные стены, на которых, как специально вычерченные, четко выступали

прямоугольники и овалы, более темные, чем остальной фон дорогих обоев. Их было множество, разных размеров. «Во-во! — догадалась пояснить женщина. — Тут они, картинки ихние, и висели. Все распродали забеглым людям. По рукам такое добро пошло».

— Что ж, Алексей, — решил Благовидов, когда они вышли на улицу к автомобилю, — ты пешочком отправляйся восвояси, а я совершу еще одну попытку навестить брата. Кто спрашивать станет, скажи: на Прядильной улице. Адрес у меня на столе записан, возле аппарата. Ну, шагай!

## 2

В тот самый февральский день, лишь несколькими часами раньше, чтобы успеть до ночных патрулей, бывшая баронесса Мария Дмитриевна Врангель в третий раз на протяжении года меняла жилище. Два переодетых мастеровыми офицера несли ее саквояжи и баулы, третий поддерживал Марию Дмитриевну под руку. Укутанная в старый клетчатый платок, в резиновых ботах товарищества «Треугольник», она ничем не отличалась от бабок-салопниц, тысячами наезжавших, бывало, в столичный Питер из глухих провинций. Спутники ее, в их бобриковых куртках, в засаленных полушубках, в зимних шапках с ушами, были вполне ей под стать. Таких компаний бродило по городу — не сочтешь.

Говорливая жена дворника верно сказала Благовидову, что старая баронесса недолго прожила в своей квартире после отъезда барона. Барон, ее муж, отец генерала, был человеком, неплохо изведавшим жизнь, расчетливым, коммерческим. Уже в январе 1918 года, через каких-нибудь полтора месяца после того, как произошел переворот, он сообразил, что власть большевиков — совсем не кратковременный эпизод, как утверждали некоторые оптимисты, что на возврат бывшего рассчитывать быстро нельзя: по ухваткам новых хозяев России видно, какие невероятные неожиданности возможны в будущем, — и, не мешкая, занялся тем, чтобы все свое имущество — и об этом жена дворника сказала правду — превратить в деньги. Какие-то комиссионеры приводили каких-то людей; среди них мелькали дельцы из иностранных миссий; все вместе они уносили и увозили картины, которые и у себя в России и по странам Европы десятилетиями собирала Мария Дмитриевна, стаскивали по лестнице к ожидавшим под окнами на улице подводам павловскую, александровскую мебель, свернутые в трубы восточные ковры, большим знатоком и ценителем которых считал себя Николай Егорович, укладывали в ящики со стружками старинный столовый фарфор, темное, тяжелое серебро.

Барон не учел одного: не надо бы вырученные так деньги помещать в банк; но он слишком привык к этому за свою деловую жизнь — поместил. Поразительно! Человек одновременно состоял и председателем правлений Амгуньского и Российского золотопромышленных обществ и членом правления акционерного общества русских электротехнических заводов; главное же — и это было его основной должностью — председательствовал в товариществе спиртоочистительных заводов. И вот такой-то деловой человек — Мария Дмитриевна не могла примириться с его опрометчивостью — не сообразил, что большевики, последовательно разрушавшие все прежние основы России, конечно же, доберутся и до банковых вкладов. И добрались. Они не только запретили переводить капиталы за границу, но перестали даже выдавать по текущим счетам. «Теперь все, — сказал Николай Егорович, — надо принимать решительные меры». Пока еще было возможно, он перевел спирто-водочное товарищество в Ревель, следом выехал и сам. «Вернусь, — было сказано Марии Дмитриевне. — Надо лишь сначала осмотреться». Мария Дмитриевна осталась в Петрограде, чтобы на случай возвращения Николая Егоровича у них по-прежнему был свой уютный уголок в столице. Сын Петр звал ее в Крым, где после бегства из кор-

пуга от большевиков он обосновался с женой. Но Крым, думалось Марии Дмитриевне, никуда от нее не уйдет. Крым — это на самый крайний случай.

На прежней, на их старой, давней квартире оставаться было нельзя: пусто, страшно в разоренных бесцеремонными покупателями комнатах; и к тому же неизвестно, что еще напридумывают большевики: скольких они поарестовали, скольких куда-то выслали. Не дай бог...

Дворникова жена, из холуйской услужливости храня тайну своей барыни, одного не сказала Благовидову. Не сказала она, что собственные же ее дворничихины сыновья, парни-подростки, как раз и помогли барыне осуществить первый переезд на другую квартиру. Без шума, без какого-либо афиширования, одним хмурым, пасмурным питерским вечерком, они на тележке все, что осталось у баронессы от ее былых богатств, перевезли на квартиру старой приятельницы Марии Дмитриевны, в район Рождественских улиц. Квартира была солнечная, веселая. Может быть, непривычно тесноватая. Но двоим-то им к чему хоромы? Приятельница разводила цветы, от цветов в трех комнатках было зелено и свежо. Устраиваясь в одной из них, Мария Дмитриевна развесила по стенам фотографические портреты Николая Егоровича и сына Пети, которого фотографы запечатлели в эффектных мундирах конного гвардейца.

Жизнь пошла своим чередом. Но кое-что с этих дней все-таки изменилось. Умные люди присоветовали Марии Дмитриевне позамести следы. Не надо, чтобы кто-то знал о Николае Егоровиче, застрявшем в Ревеле, о ее военном сыне, обитавшем в Крыму. Подправили слегка в бумагах, и Мария Дмитриевна, хотя и осталась Марией Дмитриевной и даже по фамилии Врангель, но уже перестала быть баронессой, а главное, вновь превратилась в девицу. «Девушка Врангель». Несколько престарелая, на седьмом десятке, но девица. В таком ее состоянии, поскольку большевики позаимствовали из евангелия заповедь «кто не работает, тот не ест», дабы получать карточки на продовольствие и «дензнаки», добрые знакомые люди устроили Марию Дмитриевну на советскую службу в Музей Александра III. Почти все в этом прибежище были свои, рука большевиков ощущалась тут, по их терминологии, лишь в общем и целом, а дело делали, или скорее ничего не делали, люди старого, привычного Марии Дмитриевне мира. Мария Дмитриевна, девица Врангель, была не чужда искусству и даже сама в былые годы грешила живописью; доброты определили ее поэтому на должность научного сотрудника музея с соответствующим пайком и окладом жалованья.

Жить бы да не тужить, дожидаться возвращения Николая Егоровича. Но Николай Егорович не приехал: закрыли границы. Закрылся и проезд в Крым, время ушло. Что ни новый день, то жизнь становилась труднее, ужаснее, беспросветней. Еще более страшное началось летом, после того как социалисты-революционеры затеяли свои бессмысленные покушения на большевистских руководителей. Прежде они стреляли в великого князя Сергея Александровича, в разных градоначальников, в генералов. Теперь же эти странные революционеры поубивали в Петрограде красных вождей Володарского и Урицкого, ранили в Москве Ленина. Из-за их покушений пошли обыски, аресты.

Офицер, который поддерживал Марию Дмитриевну, как бы подслушал ее думы о недавних днях.

— Удивляюсь, баронесса, — сказал он, — как только вам удалось избежать большевистских застенков. Многие из ваших знакомых, как известно, попали в тюрьму, не правда ли?

— О, да, да, голубчик, да! И старуха Родзянко, и семья Звягинцевых, и обе Хрулевы, наши племянницы... А баронесса Варвара Ивановна Иксуль!.. Боже, боже, я не смогу перечислить имена всех страдальцев и страдальцев. Но только тише. тише, голубчик! Сзади кто-то идет.

Баронесса была стойко напугана пережитым. Недолго она зажилась в уютной квартирке своей приятельницы. И туда большевики нашли дорогу. Хорошо еще, что за несколько дней до обыска появившийся в их квартире председатель домового комитета посоветовал как можно дальше и надежнее припрятать фотографии баронов и генералов со стен. Обыскивальщики все перерыли, все перетрясли. Они ужасно стучали в пол прикладами винтовок, дымили махоркой, плевали на паркет и смотрели так, что вот-вот сейчас тебе придет конец, возьмут и зарежут.

«Девушка? — сказал один из них, такой весь в коже, склизкий, как змей, с подозрением рассматривая ее бумаги. — Мамаша Иисуса Христа тоже по паспорту-то девушкой значилась. А на проверку что получилось?»

И он сам и его приятели так зверски захохотали, что из головы Марии Дмитриевны с того дня не выходила беспокойная мысль о возможной «проверке». Жить в квартире приятельницы она уже не могла, все ждала нового стука прикладов и, когда где-либо пахло махоркой, невольно с испугом озиралась вокруг.

Мария Дмитриевна перебралась к старушке — служительнице музея, в темную, тесную комнату. В таком дешевом, плебейском доме она уже побоялась носить фамилию Врангель, пусть даже девушки, а не баронессы, и при записи в домовую книгу назвалась художницей, вдовой Веронелли, вспомнив фамилию одной знакомой итальянки. Хозяйка Марии Дмитриевны, мучавшаяся от голода, вскоре отправилась в деревню, где посытнее, похлебнее, да так и осталась там. Мария Дмитриевна, никогда прежде не ведавшая домашней работы, оказалась в полной беспомощности. Надо было стоять в бесконечных, огибавших целые кварталы хвостах за хлебом, который шуршал во рту и острыми остями — их, подмигивая друг другу, называли трюками — ранил небо, кровянил десны, проталкиваться за подванивающей селедкой, за промерзшей картошкой. Чуть свет в окне, уже беги с чайником в чайную за кипятком: дома воду — без дров для плиты, без углей для самовара, без керосину для керосинки — вскипятить было невозможно. А еще по распоряжению домового комитета не только днем, но и по вечерам и ночью приходилось отстаивать дежурство у ворот.

Мария Дмитриевна отчаивалась и думала уже, что дни ее сочтены, что умрет она, как недавно умер тоже служивший в музее барон Притвиц, и похоронят ее в общей казенной могиле. Но вот пришли эти милые офицеры и принесли весть о том, что сын ее, Петр Николаевич, жив и здоров. А они все трое служили во время войны под его начальством, хорошо Петра Николаевича знают, любят его и готовы и за него и за его родных хоть в огонь, хоть в воду. «Не волнуйтесь, Мария Дмитриевна, матушка Россия еще не оскудела верными сынами, — говорил тот, который поддерживал ее под руку. — Силы у нас есть, все будет хорошо, люди не сидят без дела». Еще он говорил, что переселить ее на другую квартиру решено из-за появившихся в газетах известий о Петре Николаевиче. Она будет жить теперь в более надежном месте. Таково указание какой-то, Мария Дмитриевна не совсем вникла какой, очень тайной противобольшевистской организации.

Она шла, плохо понимая слова своего спутника: он шепелявил из-за рассеченной губы; шла, не узнавая улиц, не видя надписей в сумерках.

Каково же было удивление Марии Дмитриевны, когда в большой, не утратившей прежнего блеска квартире, куда после долгой и запутанной дороги ее привели любезные офицеры, она встретила Викторию Федоровну, еще одну потерянную знакомую, о которой уже несколько месяцев не имела известий.

— Милочка! — воскликнули обе враз, обнявшись и плача друг у друга на плече. — Как ты похудела, осунулась!

— Я, — сказала Виктория Федоровна, — потеряла больше пуда в весе.

— А я, — ответила ей Мария Дмитриевна, — целых два!

Это был удивительный, невозможный, сказочный вечер в полном воздуха, просторном, чистом, светлом, подлинно человеческом жилище. В доме была даже прислуга, о боже, боже! Вздумаешь попросить стакан воды — принесут. Чашку чая — через минуту готово, вот вам чай, в такую возможность просто не верилось. Это было как бы из давних-давних сказок с коврами-самолетами и скатертями-самобранками. При свете двух больших керосиновых ламп прислуга накрыла на стол. Появилось вино; в хрустальной вазочке Мария Дмитриевна увидела икру, настоящую зернистую астраханскую икру.

Офицеры о чем-то болтали; кланяясь Марии Дмитриевне, они пили за здоровье Петра Николаевича, затем за здоровье какого-то Николая Николаевича, поминали Лавра Георгиевича и даже покойного государя-императора. Они шумели, а Марии Дмитриевне очень хотелось спать. И когда наконец она легла на мягкую, удобную постель, разостланную для нее прислугой, к ней на край под села ее приятельница.

— Все идет прекрасно, дорогая, прекрасно.

— Чья эта квартира? — спросила Мария Дмитриевна.

— О, она была когда-то одной из лучших квартир в Петербурге! Хозяева ее уехали за границу еще год назад. Он был крупным промышленником. Масса заводов. Имение в Крыму. Особняк в Кисловодске. Сейчас здесь другие хозяева. — Виктория Федоровна понизила голос. — Наша партия. Партия кадетов. Вы с Николаем Егоровичем всегда стояли далеко от политической жизни, а я, вы же знаете, милочка, была большой, страстной общественной деятельницей. Я состою в комитете нашей партии. — Она перешла совсем на шепот. — Больше того, я председательница районного комитета... Сейчас мы объединяем силы... Вы, кажется, уже уснули, нет?.. Мы, говорю, объединяем силы, к нам потянулись офицеры, люди других партий. О, что еще будет! Ну, спите, спите, пожалуйста. Хороших вам снов, милочка.

### 3

На дверях квартиры, которую занимал брат Павла Благовидова, на одной из солидных дубовых створ светилась медная дощечка: «Илья Андреевич Благовидов. Инженер». Надо было ухватить медный шарик звонка, утопленного в такую же медную чашу в стене рядом с дверью, и, чтобы в квартире знали, кто пришел — свой или чужой, — сильно дернуть три раза подряд.

— Кто там? — услышал Благовидов грудной, приятный голос жены брата Ирины. — Илюша?

— Нет, Иринушка, не Илюша, а Павлуша. Отвинчивай болты.

Минуту спустя они привычно чмокнули друг друга в щеки, Ирина принялась защелкивать дверь на два замка и на три задвижки; особенно трудно было справиться с той, которая состояла из широкой и толстой полосы железа, ее полагалось закладывать поперек обеих дверных створок в такие же массивные, прочные скобы.

Не дожидаясь завершения непростой Ириной работы, Благовидов сбросил в прихожей шапку и шинель и отправился в гостиную с мягкой мебелью, обитой голубым штофом, который слегка уже выцвел, отчего цвет его обрел нерукотворно-печальную, тихую нежность.

Когда уютное, податливое кресло приняло его в свои охватывающие формы, Благовидов стал скручивать самокрутку. Его не удивляли болты и задвижки на дверях квартиры брата; они не оказались данью времени, так было здесь и до революции, до войны. Боязнь взломов, налетов, нападений принесла с собой Ирина; она выросла в доме с замками и задвижками и не представляла, как можно жить без замков. По нынешним временам это могло оказаться, пожалуй, и не лишним.

— Дымишь? — Появляясь в дверях, Ирина узкой ладошкой разгоняла перед собой махорочный дым. — Какая пакость! Хочешь сигару? — Тонким пальцем она прижала сбоку деревянной, из карельской березы шкатулочки, стоявшей рядом с пепельницей и спичечницей на узорчатом столике-маркетри. Крышка откинулась, и под негромкий перезвон скрытого механизма Благовидов мог выбирать уложенные в шкатулке рядами большие и малые сигары, папиросы, модные сигареты без мундштуков.

Он загасил самокрутку в пепельнице и раскурил светло-коричневую сигару, опоясанную карминно-красной наклейкой «Реджина».

— «Королева», значит? Не так?

— Так.

Выбрав себе длинную папиросу, Ирина закурила тоже. Красивая женщина с темно-серыми глазами в почти черных ресницах, отчего взгляд ее шел как бы из неведомой глубины, плохо улавливался и вызывал беспокойство, была одних лет с Павлом Благовидовым.

— Может быть, чаю, Павлик, хочешь или кофе? — предложила она.

— Нет, пожалуй. Не надо. Я бы Илью подождал. Он где, кстати?

— Должен бы уже быть дома. Я думала, это он, когда ты позвонил. Петросоветчики увезли его на Николаевский мост. Там что-то не разводится. Или не сводится. Не знаю.

Благовидову очень хотелось спросить Ирину, откуда у них в доме сигары, сигареты, чай, кофе. Чистота — это понятно. Ирина сама не своя, если заметит пылинку на бархатной скатерти или мусоринку на полу. Целыми днями, даже когда в доме была прислуга, она ходила со щетками, с тряпками — убирала, смахивала, сдувала. Не изменила своим привычкам и сейчас. Сумела натереть паркет, довела его до веселого блеска мирных времен. Но вот откуда у них с Ильей такая роскошь, как сигары и кофе?

Ирина была купчиха, как меж собою ее называли покойные родители братьев Благовидовых. Иринин отец вел широкую торговлю: в Петрограде, в Москве, в других крупных городах России у него были универсальные магазины; торговал он и золотыми вещами, драгоценными камнями, старинной. Весь Петербург посещал его ювелирную лавку в Гостином дворе, напротив Пажеского корпуса. Как случилось, что такой богач одну из одиннадцати дочерей отдал замуж за сына пушечного мастера с Обуховского завода, — на этот вопрос ответить было нелегко. Может быть, как раз потому, и только потому, что была она одной из одиннадцати? Само угрожающее число невест побуждало миллионщика не слишком быть требовательным в выборе зятя.

Илья, только-только окончивший путейский институт, куда его приняли по протекции управляющего заводом, на котором работал отец, став полноправным инженером-строителем железнодорожных мостов, повстречался с дочерью богача на Невском, в «День белого цветка». Юная, цветущая, с ее тревожащими серыми глазами в густых ресницах, она среди сотен других петербургских барынь и барышень бойко торговала цветами из древесной стружки. Деньги от продажи этих цветов предназначались на помощь неимущим людям, больным чахоткой. Илья покупал у красивой барышни цветок за цветком (эту историю потом часто и весело вспоминали в семье) и ходил за незнакомкой по всему городу до тех пор, пока она не улыбнулась ему и не позволила представиться ей по всей форме.

В семье — отец, мать, все близкие и дальние родственники — яростно взбушевали, когда Илья объявил, что намерен сделать предложение Ирине. «Торговку, мародерку — в дом? — кричал нервный, больной язвой желудка, желчный и сухонький отец. — Ни сна, ни покоя никому не будет! Да мы ее и прокормить-то не сможем! На шляпы да на кофты все твое жалованье уйдет. Еще и не хватит. Хозяйское воровать научись!».

Но чему быть, то будет, как ему ни сопротивляйся. Сыграли богатую свадьбу в ресторане «Вена». Глава благовидовской семьи напрасно опа-

сался, что невестушка заявится в его дом. Богатый сват снял для молодых, уплатив за десять лет вперед, эту вот пятикомнатную квартиру в доме не слишком богатом, но и не дешевом, как раз подходящем для молодого, начинающего инженера, на втором этаже, с окнами и на улицу и во двор, с ходами и парадным и черным, обставил мебелью, пригласив для советов по этой части декоратора из Мариинского театра, положил в виде приданого за дочерью некоторую сумму в банк. Все было честь по чести. Год назад купец с купчихой, что пораздав бесплатно, что распродал, отбыли сначала в Харьков, затем в Ростов. В Петрограде уже было голодно, и они увезли с собой двух внучек: дочку одной из средних сестер Ирины и Ирину с Ильей пятилетнюю Лялечку. Думалось, что это на несколько месяцев, а вот уже год ни о родителях, ни о дочке известий никаких давно не стало. Ирина не слишком нежная мать, но и она от такой полной неизвестности по временам впадает в тоску.

Ловко пуская дым голубыми колечками, красивая жена брата посматривала на Павла Благовидова. До чего же, думалось ей, братья эти похожи друг на друга внешне. Оба коренастые, широкие в плечах, светловолосые. В характере, правда, есть разница. До упомомачения, до неприличия они одинаково честны и прямы. Но Павел нетороплив, сдержан, а Илья, тот душа нараспашку. Он на семь лет старше Павла, но этого не заметишь; скорее подумаешь, что как раз сдержанный Павел старше Ильи, который еще и сейчас, в свои тридцать четыре года, способен на мальчишеские выходки. В семье родителей Ирины поговаривали о братьях Благовидовых: простоваты, дескать, не породисты, дворняжки. Ирину остро мучила мысль о простоватости мужа. Она забывала, что в сущности-то и сама «дворняжка»; только богатая, денежная, но по понятиям тех, у кого голубая кровь, все равно плебейка. Она изо всех сил тянулась, стремилась в общество благородных, родовитых, мечтала о нем. Но в какое же общество голубокровных могла она проникнуть? Только лишь в общество близких Илье инженеров. А там... Там тоже не слишком-то были родовитые. А уж кто и был из знаменитых в России фамилий, держались от остальных особняком.

Сквозь папиросный слоистый дым Ирина в упор смотрела на Павла, на то, как задремывал он в мягком кресле. Может же ведь получиться, что именно он, этот брат ее мужа, одержимый, жестоко голодающий сегодня человек — вон как иссох, как обтянулась кожа на лице, какая желтизна под глазами, — именно он войдет в круг новой, советской, коммунистической знати. Как прежде министры или царедворцы, он, куда ему вздумается, катит на моторе, заседает в торжественных, золоченых, обставленных колоннами залах бывшего Государственного совета, Государственной думы: он может одних арестовать и казнить, других помиловать. Не зря, не зря отказался Павел от карьеры офицера и пошел в революцию, в «товарищи», в советчики. Может быть, он только с виду простой и неподкупный, а на самом деле мягче костью, изворотливее Ильи?..

Павел уже видел сны, когда, заставив его дернуться в кресле, у двери тройным звонком позвонил Илья. Ирина звякала, брякала запорами, ставя задвижки на место, а братья уже крепко стиснули друг друга в прихожей.

— Костляв ты стал, Павлуха! — Илья повернул брата перед собой.

— И ты не оплыл салом, — ответил Павел.

— Ужин будет, Иринушка? — крикнул Илья, уходя в ванную. Он там долго позванивал стерженьком умывальника, беря из него на руки по малой капле. Воды в доме не было с осени: лопнула магистральная труба, а чинить поломку некому, Ирина носит воду белым ведром с Английского проспекта.

Павел заглянул к Илье. На месте водяной колонки в ванной комнате стояла большая круглая чугунная печь. В ней потрескивали горящие дрова. От нагретого металла ощутимо тянуло жаром. Вот, значит, почему нет ле-

днью стужи в комнатах большой квартиры! А он-то сидел в гостиной и удивлялся, что все еще не озяб. Печь топилась сухими еловыми поленьями; таких дров Благовидов в Петрограде уже не видывал давно: всюду одна осина, наскоро напиленная в окрестных болотистых лесах.

— Откуда дровишки-то? — спросил он Илью.

— Из Петрокоммуны, вестимо, — весело ответил тот. — Вы, товарищи большевики, своих буржуазных спецов не обижаете. Что уж жаловаться! Каковы, не расскажешь ли, новости? — Илья утирал руки о чистое льняное полотенце. — Пойдем к столу, чего-нибудь подзакусим.

В столовой, как в прежние времена, на белой скатерти был накрыт ужин. Дымился отварной картофель, из-под нарезанного кружочками лука выглядывали голова и хвост селедки, в селедкин рот была даже вставлена зеленая травка; из большой фарфоровой миски маняще пахло каким-то старым, давним, довоенным супом. Благовидов, перехватывавший в общественных столовках что и когда придется, даже и позабыл уже о подобных деликатесах, о том, что они есть, вернее, были некогда, на свете. Вконец его поразила баночка шпрот.

— А вы не буржуи ли, часом, братики мои? — сказал он, подсаживаясь к столу. — Что-то разбогатели, гляжу.

— Буржуи, буржуи, товарищ большевичок, — как-то язвительно откликнулась Ирина. — Пьем народную кровушку. Ты же знаешь мое социальное происхождение. Не пролетарка, нет.

— Слушай, буржуйка, а у нас выпивки не найдется? — весело, не замечая Ирининого тона, спросил Илья. — По-моему, оставалось в графине.

Ирина достала из буфета графинчик, в котором было налито до половины, и две рюмки.

— Знаешь, это водка. Обычная, нормальная водка. Не самогон. — Илья наполнил рюмки. — Удивляюсь, в Питере еще сохраняются старые запасы. Одни голодают, у других все есть. Это моя Иринушка выменяла на что-то у кого-то. Я простудился прошлой неделей, и до того мне захотелось прогреть свое костье... Ну, за твое здоровье, дорогой мой братишка! Месяца два мы с тобой не виделись. Больше? Ну пей, закусывай.

— Если я и выпью, — Павел Благовидов поднял свою рюмку, — то, как всегда, только за Ирину. Твое здоровье, Иринушка.

— Слушай, — сказал Илья, закусив селедкой с картошкой, — ты вот там в верхах, рядом с властью, сам власть...

— Какая же я власть! Я исполнитель ее воли.

— Не будем углубляться в теорию вопроса. Я вот о чем. Почему, если у нас, как вы говорите, рабоче-крестьянское единое государство... Есть оно у нас, такое государство?

— Неужели ты все еще сомневаешься?

— Хорошо. Если оно у нас есть, если оно единое, почему, спрашиваю я тебя, из Петрограда, из окружающих его губерний вы сделали это-кое особое государство в государстве? Соединенные Штаты России, что ли? Это же до крайности осложняет все дела управления и хозяйствования в республике.

— Что ты имеешь в виду, говоря «государство в государстве»?

— Что-что? Сам знаешь. Я беспартийный, я просто спец. Но мы, спецы, тоже ведь имеем и глаза и уши, мы и видим и слышим. Выехало правительство в Москву, — какие органы власти сформировались в Петрограде? Это же удивительно! В тот самый день, одиннадцатого марта, в день отъезда правительства, то есть Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, Совета Народных Комиссаров и других главных учреждений, в Петрограде — какое нетерпение! — создали что? Совет комиссаров петроградской трудовой коммуны! По образу и подобию центральной власти. Совет комиссаров! Но позвольте, а где же Советская власть, массовая организация, предназначенная осуществлять на практике дикта-

туру пролетариата? Где наш боевой, трудолюбивый Исполнительный Комитет Петроградского Совета? Что с ним случилось? Он повлачил жалкое существование, Павлушенька, дорогой. Его подменили, подмяли под себя местные комиссариаты и их комиссары. Это, милый, совсем не народовластие и вовсе не то, о чем говорил товарищ Ленин, которого я глубоко уважаю за его исключительную, страстную, неотступную целеустремленность.

Ирина убрала со стола супницу и глубокие тарелки. Подала жареную картошку с кусочками консервированного мяса. Илья налил еще по рюмке. Но Павел отказался. Илья выпил один.

— Мы, ваши спецы, часто между собой спорим, ведем в своей среде долгие и трудные разговоры. Среди нас есть всякие. Большинство... не скажу в процентах, не считал, не подсчитывал... Оно, может быть, и не туда, куда бы надо, смотрит и тянется. Но немало, совсем немало и таких, которые с вами, граждане руководители, с большевиками. О таких надо заботиться не только материально, не только дров подкидывать и картошки, но и ясность вносить во все. Ясность, да! Почему наши петроградские органы власти скопированы с центральных, с Совета Народных Комиссаров? Почему им придали этаким вид петроградского правительства? Даже и свой комиссариат иностранных дел учредили. Уж для полной самостоятельности, не так ли?

Павел слушал взволнованную речь брата и удивлялся тому, насколько мысли Ильи совпадают с его собственными. Он присутствовал на том Втором областном съезде Советов, где Зиновьев поставил вопрос о создании Союза коммун Северной области и Совета комиссаров. В ту пору Павел еще не представлял ясно, что получится из «северного правительства», но и тогда уже нелегко было смиряться с таким положением, когда на место отбывших в Москву народных комиссаров республики явились некие свои, петроградские, доморощенные. Получалось, будто бы там, в Москве, одно, а вот в Петрограде другое. Нестерпимо и для него, Павла Благовидова, и для многих его товарищей было то, что комиссарами четырех комиссариатов — земледелия, контроля, путей сообщения и почты с телеграфом — поставили эсеров. Пусть левых, но эсеров же! Почему? Что за надобность? Разве Ленин допускал их в правительство? И не случайно же не допускал. Зорким своим глазом революционера Ленин и сквозь землю бы различил бациллу контрреволюции, размножавшуюся в недрах эсеровской партии. А тут? Товарищ Зиновьев прямо-таки взывал к левым эсерам сделать такую милость — войти в Совет комиссаров Северной области. Он щекотал их самолюбие, стыдил, что те, дескать, перепугались ответственности. Что это было со стороны Зиновьева?

Павел вспомнил недавнее пожатие руки Зиновьева, охватывающей, мягкой, как бы без костей.

— Скажу тебе прямо, — продолжал тем временем Илья, — и все наши так считают. Многих ваших тонкостей мы не знаем. Но на правительство Ленина вполне готовы надеяться. А на свое, домашнее, увы, нет.

— Чего вы формалистику разводите? Советская-то власть не распалась. — Павел отложил вилку. — Петроградский-то Совет и при таких обстоятельствах существует. Он отделил, что положено, от областных, правительственных органов, закрепил за собой. Ты же знаешь это без меня. И селедка эта и дрова, они откуда? От Петроградского Совета, от Петрокоммуны. Сам говоришь.

— Верно, все верно. И вместе с тем... — Улучив момент, Илья выпил и рюмку Павла.

— Илюшенька, все, — решительно заявила Ирина и убрала графинчик со стола. — Пьем чай.

— Ну, а что на фронтах? — поинтересовался Илья, не без основания полагая, что вопрос о «северном правительстве» они с Павлом здесь, за столом, все равно не решат. — Ты там у телеграфного провода. В газетах о многом умалчивают. Что Колчак подельывает? Как на Дону? Финны что?

Вопросы брата были подобны тем, которые несколько часов назад ему задавал Зиновьев.

— Что тебе Колчак? — ответил он с раздражением. — Когда у нас под боком полковник Родзянко есть. Когда есть Булак-Балахович. Какой-то полковник Неф.

— Но они же все в Эстонии.

— А Эстония далеко, что ли? Именно под боком.

Илья засмеялся.

— Вот и ты, дружок, заболел сепаратизмом, не только председатель вашего «правительства». Колчак? Деникин? Все вам чушь, мелочь! Вот ротмистр Булак-Балахович — это да!

— У них, у этих ротмистров, уже созревает свой вождь, подобный Колчаку и Деникину. Юденич! — Павел готов был сплунуть на пол от досады, что в этот день ему в который раз попадало на язык имя этого царского генерала, засевавшего в Финляндии. Но в доме Ирины не плюнешь.

— Юденич? Не слыхивал, — ответил Илья.

— Теперь вот слышь! — Павел встал из-за стола. — Я пойду, пожалуй. Спасибо за ужин, за любовь и ласку.

— Снова на несколько месяцев пропадешь?

Илья тоже поднялся со стула, осоловевший от водки, добренький, еще более мягкий. Павел смотрел в его глаза и чувствовал, что тоже добрееет. Он любил брата, но столько, как от себя, от него не требовал. Пусть Илья будет таким, как есть. Пусть он не большевик, большевиков пока и не очень много в России. Нет, нет, не все, далеко не все в ней большевики. И не обязательно Илье быть большевиком. Но Илья — человек честный, душевный, и пусть он остается таким.

— Куда же ты пойдешь, Павел? — спросила Ирина. — Поздно же. На улице небезопасно. Вчера в Прядильном, недалеко тут, за углом, стреляли.

— Что ты говоришь! — Павел улыбнулся. — Из пугачей, наверно.

— Нет, очень сильно стреляли. Из настоящих.

Павел обнял брата, опять приложился к прохладной щеке Ирины, под стук и бряк замков и задвижек за своей спиной спустился по лестнице на улицу. Автомобиль, на котором приехал сюда, он отпустил. За поздним временем уже и трамваев, конечно, не было. Предстояло проделать длинный пеший путь или по Садовой, или по набережной Фонтанки до Невского, а оттуда уже и до Смольного, где Благовидов не только работал, но и жил, как жили там многие, подобные ему бобыли, не имевшие ни семей, ни квартир в отвоеванном ими у старого режима красном Петрограде.

Он решил пойти по Фонтанке: меньше разьежено, нет колеи в снегу, в которых то и дело будешь оступаться.

Свернул с Прядильной улицы в Прядильный переулок, подходил было уже к набережной, как из подъездов, в полном мраке, загрели выстрелы. Прижался к стене дома, вытащил из кобуры наган, дважды ударил туда, вперед, на звуки чужих револьверов. Торопливо затопало несколько пар ног, и стихло. И тогда там, впереди, Благовидов услышал стон. Осторожно двинулся к тому месту. На снегу перед ним, привалясь к сугробу, корчился человек.

#### 4

Отвечать на вопросы раненый смог только через несколько дней. Пуля крупного калибра пробита ему бок. Не задев легкое, она все же сломала два ребра и, выйдя наружу, застряла в стеганой толще солдатского ватника.

Пришлось сделать операцию, и врач распорядился не слишком беспокоить больного. Благовидову же не терпелось его порасспросить. Тогда, на снегу Прядильного переулка, он сквозь хрип и кашель услышал от ранено-

го лишь с пяток слов: «Саттана пергеле!.. Токнали, распойники... все-таки упили...» По этому «все-таки упили» нетрудно было догадаться, что, во-первых, это был финн или эстонец, а во-вторых, что за ним почему-то гнались, и те, кому это было надобно, его все-таки настигли.

Через четыре дня дежурный фельдшер на вопрос по телефону о состоянии оперированного ответил: «Говорить может». Благовидов тотчас позвонил в ЧК, своему товарищу по охране Смольного первых дней революции и по знаменитой комнате Осокину, сказал, что заедет за ним на автомобиле.

Пока автомобиль шел по Суворовскому до Старо-Невского, пока пересекал Знаменскую площадь у Николаевского вокзала и катился дальше по Невскому, Благовидов раздумывал о раненом, о возможной его истории. Вызвав тогда представителей домовых комитетов из ближайших домов переулка, он с их помощью доставил раненого в госпиталь и, пока того готовили к операции, сообщил в ЧК Осокину. Осокин тоже прибыл в госпиталь. Старательно, по мелочам, подпарывая подкладку ватника, простукивая каблуки и подошвы его тяжелых, прочных ботинок не то австрийского, не то американского образца, он исследовал всю одежду неизвестного, все оказавшиеся при нем предметы.

Собственно, никаких особых предметов у него и не было. Зажигалка, сделанная из винтовочного патрона, кожаный, истертый в карманах кисет с табаком, написанная от руки бумага, которой удостоверялась личность некоего Матвея Сидоровича Бабашкина, — вот, в общем-то, и все. И ни Благовидов, ни Осокин не заинтересовались бы этим человеком, если бы в карманах у того не оказалось еще одной измятой бумажонки, на которой острыми, нерусскими буквами было нацарапано что-то вроде адреса — слова и цифры. В ЧК установили, что написано по-эстонски, и что это действительно адрес — нерусское, эстонское, трудно произносимое название улицы и номер дома. А где, в каком городе, и кто живет на той улице, в том доме? Об этом мог рассказать лишь он, раненый.

Осокин, высокий, тонкий, затянутый широким ремнем поверх желтой кожанки, легко вспрыгнул на подножку, когда автомобиль поравнялся с домом № 2 по Гороховой улице. На слегка скуластом лице Осокина весело светились большие черные глаза.

— «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» — продекламировал он, устраиваясь рядом с Благовидовым.

Благовидов знал страсть Осокина приводить в подходящих случаях строчку-две из того или иного стихотворения — как бы эпиграф к тому, что он затем скажет или сделает, или послесловие к уже сказанному, сделанному, происшедшему. Осокин был рабочий парень, слесарь, и хороший слесарь, не погрязший в пьянках и гулянках, как случилось со многими фабричными от уныния и серости их трудной жизни. Он ходил в вечернюю школу для взрослых, которую престарелый энтузиаст-учитель учредил в деревне Автово, неподалеку от Путиловской верфи, где работал Осокин, нахватался разных знаний и, чувствуя, что идут они в пестрый разнобой, чтобы как-то привести их в порядок, читал подряд все попадающиеся под руку книги, оттого разнобой еще больше увеличивался, но и знаний прибавлялось. Оба они, Благовидов и Осокин, хорошо знали и биографии и характеры друг друга: времени и возможностей для такого взаимного узнавания у них, когда они охраняли правительство в Смольном, когда разоружали контриков, ходили обыскивать и арестовывать врагов нового строя, было достаточно. Осокина четыре раза ранили — три пули и удар ножом. А однажды даже сбросили в лестничную клетку с третьего этажа, прямо через перила.

Зайдя в вестибюль госпиталя и увидев там медицинскую эмблему — бронзовую чашу и бронзового змея над ней, высунувшего раздвоенный язык, — Осокин сказал: «Гробовая змея, шипя, между тем выползала».

По просьбе Благовидова и Осокина два тощих, хмурых санитаров прямо вместе с железной узкой койкой и плоским, как блин, проржавевшим матрацем, из которого по коридору сеялась истертая людскими боками серая солома, перетащили раненого из общей палаты в отдельную пустую комнату.

— Ну как, гражданин Бабашкин, узнаешь меня? — спросил Благовидов, присаживаясь на стул возле койки. — Они бы, те громилы, тебя все прикончили, не подоспей я. Как думаешь?

Раненый поморгал короткими белесыми ресницами.

— Сапыл, совсем сапыл, извиняюсь. Но если вы тот, кто меня выручил, спасибо вам, поклон вам.

— Во, видишь, пуля! — Осокин подал ему примятый кусок свинца в никелевой оболочке, который был найден при осмотре ватника. — Здорово тебя этой штукой прошили. Кто же они, ты знаешь?

— В тот раз, — добавил Благовидов, — вы говорили только одно: «убили все-таки» и еще что-то вроде вашего национального ругательства. Значит, вы их знали, значит, они догоняли вас, так?

— В общем, — Осокин пошел напрямик, — говори, дорогой приятель, все как есть, не вилай, не старайся уйти от карающей руки народа, если ты наблудил, а если честный человек, не запутывай дело. Все равно мы тебя насквозь просмотрим, всю твою душонку перетряхнем. Кто ты есть? И кто те гады, которые в тебе такую дырку сделали? Говори, не заикайся и не шепелявь. Мы из чека.

Раненый дернулся на койке, скривил и без того морщинистое маленькое личико, тихо, скуляще простонал, и из глаз его побежали слезы.

— Чего же меня в чеку-то? Не упивал никого, не грапил. Кормил людей, от гипели спасал.

— Ну-ну, как спасал, как кормил? — Осокин, все время стоявший возле койки, тоже взял стул, подсел поближе. Благовидов отстранился, дал ему место.

— Опыкновенно. Продовольствие из теревни в Питерпурк доставлял. На своем горпу, своими руками. Конечно, против сакона это, спекуляция. Но разве я спекулировал? Возьмешь немного лишку, совсем немного. Но это же на своем горпу-то, своими руками!..

Спекулянт, обыкновенный спекулянт, могли бы сказать Благовидов с Осокиным и на том успокоиться и тем завершить дело. Этих типов, которые «на своем горбу, своими руками» тащили в голодный Питер картошку, свеклу, масло, мясо с хуторов Лужского уезда, из-под Новгорода, Пскова, Ямбурга, можно наловить столько, что даже бескрайняя Дворцовая площадь, если согнать их на нее, всех не вместит. Но ни у того, ни у другого из головы не выходил адрес, нацарапанный на эстонском языке.

— Откуда ты привозил продовольствие? — спросил Осокин, думая свое.

— Из Луги, с-под Гатчины, со Стругов Белых. Мужики там погатые. Их, если бы хоршо потрясти, они бы весь Питер могли кормить.

— Из Луги, значит? Так, — сказал Благовидов, — понятно. А с Булак-Балаховичем ты на хуторах не встречался?

— С каким таким Палаховичем?

Раненый явно не слыхивал о том, о ком его спрашивали. И спросил-то Благовидов его об этом совсем не потому, что предполагал короткое знакомство спекулянта с бывшим командиром кавалерийского красного полка, минувшей осенью перебежавшим в Псков к немцам, и ни на какие встречи его с Балаховичем не рассчитывал, поскольку Балаховича в Луге уже не было с прошлого ноября. Вопрос свой Благовидов задал просто так, на всякий случай, не зная, о чем бы еще спросить. Но Балахович оставил по себе такую память в лужских деревнях, что, будучи в Луге и под Лугой, совершенно невозможно было не услышать о делах беглого кавалериста. И если раненый о нем не знал, значит, врет, что бывал в Луге.

— Какого? — сказал насторожившийся Осокин. — А вот такого. — Из кармана кожанки он вытащил увесистый кольт.

Глаза раненого полезли из орбит.

— Все скажу, все, все как есть. Не упивайте!

— Ну, ну, говори, слушаем. И про адресок этот сообщи без вранья. — Осокин показал ему клочок бумаги с эстонской записью. — Ты кто же, финн или эстонец? По-какому писать-читать умеешь?

— Финн я, финн. Только и по-эстонски говорить могу, товарищи военные, — лепетал раненый, не отводя ошалелых глаз от пистолета. — Все, кто из чухонцев, из петроградских финнов, все снают не только по-фински, снают они и по-эстонски.

— Так бы и говорил сразу, что не Бабашкин ты вовсе, а Бабалайнен, наверно, и не Матвей, и не Сидорович, а Матти-Сютти какой-нибудь.

— Не Бабалайнен, товарищи военные. Хамелайнен! А уж что Матти, это верно, совсем верно. Матти, Матти! Откуда вы только уснали?

— А мы все знаем. — Осокин дунул в ствол колты. — Так вот тебе и говорят, какой Балахович. Такой, который вытаскивает пистолет, как я показал, и, ни слова не вякнув, пулю в лоб человеку всаживает. А ты о нем и не слыхивал. — Он засунул пистолет обратно в карман. — Значит, что?..

— Сначит, так. Не бывал я в Луге, нет, не бывал. Другая у моя дорога, совсем другая. В Эстонию я езу за продовольствием, вот куда.

— Адресок этот, следовательно...

— Ревельский он, ревельский.

— Далековато ты, друг любезный, за картошкой ездешь. Опять врешь. — Осокин сунул руку в карман.

— А я не за картошкой. Не картошку вожу.

— Что же?

— Ценные товары, скажу по правде. Икру вожу, водку, консервы -- сардины, шпроты...

— Сигары возишь, сигареты, «Реджину», сукин сын?

Сказав это, Благовидов сам поразился тому, что вырвалось у него помимо его воли. Он ощутил холодок в теле от нечаянно явившегося предположения. Да уж и так ли нечаянно оно явилось?

Мысль его сама проделала необходимую работу; сведя воедино два нападения в Прядильном переулке — сперва на него, на Благовидова, которого, конечно же, приняли за другого, а сутки спустя и на того, кто лежал сейчас на госпитальной койке, мысль сопоставила их и с «настоящей водочкой» в графине, которую где-то у кого-то на что-то выменяли, и с папиросами, сигарами в ящичке карельской березы, и с консервами. Получалось нехорошо. Благовидов прикрыл лицо рукой.

— Ты что? — Осокин взглянул на него с тревогой. — Голова закружилась?

— С голоду кружится, с голоду, — подхватил тот, кого, хотя еще и не заверняка, но уже с большим основанием, чем Бабашкиным, можно было назвать Хамелайненом. — Как же не помогать людям, которые в таком положении?..

— Замолкни! — Благовидов зло отнял руку от лица. — Впрочем, говори. Затем мы и пришли, чтобы послушать тебя, Хамелайнен.

— Кто в тебя стрелял? — спросил Осокин. — Сообщники?

— Грабители. Они меня давно выследили и уже два раза обирали, когда я шел к своим клиентам. Они говорили тогда, что отпускают живым с условием, что я буду с ними делиться. Половину себе, половину им. И верно, в первый раз взяли ровно половину. Во второй раз я хотел их обмануть: сигареты, сигары, все, что подороже, рассовал по карманам, оставил в коробе одни банки с консервами. Так что же вы думаете? Обыскали, общупали всего и очень избили. Как живой остался? А вот уже и в третий

раз... Уйти от них хотел, пежать пустился. Упили, саттана пергеле, распойники! И короб унесли.

— Интересно, интересно. — Осокин нетерпеливо заерзал на стуле. — Туда, в Ревель, поставщикам-то своим ты что, какие денежки приносишь за товары? Керенки, что ли, николаевские? Кому этот бумажный хлам нужен в тех краях, ну-ка объясни?

— Объясню, все объясню. Врать больше совсем не буду, — решился Хамелайнен. — Золотом беру я в Петрограде, брильянтами, другими камнями. Не деньгами, нет.

Он принялся подробно рассказывать Осокину про валюту и пересчет на нее драгоценностей. Благовидов улавливал только обрывки их разговора. До боли в голове, которая и в самом деле тошнотно покруживалась, он думал о сигарах «Реджина», и перед ним было при этом красивое лицо Ирины, возникали ее неулыбчивые темные глаза в черных ресницах. Рядом же вставал ни черта не ведающий ни о чем, что не касалось его мостов, добрый Илья с простоватой, дружелюбной улыбкой.

Думы Павла были мучительны, как тупая, стойкая зубная боль. Кинуться бы к врачу. Но кто врач в таком деле? Да к тому же, не проверив, разве можно поднимать шум? А проверив? Ах, Илья, Илья... Может быть, все это еще и глупость, случайное совпадение, здание, построенное на песке. И, может быть, никакой не Хамелайнен лежит тут на госпитальной койке, и все, что говорил он только что, может стать его очередным враньем?

— Маршрут-то?.. — снова стал он различать смысл слов Хамелайнена. — И как все делается?.. Вот так примерно. На быстрых конях... У эстонцев кони рысистые, сильные... Гоним на этих быстрых конях закупленный в Ревеле товар по лесным дорогам от хутора к хутору. Достигаем реки Наровы, потом переправляемся через реку Плюссу, северо-восточнее Гдова. От Гдова движемся просеками на Осьмино или на Ляды... Если на Осьмино, то оттуда — к Волосову, а дальше к Ропше. Если к Лядам — от них на Гатчину. А от Ропши или от Гатчины на чухонских подводах с навозом. Навоз-то круглый год ингерманландцы возят петроградским огородникам. Под навозом ящики с добром и схоронены. Надежно ему там. Кто же в дерьмо полезет рыться? А уж на огородах, на окраинах Петрограда, — тут проверки совсем никакой.

— Слушай, Хамелайнен, — сказал Благовидов, когда тот закончил рассказ о спекулянтских маршрутах. — Значит, ты бываешь в Эстонии...

— Всю ее прохожу от востока до запада и обратно.

— Белых офицеров там встречал?

— Как же, как же! Тысячи их там, тысячи! Офицеров, генералов! В одном Ревеле ой-ей-ей сколько! «Боже, царя храни» поют в ресторанах. А уж в деревнях, которые вдоль Наровы да Плюссы, там они прямо войском стоят. К вам, советским, попадешься, сразу в каталажку тебя. А к офицерам попади — все отберут. Откупаться приходится. Дорогое дело.

Хамелайнена оставили в госпитале, но возле дверей его палаты назначили красноармейский пост. Осокин взялся подумать, как изловить тех, кто нападал на спекулянта с такой четкой последовательностью. Его интересовали еще и адреса людей, которых Хамелайнен называл «клиентами», — жителей Петрограда, бравших ревельские товары в обмен на золото и драгоценные камни.

Благовидова занимал и иной вопрос. Мысль о том, что Ирина связалась со спекулянтами, не отпускала его ни на минуту. Но эта тягостная мысль не могла заслонить для него главное. Он говорил себе, что нельзя не воспользоваться связями Хамелайнена, его спекулянтскими явками для разведки в Эстонии, среди накопившихся там белых войск. «Тысячи, тысячи», — утверждает Хамелайнен. И он, несомненно, прав: именно тысячи. После того как в ноябре красными частями был занят Псков и когда немцы

ушли в Курляндию, сформированный ими из русских так называемый Северный корпус поступил под командование эстонского генерала Лайдонера, и ныне — Хамелайнен сказал правильно, это известно военной разведке — части белогвардейского корпуса стянуты к границе. Там же находится и помянутый изменник Булак-Балахович с его кавалеристами.

Павел Благовидов хорошо знал историю этого бывшего ротмистра. Недавно он выезжал в Лугу с комиссией, которая расследовала злодейские дела так называемого полка Булак-Балаховича.

Началось это с год назад, когда Балахович, сколотив партизанский отряд, действовал против немцев под Псковом. Красных войск было тогда еще мало, каждая часть, пусть небольшая, пусть плохо организованная, бралась на строгий учет. А тут кавалеристы! Как было не ухватиться за них? Отряд Балаховича послали в Лужский и Гдовский уезды для борьбы с контрреволюционными кулацкими выступлениями. Засверкали сабли, загремели выстрелы. Боролся Балахович будто бы против кулаков, а получалось так, что терроризировал все трудовое крестьянство: и бедняков и середняков, ничего общего не имевших с контрреволюцией. Отряд, переименованный в полк, действовал от имени Советской власти, а настраивал людей против нее. Когда люди слышали за околицей топот конницы, в деревнях начиналась паника. Прятались в подполья, запирали двери, убегали в лес. Но ничто не могло спасти от балаховцев. Павел Благовидов наслушался рассказов о том, как ловили крестьян, как секли их, вешали на сельских березах; при свете пожаров каратели пили, обжирались, насиловали баб и девок, и все это, получалось, совершала Советская власть. Сам Балахович был жесток до садизма. При этом он изображал из себя батьку, по типу тех, которые водились некогда в Запорожской сечи, поминал, случалось, Тараса Бульбу, говаривая: «Ну, сынки мои!..» Батька да и только! Форменный Бульба. С той разницей, что войной он шел не против захватчиков-ляхов, а против небогатых, изнуренных трудом мужиков Петроградской, Новгородской да Псковской тощих землями северных губерний.

Слухи обо всем, что творил «батька», доходили до Петрограда. Там задумывались над его похождениями, не раз уже решали, что надо покончить с балаховической вольницей, а главное — и с ним самим. И каждый такой раз его спасал, выгораживал председатель Реввоенсовета республики товарищ Троцкий. Нельзя, мол, трогать Балаховича. Это ценный военспец. Таких Советская власть обязана беречь.

К осени минувшего года уже не стало никаких сил терпеть выходки «спеца». Чтобы его арестовать, из Петрограда выехали чекисты. Но предупрежденный кем-то Балахович вывернулся из их рук. Когда чекисты прибыли в Лугу, он уже был на пути в Псков, занятый немцами. Возле станции Торошино его отряд пересек линию немецких войск.

Позже вместе со всей белой сворой Булак-Балахович тоже оказался в Эстонии, хотя ни в чье подчинение отдать свой отряд не пожелал, стремился держаться особняком. Он уже не был ротмистром. Полковник фон Неф, командующий корпусом, за действия при оставлении Пскова пожаловал ему чин подполковника.

Итак, Северный корпус, итак, конники Балаховича, — не раз размышлял Павел Благовидов. Из кого же еще, из каких формирований состоят белогвардейские банды за Плюссой и Наровой, за Чудским и Псковским озерами? Разведка получила сведения от перебежчиков, что белые начальники — полковники Родзянко, Неф, Дзерожинский — стоняют в батальоны и в полки рыбаков с Талабских островов, включают в свои части разгромленные отряды и отрядики, солдат и офицеров, переброшенных из Латвии, из войск Бермонта-Авалова, кого-то везут из Польши и из Германии, очевидно, русских, находившихся там в лагерях для военнопленных.

То, что делается в каких-нибудь ста пятидесяти — двухстах верстах от Петрограда, не может не заботить Павла Благовидова, который по роду

звоних партийных обязанностей ведет организаторскую и политическую работу в красных войсках. В последнее время ему неоднократно приходилось слышать, как партийный и государственный руководитель Петрограда, всей Северной области, состоящей из восьми немалых губерний, Зиновьев утверждал: на Питер никто не поперет, силенок не хватит, Питер в сторонке, на окраине, взятие его белыми ничего не решит, да и взять его силами войск, собранных в Эстонии, невозможно.

Кто прав? Вообще-то верно, Петроград слишком велик, чтобы его смог взять с боем армия, скажем, в двадцать — тридцать тысяч войск. А большего у белых за Наровой, видимо, нет.

В одну из минут таких сложных раздумий Благовидову позвонил Осокин.

— А знаешь, чей адресок среди прочих назвал Хамелайнен? Даже и не подумаешь!

Но Благовидов подумал. К сердцу подступила сосущая тоска. Он знал, чей адрес назовет ему Осокин.

— Чего молчишь? — говорил тот. — Родного твоего брата, инженера. Он сказал, правда, не про самого брата. Его, утверждает, и в глаза не видывал. А супружницу братову. Ее как зовут?

— Ириной, — ответил Благовидов. Голос у него звучал нехорошо, нетвердо. Он это чувствовал.

— Точно! Ирина Владимировна. «И это все, что я любил», — продекламировал Осокин в телефонную трубку.

Благовидов попытался вспомнить, откуда такие строки, и не смог. Он не разделял веселья Осокина. Ему было тяжело.

— Что же ты будешь делать? — спросил он все так же нехорошо и нетвердо.

— С Ириной-то Владимировной? А что с ней делать? Думаю, что ничего. Таких мадамочек в Питере разве одна? Человек шамать хочет. Простим ему. Тем более, что кормит она — ты вот этого не рассказываешь своему товарищу, я должен сам все узнавать, — кормит она ценного советского специалиста. В Петросовете о нем очень хорошо отзываются. Политически грамотный, хотя и беспартийный. Так что вот, нечего с ней делать. Но ты при случае устрой ей встрепку, да покрепче. Чтобы, как говорится, «шумела буря, гром гремел, во мраке молнии блистали».

## 5

Выйдя из дому, Илья Благовидов свернул на Английский проспект. Ирина не любила отпускать мужа по вечерам, но он сказал, что ему совершенно необходимо встретиться с одним из его учителей и наставников, с профессором Завадским. Завадский знает мосты Петрограда, как свою собственную квартиру, а их решено к весне, к ледоходу, основательно проверить, и вот ему, ее Илье, надобна консультация Завадского.

Он обогнул церковь Покрова на площади, пересек Екатерининский канал и выбрался на прямую, длинную Офицерскую. Перед Крюковым каналом, наискось от Маринского театра, громоздились в сумраке башни и стены Литовского замка — огромной тюрьмы, сожженной народом в дни февраля. Мимо этих не охраняемых домовыми комитетами развалин прохожие старались проскочить побыстрее, не мешкая: притом, что в революционном городе поддерживался строгий порядок, в этом мрачном месте, случалось, грабили, избивали, а то и убивали. В развалинах проходим чудились шорохи, голоса, и даже сама тишина в черных проломах окон пугала.

Прибавил шагу и Илья. За мостом, так же как было до революции, стояла круглая афишная тумба; пестрые афиши оповещали петроградцев о балетных и оперных спектаклях Маринского театра на ближайшую неделю; названия спектаклей были знакомые, дореволюционные. Разница с про-

шлым заключалась, может быть, лишь в том, что сами-то афишки из-за недостатка бумаги печатались на небольших, тесно заполненных буквами листках, да и бумага их напоминала скорее оберточную.

При виде афиш Илья не мог не подумать об оставшейся дома Ирине, о том, как любила она ходить в театры: и сюда, в Мариинский, и в Александринку, и в те, что на Фонтанке, на Михайловской площади, в Пассаже. Да, любила его женушка, бывало, покрасивей нарядиться перед театром, сделать строгую, но эффектную прическу, надеть чудесные бриллиантовые серьги, которые в день свадьбы ей подарил ее отец, всякие полученные от отца же в дни именин, к рождественским и иным праздникам кулончики, браслеты, кольца. На жену инженера Благовидова засматривались, и так засматривались, что Илье те отнюдь не платонические рассматривания казались порой до того нахальными, что даже при его миролюбивом характере он и то порывался подойти к тому, кто был особенно нахален, и смазать по физиономии. Но его всегда удерживала Ирина, взволнованно шепча: «Не будь мужиком. Это несовременно, Илюшенька. Сейчас не каменный и даже не девятнадцатый век. Нельзя, нельзя, слышишь!»

«Беденькая Иринушка моя, — раздумывал он, переходя Мойку через Поцелуев мост. — Сколько тягот на тебя, нежную, избалованную, свалилось!». Она так грустит по Лялечке, испытывает столько невзгод и трудностей! Илья подумал о том, что хорошо бы пойти с нею в театр, пусть развлечется и отвлечется. Театры, как известно, не отапливаются, надо будет сидеть в зимних, давящих одеждах. Что ж, ничего, можно немного и позябнуть. Если знаменитый Шаляпин способен петь в такую стужу, то слушать тем более можно.

Выйдя на Морскую, где патруль проверил его документы, выданные Петросоветом, он тротуаром прошел возле бывшей военной гостиницы, гостиницы «Астория», в которой ныне живут партийные и советские руководители, в том числе и всесильный Зиновьев; затем миновал «Англетер». А там вот уже и улица Гоголя, вот ресторан Соколова, поблизости от которого в неказистом с виду пятиэтажном доме квартира Завадского. В многочисленной толпе гостей институтский профессор тоже присутствовал на свадьбе Ильи с Ириной, и именно здесь, в ресторане Соколова, который в те довоенные времена носил название «Вена».

Илья задержался перед входом, над которым еще осталась вывеска ресторана, широко, чуть ли не во весь этаж, выведенная четкими простыми буквами. Но вход был заколочен, стекла в дверях powyбиты.

Многое, очень многое вспомнилось Илье перед этими заколоченными дверями...

Для свадьбы дочери, страстной театралки, Иринин отец выбрал именно «Вену», где, как было известно в Петербурге, собирались громкие столичные знаменитости из мира литературы, театра, искусства. Богач намерен был абонировать весь ресторан целиком, со всеми залами, кабинетами, буфетом. Но хозяин не прельстился громадным кушем: угловую, так называемую «литераторскую», залу он и на тот вечер оставил за своими постоянными гостями.

— Не можно, уважаемый Владимир Евграфович, никак не можно, — почтительно, но с достоинством ответил он миллионщику. — Гордость России в том зале собирается, большие люди. Придут, скажем, отобедать или отужинать господин Куприн или господин Шаляпин, а мы их возьмем и не впустим? Что получится? Нет, нет, увольте.

В день свадьбы к столам, на которых было все, что только способен пожелать и придумать человек себе в пищу, и которые празднично сверкали хрусталем в серебре, молодые и их гости прибыли на рысаках, в лакированных колясках. Коляски запрудили улицу — ни пройти, ни проехать. Собралась толпа. Глазели, вслух высказывались о женихе, о нем, Илье Благовидове, о невесте, о его Иринушке. Встречали их тут, в вестибюле, и

сам хозяин Иван Сергеевич, самодовольно оглаживавший аккуратную адвокатскую бородку, и даже его дородная супруга Татьяна Петровна в расшитом платье из лилового бархата. Гулялось весело, очень весело. Иринушка, молоденькая, тоненькая, сияющая, была настоящей царицей дня. Хозяин ресторана раскладывал перед нею альбомы, книги записей. Позже она часто захаживала сюда с Ильей, чтобы из них, из этих альбомов, выписать самое интересное, приглянувшееся, и постепенно почти все переписала в свой альбомчик.

В тот зал, где справлялась свадьба, дабы взглянуть, как веселится кулечество, засматривали, проходя, люди, о которых Павлу с Ириной вполголоса сообщал хозяин:

— Господин Аверченко. Юморист. Леонид Андреев. Знаменитость. Огромный талант. А это господин Мандельштам. Стихи пишет.

В самый разгар веселья, когда уже были сказаны необходимые тосты, провозгласили молодым «много лет» и гости разбились на компании и группки, в зале появился высокий, тощий малый с довольно бессмысленным, но нахальным взглядом.

— Люди! — вскричал он. — Внемлите! — И повел рукой так, будто делал гипнотические пассы. — Мир вам! Смысл не в вине, нет, господин Блок грубо ошибается. Всякий смысл только в любви, в нежности друг к другу. Нежность, нежность! Больше нежности!

— О, это правда! — шепнула Ирина, незаметно для других прижимаясь к нему, к Илье. — Он прав. Кто он?

— Это, — ответили ей, — двойник Игоря Северянина. Его тень. Фамилию носит вроде Пупсикова или Мопсикова, но в афишах называется и свои вирши подписывает именем Вадима Лужанина. Лужанин — Северянин, Северянин — Лужанин.

— Дайте мне умбры завинченный тюбик! —

продекламировал поэт, стараясь перекрыть застольный шум.

На него обернулись.

Я нарисую сердце любимой.  
К чему мне ваш в тысячи раз

приумноженный рублик?

Не продается поэтово имя!

— Смелый какой! — снова зашептала Ирина, склоняясь к Илье.

Поэт заметил ее восторженно сияющие глаза. Устремил к ней простертые длинные руки. Закричал уже другое:

Не ходи в золоченые клетки,  
Обитай в полудиких дубравах.  
Ты и я, мы, не правда ли, дети?  
Нам пасть на нетоптанных травах.

Илья, побледнев, поднялся. Он усмотрел нечто оскорбительное в декламации «второго Северянина», и, несомненно, быть бы скандалу, если бы хозяин ресторана, многоопытный Иван Сергеевич, не поспешил ухватить декламатора под локоть и не увел его в глубь своих кабинетов, откуда поэт уже не появлялся. А Илью кое-как успокоили гости, уверяя в том, что юный стихотворец, говоря языком народа, давно «в доску», «в дребезину», «в стельку» и не соображает поэтому ни «мур-мур».

— Да, — чуть ли не вслух сказал себе Илья, вспомнив восьмилетнюю давность перед входом в мертвый, некогда полный жизни ресторан Соколова. — Где вы теперь, Иван Сергеевич?

Завернув в Гороховую, он нашел нужный ему вход и стал медленно, держась рукой за стены, подыматься по темной лестнице к квартире Завадского.

На звонок отворил сам профессор. Был он в белой сорочке с расстегнутым воротником, в синих подтяжках; седые волосы не приведены в порядок.

— Илья Андреевич! — воскликнул он. — Заходите, заходите, дорогой мой! Добро пожаловать! Правда, все так неудачно. Второй день в доме нет жены. Пропала, видите ли. Черт знает что! Не в том возрасте, чтобы амуры крутить. Беспокоюсь. Заявил куда только можно заявить в наше время. Даже в чеку. Что творится в «новой России»!

Чертыхаясь и довольно вяло возмущаясь, он ввел Илью в столовую, где за столом перед бутылкой коньяку и двумя рюмками грузно сидел незнакомый Илье человек во френче.

— Инженер Благовидов,— представил ему Завадский Илью. — Прекрасный инженер, растущий. Тоже, как мы с вами. Сергей Сергеевич, пугает. — Он назвал и незнакомого: — Комиссар северного правительства товарищ Багловский.

— Северного правительства? — переспросил Илья.

— Ну, нашего Совета комиссаров,— видя его недоумение, поспешил объяснить Завадский.— Так сказать, рабочий термин — «правительство Севера». Это же действительно так. Мы же оторваны от Москвы. Москва занята своими делами. А Петроград...

— Вы большевик, товарищ Благовидов? — Багловский смотрел на него тяжелым, утомленным взглядом из-под приспущенных опухших век.

— Нет, беспартийный.

— Я вас спрашиваю об этом потому, что знаю одного большевика Благовидова. Он работает в Смольном. Молодой, но поразительно самоуверенный в своей непогрешимой правоте. Военными делами занимается.

— А может быть, он и в самом деле прав? — нахохливаясь, сказал Илья.

— Я не вдавался, прав он или неправ. Не в этом дело. Дело в том, что нельзя так демонстрировать свою правоту и постоянно напоминать о ней. Поймите...

— Понял,— сказал Илья.— Да, этот человек еще молод. Моложе меня на семь лет. Он мой брат.— Илья говорил с нескрываемым вызовом. Ему не нравилось, как Багловский отзывался о Павле.

Багловский же только кашлянул и отпил глоток из неполной рюмки.

— Илья Андреевич, а вы рюмочку как? — предложил Завадский. Илья в нерешительности пожал плечами.

— Превосходный коньяк. Можно сказать, для наших дней просто редчайший.— Завадский достал из буфета еще одну рюмку, наполнил ее из бутылки.

Отпив немного, Илья посмаковал, одобрил и осушил рюмку. Багловский с Завадским внимательно следили за ним.

Когда рюмка была пуста, Завадский сказал:

— А вы знаток, оказывается, мой друг, знаток! Видно сокола по полету.— Он налил Илье вторую рюмку. Илья не удержался, выпил и вторую.

— Извините. Но действительно коньяк превосходный.— Он смутился, почувствовав, что краснеет.

А те все так же молча смотрели на него. Завадский с любезной улыбкой: ничего, ничего, мол, понимаю. Багловский — по-прежнему тяжело, изучающе.

— Может быть, я помешал? — догадался сказать Илья.— Тогда я уйду. До другого раза. Мне хотелось по поводу невских мостов...

— Сидите,— остановил его Багловский.— Ничему вы не помешали. Любопытно с вами побеседовать. О вашем брате, например. Он может неважно кончить.

— Почему же?

— Он, как наши товарищи замечают, оппозиционер товарищу Зиновьеву, главе, вождю трудящихся Петрограда и всей области.

— В чем же это выражается?

— Ваш брат утверждает, что товарищ Зиновьев ведет сепаратист-

скую политику, идет на союз с чуждыми элементами. А кого ваш брат считает чуждыми элементами? Таких же революционеров, как и правверные большевики, но состоящих или состоявших в других политических партиях. Я был, например, эсером, да, да, левым эсером. До выступления моих однопартийцев в Москве и Ярославле, до отвратительных, всем известных террористических актов. После них я вышел из своей партии. Теперь я в партии большевиков. Ваш, простите за словцо, братец утверждает, что таким «переметным сумам» верить-де нельзя. А товарищ Зиновьев, соратник Ленина, представьте, верит. Товарищ Зиновьев — настоящий руководитель, с широтой большого человека, с размахом подлинного революционера. Я вам кое-что напомним...

Багловский вынул из кармана френча толстую записную книжку в зеленом сафьяне, полистал ее.

— Это я переписал с подлинника, полученного в свое время товарищем Зиновьевым. Читаю: «Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услышали в ЦК, что в Питере рабочие (слово «рабочие» подчеркнуто) хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не вы лично, а питерские цекисты и пекисты) удержали. Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим (это опять подчеркнуто) революционную инициативу масс, вполне (подчеркнуто) правильную. Это не-воз-мож-но! (Какова разбивочка на слоги!) Террористы будут считать нас тряпками. Время архивное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает». Последнее слово тоже выделено.

Багловский оторвался от книжки, взглянул в глаза Илье.

— Как вы думаете, кто это написал? Кто дал такую директиву? Ленин! Вот кто.

— Вы ее считаете неверной?

— Категорически неверной!

— А когда это было написано?

— Двадцать шестого июня восемнадцатого года.

— Двадцать шестого? Но это же такое предвидение! Поразительное, удивительное! — Илья даже поднялся со стула. — Через четыре дня после этого ваши эсеры стреляли в Ленина. Они убили Урицкого!..

— Попрошу вас, — глаза Багловского до краев наполнились холодом, — попрошу не раскидываться терминами «наши» и «ваши». Я член той же самой партии, повторяю, что и ваш брат. При чем тут предвидение! Простая случайность. А нежелание товарища Зиновьева давать волю так называемому красному террору — закономерность. С помощью террора и пули политику не делают. В политике убеждают, доказывают...

— Так вот, — перебил Багловского Илья. — Мне, человеку, который стоит вне всяких партий, доказали, да, да, доказали, меня в этом убедили, да, да, убедили, что срубить голову контрреволюции было необходимо. Товарищ Ленин тысячу раз прав! Иначе контрреволюция срубила бы голову революции. Не ваш товарищ Зиновьев прав, а Ленин, Ленин! Не ваш товарищ Зиновьев принял на себя ответственность за революционный переворот... Известно, что он боялся его, он выступал против него... А Ленин, Ленин совершил акт мужества, о котором и тысячу лет спустя после нас будут ходить легенды, как о подвигах Прометея и Геракла.

Впервые за весь разговор Багловский улыбнулся, отчего его взгляд не сделался ни добрее, ни мягче.

— А вы, товарищ Благовидов, говорили, что в большевиках не стоите.

— Я человек, согласный с революцией, со всеми произведенными ею переменами в стране. Вот кто я!

— Охо-хо! — Багловский откинулся на спинку стула. — А жертвы, жертвы!.. Где наша русская интеллигенция? Куда ее подевали? Вся она

или бежала из страны за границу, или казнена, или сидит по тюрьмам, ожидая казни. Верно говорил Александр Федорович Керенский: разгулявшийся хам полонил страну. С этим серым, портяночным мужичьем попробуйте-ка строить научно организованное социалистическое общество. Ну-ка! Они, вшивые, золотушные, убогие интеллектом, все загадили, все растоптали в нашей России хуже, чем творили батыевы полчища. «А детям скажете: в октябре семнадцатого года мы ее распяли», — нараспев прочел он строку из незнакомого Илье стихотворения. — Вот что сделано с Россией! Она распята, изнасилована.

Илья вспомнил свою Ирину, бегающую с ведерком за водой на соседнюю улицу, вспомнил развалины, виденные по дороге сюда, хмурые, холодные, грязные улицы бывшей «Северной Пальмиры», заключенную «Вену», сник немного и, как бы не желая вести спор дальше, сказал:

— И все-таки я пойду за Лениным, за революцией.

— А жертвы, души казненных, стоны арестованных, они вас разве не будут беспокоить на этом пути следования?

— Вы говорите о сентябрьских арестах и расстрелах?

— Именно.

— Кто же там был среди них? Кто? Генералы да офицеры царской армии, участвовавшие в тайных заговорах, великие князья из романовского дома, помещики и финансисты, хозяева крупной промышленности, министры Керенского, правые эсеры... Так разве же они смирились бы когда-либо с потерей былого? Разве их убедишь, переубедишь не заниматься контрреволюцией! Надо было таких изолировать, обезвредить. Этого требовала революция. Народ требовал, да! Нет, я пойду за Лениным.

— Не рассуждая, ничего себе не объясняя, так вот, вслепую?

— Да, да и да.

— Фанатик, значит?

— Пусть фанатик. — Илье надсел этот, по его мнению, тупой, неприятный человек. — На фанатиках, кстати, человечество немало прокатилось вперед в разные века своего существования.

— Но их, как правило, сжигали на кострах.

Завадский, молчавший во время спора, то и дело озиравшийся в глубь квартиры, словно бы он ожидал оттуда чего-то, — может быть, появления исчезнувшей жены, — сказал при этих словах:

— К чему о кострах? Налью-ка я еще по рюмочке. Замечательный же коньячок. А что касается споров, то без них и жизни нет. Жизнь — борьба. И все живое рождается только в борьбе.

— «В борьбе обрешь ты право свое!» — вспомнил Илья девиз партии эсеров.

— А вы похожи на своего брата. — Багловский встал. — Тому, кого вы изволили определить себе в противники, пощады от вас не будет. — Он взглянул на часы. — Ну, будьте здоровы. Автомобиль мой пришел в девять. А сейчас половина десятого. Шофер, наверно, озяб.

Они с Завадским вышли в прихожую. Илья, не зная, как ему быть, остался в столовой.

Хозяин и его высокий гость шушукались долго. Потом хлопнула дверь, и Завадский, потирая руки, вернулся в столовую.

— Теперь мы можем свободно вздохнуть и выпить еще по рюмочке. Терпеть не могу всяких этаких высокопоставленных. Но что поделаешь? Багловский ведает путями сообщения в «северном правительстве», на которое вы так накинулись, Илья Андреевич, а я, как вам известно, служу по этому ведомству, лицо, следовательно, подчиненное. Вы, строго говоря, тоже в известной мере путеец. Такова планида.

Илью удивляло, почему, сказав при встрече об исчезнувшей жене, Завадский больше о ней даже не упомянул. Он представил себя на месте Завадского. Что творилось бы с ним, с Ильей, если бы пропала Ирина? Обегал бы весь город, всех бы, кого можно, поднял на ноги. И развс

смог бы он вот так спокойненько сидеть, потирая руки, перед рюмкой коньяку?

Ему подумалось, что разговора уже не будет ни о мостах, ни о чем другом, да и время позднее, Ирина начнет волноваться.

— Пойду и я, пожалуй, — сказал он.

— Нет, нет! — удержал его Завадский. — Все, что вам надо, пожалуйста. Я к вашим услугам. Мосты Петрограда? Их разводные части? О! Перед самым большевистским переворотом я делал доклад Временному правительству. Сейчас!.. — Он принес из кабинета рукопись, переплетенную в папку. — Вот он, тот доклад. Существует, кажется, всего в пяти экземплярах. У меня только один. Но я вам его доверяю. Можете унести с собой. В нем вы найдете все, что вам необходимо. Берите, берите. Да, да! — Пожимая руку Илье, Завадский все говорил: — Рад, дорогой Илья Андреевич, что зашли, что повидал вас, одного из самых любезных мне учеников, очень-очень рад. Только я, пожалуй, выпущу вас черным ходом, по другой лестнице. Парадную уже закрыли. Идите за мной.

Когда они проходили длинным, с двумя коленами коридором, Илья показалось, что в одной из комнат, за приоткрытой дверью, кто-то тихо, всхлипывая, плакал.

— Идемте, идемте, — поторопил Завадский. — Не ударьтесь лбом, притолока низковата.

Кое-как сойдя по узкой лестнице для дворников, Илья вышел во двор, заваленный снегом, мусором, разным хламом. Не зная, в какой стороне ворота, он остановился, озираясь, подняв голову к темному квадрату неба над двором, еще более темным, чем это ночное небо.

Почувяв торопливые шаги за спиной, обернулся. Его догоняла простоволосая женщина в накиннутой наспех жакетке.

— Барин, — тихо заговорила она, подойдя, — будьте добренькие. Нет ли места у вас прислуге? Без всякой платы пошла бы к вам жить. Плохо у нас в доме, барин, очень плохо.

— Позвольте, барышня, — сказал Илья, разглядев молоденькую девушку. — Прежде всего я никакой не барин. И не смогу я вам ничего сейчас ответить. Надо спрашивать мою жену. Делами в доме ведает она. А где вы живете?

— Да у Завадских же, барин. Барыня-то наша куда-то подевалась, и не второй день нету ее, как, слышала я, хозяин вам сказал, а уж полных две недели в бегах, и не заявил он про это никуда. И вот каждый божий вечер мужчины у нас, пьют, разговаривают. Это сегодня один только был. А то их, господи помилуй! Пристают в коридоре, целоваться лезут, тискают. Барин, я приду к вам, а? Без денег жить буду. Я ж не здешняя, я новгородская, из Старой Руссы. Куда ж мне туда, пешком, что ли, домой идти? Барин, приду, а?

Она так горячо и быстро говорила все это, что и Илью стала охватывать торопливая необходимость что-то отвечать, что-то делать.

— Как зовут-то тебя?

— Санька меня зовут, Санька. Александра, значит. Я грамотная, читать-писать могу. И сообразительная. Не пожалеете, барин.

— Ладно, ладно, Саня, уж так и быть, скажу тебе адрес. Писать тут в потемках невозможно, запомни.

— У меня память, что из железа, — скажи, ни вовек не выроню.

— Только смотри, если жена рассудит, что нельзя, мол, у нас, не обижайся на меня.

— Как же я посмею обижаться-то, как?

— В общем, запоминай...

Илья растолковал адрес, Санька указала ему дорогу к воротам и все шептала вслед:

— Завтра ж, завтра приду. Нету же сил никаких...

А Илья шел по улицам домой и раздумывал об увиденном и услышанном в этот вечер. Больше всего он удивлялся самому себе: как так решительно схватился с этим неприятным Багловским. В натуре Илья было заложено прочное начало не ссориться с людьми, не вступать ни с кем в непримиримые споры, стараться все сгладить, уладить. А тут... И в самом деле, вел он себя, как большевик, Багловский не зря сказал это. Что же произошло? Видимо, сильно он, Илья, обиделся за Павла. Да ведь и хорош гусь этот Багловский! Благовидов, видите ли, всегда прав, непогрешим, и это раздражает. А если человек действительно прав, почему он должен прикидываться неправым?

Таким, каким Илья был сегодня, он нравился самому себе и потому шел домой быстрым шагом, весело, снова думая о том, что непременно на днях пойдет в театр с Ириной.

## 6

Председатель Совета комиссаров Северной области Зиновьев катил по набережной Невы в сияющем лаком и металлических частями большом, длинном автомобиле с поднятым парусиновым верхом. Автомобиль был только что отремонтирован на одном из петроградских заводов; на каком, Зиновьев не поинтересовался. До таких мелочей он никогда не доходил, его принципом было охватывать жизнь и ее явления, так сказать, в целом, масштабно, всегда ощущая себя одним из вождей революции, а не хозяйственником, не таким бескрылым техником-практиком, с узким лбом и без вдохновенного полета мысли. Ленин, тот готов хвататься за все сам, способен рассуждать с каждым забредшим к нему мастеровым или крестьянином и на этих собеседованиях из единичных фактов строить выводы вселенского масштаба. К чему тогда специалисты, знатоки промышленного производства, экономисты, инженеры?

Зиновьев был в скверном настроении. Его не радовал даже роскошный вид отремонтированного автомобиля, о котором одни говорили, что прежде он принадлежал санитарному поезду Пуришкевича, другие же — что автомобиль был взят из гаража самого российского императора Николая II. Еще вчера Зиновьеву было приятно откидываться на кожаные спинки, которых касались лопатки бывшего самодержца. В этом он видел нечто глубоко символическое. Сегодня Зиновьев был хмур и раздосадован. Вчера он получил известие из Москвы о том, что так тщательно отобранное, взлелеянное им «северное правительство» Москва решила распустиť. Теперь конец Совету комиссаров, конец самостоятельности Петрограда, вновь все приберут к рукам Петроградский Совет, его исполком, президиум, отделы, полные упрямых, излишне резких, решительных людей. Опять не будет той подлинно государственной осмотрительной гибкости, которую медленно, но неотступно насаждал в Петрограде он, Зиновьев.

Чем там, в Москве, недовольны? Разве Петроград не сделал все возможное для фронтов все жарче разгорающейся гражданской войны, для разрушенного железнодорожного транспорта, для деревни? Он, Зиновьев, не крепок памятью на цифры, но кое-что вспомнить нетрудно. В первом полугодии 1918 года в Петрограде — именно тогда, когда тут еще заседал Совет Народных Комиссаров под председательством товарища Ленина, — все только разрушалось и продолжало разрушаться. Заводы превратились в толкучки, в скопища митингующих бездельников. Бывало, идет трудовой день, а они, побросав инструмент, покинув станки, яростно разглагольствуют. На работу приходят, когда вздумается, а то и совсем не приходят. Станки, машины ломались, выходили из строя, ремонтировать их никто даже и думать не думал, никто не заботился о сырье для заводов и фабрик, о топливе — кончилось все, ну и ладно, закрывай лавочку.

Мысль Зиновьева шла, скользила по этим этапам вполне правильно, ход событий и состояние дел в Петрограде он обозревал верно — именно так и было в первые месяцы после переворота. Но председатель «северного правительства» даже для самого себя умалчивал о том, почему же так было. Он не вспомнил ни саботажа чиновников и специалистов, ни той остервенелой противобольшевистской, противоленинской деятельности меньшевиков и эсеров, которые как раз и устраивали бесконечные, все дезорганизирующие митинги на заводах, вредные, злобные говорильни. Меньшевики и эсеры боролись тогда за власть, стремились перетянуть на свою сторону сотни тысяч питерских рабочих, доказывая им, что Ленин незаконно разогнал Учредительное собрание, незаконно захватил власть, незаконно вершит дела в стране.

Зато Зиновьев видел перед собою другое. То, как заметно стала налаживаться хозяйственная жизнь в Петрограде со второй половины минувшего года. Цифры? Да, цифры! Шестнадцать новых паровозов было построено на петроградских заводах с августа по декабрь. Сто двенадцать товарных вагонов. Сорок три гидроплана. Одиннадцать военных судов. Заводские мастера отремонтировали двести семь автомобилей, почти две тысячи вагонов, пять подводных лодок... Больше миллиона пар кожаной обуви изготовили питерские обувщики. В строй вернулось до восьми тысяч ткацких станков и до восьмисот тысяч крутильных и прядильных веретен. Пятьдесят видов продукции дает теперь петроградская текстильная промышленность. Кто же все это сделал, как себе представляют в Москве?

Автомобиль катился по Троицкому мосту. Нева лежала еще подолдом, но лед, чуя весну, уже набухал, насыщался водой и оттого заметно голубел.

Взгляд Зиновьева, рассеянно скользнув по загроможденным снегом набережным, по фасадам зданий вдоль Невы, зацепился за узорчатые минареты не достроенной эмиром бухарским мечети и наконец застыл на бывшем особняке Матильды Кшесинской, отыскивая знаменитый балкон, любимое место Ленина, с которого тот вел свои разговоры с народом весной и в начале лета семнадцатого, до того как вместе с ним, с Зиновьевым, ему пришлось прятаться от юстиции и палачей Временного правительства, от господина революционера Керенского.

Решение о роспуске «северного правительства» вынесено от имени Народного комиссариата внутренних дел, но лишь самый безнадежный глупец не поймет, что сделано это не только не без ведома Ленина, а по его прямому указанию. Виден знакомый почерк. Ленин не выносит ни малейшего «собственного мнения» в партии. Всем памятно, как в конце августа семнадцатого года он печатно, в газете «Пролетарий», обрушился на Каменева из-за того, что тот на заседании ЦИК выступил по поводу Стокгольмской конференции. Нет нужды вдаваться в существо этой «проработки». Было решение ЦК о том, чтобы не принимать участия в Стокгольмской конференции? Что ж, было. Но люди, из которых состоит партия, не машины, а именно люди, и старый товарищ Зиновьева Каменев на заседании ЦИК шестого августа высказался о Стокгольме так, как считал нужным, как думал. Господи ты боже, какие громы обрушил Ленин на беднягу! И прежде всего на оговорку Каменева о том, что выступает он от себя лично, что фракция этого вопроса не обсуждала. Ленин заявил, что такого рода оговорка придает выступлению Каменева «прямо чудовищный характер»: раз фракция вопрос не обсуждала, Каменев не имел права выступать; с каких-де это пор в организованной партии по важным вопросам выступают отдельные ее члены «от себя лично»?

Мысль Зиновьева старательно обошла то обстоятельство, что «от себя лично» Каменев выступил после того, как ЦК вынес решение, обязательное для каждого члена партии, и, следовательно, каждый член пар-

тии, если он не хочет поставить себя вне ее рядов, не имеет никакого права на «личные», особливые мнения и рассуждения. Иначе партии не будет. Иначе она превратится не в боевой, сплоченный авангард революционного пролетариата, а в говорильню для отдельных «личностей». Вот почему и негодовал тогда так Ленин.

Зиновьев себе об этом не сказал. Он уверился, что отлично, до мелочей в характере знает Ленина, он же достаточно наблюдал за ним и наслушался его в Сестрорецком Разливе, среди болот и сенокосов. Ленин, если наметил перед собою цель, ни перед чем не остановится на пути к ней. Это одержимый, это фанатик. В те трудные дни ежедневно, ежеминутно могли их обнаружить, схватить, отправить на виселицу. А что делал Ленин? Он разрабатывал структуру и принципы нового государства, государства народа, рабочих и крестьян. Мало того, уже готовился возглавить такое государство, ничего еще не имея для этого в руках, кроме нескольких клочков бумаги и огрызка карандаша.

Мысль Зиновьева обошла и еще одно обстоятельство: что у Ленина, кроме клочков бумаги и огрызка карандаша, было кое-что и другое, и весьма-таки немаловажное. У него была партия большевиков, над созданием которой Ленин работал два долгих десятилетия, была ясная, четкая революционная теория Маркса, были народы России, измороженные самодержавием, помещиками и капиталистами, прихвостнями старого строя, вошедшими и в новое, якобы революционное Временное правительство и насаждавшими те же антинародные порядки.

Это все Зиновьев отбросил, не хотел помнить ни о чем, кроме клочков бумаги, испещренных стремительным, острым почерком Ленина.

Непросты были отношения Григория Зиновьева к революции, к партии, к Ленину. Он не подвергал их анализу, не копался в себе, ничего такого не формулировал и ничто подобное не смог бы вот так, запросто, изложить на бумаге. Это пребывало в нем, как смутная туманность, невидимо пронизывающая все его существо.

Революция, партия, подполье, эмиграция, кружки, нелегальные газеты? Это увлекает, захватывает, заполняет собою жизнь, дает пищу чувствам. Прекрасны нескончаемые внутривнутрипартийные и межпартийные споры, дискуссии, в которых оттачивается мастерство ораторской находчивости, мастерство импровизационной аргументации, умение на удар словом ответить еще более сильным словесным ударом. Пребывание в партии было, конечно, небезопасным, очень легко терялась свобода — тюрьмы, ссылки; нередко терялись и головы — петля или пуля. Но партия и берегла своих работников, поддерживала их, укрывала от шпиков, в особо острых случаях отправляла за границу, в эмиграцию. Зиновьев не видел интереса в кропотливой, будничной, неимоверно трудной партийной практике. Зато с головой он бросался в обсуждение фактов этой практики, — отвергать, критиковать сделанное другими, взамен рекомендовать, предлагать свое, конечно же, более правильное, чем сделанное или предложенное другими. На все он имел свою собственную, особую точку зрения. Его недооценивали, в этом он был уверен. Это его раздражало, злило, приводило порой в бешенство. Да, он не был согласен с Лениным по вопросу захвата власти, за что его предавали позору. А кто мог тогда представить себе большевиков во главе страны? Он не видел среди них достаточных сил и не видел личностей, способных управлять одной из крупнейших стран в мире. Он не верил в то, что без вторых, третьих, четвертых политических сил, без их объединения, короче говоря, без других партий можно добиться чего-то реального. Пределом его желаний было вхождение большевиков в новое правительство на правах одной из фракций. Не рвутся же к единовластию меньшевики или эсеры! Они за коалицию. И он, Зиновьев, тоже.

Напрасно так резко и остро расценил Ленин их с Каменевым газетное выступление в дни подготовки к восстанию, когда партия вопреки

возражениям некоторых решила взять власть в свои руки. Это не было сознательным предательством, нет же. Объективно их статью можно рассматривать как угодно, но субъективная ее природа была совсем иной. Продиктовал ее страх. Страх за себя, за свою жизнь в том случае, если все провалится. А что затея Ленина непременно провалится, в этом ни он, Зиновьев, ни Каменев, ни те «некоторые другие» нисколько не сомневались. Что же тогда? Если после июльских дней большевистским лидерам грозила петля, то тут от нее и вовсе никуда не уйдешь. Зиновьев и Каменев хотели предупредить всех, и своих и чужих, что они ни при чем, что они не авантюристы; той статьей они зарабатывали для себя алиби на случай провала восстания. Ну, а если оно удастся? Можно и показаться, признать свои ошибки. Невелико унижение.

Вспоминать об этом Зиновьев не любил, это было неприятное воспоминание. Не любил он вспоминать и то, как в конце концов с ним обошлись. В партии его запоздалым рассказням поверили или сделали вид, что верят, так сказать, простили. Ленин проявил отеческое великодушие, они с Каменевым сначала оказались в положении наказанных, затем прощенных мальчиков, которые еще и должны говорить спасибо, что их не высекли ремнем, а только подержали в углу.

Да, пойти на восстание — это было, безусловно, очень страшно. Из века в век то там, то здесь восставали россияне против своих правителей, и сотни лет им, бунтарям, неизменно рубили головы. Иной поцарствует, бывало, потешится властью, как Разин или Пугачев, и все равно — железная клетка, дыба, колесо, плаха на Красной площади.

Но даже и удайся план партии, план Ленина, думалось тогда, даже и приди власть большевикам в руки, приди она не на час, не на год — навечно, все равно — что же тогда? Митинговать, рассуждать, к чему-либо призывать — это можно! Но этого же, властвуя, мало, очень мало. Надо управлять. А как управлять ста пятьюдесятью миллионами людей? Цари для этого веками создавали гигантскую управленческую машину. Что сможет кучка большевиков-интеллигентов? Массу рабочих и крестьян Зиновьев в расчет не брал. Это масса темная, серая, необразованная: «чаво» и «чичас». Он был убежден, что и за тысячу лет русский народ не сможет подняться до уровня культуры, скажем, народов Англии или Германии.

Самое неприятное состояло в том, что Ленин оказался прав. Прав, черт возьми, прав! Возвышается теперь с каждым днем, он глава государства! Огромная, вскипевшая было страна день за днем, месяц за месяцем возвращается на берега порядка и государственности на новых основах народовластия. Осуществляется все то, о чем с таким жаром фанатизировал Ленин в шалаше близ Сестрорецка.

Зиновьев почувствовал, как утомились мышцы его лица, до того стискивал и стискивал он скулы в ходе своих размышлений.

Автомобиль, свернув возле особняка Кшесинской направо, покатил на Выборгскую, где в одной из казарм заканчивалось обучение очередного набора пехотных командных курсов. Надо было сказать молодым красным командирам ободряющую речь. У Зиновьева не было времени подготовить ее заблаговременно. Он пытался в пути мысленно набросать необходимые тезисы. Но это сообщение из Москвы встало поперек всех иных мыслей. Думалось теперь только о нем. «Северное правительство», «северное правительство»! Оно было любимым детищем Зиновьева. «Наказанному мальчику» не дали должного хода после Октября. Его не взяли и в Москву, оставили в провинции, в какую с отъездом Советского правительства превратилась бывшая столица русских царей. Зиновьев не мог существовать на пятых и десятых ролях. Он, человек высокого интеллекта, широко образованный, разносторонне талантливый, и вдруг вождь губернского масштаба! Немыслимо! На Втором съезде Советов Северной области он и его единомышленники добились возможности жить

и действовать в какой-то мере самостоятельно от Москвы. В областной Совет комиссаров вошли тогда, конечно, по большей части ленинцы, без этого невозможно, но немало провел в областные комиссары Зиновьев и своих людей, преданных, верных ему. Ряды ленинцев со временем поубавились. От предательских пуль пали Володарский и Урицкий, некоторые уехали в Москву... И вот опять он, Ленин, все Ленин, подготовил новый удар. «Северное правительство» распускается. Что ж, восторжествуют те, кто уже не раз ставил перед Зиновьевым вопрос о недопустимости, о вредности курса на сепаратизм. Один из большевиков с многолетним партийным стажем так и сказал ему напрямик: «Не укрепляем мы, а ослабляем республику, товарищ Зиновьев. Северная область, целые восемь губерний — это же добрая половина Европы! Ударится она в самостоятельность, за ней другая, третья... Раскроем российский пирог на куски — его и растащат по этим кускам, слопают. Колчак, Деникин, кто за ними стоит — Антанта».

Конец «северному правительству»! В глазах тех, кто критиковал Зиновьева, кто предупреждал его от увлечений сепаратизмом, Ленин опять прав? Это невыносимо.

Люди малой души, себялюбцы, особенно те, кто по воле судьбы и случайностей взобрались на большие государственные или общественные высоты, меньше всех иных проступков способны прощать другим их правоту. Они простят что угодно: разврат, издевательство, бездарность, пусть даже убийство. Но не правоту. Правота другого — самое страшное в глазах преступление. Почему же? В чем дело, в чем причины этого? Не так уж они и сложны, эти причины. Простить негодяя, помиловать убийцу — значит подняться над ним, проявить значительность, даже величие своей собственной души, оказаться его властелином. Признать правоту другого, считает мелкий человек на крупном посту, значит стать еще мельче в сравнении с тем, с другим, унизиться, согнуться перед ним, отступить. Лишь истинно большие люди способны перешагнуть через ущемленное самолюбие и не посчитать признание правоты другого за некое самоощемление. Зиновьев не мог смириться с тем, что Ленин всегда и во всем, связанном и с теорией и с практикой революции, фатально оказывался прав. Зиновьев не был большим человеком, но волны революционной борьбы — так бывает — вынесли его вместе с другими на стрежень, и он, маленький кораблик, вынужден был вместе с теми, другими, идти в большое плавание, а волны его то и дело захлестывали.

Тех, кто оказался правым в сравнении с ними, мелкие люди будут третировать, порочить, шельмовать — поначалу еще под личиной должных приличий и благообразий, а чем дальше, тем все меньше стесняются в средствах. В борьбе с ненавистными они пойдут на сговор, на союз с кем угодно, со своими вчерашними врагами, лишь бы то были и враги тех, им ненавистных, которые оказались правыми.

Приближались казармы, куда держал свой путь сверкающий лаком и никелем «правительственный» автомобиль. Зиновьев выпрямился на холодившем кожаном сиденье, принял позу, которая соответствовала руководителю его масштаба. Что же он скажет выпускникам командирских курсов? Какие крупные мысли из его речи смогут завтра опубликовать газеты? В голове, как на грех, не просто пусто, там полный сумбур. Одна надежда на опыт, на многолетний опыт испытанного трибуна.

## 7

— Иринushка, — сказал Илья Благовидов, едва войдя в дом и скинув пальто, — а у меня что для тебя есть! — И показал два билета в театр.

— Театр? Илюшенька! — Ирина растерялась. Было это так неожиданно для нее, так странно! Последний год, после отъезда Лялечки,

шел трудно, мучительно, бесконечно долго и в таких тяготах, что уже давно за кухонными, квартирными заботами, за толкучкой в хвостах возле булочных — бывших, конечно, булочных, — за стряпней обедов, в темноте и холоде, под треск выстрелов в ночных улицах она и думать перестала о том, что на свете еще есть театры, есть жизнь иная, чем та, которой жили они теперь с ее Ильей.

— Да, да, Иринушка, в театр. — Илья все держал перед ней голубые бумажные полоски, на которых были проставлены номера кресел в партере Михайловского театра. — В Петросовете преподнесли. Вот, говорят, вам, дорогой Илья Андреевич, с вашей уважаемой супругой.

Удивление, растерянность, ошеломление Ирины сменились радостным волнением.

— Неужели, неужели, — заговорила она, восклицая, — не может этого быть! Трудно верится, совсем не верится!

Она вдруг заплакала, уткнувшись лицом ему в плечо. И тут он по-настоящему, впервые с такой неотразимой убедительностью ощутил, как трудно живется его жене. Он обнял ее, поцеловал в мокрые соленые глаза.

— А что дают? — спросила Ирина, утирая лицо надушенным платочком.

— «Севильского цирюльника». Поет Шаляпин!

— Боже, боже! Саня, Санечка! — Ирина забежала, засуетилась по комнатам. — Надо же собираться, надо одеться. Помогай мне, Санечка!

— А может быть, ничего особенного и не надо надевать? — высказал предположение Илья. — Может быть, там в шинелях сидят, в бушлатах да стеганках.

— Нет, нет, если театр, так уж театр. Саня, грей уютю!

С помощью быстрой, услужливой девушки спешно извлекались, перетряхивались платья, давным-давно не троганные в шкафу, что-то подметывалось, что-то убиралось, подглаживалось нагретым на буржуйке утюгом. И в конце концов так старательно подметанное, подглаженное платье после примерки отвергалось как «не то». Ирина хватала следующее, тоже ставшее излишне широким, оно тоже подметывалось, подглаживалось. От шипящих под утюгом, обрызганных водой шерстяных тканей в квартире пахло паленым.

— Оставь ты все это, — поглядывая на часы, заговаривал время от времени Илья не слишком твердо. — В театрах холодно, люди не раздеваются, Иринушка. Там даже объявления вывешивают, какая температура в зале.

— Но ведь уже к весне, уже морозы прошли!

— Да, ты права. Цыган шубу продал. Верно. Но все-таки... Надеюсь, колец и браслетов надевать не будешь? — пошутил он.

Ирина ответила всерьез:

— А их, Илюшенька, у нас уже и нет.

— То есть как нет? Сдали правительству?

— Не правительству, а спекулянту.

— Что ты говоришь, Ириша?

— Что слышишь.

— И те чудесные серьги, с бриллиантиками?

— Да, и серьги. Все. Овес-то знаешь, нынче почему? За кольцо — коробка кофе. За кулон с топазами — бутылка водки. За каждую сережку — по банке консервов.

Теперь готов был заплакать Илья. От обиды за Иринушку, которая так любила сверкающие побрякушки.

— Милая, — сказал он, снова обнимая ее, чувствуя, что говорит эти слова утешения и для себя тоже. — Не грусти. Придет время...

— Нет, нет... — Ирина отстранилась. — Такое время уже не придет. «Мир хижинам, война дворцам». Ни бриллиантов, ни золота уже не будет никогда, нет!

— Как так не будет? Золотая промышленность не отменяется.

— Промышленность, может быть. А у людей ничего такого уже не будет. Это же преступный признак буржуизма! — Ирина иронически скривила губы. — Горшки в ватерклозетах, те действительно будут из чистого золота.

— Иринушка! Ну что ты говоришь?

— Это не я говорю, это утверждает Ленин.

Покидая квартиру, Ирина сказала:

— Санечка, береги дом, без нас никого не впускай. Никого. Слышишь?

— Разве только мой брат придет, Павел Андреевич, — добавил Илья.

— Не придет, он редко у нас бывает, — сказал Ирина. — Никто не придет.

Михайловский театр от их Прядильной был неблизко. До Невского, переименованного в проспект 25-го Октября, доехали, толпясь и тискаясь, в переполненном вагоне едва ползшего трамвая. Потом прошли до Михайловской площади пешком. Ирина уже давно не видала Невского. Боясь надолго оставлять квартиру, почти никуда от своей Прядильной улицы, от площади Покрова она не отлучалась. Невский печально изменился: дома все те же, но многие витрины заколочены досками, не сверкают зовуще их яркие огни, неубранный снег стоптался в твердые пласты, черно вокруг и хмуро. Ирину удивляло, что все-такилюдно. Спешат, спешат прохожие. У всех есть, значит, дела. В их с Ильей краях несравнимо тише и пустынной.

Снимать пальто в театре, увы, не пришлось. Илья был прав: возле закрытого гардероба помещалось объявление о том, что в зале только плюс восемь градусов по Реомюру.

— Ко второму действию надышат, теплее сделается, — сказала словоохотливая бабуся в капоре и митенках. — А уж к последнему и пальтецо на колени положите.

В зале, тоже как на Невском, все будто бы осталось прежним: позолота, хрусталь люстр и боковых светильников, бархат, от которого привычно пахло старыми годами. Люди же среди этого прежнего, старого уже были не прежними, другими, новыми. Они сидели в заношенных серых одеждах, с бледными, усталыми лицами. Кое-кто, прикрыв глаза, даже подремывал. Кто они такие, разве поймешь. И шинели видны, и бушлаты — опять оказался правым Илья, — и стеганки. Но среди них, резко отграниченными оазисами, Ирина увидела скопления шуб, и дамских и мужских. Особенно в ложах. Двигались, склонялись в разговоре головы в бархатных шляпах, меховых шалках, котелках, шапочках. На чьей-то руке в тусклом свете редких электрических лампочек длинными острыми лучами посверкивал бриллиант. Переливающиеся в нем огоньки вызвали тоскливое чувство у Ирины. Тайком от Ильи она взглянула на свои тонкие пальцы, на узкую кисть. «Когда-то... Да, да, когда-то...» И вздохнула.

Все было позабыто, решительно все, едва началась увертюра. На волнах музыки нынешнее, тяжкое отступило, отошло, оставило Ирину наедине с ее прежним, докухонным миром. Снова молодость, жизнь в родительском доме, первые годы замужества, хождение в гости, загородные пикники, выезды на дачу под Елизаветино или в Сестрорецк... Будущее тогда тоже казалось сияющим солнцем вечных радостей. В среде инженеров, в которой они с Ильей вращались, Илье предсказывали успех, карьеру, славу. «Может быть, — говорили о нем, — наш Илья Андреевич будет вторым Завадским». Каждому такому слову Ирина искренне радовалась, потому что «первый Завадский» был российской знаменитостью, хорошо и прочно обеспеченной, вел жизнь, не стесненную средствами. Рассказывали, что Керенский хотел даже взять его в свое правительство министром железнодорожных и водных путей сообщения,

но Завадский отказался, сказав, что он инженер, специалист, а не политик.

Звуки радостной музыки переплетались с мыслями Ирины, и она легко плыла над землей, над действительностью, над всеми этими людьми в зале: и над теми, кто в шинелях, в стеганках, и над теми, кто в шубах и шляпах. Конечно, конечно, Илья прав, все еще вернется, все еще будет: и кольца, и сверкающие камни, и молодость. Она еще совсем молода, еще ничто никуда не ушло.

Дружно вспыхнувший гул заставил Ирину очнуться. Это публика приветствовала Шаляпина, явившегося на сцене. Все вокруг вскочили, били в ладоши, восторженно кричали. Ирина этого состояния людей не понимала. Здесь же театр, а не ипподром, не конские скачки, где зрителей охватывает полудикий азарт. Это — искусство, искусство, его надо воспринимать душой, сердцем, всеми чувствами, впитывая неслышно, по каплям, как пересошая земля впитывает влагу плодородных дождей. Дожди шумят, звонко плещутся, но земля, которой этот поток предназначен и необходим, под ними тиха, она принимает их, затаившись в своей жажде. Сама Ирина сидела так неслышно и недвижно, будто была в церкви и творила страстную молитву богу.

В антракте Илья пошел покурить. Она толкаться среди ватников и бушлатов не захотела, осталась сидеть в кресле. В зале, и правда, стало теплей, можно было расстегнуть пальто и снять шерстяной шарф.

— Мадам, — сказала сидевшая по левую руку от нее женщина лет сорока пяти — пятидесяти, с лицом подвижным, энергичным, в крупных, но негрубых чертах. — Вы скучаете. Почитайте это, если хотите. — И подала Ирине брошюрку на плохой серой бумаге.

Ирина прочла на обложке: «Бирюч петербургских государственных театров № 15—16. Март. 1919». Открылась страничка: «Из жизни государственных театров». Оказывается, как же она отстала от жизни! Ей думалось, что с каких-то пор жизнь на земле замерла, застыла, прекратилась, ограничилась только их с Ильей квартирой, запертой на пять замков и задвижек. Но, боже мой, жизнь продолжается! Живут, действуют и этот Михайловский театр, и Мариинский, и Александринский, и много других, известных Ирине. В Александринском идет чудесная «Бесприданница» Островского, играет в ней вернувшаяся из Харькова обаятельная артистка Тиме. В Большом драматическом, только что вновь открывшемся, поставили «Дон-Карлоса», в нем заняты знаменитые Монахов и Юрьев. Ставят там шекспировского «Макбета» и «Наивного человека» по Вольтеру.

Глаза Ирины разбегались. Не отрываясь, листала она предложенную ей брошюрку. Мелькали знакомые названия спектаклей, знакомые имена артистов.

Ирина не видела, с какой улыбкой снисхождения наблюдала за ней ее соседка. По временам та обращала внимание Ирины на какое-либо из мелькавших сообщений «Бирюча».

— Прочтите это, пожалуйста, — указывала она рукой в шелковой серой перчатке.

Ирина читала: «Современный театр» (бывший «Павильон де-Пари») реквизирован под украинский советский клуб».

— Или вот!

Ирина видит: «По распоряжению комиссара Отдела театров и зрелищ М. Ф. Андреевой театр «Гротеск» был закрыт на несколько дней».

— Вот как нынешние власти распоряжаются искусством, — поясняя соседка. — Но ничего, есть просветы в тучах. Прочтите это!

— «Крупным событием в жизни государственных театров, — читала Ирина, — явилось издание декрета об учреждении директории. Советы упраздняются и заменяются директорией, куда входят лица частью по

выбору труппы, частью по назначению. Опера уже наметила своим кандидатом Шалапина. Кандидатами по назначению называют многих, в том числе Алекс. Бенуа. Государственная драма выбрала Аполлонского, Смольца, Вивьена, Пашковского и Лешкова».

— Меня здесь радует хотя бы то, — сказала соседка, — что «советы упраздняются», — и еще более внимательно посмотрела на Ирину. — Будемте знакомы, — вдруг предложила она. — Меня зовут Викторией Федоровной. Как супругу великого князя Кирилла Владимировича, — добавила с веселой улыбкой. — Я общественная деятельница. А вы?

— Ирина Владимировна. Мой муж — инженер.

— Инженер! Чудесно. — Соседка оживилась. — Вы не хотели бы познакомиться Федора Ивановича ближе, чем отсюда, из залы? Скажу вам по секрету, это сделать можно. В следующем антракте к нему отправится депутация от рабочих и служащих театра. Хотят сказать знаменитому артисту доброе слово. Ну как?

— О, я была бы счастлива! — горячо ответила Ирина.

— Правда, вашему мужу будет не совсем туда удобно... А мы, две дамы... Нас и не заметят. Он, ваш муж, кстати, по какой части инженер?

— Его специальность мосты. Он все время в Петросовете...

— Это детали, в инженерном деле я ничего не смыслю. — Виктория Федоровна весело смеялась. Она нравилась Ирине. А Ирина чувствовала, что нравится ей.

В следующем антракте, едва опустился занавес, энергичная соседка подхватила Ирину под руку, обратясь к Илье:

— Извините, гос... гражданин инженер! Чуть было не сказала «господин». Такая тут обстановка, что забываешь про новые времена. Извините, мы с вашей женой на минутку вас оставим.

— Виктория Федоровна так любезна, — сказала Ирина Илье, — хочет провести меня за кулисы, где можно увидеть Шалапина.

Илья, пожав плечами по поводу дамских фантазий и забот, отправился курить. А новая знакомая стремительно повлекла Ирину, видимо, хорошо известными ей ходами и переходами в загадочные, таинственные для простых смертных, то есть для зрителей, пыльные недра театральных кулис.

Среди нагромождения старых декораций, дощатых ящиков, холстов и сукон собралось человек сорок — пятьдесят. Виктория Федоровна, крепко держа Ирину за локоть, вместе с нею продвигалась сквозь плотную толпу вперед.

В гриме, в костюме появился, наконец, спокойный, уверенный в себе и своем успехе, крупный, массивный человек, тот, в голос которого Ирина только что вслушивалась, сидя в зале, — он, знаменитый Федор Иванович Шалапин, первый бас России. Царственным жестом подав руку двум-трем ближайшим к нему людям, он слегка поклонился остальным.

— Рад, рад видеть вас, дорогие друзья! Земной вам поклон, труженики сцены, без которых мы, артисты, существовать не можем.

Ему дружно зааплодировали. Один из рабочих выдвинулся поближе к артисту.

— Глубокоуважаемый Федор Иванович, — заговорил он в полнейшей тишине. Шалапин при этом, слегка откинув корпус назад и сцепив пальцы рук на животе, смотрел в покрытое седыми волосиками темечко говорившего. Тот продолжал: — Двадцать три года назад я имел незабываемую честь видеть и слышать вас на этой же самой сцене. Вы были тогда еще очень молоды и не так, как ныне, опытни. Мы за вас, за дебютанта, переживали нашими простыми сердцами, волновались и радовались, когда у вас получилось все хорошо. Теперь вы признанный артист. Вы сами из народа, и примите же, просим вас, от всего народа в нашем скромном лице большой-большой поклон. — Оратор низко согнулся в поясе.

Шаляпин сделал рукой так, как будто смахивает слезу-предательницу, привлек к себе старичка и под общий гул волнения ткнулся носом мимо его уха.

Ирина не заметила, как все произошло, как получилось, что толпа, в центре которой был Шаляпин, из-за кулис переместилась в другое место, и когда внезапно открылся зрительный зал, полный людей, увидела, что она вместе с Шаляпиным на сцене, занавес поднят, в зале грохочет овация. Все снова стоят, орут, даже визжат: «Шаляпин! Шаляпин!» Так продолжалось, может быть, две, может быть, три, пять минут. На этот раз Ирина тоже поддалась общему восторгу и вопреки строгим своим правилам тоже восторженно закричала. Шаляпин, в двадцатый, в тридцатый раз кланявшийся залу, заметил ее, хотя и в пальто, но красивую, с привлекавшими внимание почти каждого глубокими глазами, взял ее руку («О, лишь бы не пахло луком!» — с ужасом подумала Ирина), подержал мгновение в своих руках, поднес к губам и поцеловал. Овация набрала от этого новую, почти ураганную силу. Потом артист шагнул мимо Ирины, и она осталась бы одна, растерянная, переволновавшаяся, на сцене, если бы не Виктория Федоровна. Та вновь взяла ее за локоть и вновь повела.

— Отдохните, отдышитесь, дорогая, вы так взволнованы. Муж подождет, никуда он от вас не денется. Он у вас, мне показалось, очень милый и добрый. — Виктория Федоровна отворила дверь в тесную длинную комнату с двумя мягкими креслами, диванчиком и большим туалетным зеркалом. — Посидим здесь немного.

— Я вам бесконечно благодарна, Виктория Федоровна, за то, что вы для меня сегодня сделали, очень! — Ирину не покидало только что испытанное волнение, рука ее горела от поцелуя знаменитого артиста. Незаметно она поднесла ее к лицу: нет, кажется, никаких кухонных запахов нет, напротив, пахнет очень и очень приятным. Но это, конечно, уже не ее, а его духи, его... Сердце Ириного почти переставало стучать. Там, на сцене, в спешке, не все откладывалось в ее сознании. Теперь многое само собою в нем восстанавливалось. Она вспомнила, что на сцене были фотографы. Они расталкивали всех своими громоздкими ящиками, наведенными на Шаляпина и на нее: видела ослепляющие всплески магниевового света. Значит, что же? В газетах, в городских витринах могут появиться фотографические карточки: Шаляпин и она, она и Шаляпин!..

Возбужденная, Ирина охотно отвечала на вопросы Виктории Федоровны, рассказала ей о себе все: и об отце, о матери, о крупном отцовом деле, о своей свадьбе, об Илье, об увлечении театрами, искусством. Умолчала только о брате Ильи, о Павле. Даже сама не зная почему. Как-то не вмещался в этот легкий, свободный разговор большевик, обитатель Смольного, Павел Благовидов. Где-то подопудно Ирине думалось, что упоминание о нем может вспугнуть, расстроить и весь этот интересный разговор и так хорошо начатое новое знакомство. Уж очень выразительно произнесла Виктория Федоровна свое: «советы упраздняются», — вкладывая в эти слова особый, вполне отчетливый смысл, и Ирина не могла его не понять, не почувствовать. Она не была ни за, ни против Советов, она была против голода и холода, против тяжелой, унылой жизни, которая проходила скучно, бесцветно, понапрасну, унося с этой понапраслиной ее молодость и красоту. И если вместе с Советами «упразднятся» и эти трудности, то бог с ними, с Советами.

С каждой минутой разговора она чувствовала все большую симпатию к посланной ей богом соседке по театральным креслам, к даме с энергичными чертами лица, за которыми угадывались и сильный характер, чему так всегда завидовала в женщинах Ирина, и незаурядная, многогранная натура.

Виктория Федоровна сказала, что и в нынешнем Петрограде человек, склонный к жизни содержательной, способен найти немало интересного: устраиваются выставки, открылись музеи... Если не сидеть дома и не предаваться печалю, то можно получать сколько угодно духовных удовольствий. Она, Виктория Федоровна, хотела бы зайти как-нибудь к Ирине домой и захватить ее с собою в эти интересные места. Где живет Ирина? О, на Прядильной! По соседству, на Английском проспекте, у Виктории Федоровны есть одна хорошая приятельница, Виктория Федоровна бывает в тех местах. Сейчас она запишет номер дома и номер квартиры Ирины. Вот в эту маленькую книжечку в замшевом футлярике.

— Да, да, — на все ее многочисленные предложения охотно отвечала Ирина. — Я готова, буду рада, рада. Теперь у меня живет прислуга. Удалось найти очень хорошую. Можно не сидеть сторожем в квартире.

Ирина ошиблась. Вопреки ее утверждениям Павел Благовидов решил навестить брата именно в тот вечер. И вот по какой причине.

Выздоровевшего Хамелайнена перевели из госпиталя в камеру заключения ЧК. Можно было бы его и отпустить, взяв подписку о невыезде. Но квартиры у спекулянта в Петрограде не было, жил он поблизости от Ропши, в селе Финно-Высоцком, в нескольких верстах от Красного Села. Отпустишь туда — обратно не дождешься. И не хотел бы человек удрать, да удерет — от одного только сознания, что числят его за таким учреждением, как «чрезвычайка». «Ты уж, Хамелайнен, не серчай, — говорил ему Осокин. — Такое дело. Посиди, дружище, как-никак ты же спекулянт. По закону тебя и шлепнуть можно».

Оба они, Осокин и Павел Благовидов, все обдумывали, как бы потолковей использовать торговца, знающего дорогу в края белых. Осокин не терял еще и надежды обнаружить с его помощью банду вооруженных грабителей. Кто ж их знает, просто ли они грабители, или враждебные Советской власти элементы.

В тот день Осокин и Благовидов вновь встретились на Гороховой и еще раз подробно, обстоятельно допросили Хамелайнена. Нового он им ничего не рассказал: все, что знал, давно выложил.

Отправив его обратно в камеру, сидели в комнате Осокина, курили, разговаривали. Помянули Ирину.

— А не стерва она? — со своей прямоотой сказал Осокин.

— Как ты смеешь о жене моего брата?.. — без особого возмущения ответил Благовидов.

— Так ведь если стерва, ему же, брату твоему, не сладко придется.

— Нет, Костя, не стерва. Просто женщина.

— А от них, от просто женщин, чего хочешь, дожидаться можно. Уж Панина-то, графиня, куда интеллигентка, кажись, одни цветочки всю жизнь нюхала, а туда же в контрреволюцию полезла. А Фаина-то Каплан, революционерка вроде, в кого, в первого революционера нашего времени стрелять пошла? Да я тебе список этих простых стержней в два аршина длиной выпишу. Хочешь?

— Не надо, Костя. Ирина хорошая. Одно у нее пятнышко: из буржуев. Сто лет это пятно выводить — не выведешь с человеческой души. Буржуйская бацилла самая сволочная. Если хочешь знать, я ее по своему отцу знаю. Рабочий, трудовой человек, с пятнадцати лет на заводе. Из него хозяева цистерну крови выпили, реку пота выжали, а он им служил так, будто свое собственное дело делал. Покупали, подкупали, благодарили человека. Мастер он был большой, ценный, потому и крутились вокруг него. Домишко свой помогли завести, деньги на это в долг давали. Брату Илье поспособствовали, чтобы в реальное училище взяли, а потом и в институт продвинули. Я тоже в реальном учился. А кто еще из моих приятелей смог это? Вот отец наш и старался. Нехо-

рошо о покойниках судачить, но служил он хозяевам верой и правдой. Бацилла делала свое дело, разъедала рабочего человека. Орал, бывало: буржуи, буржуазия — вроде бы от имени пролетариата, а и сам не отказался бы стать буржуем, подвернись случай.

— А ты-то как в офицеры попал? — спросил Осокин.

— Военная организация большевиков, «военка», послала меня в училище. Только-только я тогда в партию записался. Мне сразу и задание: в училище иди. В начале шестнадцатого года было дело. Вроде бы и на офицера учиться и работу среди юнкеров вести. Но я эту работу недолго вел. Война же шла! Командиров взводов много надобилось. Их первых бьют во время боя. Прапорщиков. Фронту давай да давай. Ну, ускоренный выпуск, погоны на гимнастерку — и душка офицерики!

— В общем, — сказал на прощание Осокин, — с Ириной вашей ты, как я тебе уже советовал, потолкуй по-свойски. Чтоб не впутывалась во всякие дела и брата бы твоего не впутывала. Он на ответственном инженерном посту. Петроградские мосты — это такое дело... Нельзя, чтобы вокруг Ильи Благовидова элементы да элементики крутились.

И Павел Благовидов решил, не откладывая это на другой раз, отправиться домой к Илье.

— Кто такой? — услышал он незнакомый звонкий голос в коридоре за дверью.

— А ты кто такая? — Благовидов недоумевал.

— А уж это дело мое, кто я такая. Не отопру, гражданин. Ступайте себе. Придете завтрачка, когда хозяева дома будут.

— Не прислугу ли Ирина Владимировна взяла? — продолжал переговоры через дверь Благовидов.

— А уж это ейное дело, кого она взяла, — решительно резали за дверью.

Благовидову хотелось зайти в квартиру, посидеть, покурить там в гостиной Ирины. И просто ему казалось обидным, что его могут не впустить в дом родного брата.

— Слушай, девушка, — сказал он даже, как самому подумалось, просительно, — я брат Ильи Андреевича, Павел Андреевич. Тебе не говорили о таком?

— Говорить говорили. Но еще говорили, что он редко ходит и сегодня не придет.

— А он взял вот и пришел. Что же делать? Открой, а?

— А верно, это он?

— Он, он.

Санька приоткрыла дверь, держа ее на цепочке.

— Ну, ну, посмотри, посмотри. Похож я на твоего хозяина?

— Похож. Истинно похож.

Войдя в квартиру, Павел Благовидов при свете лампы рассмотрел, что на него глядели два синих настороженных глаза; светлые, до рыжины, золотистые волосы торчали в стороны двумя смешными деревенскими косичками.

Потом он сидел в кресле в гостиной, курил хозяйские сигареты и все еще смотрел на Саньку. Он остановил ее, когда, отворив ему, она тотчас хотела уйти на кухню. «Сиди», — сказал ей. Она и сидит, степенно, терпеливо. А он на нее смотрит, не отводя взгляда.

— И что вы на меня так смотрите? — не выдержала Санька. — Узоров на мне нету.

— Есть узоры, — сказал Благовидов почему-то строго. — Есть.

Ничего другого он сказать не мог, потому что и не знал, зачем ему понадобилось, чтобы эта девчушка сидела перед ним, а он бы на нее смотрел. Удивительно, но это ему было совершенно необходимо. И синие глаза эти, и косички, и вся ее фигурка, гибкая, как бы тонкая и

вместе с тем вся в отчетливых формах... Видел он девиц в своей жизни. Похаживал, случалось, и до военного училища и в училище к барышням, адреса которых всегда бывали у приятелей, посиживал у них, слушал, как барышни тренькали на гитарах да пели домашними голосишками, валялся с барышнями на их измятых постелях, а потом забывал тех случайных подруг до следующего раза. А уж после революции ни о каких барышнях и разговору не стало: ни на что другое времени не оставалось, вентилятор революции вертелся круто, тугим его ветром сдувало все, что не было связано с нею, с революцией. А что же теперь такое, почему ослаб он душой при виде этих косячек, этих настоженных синих-синих глаз?

— Какие же? — услышал он, не поняв, о чем она говорит.

— Что какие?

— Узоры какие, говорю.

— А, узоры!.. Как тебя зовут?

— Санька! Еще и Саней можно.

— Александра, значит?

— Александра — этого я не люблю. Так меня папка кликал, когда пороть звал. «Ляксандра, — шумит, — подь-ка сюды, учить стану». Поясок сымет... Был у него такой, жигалистый...

— Больно бил?

— Не, не больно. Жалел ведь, не во всю руку размахивался. А только «Александр» эту не люблю я, уж как не люблю! Санька я. Но вот еще Саней можно.

— Саня, — сказал Благовидов. Сказал не ей, а себе, и ему показалось, что красивей этого имени он еще никогда не слышал. Это его удивило. А еще больше он удивился тому, что сказал дальше. — Я к тебе, Саня, в гости буду ходить. Можно?

— А про то с барыней говорить надо. Чай, не мой дом. Хозяйский.

— С барыней договоримся. А ты-то как?

— Ходите. Мне что!

Она говорила мягко, с легкой шипинкой, отчего вместо «еще» у нее получалось похоее на «ишшо». Говор был певучий, деревенский; так красиво, по настоящему русскому в городах, может быть, уже сто, а то и все двести лет не говорят. Как музыку, слушал Благовидов Санькины «ишшо», «летошний», «спужавшись».

— Хозяева-то где? — спросил, вспомнив вдруг, зачем он пришел.

— А в театре. На представлении.

«В театре? Гляди, в люди мои родственнички пошли, — подумал Благовидов. — Развлекаются». И еще спросил:

— А ты бы пошла в театр, Саня? Со мной.

— Чего не пойти! Только я в театре не бываю. Я живые картины смотрела, в синематографе. Там комики представляют, смешно до ужаста.

— А ходила с кем?

— Одна, с кем же!

— Не боялась, вдруг обидят?

— Я и сама бедовая. Чего не так, зафинтилю по глазу. Глядите, кулак у меня какой!

Благовидов подержал ее кулачишко в руке, поразглядывал. Но, по Санькиным представлениям, разглядывал, видимо, излишне долго. Она строго взглянула на него и отняла руку.

Уходить Благовидову не хотелось. Но было поздно. До Смольного тащить далеко и трудно, и он стал прощаться.

— Ты уж смотри, Саня, буду захаживать в гости-то.

— А что ж, приходите. — Обдала всего испытующим взглядом. И загремела за ним дверными задвижками.

Держа наган за пазухой шинели, Благовидов зашагал тем же знакомым путем, по тем самым местам, где стреляли в него и где ранили Хамелайнена. Авось, грабители снова выйдут сегодня на охоту. Но он шел, и никого не было на повороте с Прядыльного на Фонтанку. Шел в тишине, не замечая ни дежурных возле домов, ни ухабов под ногами, напевая что-то бодрое, радостное и сам не слыша что.

## 8

Несколько дней после театра Ирина ходила восторженная, праздничная. Смотрелась в зеркало, делала свою любимую прическу — большой узел на затылке, который оттягивал назад и придавал голове величественное положение. «К такой не подступишься», — думала она сама о себе и, довольная, улыбалась.

— Вот и ты как-нибудь, Саня, сходишь, посмотришь, что это за театр, — сказала она в одну из таких светлых для нее минут.

— А меня братец нашего хозяина уже звали, Павел-то Андреевич. Я ему ответила, как барыня распорядится, так тому и быть.

— Что ты все «барыня» да «барыня». Нехорошо это, нельзя теперь так.

— Привыкши. Не могу же я вас гражданкой-то.

Ирина всматривалась в свою новую прислугу и думала о ее словах. Вот, оказывается, каков вкус Павла. Несмотря ни на что — ни на реальное училище, ни на офицерское училище, — так и остался он мастеровым, пролетарием. Вот кто ему, господи боже, люб, кто ему пара — деревенская, полуграмотная девка.

Покуривая сигарету в гостиной, Ирина наблюдала за тем, как быстрая, ловкая Санька летала по комнатам, по коридору и в считанные минуты успевала сделать то, что ежедневно отнимало у Ирины по многу часов, — все эти невыносимые, грязные кухонные и коридорные дела.

«Это же их политическая программа, — возвращалась Ирина к своей мысли о Павле и Саньке. — Они очень последовательны: «Кто был ничем, тот станет всем!» И в конце концов может получиться так, что сельская рыженькая мадемуазелька в ее смешных косичках станет советской гран-дамой, будет разъезжать со своим супругом... не с Павлом ли?.. в автомобиле, а такие, как она, Ирина, знающая фортепианную музыку, французский и английский, точнее, знавшая когда-то, такие будут обслуживать — обшивать и обстирывать — новых хозяев России, вот эту самую сопливую Саньку...»

Сказав слова «хозяева России», Ирина подумала о Виктории Федоровне. Кто она, та энергичная, откровенная дама, какой род общественных обязанностей может выполнять такой сильный человек? «Бирюч», который новая знакомая оставила Ирине, оказался любопытной брошюрой. В числе прочего Ирина узнала из него, например, что 23-го минувшего февраля в Александринском театре состоялось торжественное заседание по случаю столетия Петербургского университета. «Когда взвился занавес, — с увлечением читала она, — то переполнявшая зал публика увидела длинный стол, за которым занимали места профессора, студенты, артисты государственной драмы, представители технического театрального персонала и др.». Выступали потом известные люди. Артист Пашковский сказал профессорам университета и студентам: «Мы хотим встречаться с вами не только в праздник, а хотим, чтобы университет считал наш театр своим домом». Читали адреса, что-то декламировали, студенческий хор спел «Gaudemus», исполнял песни, без которых не мыслится жизнь студентов: «Быстры, как волны, все дни нашей жизни», «Наливай, брат, наливай!».

Ирина уносила мыслью в тот, иной, возвышенный мир, противоположный грубому, материальному миру Павла, не расстающегося с револьвером, миру Саньки, гремящей там, на кухне, посудой.

Тот, иной мир богат чувствами, он красив, он гоним сегодня, как полторы тысячи лет назад были гонимы первые христиане. «А мы, мудрецы и поэты, хранители тайны и веры, унесем зажженные светлы в катакомбы, пустыни, пещеры», — прекрасно сказано, чудесно. Эти вера и тайна, все светлы культуры, они хранятся, не умирают, не угасают, нет. Есть, есть люди, свято сберегающие их. Ирина снова и снова думала о Виктории Федоровне, тезке супруги отбывшего в дальние края великого князя Кирилла Владимировича, того самого из Романовых, который в дни Февральской революции во главе матросов гвардейского экипажа вышел на улицу с красным бантом на груди. Виктория Федоровна представлялась ей одной из таких, оваянных загадками хранительниц тайны и веры, о которых говорит поэт Брюсов.

Велика же была радость Ирины, когда однажды среди дня на вопрос после звонка в дверь «кто там» с лестницы ответили: «Виктория Федоровна. Вы меня не забыли?»

Виктория Федоровна тоже курила папиросы, выпила она и чашку кофе, собственноручно сваренного Ириной. Санька варить кофе, по мнению ее хозяйки, конечно же, не умела, хотя, если говорить по правде, варила точно так же, как варила и хозяйка. Гостыя восторгалась порядком и чистотой в квартире. Ее интересовало в ней все: и происхождение каждой вещи, и мастер, от которого мебель, и не заколочена ли дверь на черную лестницу, и есть ли путь проходными дворами. «Ах, на Английский проспект! Это же превосходно! Там рядом Покровская площадь, Садовая...»

Затем она сказала, что ей очень бы хотелось пригласить Ирину к себе. Правда, для начала без мужа — соберется только дамское общество, понимаете ли, дамское. Мужчины с их постоянной политикой способны испортить любой интересный разговор. Хотя, конечно, она, Виктория Федоровна, тоже занята политикой, как общественная деятельница. Но всему надо знать меру и не везде этой политикой подавлять все остальное. Потом, позже можно будет собраться с мужчинами; а пока только дамы, дамы, дамы, которым так тоскливо в темном, замороженном городе. Ведь женщина всегда остается женщиной, не правда ли?

Назавтра, выйдя из автомобиля в районе Казанской улицы и Вознесенского проспекта, Ирина следом за приехавшей за нею Викторией Федоровной долго шла грязными проходными дворами до такой же грязной черной лестницы в самом дальнем дворе.

— Парадные, милочка, тут все заколочены. Это строгий район. Поблизости Гороховая, чека! Понимаете?

— А чей это был автомобиль? — поинтересовалась Ирина.

— Одного советского комиссара. Они когда-то дружили с моим покойным мужем. Очень милый человек, помнит старую дружбу и всегда откликается на просьбы.

— Ваш муж умер?

— Да, — неохотно ответила Виктория Федоровна. — Не споткнитесь, пожалуйста. Тут очень высокая ступенька. Его не стало минувшим летом, — и поправились, — осенью, в сентябре. Слишком еще горячи раны. Не хочу об этом.

— Простите.

На третьем этаже толстая женщина, по виду кухарка или прачка, на глухой стук в порванную клеенку, из-под которой лез грязный войлок, отворила перед ними «черную» дверь.

И грязные, запутанные дворы, и лестницы, где отвратительно пахло кошками, и эта ужасная дверь немало поразили и озадачили Ирину.

Но насколько неприятен и даже ужасен был путь до квартиры Виктории Федоровны, настолько ослепительной оказалась сама ее квартира. Комнат было не сосчитать, строители распланировали их не анфиладой вдоль коридора, как делают обычно, а лабиринтом, по ним можно было ходить вкруговую и даже заблудиться на переходах. Превосходна была в ком-

натах мебель. Такой Ирина не видывала и в лучших мебельных магазинах на Невском или в Гостином дворе, куда любила похаживать в счастливые времена до переворота. Она ахала и восторгалась.

— Да, это произведения искусства, — довольно равнодушно согласилась с нею Виктория Федоровна.

В квартире уже было несколько дам. Одна из них назвалась Марией Дмитриевной Веронелли, художницей. Она была уже немолодой, обрюзгшей, одетой неряшливо; нетрудно было понять, что за собою она не следит. Оживилась художница лишь тогда, когда Ирина высказалась о пейзажах на стене в столовой. Веронелли принялась водить ее по комнатам и, останавливаясь перед каждой картиной, подробно рассказывать о них, об их авторах, о школах, к которым принадлежали мастера.

Вторая дама, лет тридцати пяти — сорока, когда ей представляли Ирину, как-то странно взглянула на нее, услышав фамилию «Благовидова», сощурила в раздумье глаза и вышла из комнаты. Потом она снова пришла, и снова вышла, и опять пришла, и все разглядывала Ирину. Ирина тоже ощущала желание взглянуть на Зою Иннокентьевну, как звали даму. Она показала Ирине знакомой, будто бы когда-то, очевидно, мельком Ирина где-то ее встречала, но где — припомнить не могла.

Пили чай с хорошим сухим, «старорежимным» печеньем, разговаривали. Мария Дмитриевна, оказалось, служила в открывшемся в январе музее города в Аничковом дворце. Она звала Ирину зайти на досуге в музей. Там много интересного, новая власть не только разрушает, но и сохраняет, в чем деятельно помогают ей патриоты России, истинные ценители и хозяева всего прекрасного, созданного на русской земле.

Зоя Иннокентьевна все больше молчала и по-прежнему внимательно рассматривала Ирину, будто ждала от нее чего-то, и, если судить по выражению ее лица, скорее всего ждала неприятного, чем приятного.

Виктория Федоровна завела разговор о прежней жизни, о семьях, о детях, мужьях, хотя, как сказала она Ирине, о своем покойном муже ей вспоминать не хотелось. Муж Марии Дмитриевны, оказывается, тоже умер, и давно; Мария Дмитриевна вдовует второй десяток лет, вот переехала теперь к Виктории Федоровне, с которой они старые приятельницы. Дети? О, дети взрослые! У каждого своя жизнь. Она даже не знает, где они. Россия изрезана импровизированными границами, через которые почта не ходит.

Зоя Иннокентьевна вздохнула.

— А мы с мужем разошлись, — сказала она и вновь испытующе взглянула на Ирину. — В преклонном возрасте он предался разврату: горничные, легкомысленные девицы, просто девки с улицы... В таком доме жить было уже невозможно. — Из-за тугой манжетки она извлекла платочек, приложила его к глазам.

И у третьей дамы, как выяснилось, мужа не было. Все безмужние, только у нее, у Ирины, муж есть, цел, жив, здоров, никуда от нее не ушел. Все дамы набросились поэтому на нее с расспросами. Их восхищало, что ее Илья — инженер, что он учился у знаменитого Завадского, что не состоит ни в каких партиях. Хотелось бы, правда, знать: если он не большевик, то почему же тогда «товарищи» так хорошо к нему относятся? Ах, отличный специалист? Да, да, мосты. Мосты Петрограда!..

Когда стало смеркаться, в тихую квартиру вопреки уверениям Виктории Федоровны вторглась большая компания мужчин. Целых шесть человек. Пришли они не одновременно, а появляясь по одному, по двое на протяжении получаса. Они были самых различных возрастов — от двадцати пяти и до пятидесяти. Все решительные, мужественные, резкие. По мнению Ирины, если бы на каждого из них надеть военную форму, каждый бы из них мог стать офицером, командиром.

Виктория Федоровна шепнула ей:

— Прошу прощения, мой друг. Это так неожиданно! Но что поделаешь? — Она развела руками. — Мужчины!

На столе появились бутылки с водкой и вином, кухарка готовила на кухне, горничная бегала по коридору с блюдами на подносе.

Как ни отказывалась Ирина, не помогло, все вместе они заставили ее выпить несколько рюмок вина.

— Оставь мадеру, Кубанцев! — командирским тоном окрикнул подстриженный сидящим бобриком гость, которого, обращаясь к нему, называли Романом Антоновичем. Тот, к кому был обращен этот окрик, Кубанцев, немолодой, но молодящийся, бойкий, в ухмылке открывающий редкие мелкие зубы, отвел руку с бутылкой от бокала Ирины. — Мадера — вино святошей и ханжей. Пойло Гришки Распутина. Он петербургских знатных баб этой дрянью спаивал.

— Роман Антонович! — хором вскричали дамы. — Фи!..

Роман Антонович встал и почтительно склонил перед дамами и отдельно перед Ириной свою седину.

— Экскюз ми, — сказал он на скверном английском, — прошу простить меня великодушно: солдат.

Дамы переглянулись, посмотрели на Ирину с заметной тревогой. Но Ирина отнесла эту тревогу на счет их беспокойства по поводу грубости седого «солдата». Она милостиво, прощающе ему кивнула. Этакое ли приходится слышать каждый день на улице, в очередях, в трамваях! Ирина и не предполагала прежде, что в русском языке есть такие чудовищные слова, такие грязные ругательства и что их в нем так неисчислимо много.

Мужчины ушли в бывший кабинет бывшего хозяина квартиры, обставленный менее ценной мебелью, чем столовая, гостиные, спальни. Мебель кабинета была тяжелая, темного, почти черного дуба, обитая такого же цвета черной кожей; от нее было темно, мрачно и тесно.

Дверь притворили изнутри, сквозь ее дубовые створы лишь очень глухо слышались отдельные выкрики, общее гудение и рокот.

От вина, которого Ирина не пила много лет, у нее зашумело в голове, ее потянуло в сон. Она сказала, что ей пора домой, муж, наверно, уже возвратился и волнуется.

— Мужчины! — Виктория Федоровна распахнула дверь кабинета. — Дама уходит!

— Наш долг — вас проводить! — заявили двое из них, оставляя компанию. Один — Ирина уже знала — был Кубанцев, а второго, лет тридцати, высокого, подтянутого, но несколько меланхоличного, называли Георгием Константиновичем.

— Зачем же, зачем! — возразила Ирина. — Мне совсем недалеко. До Покровской площади.

— Все равно. Наш долг.

Покрасневший от смущения молодой человек, самый молодой в компании, тоже хотел было предложить себя ей в провожатые. Он сказал, что возле Покрова живет его тетя. Но старшие взглянули на него так, что он покраснел еще пуще и умолк.

Георгий Константинович надел старое, заношенное пальто, Кубанцев — неуклюжую куртку из грубого бобрика, и оба тотчас превратились в городских обывателей. Обычные питерские мужики, ничуть не лучше спекулянта Бабашкина, который таскает ей заграничные припасы. Да и сама-то она, взглянуть на улице со стороны, в ее будничном пальтишке, в теплой платке, в этих на два номера больше, чем надо, высоких ботинках, — разве не тетка теткой?

Виктория Федоровна, провожая до дверей, все говорила:

— Адрес теперь знаете. Заходите, милая, заходите. Будем очень очень рады.

Улица встретила их удручающей слякотью. Только что выпал рыхлый, мокрый снег. Он таял, и ноги ступали по насыщенному водой, тяже-

лому месиву. Сырость ползла вверх по ногам — от подошв к коленям, распространяясь по спине, достигала шеи, затылка. Это было ужасно. Ирина не знала, куда и как ставить ноги.

— Хотите, мы вас понесем, Ирина Владимировна? — предложил Георгий Константинович.

— Что вы, что вы! — Она даже испугалась.

— Вот так сложим руки... Беритесь, Кубанцев!.. — Они ловко, по особому, сцепили кисти рук. — Видите, получается превосходное сиденье. Так на фронте санитары переносят раненых. Садитесь!

— Нет, нет, нет!

— Тогда вот что, — предложил Кубанцев. — Надо немножко переждать. За углом, на Фонарном переулке, живет мой брат. Зайдемте на минутку.

— Ой-ой, нет, никак не могу! Меня муж ждет. Пойду одна. — И Ирина устремилась вперед, уже не глядя под ноги.

— На минутку, — повторил Кубанцев, загоразивая ей дорогу. — Мы с Горчиlichem, — он кивнул на Георгия Константиновича, — выпьем по рюмке, чтобы не простудиться, и пойдем. Не бойтесь. У брата жена, две дочки, милые девочки...

— Пожалуй, — поддержал Кубанцева и Горчилич, — в этом есть известный резон, Ирина Владимировна.

Ирина отказывалась, колебалась. Они настаивали, уверяли, что и у того и у другого уже начинается простудный озноб, как бы не получить воспаление легких, и в конце концов затащили ее в один из домов на Фонарном переулке.

Был ли там брат Кубанцева, была ли его жена, Ирина понять не смогла. В передней ее спутников встретили хохочущие женщины, совсем не того круга, из какого были приятельницы Виктории Федоровны, — молодые, бесшабашные, очевидно, пьяненькие. И полным-полно оказалось мужчин. Из передней было видно, как они сидели в большой комнате за обширнейшим столом, уставленным бутылками, тарелками и судками; лица их тонули в табачном тумане. И в других комнатах был кто-то. Там брэнчали на гитаре, пели, тоже смеялись.

— Я пойду. — Ирина испуганно пятилась к двери. — Проводите меня на улицу.

— Один момент! — Кубанцев ловко снял с нее пальто. Она не успела рукой шевельнуть. — По единой рюмке и — айда!

Минуту спустя Ирина уже сидела за столом, снова пила какое-то сладкое вино, уж теперь-то, думалось ей, наверняка мадеру, которой Гришка Распутин спаивал петербургских баб. В голове шумело еще больше, мужчины, женщины, стол, стулья плавали вокруг, то растворяясь в дыму, то вновь возникая, как привидения. «Боже, боже! — не столько со страхом, сколько с тяжелой покорностью думала Ирина. — Что со мной делается и что со мной будет?»

Из тумана над головами сидящих перед нею выплыло одутловатое лицо с белыми выпученными глазами. Оно было как бы надето на тонкую цыплячью шейку в цыплячьих пупырышках. Лицо принадлежало длинному человеку, оно моталось почти под потолком и было удивительно знакомо Ирине. Она видела его раньше, видела, но прежде эти белые глаза не были такими белыми, они были тогда голубыми. Где же она его видела? И почему так выцвели эти глаза?

— Лужанин? — вдруг сказала она, вспомнив. — Вадим Лужанин?

— Именно, милая девочка, именно. Лу-жа-нин! — произнес он по слогам.

Ирина обрадовалась встрече. Ей вспомнилась ее свадьба, хорошие дни, счастливые годы.

Не ходи в золоченые клетки,  
Обитай в полудиких дубравах.

Ты и я, мы, не правда ли, дети?  
Нам пастись на нетоптанных травах, —

продекламировала она.

— Может быть. — Лужанин, очевидно, забыл свои стихи, сочиненные восемь лет назад. Он сел рядом с Ириной и смотрел на нее с бессмысленным недоумением. — Но нет же никаких трав! — воскликнул пьяно. Поднялся вновь и, пошатываясь, затынул громогласно:

Мы пойдем по России смерчем возмездия!  
Мы будем рубить холопские головы.  
Содрогнутся в небе созвездия.  
Красные глотки зальются расплавленным оловом!

— Вадим, Вадим! — завопили девицы. — Вадим декламирует! Все сюда! Сюда!

Лужанин взобрался на стол, давя башмаками хрустко стреляющие тарелки. Из-под его подошв летели брызги. Ирина отшатнулась от стола.

Белая смерть  
над землей  
свои крылья  
расправила... —

продолжал Лужанин, актерствуя, кривляясь, изображая эту смерть своим дергающимся лицом.

Ирино радостное возбуждение остывало, отступало. Нет, это не минувшие, не прошлые годы, это совсем все другое, переменившееся, страшное, нынешнее. Кто его знает, как прожил долгие и вместе с тем очень короткие восемь лет тогдашний юный, смешной, трогательный поэт, который заглянул случайно в зал ресторана Соколова. Годы сделали свое дело: он знаменит, его всюду поминают, но он ужасен и отвратителен, как ужасна и отвратительна вся действительность, вся тяжко страдающая, больная Россия.

— Не надо про смерть! — закричали девицы. — Надоело! Давай про любовь, Вадечка, про любовь!

Поэт поскользнулся на столе и упал бы, не подхвати его несколько пар доброжелательных рук. Тогда он вновь взобрался на стол.

Надо проще, проще, проще!  
Губы к губам, губы к губам!  
Любить будем хлестче, хлестче,  
Под звоны бубнов, под грохот тамтам.

Все заплодировали. Он облизнул сохнувшие губы.

Сбрось скорей свое девичье платье,  
Не скрывай свою девичью грудь,  
Нет, не надо о прежнем плакаться,  
Будь умелицей, будь проказницей, женщиной буди!

Лужанина опять подхватили на руки, понесли на плечах, как триумфатора, по комнатам.

— Уйдемте, — сказал Горчилич Ирине. — И простите меня. Я не знал, что тут такое. Это позор. Это бедлам.

Он подал ей в передней пальто, отворил дверь и так и оставил распахнутой.

По слякоти, по снежному месиву они долго добирались до Покровской площади.

— Знаете, это кто? — с огорчением говорил Иринин провожатый. — Это подонки, отбросы. — Хмель делал его откровенным. — Надо спасать, спасать Россию, а они ее пропивают. Последнее пропивают, мерзавцы! Вы знаете, кто этот оставшийся там Кубанцев? Голубая крыса. Жандарм!

У офицеров русской армии никогда не было ничего общего с жандармами, а вот... так получается... сидим за одним столом. Пакость! Настоящий среди этой шайки только один Роман Антонович. Запомнили его бобрик, седину? Это полковник Незнамов, Ирина Владимировна. — Горчилич понизил голос. — Я надеюсь на вас. Я не имел права называть этого имени. Обещайте.

— Клянусь! — горячо воскликнула Ирина. Она была взволнована и в глазах своих возвышена тем, что приобщилась к таким великим тайнам и тоже как бы становилась хранительницей скрытого от других; она вставала в один ряд с мудрецами и поэтами, уносящими свет культуры в катакомбы, пустыни, пещеры. — Клянусь! — повторила еще более пылко.

— Роман Антонович прибыл из другого мира. Там, — Горчилич взмахнул рукой во мрак, — там не дремлют, там готовятся, и Петроград, может быть, недалек уже день, услышит голос освободительных пушек. Большого, извините, я вам сказать не могу. Русский офицер... Да, да, Ирина Владимировна, перед вами русский офицер, капитан Горчилич, кавалер двух крестов святого Георгия. Друзья иногда шутят, так и говорят обо мне: дважды Георгий. Первый из них я получил... представьте себе — кругом Георгии!.. под крепостью Ново-Георгиевск. Были ужаснейшие бои, мы оставляли крепость, уходили... Да ну, вам это нисколько не интересно. А Роман Антонович — это один из тех, кто пытался спасти царя. Было много таких попыток, когда государя держали то в Тобольске, то в Екатеринбург. Одну из них предпринял он, полковник Незнамов. Вы обещали, Ирина Владимировна, — снова заволновался Горчилич.

— Да, да, да!

— Сюда, к нам, он прибыл... — Разговорившийся Ирнин спутник не смог удержаться, чтобы и об этом не сказать красивой молодой женщине. — Он прибыл, — шепнул почти в самое ухо Ирины, — от генерала Юденича.

Что такое? — подумала Ирина. — Юденич? Где она слышала об этом генерале? Да! О нем недавно говорил Павел. Павел поминал его почти как главного врага красного Петрограда.

И как часто бывает, стоит лишь разворошить, привести в движение память, одно воспоминание привело за собой другое. Дама-то эта, дама, третья в квартире Виктории Федоровны, это же Зоя Иннокентьевна, жена профессора Завадского. Вместе с наставником Ильи она была на их с Ильей свадьбе у Соколова. Она позабыла Ирину. А может быть, Ирина тоже изменилась, как за восемь лет изменилась Зоя Иннокентьевна, и ее трудно узнать. А может быть, она и признала ее, недаром же посматривала так настороженно, чего-то ожидая. Но почему настороженно, чего ожидая? И почему не сказала, что помнит, знает?

— Это была Завадская? — напрямик спросила Ирина своего спутника.

— Да, да. Зоя Иннокентьевна. Какую-то они с мужем совершают комбинацию. Никуда она с ним не расходилась. Просто не живет на прежней квартире. Все для отвода глаз. Но чьих глаз, не знаю. Сейчас все так перепуталось! Приходится быть заодно с последними прощелыгами. И это называется собиранием сил! — Горчилич усмехнулся. — Эсеры, кадеты, монархисты Пуришкевича и Маркова-второго... А что они все? Ничто. Без нас, без офицеров, одна говорильня. Полководцы без армии. Вот и заигрывают с нами. Поят коньяком и кормят сардинами, которыми их снабжают дипломаты Антанты. Эти дипломаты опрометчиво ставят ставку на болтунов. Не на них, а на нас, на офицеров, надо надеяться!

Они уже были на Прядильной, неподалеку от дома Ирины.

— Дальше я не пойду. — Горчилич остановился. — Дабы не подвести под подозрение вас. Какие-нибудь домкомовцы могут увидеть и — шашть в чеку.

Он почтительно поцеловал ее руку, задержав на своей ладони.

— В этой руке, Ирина Владимировна, теперь моя жизнь. Учтите. Я слишком был откровенен. Я даже нарушил офицерское слово.

— Я поняла и полностью отдаю себе отчет во всем.

— Благодарю. — Из кармана пальто Горчилич переложил за пазуху браунинг. — Подожду, пока вы не дойдете до дому. Мало ли что может быть.

## 9

Генерал от инфантерии Николай Николаевич Юденич в глубоком раздумье стоял перед большим овальным зеркалом в занимаемых им и его супругой многокомнатных апартаментах гельсингфорсского отеля «Societetshuset». На свою наголо обриту голову он примеривал новую, только что доставленную местным шапочником фуражку. Фуражка имела широкий внушительный верх, превосходный козырек, сидела не туго и не свободно; именно такой фуражке и надлежало быть у «полного» генерала прежней, царской армии.

Раздумье породила не сама эта отличная фуражка, а маленькая, казалось бы, пустячнейшая ее деталь. Как быть с кокардой?

Как быть с усами, генерал уже решил. Унося после свирепых большевистских арестов минувшей осени немолодые свои ноги из красного Петрограда, он не имел никаких усов на ухоженном, холеном лице. Уж больно усы его были известны людям по фотографическим снимкам, которыми перестрели газеты тех дней, когда кавказские войска под командой генерала Юденича громили союзных немцам турок и победоносно штурмовали Эрзерум. То были усы с размахом до самых золотых погон — пышные, роскошные, одно загляденье; в том прежнем виде их можно созерцать теперь лишь на фотографии, которую, оправив бархатной небесно-голубой рамкой, супруга генерала установила на ночном столике возле своей постели в гостиничной спальне. Один из преданных офицеров почтительно удалил их в минувшем октябре золингеновской бритвой и вместе с мыльной пеной для полнейшей конспирации выбросил в унитаз. Петроградские большевики, направо и налево хватавшие тогда всех бывших царских генералов, были сбиты таким образом со следа героя-кавказца. Вместе с офицерской группой, которую вел верный ему человек, генерал пробрался сюда, в Финляндию. Поначалу обитать пришлось весьма скромно, в недорогих пансиончиках и отельчиках, задавая себе один и тот же роковой вопрос: а не податься ли еще дальше, в Европу? Финляндия — убежище не больно надежное, того и гляди здесь вновь окажутся большевики, как уже было, — народ-то бושует, большевистская зараза, подобно оспе, разносится ветром революций и потрясений. Но мало-помалу дела стали меняться. То сидел в одиночестве, почитывая вслух французские романчики своей супруге перед сном, а то и покоя не стало. Первым с политическими разговорами явился известный кадет Петр Бернардович Струве; за ним рассуждать о спасении России пришел бывший товарищ председателя Государственной думы князь Волконский; дальше повалили пачками бывший министр Временного правительства Антон Владимирович Карташев, профессор Кузьмин-Караваев, нефтяной миллионщик Лианозов, весьма вертлявый петербургский присяжный поверенный господин Иванов с некогда влиятельным журналом из «Речи» Кирдецовым, и прочая, прочая, вкуче составлявшая еще один из множества зарубежных «русских комитетов», так сказать, гельсингфорсский вариант.

Генерал Юденич не любил без крайней нужды сниматься с обжитого места. Но камарилья эта, ссылаясь на некое «Парижское совещание» неких государственных умов, оказавшихся в Париже, на горячее желание стран Антанты, убедила его прокатиться в Стокгольм. Там уже знали о нем, ждали его и должным образом встретили. Особенно любезен и обходителен был знаток солдатских анекдотов американский посол в Швеции гос-

подин Моррис. Не слишком информированный в то время о положении дел и у красных и у белых на тысячеверстных фронтах юга, севера, востока и запада, зная лишь, что на Дону армию готовит Деникин, что на Волгу, подержанный американцами, французами, англичанами и японцами, наступают Колчак, Юденич выказал американскому послу мысль о том, что как бы там ни говорили, а наикратчайший путь в Россию лежит через Финляндию — через Выборг, Терриоки и Сестрорецк. Словом, идти надо на Петроград.

— Для русского человека столицей России остался он, наш Санкт-Петербург, град Петров! Взять Петроград — и государство большевистской нечисти рассыплется само собой.

У посла под рукой оказалась соответствующая беседе карта, помощники принесли цветные карандаши, и генерал Юденич принялся чертить стрелы наступлений через те же лесные, комариные места, по которым он недавно — только в ином направлении — пробирался из Петрограда в Финляндию.

— Пятьдесят тысяч солдат, обеспеченных продовольствием, миллионов двести наличных денег и кредит Антанты — вот что нам надобно, господин посол. И с большевизмом будет покончено. Мир вздохнет облегченно.

— Двести миллионов чего: рублей, долларов, фунтов, франков? — Американца лирика не интересовала.

— Рублей, разумеется. Мы русские.

Деловой характер носили разговоры и с представителем Англии.

Юденич еще не успел занять свое место в вагоне поезда Стокгольм — Гельсингфорс, а через Европу, затем дальше по кабелю, опущенному на дно Атлантики, уже отстукивались зашифрованные донесения в Лондон и Вашингтон.

После этой поездки, собственно, и начались перемены в жизни генерала. Финские банкиры решились открыть ему некоторый кредит. «Русский комитет» стал уделять должное внимание, как полководцу, собирателю сил. Армии у генерала пока еще никакой нет, но поселился он уже в одном из лучших отелей Гельсингфорса. В передней его апартаментов дежурят адъютанты; роскошные усы вновь потихонечку отрастают, их можно оглаживать, поправлять щеточкой, можно подуть в них, и они пушатся. Есть уже и новая превосходная фуражка.

Но вот как быть с кокардой, с этим знаком принадлежности не просто к прежней русской, но именно к царской армии? Весьма затруднительный вопрос. Генерал Юденич никогда не был замешан в политической возне. И очень этим гордился. Он не Корнилов, не Колчак, не Деникин и даже не Лукомский. После февральского переворота он беспрекословно подчинился новой власти, присягнув Временному правительству и честно ему служил. Никто не может сказать, что это не так. Следовательно, с принадлежностью к царской армии покончено, и покончено добровольно. Как же надеть эту кокарду? Не будет ли она знаменовать собою монархическую демонстрацию с его стороны? Могут поднять шум финляндцы. Кстати, они и так уже кричат, видя в своей столице уймищу царской военщины и всякой, некогда окружавшей романовский двор шушеры. Сложное дело с этой кокардой. Никогда не знаешь наперед, где тебя подстерегает опасность.

Но и без кокарды невозможно. Напрятен вид без нее у фуражки, как у лица без носа. Если на него, на боевого генерала, с такой надеждой взирают сейчас все, кто разметан революцией по российским бывшим окраинам, кто хочет вернуться домой, в Россию, в Петроград, то он, этот генерал, не может появиться перед ними в нелепом виде. Ему нельзя компрометироваться. Сказать-то ведь по правде: столь популярного полководца ни в Гельсингфорсе, ни в Ревеле, ни в Риге второго нет. Когда придет час, то только он, он, никто иной, поведет полки, дивизии, армии на Петроград.

Генерал выпрямился перед зеркалом, приосанился. Не беда, что он немолод. Он еще достаточно крепок для белого коня, который ввезет его в

Петроград. Он мысленно видел свой триумфальный путь со стороны Финляндии. Сестрорецк, Лисий Нос, Лахта... Буддийский храм в Новой Деревне, Елагин и Каменный острова, Каменноостровский проспект, Нева, Троицкий мост и, наконец, Марсово поле, где грандиозный парад освободительных войск перед Павловскими казармами...

Кокарду надо прикрепить, решил Юденич. Подумаешь, завоют финны или эстонцы! И пусть себе воют. Можно будет их всех потом образумить, лишь бы до Петрограда сначала дойти.

Он позвонил в медный колокольчик. Явился один из его адъютантов.

— Как они там, подполковник? Собрались?

— Так точно, ваше высокопревосходительство. В вашем кабинете. Все, как один.

— Сейчас буду. Предупреди.

Несколько минут спустя в свой гостиничный кабинет, обставленный старой представительной мебелью, Юденич вошел прочным, на всю ступню, шагом человека, на которого возложен нелегкий груз великих государственных забот; кивнул при входе, доброжелательно, но не излишне открыто улыбнулся; затем, обходя по очереди, подал всем широкую массивную ладонь. Обогнув свой стол, опустился в громоздкое кожаное кресло.

— Между прочим, господа, — сказал он, с холодной иронией вглядываясь в обращенные к нему лица, — когда в Стокгольме я беседовал с представителями стран Согласия и просил у них средств для освобождения русской земли, они мне в весьма прозрачной форме намекали на то, что бежавшая за границу наша родная русская буржуазия удирает не в одном исподнем, а прихватив или заранее переведя в иностранные банки немалые деньги. Могли бы мы, дескать, сами собрать среди себя несколько миллионов рублей.

Лианозов сухо кашлянул. Карташев почти молитвенно поднял глаза к потолку. Присяжный поверенный Иванов сказал: «Совершенно верно, господин генерал. Американцы и англичане — реальные политики». Старый друг Юденича, граф Буксгевден, соорудил презрительную гримасу: «Разве с наших толстосумов выколотишь хоть копейку? Задавятся — не дадут». Генерал Арсеньев строго молчал. Профессор Кузьмин-Караваяв воскликнул скрипучим голосом: «Им хорошо говорить. Они на войне наживались. А мы только тратили. Непорядочно со стороны союзников делать такие заявления!»

— Это я так, к слову, — после паузы сказал Юденич. — Цель нашего совещания, господа, — взглянуть на то, чем мы располагаем и чего у нас нет. Заранее скажу: располагаем мы слишком малым. Не хватает нам почти всего. Я просил генерала Арсеньева изучить вопрос и сделать об этом доклад. Генерал Арсеньев поездил, побывал даже в Ревеле, кажется, где-то под Псковом и в Нарве. Так, генерал?

— Так.

— Что ж, приступайте к докладу.

Арсеньев подошел к вывешенной на стене кабинета большой карте Петроградской, Новгородской и Псковской губерний, Финляндии, Эстонии и Латвии, из которых две последние еще были названы тут губерниями Эстляндской и Курляндской. Кое-где по берегам реки Наровы, вокруг Чудского и Псковского озер в карту были негусто понатыканы трехцветные флажки на булавах.

— Господа, — заговорил Арсеньев, — зададим себе вопрос: располагаем ли мы в данное время чем-либо реальным, или нам предстоит делать все с полнейшего изначалья? Что касается меня, то я отвечу на этот вопрос так. Да, располагаем. Правда, немногим, но располагаем. И то, чем мы располагаем, может стать дрожжами, на которых взойдет остальное, необходимое для успешной кампании.

Он взял со стола линейку и вновь возвратился к карте.

— Вот! — Линейка устремилась в район, расположенный северо-западнее Пскова. Покрутив ею вокруг Юрьева, Арсеньев повел ее к северу. Главные русские силы сосредоточены, или, вернее, рассеяны, в этих местах. Немножко, господа, истории. Будем объективны. Наши исконные враги — немцы — в данном случае сделали и кое-что полезное. Наступая на Петроград в прошлом году, они, нет сомнения, готовили и новое, угодное им правительство для России взамен правительства Ленина. Во всяком случае, шло энергичное формирование русских частей под немецким командованием. Части эти вкуче получили наименование Северной армии. Что же удалось сделать немцам? Им много помог некий ротмистр Альфред Розенберг, молодой, но чрезвычайно ранний господин лет двадцати пяти — двадцати шести. Это прибалтийский немец, родившийся в Ревеле, учившийся в Риге в политехникуме, затем в Москве в техническом училище. Когда немцы заняли Ревель, он, не мешкая, вступил добровольцем в немецкую армию и сделал весьма быстротечную карьеру, как специалист по русским вопросам. Вы, наверно, удивлены, господа, откуда такими подробными сведениями располагает ваш покорный слуга. — Арсеньев заулыбался. — Нет, не я виновник тому. Все это разузнал для нас любезный генерал Владимиров.

Все оглянулись на того, на кого указывал взглядом генерал Арсеньев. В углу кабинета сидел немолодой, некрупный, незаметный человек в английском, застегнутом на все пуговицы, великоватом ему френче. Никто не заметил, когда и как появился он в кабинете, этот названный генералом Владимировым человек. Он потупился под взглядами и поглаживал, заложив меж колен, ладонью о ладонь свои короткопалые руки в светлых волосинках.

— Итак, — продолжал Арсеньев, — ротмистр Розенберг — одно из главных лиц в деле возникновения русских добровольцев в Пскове. По заданию немецкого командования он связался с офицерами-гвардейцами, находившимися тогда в петроградском подполье. Об этом подполье Николай Николаевич прекрасно знает все сам. — Арсеньев взглянул на Юденича. — Николай Николаевич тоже, как известно, пребывал в секретной офицерской противобольшевистской организации.

Юденич настороженно и хмуро поднял глаза на Арсеньева. Ему не хотелось, чтобы Арсеньев развивал эту тему, иначе, увлекшись, тот может назвать и вдохновителей помянутой тайной организации — господ Пуришкевича и Маркова-второго, а всем известно, сколь неприлично иметь дела с господами подобного сорта.

Арсеньев был достаточно тактичен. Не назвав никаких имен, он продолжал:

— Из Петрограда в Псков потянулись русские офицеры. Встречал их этот немецкий ротмистр. Дело было уже в августе — сентябре минувшего года. Офицеры бедствовали, готовы были радоваться любой службе, лишь бы против большевиков. Армией, конечно, это формирование назвать было нельзя. Но все-таки. Появились затем в ней не только офицерские, но и солдатские части: псковские чиновники и гимназисты понадевали военную форму. Первым командующим армии был наш генерал Вадам, сотрудник газеты «Новое время»...

— Черносотенной газеты, — вставил присяжный поверенный Иванов.

Арсеньев сделал вид, что не слышал этого замечания, и продолжал:

— ...при начальнике штаба некоем Малявине, которого я, простите, не знаю. Затем произошли перемены, причины их мне неизвестны тоже. Командующим стал полковник фон Неф, а при нем на разнообразных ампулах вот этот русский немец Розенберг.

— У них сейчас новые замены, — с брезгливым пренебрежением заговорил Юденич. — Генерал Владимиров может рассказать подробнее. Я лишь вкратце. Полковник Родзянко, племянник председателя Думы Миха-

ила Владимировича, однажды навесил этого Нефа, заскочил на часок в гости, и фон Неф от щедрот своих произвел полковника в генералы. На радостях новый генерал перекрестил в генералы и полковника Нефа. А сейчас их всех, своих благодетелей, Родзянко пинает под зад коленом, желает так называемый Северный корпус, который образовался из помянутой генералом Арсеньевым розенберговской армии, прибрать к своим рукам. Благоволит ему этот, как его... мы все его знаем... эстонский генерал Лайдонер. — Юденич по-кошачьи фыркнул в свои отрастающие усы. — Куда ни глянь — одни генералы! Шатия-братия! А нам бы солдатиков побольше.

— Вы поминаете события более позднего времени, Николай Николаевич, — выслушав, сказал Арсеньев. — События наших, нынешних дней. Я же, с вашего позволения, продолжу историю вопроса. Итак. Ядро армии возникло. К нему примкнул перешедший со своим полком от красных ротмистр Булак-Балахович. Одновременно с каким-то отрядом появился подполковник Пермикин — один из друзей и соратников Балаховича. Еще отряд привел сотник Данилов. У меня все это, Николай Николаевич, записано. Я со всеми побеседовал. Это не с потолка. Да, так вот. Немцы наобещали новой армии пятьдесят тысяч комплектов обмундирования, полсотни тяжелых и трехдвоймовых орудий, пятьсот пулеметов, сто пятьдесят миллионов марок. Но человек предполагает, а бог располагает. В Германии произошла революция, немецкие войска стали отступать, красные ударили и заняли Псков. Северная армия, все утверждают, неплохо сражалась, но была она малочисленна и слабо вооружена и в итоге тоже отступила. Но не в сторону Риги, как сделали немцы, а в Эстонию. Там она натерпелась горя. Эстонцы заставили наших русских драться за их, эстонские, интересы, за отделение от России. Нелепое, странное положение. Оно остается таким и сегодня, когда там уже не Северная армия — об армии говорить смешно, — а Северный корпус, командование которым фактически присвоил себе — Николай Николаевич прав — полк... генерал Родзянко.

— Простите, генерал, — задал вопрос Иванов, — а что происходит с армией Бермонта-Авалова где-то под Ригой, в Митаве? В какой мере можно рассчитывать на нее? Это русская армия или немецкая?

— Николай Николаевич, — Арсеньев обратился к Юденичу, — вы, если не ошибаюсь, пытались связаться с Бермонтом. Не могли бы вы...

— Нет, — резко ответил Юденич. — Спросите генерала Владимировича. Он располагает сведениями.

Владимиров встал, ничуть не похожий на генерала, смиренный, тихий, скорей конторщик, чем генерал, и, не подымая глаз, уставя их в пол, заговорил ровно, гладко, будто там, на полу, читал то, о чем говорил:

— После своей революции немцы отвели войска от передней линии. Но в Риге и вокруг нее, вопреки всем договорам, они, однако, оставили так называемую Железную дивизию генерала фон дер Гольца, который, как вам известно, успешно подавил здешнюю финляндскую революцию, а затем был переброшен в Латвию. Его войска помогли разгромить и латвийскую советскую власть. Кроме Железной дивизии, у фон дер Гольца были под началом русские формирования, в частности добровольческий корпус помянутого полковника Бермонта-Авалова. Кто такой Бермонт-Авалов? Во времена гетмана Скоропадского он формировал на Украине части для Южной армии, точнее, для донского атамана Краснова. Все это тоже было связано с немцами, так как и генерал Краснов ориентировался на немцев и получал от них поддержку.

Владимиров попросил воды. Налив стакан сельтерской, ее подал ему Карташев.

Отпив несколько глотков, Владимиров вновь заговорил:

— Откуда же взялись бермонтовские формирования под началом фон дер Гольца? Когда немцы отступали с Украины, Бермонт-Авалов был вместе с ними в Германию. Продолжал работать на них там. По заданию немецкого военного командования, незаконно, против условий мирного

договора он в лагерях военнопленных набирал русских добровольцев, главным образом офицеров, составляя как бы партизанские отряды для борьбы против большевиков в России. На самом же деле переправлял их, эти отряды, под Ригу, в Митаву, под начало фон дер Гольца, в добавление к Железной дивизии. Я понимаю раздражение Николая Николаевича. Бермонт не желает входить в контакт с нами. У него свои планы. А какие? Он прихвостень немцев. Рассчитывать на армию Бермонта-Авалова мы никак не можем. Это мое, конечно, частное мнение.

— Господа, — сказал Юденич, — теперь вы многое знаете. Хочу сказать вам кое-что и я. Мы, военные, собирались и совещались уже не один раз. Мое предложение идти на Петроград через Финляндию не принимается. И не принимается не почему-либо иному, а просто потому, что в Финляндии нет наших сил. Их надо или заново формировать, или перевозить сюда из Эстонии. Хорошо, я согласен, дело это хлопотное, трудное, дорогостоящее и требует много времени. А те, кто расцедрился на снабжение нас оружием, боеприпасами, обмундированием, продовольствием, кто обещает поддержать нас флотом и танками, они хотели бы предварительно получить некоторые авансы. Нам прежде всего надо уйти с эстонской земли, от этих неверных союзников, которые имеют наглость нас третировать, и опереться на свою, русскую землю, если уж мы не имеем права называть таковой землю Эстляндской губернии. Вот сюда... — Он встал, подошел к карте. — Вот сюда, к Нарве, надлежит собрать все наличные силы, все части, какие у нас есть.

— Они пока у генерала Родзянко, — вставил Арсеньев.

— Хорошо, хорошо, — отмахнулся Юденич. — Пусть так. Собрать их здесь и нанести удар, цель которого — захват территории, скажем, по линии Ораниенбаум, Красное Село, Гатчина, Луга, Псков. Будет прекрасный плацдарм. Будет свое пространство. Можно кликнуть клич к русским людям и набрать добровольческие полки. Или же провести мобилизацию. А затем, собравшись в кулак, осуществить и главный удар — на Петроград! При всей своей флегматичности Юденич так рванул линейкой по карте, что возле Петрограда продрал на ней длинный узкий язычок.

Все было столь ясно, столь многообещающе и казалось таким исполнимым, чуть ли даже уже не исполненным, что у собравшихся холодок прошел по коже, холодок предчувствия великих исторических событий.

— Спасибо, генерал!

— От всей души благодарю, Николай Николаевич!

«Русские комитетчики» наперебой жали тяжелую большую руку Юденича и, торжественные, раскланиваясь, покидали его кабинет.

Юденич задержал у себя только Владимиров: «На одну минутку».

— Ну, Владислав Станиславович, — сказал ему, свободно рассаживаясь на диване. — Когда эта сюртучная братия испарилась, можем с вами и покурить. Давайте хорошую папиросу.

Владимиров щелкнул массивным золотым портсигаром и тоже, как Юденич, откинулся в кресле. Он уже не смотрел, потупясь, в пол и не казался таким маленьким, незаметным, каким был на совещании. Он расправился, распрямился, глаза его смотрели цепко, хватаяще. Никто, кроме Юденича, не знал, что Владимиров вовсе и не Владимиров и что никакой он не генерал. Настоящая фамилия его — Новогребельский, и до Февральской революции служил он в жандармах, в чине полковника. Документы генерала ему сделал Юденич своей волей, своим распоряжением. А фамилию полковник Новогребельский сменил еще в Петрограде. Они — Юденич и Владимиров — друг друга стоили, Юденич многим был обязан Владимирову-Новогребельскому. Мастер сыска и конспирации помог генералу избежать большевистского ареста и уйти в Финляндию. Он-то и был тем верным человеком, который вел Юденича через болота и через реки.

Сам по себе грузный, ненаходчивый, привыкший к тому, что все трудное, бытовое за него кто-то сделает, генерал от инфантерии, не окажись рядом с ним Новогребельского, несомненно, кончил бы тем, что был бы схвачен и расстрелян в ЧК. Новогребельский, в свою очередь, был не меньшим обязан Юденичу. Бывший жандарм дошел бы до полного нищенства в эмиграции, если бы его в благодарность не приблизил к себе двинувшийся в политическую гору генерал.

— Крикуны, — сказал Владимиров. — Горлодеры. А когда до дела дойдет, все они окажутся в нетях. Липовые патриоты! Вы их, Николай Николаевич, с первых же слов на место поставили. На деньгах сидят, а для общего дела и с копейкой не расстанутся.

Юденич самодовольно огладил усы.

— Там видно будет, что и как, — продолжал Владимиров. — Лишь бы в Петроград войти. А типов этих можно и — фью-ить! — залиvisto присвистнул он, делая многозначительный жест в воздухе.

— Многих придется «фью-ить», Владислав Станиславович, — не так умело повторил его жест Юденич. — Очищать надо будет Россию от швали, от мусора, от предателей. В одном Петрограде ...

— Веду, веду списочки, Николай Николаевич. Можете быть спокойны. Уж те-то, из-за кого мы столько ночей недоспали, седыми раньше времени сделались, они у нас поболтаются на веревочке. Я одного очень крепко помню. Ян Карлович. Фамилию еще не разузнал. Латыш из чеки. Если б я не сунулся вовремя в помойную яму, он бы меня пристукнул тогда, при провале квартиры на Екатерингофском. И вот еще каков: узнал меня, встречались мы прежде. «Новогребельский, — кричит, — поднимай руки, жандармская крыса!» Стреляет метко. Мог бы нарочно не насмерть убить, только ранить. А уж тогда бы они мне, эти Яны Карловичи, показали!.. Теперь, дай-то господи, покажем им мы.

— Господь господом, это само собой. А как у нас осуществляется связь с Петроградом — это уж, дорогой мой, полностью лежит на вас. Все имеете: и опыт, и умение, соответствующие познания. Надо, чтобы там зрело, зрело, созревало.

— В основном там кадеты, Никслай Николаевич. Политиканы. Так называемый «Национальный центр». Для контроля, для верности я забрасываю к ним надежнейших офицеров. Не только Незнамов выехал в Петроград. Есть и еще несколько настоящих боевиков. По секрету скажу, — Владимиров даже радостно засмеялся при этих словах, — есть интересная, обнадеживающая ниточка. Вы не знали в свое время генерал-лейтенанта Люндквиста?

— Люндквист? Как же! Еще имя у него такое замысловатое...

— Яльмар, — подсказал всезнающий Владимиров. — Яльмар Федорович. Так вот, почтенный генерал оставил после себя немало способных потомков: двух сыновей — Владимира и Михаила — и дочь Елену. Дочь работает по медицинской части. Одно время была в госпитале при Пажеском корпусе. Михаил — художник. А Владимир — тот пошел по батюшкиной линии. Офицер. Недавно еще был капитаном, а сейчас уже и полковник. Двинулся вверх при Временном правительстве, оказавшись в генеральном штабе. Так вот, господин Троцкий взял его в Красную Армию в качестве, как они теперь там говорят, военного специалиста, «военспеца». Владимир Яльмарович вполне успешно внедряется в толщу красных войск, зарабатывает авторитет и доверие. Это, я вам скажу, уже одно, что он там, означает весьма многое, весьма.

— Я вот что решил, Владислав Станиславович, — неожиданно перебил его Юденич. — Прикреплю-ка все-таки кокарду на фуражку! Без нее как-то и не два и не полтора. Непонятный вид.

— Присоединяюсь к вашему решению, Николай Николаевич. Жива матушка-Россия. Пусть все видят.

## 10

— Костя Осокин! — послышалось за приоткрытой дверью в соседней комнате. — Приди сюда!

Одернув гимнастерку, поправив ремень, Осокин распахнул дверь шире и вошел.

— Я здесь, Ян Карлович!

Тот, к кому он обращался, стоял возле окна и носовым клетчатým платком протирал пыльное стекло. Это был сухощавый, высокий человек, сутуловатый и лысеющий. Он обернулся. Глаза его располагались на лице так, что один был несколько выше другого, будто бы Ян Карлович поднял бровь и ждет ответа; тот, на которого смотрели эти глаза, непременно начинал волноваться, не зная, что отвечать, поскольку Ян Карлович еще ни о чем и не спрашивал!

— Садись, Костя Осокин! — Ян Карлович указал на стул перед столом. — Мы будем с тобой разговаривать.

Осокин сел, а Ян Карлович принялся медленно прохаживаться вдоль окон. Комната была большая, три высоких, узких ее окна выходили на Гороховую. Это был рабочий кабинет Яна Карловича, через который за последние несколько месяцев горячей работы Петроградской ЧК прошли сотни жандармских и армейских офицеров, бывших генералов, бывших князей, графов, баронов, помещиков, заводчиков, торговцев, спекулянтов, иностранных подданных, занимавшихся контрреволюционной деятельностью. Все они побывали на этом гнущем венском стуле, на который усадил Осокина его неторопливый начальник.

— Что же ты, Костя Осокин, мой дорогой потомственный русский пролетарий и боец революции, намерен делать с этим спекулянтом Хамелайненом? — Ян Карлович сел за стол на обычное свое место, и его поднятая бровь требовала от Осокина толкового ответа.

— Вот не знаю, Ян Карлович. Голову прямо ломаю. — Осокин знал, понимал, что рано или поздно подобный вопрос последует. Хамелайнена он держит под арестом целый месяц, сверх всяких допустимых сроков; надо или доказать его преступность должным образом, или отпустить. Чувствуя вину, он добавил: — И товарищ Благовидов из Смольного в нем заинтересован. Хотелось бы все-таки воспользоваться названными маршрутами и явками, Ян Карлович.

— Да, Осокин, да, надо бы. Но учти: если нехорошо обвинить невиновного, то еще хуже выпустить врага. Как все обернется в таком случае, трудно даже себе представить. Я совершил две ошибки, которые уже сейчас недешево обходятся нашей с тобой Советской власти, а могут они ей обойтись и еще дороже. Никто, как Ян Карлович, упустил ротмистра Булак-Балаховича с его братцем иезуитом Юзеком. Конечно, я его не из рук упустил, нет. В руках у меня он еще не был. Он упредил меня, перехитрил, очень ловко обманул. А вот бывший жандарм Новогребельский, большой, Осокин, негодяй, тот почти уже был в руках.

— Это на Екатеринбургском-то?

— Да, на Екатеринбургском. Растаял во дворе, как дух из арабской сказки. И теперь мы должны ждать его пуль из-за угла. Не мы с тобой лично, два работника чека, а наша с тобой рабоче-крестьянская власть в целом. К чему я это веду? К тому, Осокин, что изволь разобраться с Хамелайненом. Держать под замком его незачем. Дело от этого не движется, а совсем наоборот, стоит на месте, как на мертвом якоре.

— Как же быть, Ян Карлович? Я ведь что думал? Вроде подсадной утки его использовать. Пробовал. Три раза, Ян Карлович, водил на то место, на Фонтанку у Прядильного, где на него тогда охотились. Такой же короб, какой был у него раньше, ему соорудили. На горб навьючили. Ходил туда-сюда, хоть бы кто клюнул...

Ян Карлович долго и, казалось, с глубоко скрытой в его допрашиваю-

щих глазах укоризной смотрел в упор на Осокина. Тот даже ерзать стал под этим взглядом.

— Ты в деревне, Осокин, бывал? — задал ему неожиданный вопрос Ян Карлович.

— Случалось. Немного только.

— Ты знаешь, откуда молоко берется?

— Из коровы, Ян Карлович! — Осокин засмеялся. — «Скребицей чистил он коня»!

— Э!.. — сказал Ян Карлович. — Оживился парнишка! Стишки начались. Я-то думал, Костя Осокин, еще входя ко мне, объявит что-нибудь вроде этого: «Передо мной явилась ты». А ты совсем кислый сегодня оказался.

— Виноватый же я. С Хамелайненом-то. Чувствую же.

— Хорошо, что чувствуешь. Ну так, значит, молоко берется от коровы? Правильно, Осокин. Но когда деревенская женщина-хозяйка принимается доить свою буренушку, а? Когда? Вот вздумается ей ни с того ни с сего, пойдет она в коровник, подставит ведро под вымя и давай тянуть за сиську? Нет, Осокин, нет. Доит хозяйка, когда видит, что буренушка ее драгоценная с лугов вернулась, наелась в них травушки, и вымечко ее полно, значит, молочишка.

— Ян Карлович!..

— Да, да, только так. Отпусти его, спекулянта своего, коровушку чью-то, в Ревель, пусть запасется новыми припасами, и вот тогда... Они же следят, Осокин, за его маршрутом. Разве тебе не ясно по тому, как точно рассчитаны были все три нападения? Нападавших кто-то оповещал. Может быть, ты думаешь, они с утра до ночи и с ночи до утра так и торчат на углу Фонтанки? Гусь ты, Осокин! С лапками.

— Здорово же вы решили, Ян Карлович! — Осокин ободрился. — Благовидов из Смольного тоже так говорит: не заставить ли, говорит, его подразведать кое-что? Отпустить для этого в Ревель. Все-таки, мол, заложники есть. Родственники под Ропшей. В Финно-Высоцком.

— Толковый, значит, тот малый, Благовидов. Вот и отпусти, Осокин, отпусти. Но помни: в случае чего, если уйдет да не вернется, нехорошо у тебя на сердце будет. Как у меня из-за этих двух мерзавцев, о которых я тебе рассказал. В такой борьбе, какая идет, нам с тобой ошибаться нельзя. Дай-ка махорки, Осокин. А у меня есть хорошая папиросная бумага. — Ян Карлович вытащил из ящика стола тонкий, прозрачный лист бумаги для папирос. — Видишь, сколько ее? А махорка кончилась. Со вчерашнего дня терплю. И ты можешь закурить, пожалуйста. Бери бумагу. — Цigarка у Яна Карловича не получилась: жесткая, угловатая махра рвала слишком нежную для нее, деликатную бумагу. Он взялся за газету.

— Если мы с тобой слишком много наошибаемся, — продолжал, закурив, — кончится, знаешь, чем? Подойдем-ка к окнам, я тебе покажу наглядно. Видишь тот фонарный столб, большой, на углу? На нем генералы повесят меня. А вот этот, который прямо перед нами, он будет для тебя. Как раз перед нашим подъездом тебя повесят, Костя Осокин.

— Разве дамся? Я лучше сам застрелюсь! — горячо воскликнул Осокин.

— Повесят мертвого. Все равно висеть будешь. Ты, Осокин, непременно должен понять, что борьба наша особенная. В России разгорается гражданская война. А гражданские войны — история это хорошо знает — самые жестокие войны. Война с французами или с японцами, с немцами — дело другое, на эту непохожее. Лезут к нам они, а мы-то на своей земле. Ударим по ним, они и уйдут. А куда уйдут? На свою, ихнюю землю. Никто ничего не потерял, все при своих. Если не брать в счет убитых и раненых да сожженные города и села. А гражданская война? В такой войне и мы на своей земле, и они, генералы и помещики, тоже ее своей считают. Да она ведь, разобраться, и на самом деле не чужая же им. На ней каждый из них

и родился и вырос. Они тоже, Осокин, русские люди. Уходить ни нам, ни им, получается, некуда, кроме как на дальнюю чужбину, в эмиграцию. Значит, что? Приходится воевать до полного подчинения или истребления одной стороны другой. Ты это ощущаешь?

— Ощущаю.

— А ты покрепче ощути. Кто цацкается сегодня с врагом, пойми, тот сам для революции враг. Осенью мы расстреляли кое-кого в ответ на выстрелы в товарища Ленина да за убийство товарищей Володарского и Урицкого, после всех этих известных тебе контрреволюционных мятежей. Белый лагерь и заграница даже слов для нас не находят — костят и клеймят самыми позорными клеймами. А рассуди, молодой товарищ, мой друг Осокин, рассуди. Каждый из них, из тех расстрелянных гидряков, отпусти мы его подобру-поздорову, что бы он сделал? Рано или поздно, но непременно выступил бы с оружием против нас. Генерала Краснова отпустили в семнадцатом году под его честное генеральское слово. И что? Удрал. И сколько же наших людей погубил он, зверствуя на Дону после этого! Вся та генеральская свора из Быховской тюрьмы — Корнилов, Лукомский и всякие другие, — сбежав на юг, что сделали? Армии собрали против нас. А Юденич? Вырвался из Петрограда, и что, думаешь, так и будет тихонько сидеть в Финляндии? Не ликвидировав одного такого типа, Осокин, обрекаешь на смерть и на мучения, может быть, тысячи своих товарищей, хороших, честных русских людей, граждан новой, свободной России. Я, конечно, занимался не только тем, что упускал врагов, Осокин. И ты их не только упускал. Немало мы с тобой уложили их в гроб. Может быть, когда-нибудь нас с тобой за это будут очень позорить. Когда революция победит окончательно, когда у всех будет хорошая, спокойная жизнь, некоторые скажут: а чего это там понапрасну кровь людскую проливали один старый латыш и один молодой русский? К чему, мол? Все мирно порешить можно было. Эх, эх, Костя Осокин, это, значит, не революционеры уже будут, а такие, которым всю бы жизнь на балалайке протренировать. Кстати, ты играешь на чем-нибудь? На гитаре, например?

— Нет, Ян Карлович. И в руках ее не держал никогда.

— А надо уметь. В нашем с тобой деле все уметь надо. Не только палить из кольтов. На гитаре вот играть? Надо. Польку танцевать? Тоже. По-английски или по-французски говорить? Непременно. Все-все надо, Осокин. Ну так вот, отпусти Хамелайнена в Ревель.

— Но у него, Ян Карлович, оборотных средств, говорит, нету. Там ему товары на золото, на драгоценности отпускают. Бумажного хлама не берут.

— Подумаем. Обращусь к председателю. Может, золотых монет из фонда выдадут. А все остальное ты как следует продумай, Осокин.

Солнечным днем, когда под заборами весело булькали апрельские ручьи, а над пригретым булыжником мостовых слоился парок и в садах распевали возвратившиеся из южных стран голосистые пичуги, Осокин, в кожаной куртке, в кожаной фуражке, замыкал на ключ ящики своего стола. Отцепив от пояса кобуру с кольцом и со словами «Я люблю вас, Ольга, но к вам очень мало патронов», он бережно уложил пистолет в железный ящик, привинченный к полу, взамен же достал обыкновенный наган, патроны к которому можно раздобывать в любой воинской части.

Через час, вместе с Павлом Благовидовым сопровождая Хамелайнена на тендере паровоза «ОВ», обычно называемого «овечкой», который по наряду ЧК вышел на линию из депо при Балтийском вокзале, они отправились в путь. Паровоз торопился, пыхтел, машинист с кочегаром орудовали возле топки и приборов измерения пара, скорости, температуры воды. На тендере, на дровах, которые вместо угля кочегар то и дело швырял в топку, было свежо от встречного тугого ветра. Но уходить в будку машиниста,

в топочный жар не хотелось. Уж больно после хмурой, холодной, голодной зимы ярко и радостно светило солнце. У Благовидова и Осокина на душе было ясно, спокойно: вырвались из круговерти повседневных, изнурительных и, в сущности, однообразных забот. Хоть немного, но можно отойти, отмякнуть в непохожей, в другой обстановке.

Паровоз, рассчитанный на уголь, не слишком сильно тянул на дровах; никак нельзя было сказать, что станции Лигово, Горелово, Красное Село проносились, мелькали мимо. Степенно и неторопливо они набегали и отплывали назад. Степенно наплыли и отплыли Дудергоф, Тайцы, Пудость, платформа Мариенбург. В Гатчине застряли надолго. Одноколейный путь впереди был занят столь же медленно тащившимся товарняком.

Лишь к позднему вечеру добрались до Волосова. Пришлось переночевать на станции и с рассветом двинуться дальше на тряской крестьянской подводе. В болотистых лесах, в ольшаниках и осинниках начались невысшимые проселочные дороги. Лишь кое-где еще держался зимник. Врезываясь в поверхность рыхлого снега, колеса встречали под ним замороженный грунт и катились более или менее устойчиво. Но под весенним солнцем открылись уже и болотные топи, из торфов лезли наружу бревна и жердняк гатей, там надо было слезать с подводы и, хватаясь за грядки телеги, за оси, помогать лошаденке справляться с ее незавидными лошадиными обязанностями. Измазались все вчетвером, включая возницу, промокли, изошли испариной.

Путь такой длился почти двое суток, пока наконец дотащились до большого села Попкова Гора. В селе стояла немногочисленная красноармейская часть. Командир ее, питерский рабочий, большевик, весь вечер рассказывал о стычках с отрядами эстонцев и белогвардейцев, бродивших за рекой Плюссой, о трудной красноармейской жизни. Ни одежды нет, ни обуви, ни харчей, ни патронов. Если белым заскочит в голову начать наступление, перед ними не выстоять, такими пустыми силенками не удержишь противника, — бежать надо будет, да и бежать некуда, в болотах утопнешь. Одна надежда на то, что противник и сам через эти болотистые и озерные места переть не рискнет. Пешком если, то кое-как еще и пройдешь. А про артиллерию, про обоз и не думай. И пушки увязнут, и кони потонут.

Едва стало светать, вышли с Хамелайненом за деревенскую околицу. В окрестных березняках бубнили и фыркали тетерева, в частом осиннике трещали сороки.

— Итак, Хамелайнен, — сказал Осокин, — теперь ты пойдешь один. Не заблудишься?

— Снакомая торога. Всегда через эту Попкову Кору хотел. Я же вам сразу токта скассал.

— Золото береги. Помни, что оно государственное. Народное. Уразумел? Не каких-нибудь князей или графей — рабочее и крестьянское.

— Урасумел, урасумел. Как не урасуметь!

— Значит, когда же тебя ждать-то обратно?

— Как отсчитали товарищи командиры, через месяц, раньше не вернуться.

— От десятого до пятнадцатого мая кто-нибудь из нас — или товарищ Благовидов, или я — будет ждать тебя здесь же, в Попковой Горе. Найдешь командира части. Он будет знать про нас. Или сельского старосту поищи. А вернее всего, держи путь на этот дом, где мы сегодня ночевали. Будь здоров! — Осокин пожал ему руку.

Благовидов руку Хамелайнена задержал в своей на минуту.

— Все, что сможешь, разноухивай и там, в Ревеле, и по дороге. О чем говорят, к чему готовятся. Кто такие. И так далее. Ты сам знаешь.

— Все пудет, все пудет. Матти Хамелайнен не такой турак.

Спекулянт зашлепал своими иностранного образца тяжелыми башмаками по торфянистой земле, по которой плыла под уклон к болотам талая

ржавая вода. Он держал путь прямо к лесу, где фыркали тетерева и сутились сороки.

Благовидов и Осокин дождались, пока он скрылся в кустах, выкурили по самокрутке и медленно побрели обратно в село.

— Да, — сказал Благовидов.

— Да, — откликнулся Осокин. — «Напрасно на запад казачка глядит».

— Посмотрим.

— Посмотрим.

## 11

На том же паровозе, который все эти дни ожидал их на путях станции Волосово, Благовидов с Осокиным возвратились в Гатчину.

— Знаешь, — сказал Благовидов, когда остановились у вокзала, — ты, Костя, если спешишь, езжай дальше один, а я задержусь, пожалуй. Надо мне. Давно собирался. Тут в казармах несколько частей расквартировались. Поговорю с командирами, с комиссарами. Завтра-послезавтра приеду поездом.

— Так и я могу поездом, — отозвался Осокин. — Отпустим паровоз, пусть домой дует. У меня тоже делишки найдутся. Ты читал что-нибудь из сочинений писателя Куприна?

— Как же! «Поёдинок» его чего стоит! Когда я в офицерской школе учился, зачитывались. Сам автор — офицер, жизнь армейскую знает.

— Он и о жизни бардаков довольно ясное представление имеет. «Яму» читал?

— Читал. А почему ты о Куприне вспомнил, Костя?

— Да он же здесь, в Гатчине, проживает.

— И сейчас?

— Точно. Мы задержали спекулянта со спиртом. Сказал, для господина Куприна, мол, раздобыл, с великими трудами. Ян Карлович распорядился отпустить жулика, да еще и просил его передать поклон товарищу Куприну, сказать, что он его читатель и почитатель. Он-то, Ян Карлович, как раз и дал мне «Яму» для прочтения. Посмотри, дескать, Костя Осокин, как при царизме измывались над женским достоинством. Вот, схожу проверю, правду ли плел тот малый насчет спирта. На всякий случай.

Не торопясь, шли они вдоль улиц Гатчины, по местам горячих событий поздней осени 1917 года. Именно отсюда, объединив свои силы, направили было контрудар по революции свергнутый премьер Временного правительства господин Керенский и командир брошенного сюда из-под Острова кавалерийского корпуса казачий генерал Краснов. Сложенный из серого камня дворец Павла I мог бы многое рассказать о тех днях. Под его сводами они перегрызлись все: и Керенский, и Краснов, и бомбист Савинков, который ныне стал одним из самых деятельных врагов Советской власти.

По улицам без всякого дела бродили красноармейцы, одетые одинаково плохо, как и те, которые вповалку спали по избам Попковой Горы, небритые, нестриженные, лузгающие семечки. Один из них показал дорогу к городскому Совету, а там Осокин узнал и адрес писателя Куприна.

— Елизаветинская, девятнадцать «а». Почти у самой линии Варшавской железной дороги. Собственный дом.

Свернув с проспекта Павла I, пересекли длинную Багавутскую, в четыре ряда засаженную старыми узловатыми березами с бугристыми наплывами на стволах, затем — тоже всю в березах — Николаевскую и такую же Александровскую. Наконец-то вот и она, Елизаветинская. К воротам углового дома прибита жестянка как раз с № 19а. Дом окружен садом, сквозь доски забора видны гряды, среди них, раскидывая из лукошка бую труху, возится сгорбленный человек в стеганой ватной кацавейке.

Месяца два назад известный русский литератор Александр Иванович Куприн побывал в Москве. Его, домоседа, долго перед тем обхаживали и старые знакомые по Петербургу и какие-то незнакомые страдальцы за святое общее дело. Человек он нейтральный и лояльный, никак и ни в чем политическом не замешанный, и должен он поэтому, просто обязан отказаться от своего гатчинского отшельничества и послужить благородным трудом отчизне, которая изнывает в муках, истекает кровью, утратила великое ее прошлое и не видит, несчастная, никаких дорог в будущее. Только он, Александр Иванович, способен сделать для нее осязаемое, необходимое, реальное. А реальным этим должна явиться беспартийная, сугубо беспартийная газета, которую бы выпускал он, Александр Иванович; стала бы та газета центром объединения мыслей, дум, чаяний народных.

Почти силой выпроводили писателя Куприна в Москву, помогли проникнуть к красным комиссарам, ведавшим делами такого рода. В Кремле, как он сам потом рассказывал, ему сказали: «Хотите участвовать в культурной работе для народа? Это прекрасно, горячо приветствуем. Вот вам для начала задняя страница народной газеты «Красный пахарь». Проводите через нее свои идеи».

За Александром Ивановичем, подталкивая его, направляя, наускивая, стояла изрядная группка литераторов, ученых, журналистов. Сами о себе они говорили: «Не соблазненные большевизмом». Они наказывали Александру Ивановичу: «Никаких компромиссов. Или — или». И Александр Иванович не слишком-то умно и притом заносчиво ответил комиссарам: «Извините. Но если красный, то какой же это пахарь? А если пахарь, то зачем ему красный цвет?»

На том дело спасения родины и кончилось. Александр Иванович вернулся в Петербург и в свою любимую Гатчину. Пережив нелегкий год, первый год революции, и вторую советскую зиму, он решил на этом втором году все силы вложить в огород, вырастить вдоволь картофеля и овощей, чтобы семья больше не испытывала голода. Тихо бродил он по городу, таская за собой салазки, и детским совочком подбирал на дорогах котяхи, оброненные лошадьми, жег в кухонной плите кости, толлок их в ступке, измельчивая в тонкий порошок. А то взбирался на гатчинские колокольни за голубиным пометом, сушил его, тоже толлок, смешивая затем с раздобытым в городе заводским суперфосфатом и высушенной бычьей кровью с бойни. Долго не мог найти Александр Иванович семян — ни огородных, ни цветочных. В советских организациях ему отказывали. Он не понимал, почему. Он не хотел знать того, что питерцы в ту весну тоже разводили огороды, но не индивидуальные, когда каждый печется только о себе, а большие, коллективные, для великого общего дела, и поэтому ему, огороднику-индивидуалисту, семян не оставалось. Он втридорога покупал их у старых гатчинских и красносельских огородников.

Бывало, спрашивали Александра Ивановича, почему он не уехал куда-нибудь на юг или за границу, не из-за недостатка же денег. Толком ответить на подобные вопросы он не мог. А что отвечать? Ну не хотел уезжать, не хотел бросать свой дом, который так любил, в котором ему всегда, уж скоро девять лет, было удобно, привычно, уютно. С его мягким, недеятельным, созерцательным характером никому же он не мешал и не хотел мешать, у него было только одно желание — быть с самим собой и со своими близкими.

Писателя не очень интересовало то, что происходило вокруг, он не искал ничего в будущем, он любил пристально всматриваться в минувшее. Для него любезной была старина во всех ее материальных свидетельствах. Старый фарфор, старая мебель, старые, редкие книги — разве это не сладостные источники тихой человеческой радости? Осторожными, влюбленными пальцами он мог, как нечто живое, гладить чашечку, сработанную в екатерининские времена, нежно перелистывать желтые листы инкунабул, переплетенных в телячью или свиную кожу. Говорил он тихо, ровно, на ма-

нер древних летописцев повествуя о чем-либо, никогда не участвовал в тех изнурительных, иссушающих мозг ярмарках тщеславия, коими, более чем самим искусством, литературой, живут, дышат, питаются иные из его братьев по перу. Александра Ивановича физически поташнивало, когда при нем рассказывали скабрезные анекдоты.

Новая власть не тронула его и не трогает. Она ничего от него не требовала и не требует. Если кто и пытался втащить автора «Поединка» и «Гранатового браслета» в мутный, суматошливый водоворот, из которого он поспешил вовремя выбраться, то это были они, сотоварищи, люди той ярмарки, что-то затевавшие против советчиков.

Конечно, в текущей вокруг жизни было много, много более чем огорчительного. Серые толпы солдат, мужиков, мастеровых, вершивших и во всей России и в его Гатчине свою крикливую власть, удручали Александра Ивановича, оскорбляли в нем все добрые, светлые чувства. Кто они, эти влезавшие в дом чудища в валенках, чунях, поддевках, тулупах, за меру картошки, за совок овса или — о, праздник! — зерен ржи уволакивающие в лесные берлоги хуторов то зеркало, то старинные английские часы с длинным успокаивающим боем, то обжитый, обмятый боками плюшевый диван или меховой воротник из седого бобра? Неужели это и есть новые хозяева земли русской и отныне во веки веков ходить под ними всем, кто создавал ее культуру, ее духовные сокровища, ее взлетевшую над миром славу? Страшно, очень страшно.

На тот последний случай, если вдруг они сорвутся с цепи вконец и примутся крушить все недоломанное, Александр Иванович держал под рукою в доме старый армейский наган с патронами, и еще был у него давно приобретенный в оружейной лавке на Литейном небольшой карманный револьверчик системы Мервинга, у которого для скорости перезарядки откидывался барабан. «Мервинг» был совсем на крайний случай, на последний из последних, и хранился он в узкой щели меж стеной и медной ванной, куда могла проникнуть лишь рука десятилетней дочки Евсевии.

Имел ли хоть какие радости Александр Иванович в своей тревожной, скрытной жизни? Имел, конечно. Дом, семья, вот эти огород и сад, где с первыми апрельскими ручьями он начал копошиться от рассвета до темноты. Иной раз добродей-сосед, грешивший, всем известно, спекуляцией, спроворивал ему из Питера, что называется, в загашнике бутылку-другую спирту. Выпив, Александр Иванович соловел и, уплывая в прошлое, вспоминал о Крыме, Ялте, о петроградских и московских ресторанах, о ресторане господина Соколова, о «своем» там местечке возле окна, выходящего разом — было оно угловое — и на улицу Гоголя и на Гороховую.

Писал ли Александр Иванович в нелегкие для него крутые времена? Нет, не писал. Во всяком случае, ничего значительного. Так, мелкие замечтки в записную книжку. Не писалось. Не было света впереди, один мрак. А без такого света рука не находит ни пера, ни бумаги, ни чернил. Его спрашивали, почему он не последует примеру Максима Горького, который так энергично участвует в общественных движениях, или не будет таким, как Шалапин, который хоть и не жалуется большевиков, но от публики-то не отворачивается, поет для нее. Александр Иванович лишь отмахивался: «Они — это они, а я — это я».

— Александр Иванович! — услышал он оклик из-за забора. — Можно вас, пожалуйста.

И Благовидов и Осокин, понимая, к кому идут, еще дорогой понезаметней упрятали оружие под одежду и постарались принять самый мирный вид.

Из растворенной калитки на них смотрели настороженные, но мягкие глаза хозяина дома; прищуренные, они как бы спрашивали: «Ну, чего вам, люди? Шли бы дальше с миром, не тревожили бы человека».

— Товарищ Куприн, — начал было Осокин. Хозяин зябко повел плечами при этом обращении. Осокин не смутился. — Товарищ Куприн, — повторил упрямо, — разрешите зайти к вам. Там скамеечка возле дома, может, позволите присесть на самую минутку.

— Пожалуйста, прошу! — Куприн пропустил неведомых гостей мимо себя. — Присаживайтесь. Вот так вот, так.

Присели оба. А он стоял, молчал, разглядывал. Свернули козы ножки, закурили. Предложили хозяину кисеты. Отказался.

— Видите ли, — заговорил Осокин напрямик, — особого-то дела у нас к вам и нет, товарищ Куприн. Оба мы читали ваши книжки и вот...

— Было нам по дороге, — закончил за него Благовидов, — решили выразить наши читательские чувства. Прекрасно вы описали жизнь русского офицерства в «Поединке».

— Благодарю вас, тронут. — Куприн присел на плетеный садовый стульчик напротив скамейки. — Если холодно, зайдите в дом? — предложил он уже более радушно.

— Нет, спасибо, — ответил Благовидов. — Прекрасная погода. Давно таких денечков не было. Зима тянулась слишком долго.

— А домик у вас порядочный, — выражал свое удовольствие Осокин, осматриваясь.

— Да, во время войны мы с женой даже лазарет для раненых устроили. Места хватило на десять коек.

Куприн погладил руками испачканные на коленях землей и удобрениями свои «огородные» штаны, еще больше прищурились его глаза; им, видимо, начинало завладевать чувство рассказчика, давно не встречавшего свежих, нетронутых слушателей. Тем более, что Осокин очень ловко изобразил удивление, изумление, почти восторг по поводу лазарета.

— Да, да, — утвердительно повторил хозяин. — Они, конечно, менялись, наши пациенты. Но если призадуматься покрепче, можно всех вспомнить, кто прошел тогда через наш дом. Удивительны русские люди. Ни жалоб, ни нытья. Сколько оптимизма, сколько радости от жизни! Герои, герои. Где-то они сегодня?

Осокин вздохнул, его нестерпимо тянуло продекламировать что-нибудь вроде того, как «бойцы вспоминают минувшие дни». Но он выстоял. Благовидов приблизительно угадал ход мыслей Осокина и слегка улыбнулся. Куприн заметил эту улыбку.

— Именно герои, молодой человек. Вам, может быть, кажется, что герои только сейчас объявились. Вы — в кожаных одеждах. Имеете, следовательно, отношение к власти, к новым порядкам. По-вашему, все старое — это царский режим, династия Романовых и так далее. А русский народ — его, может быть, по-вашему, и не было? Только сейчас он такой объявился? Нет, нет, прошу послушать. Однажды вот здесь, рядом, на Варшавском пути, в ту пору кто-то, не знаю, может быть, и немецкие шпионы, как ходил слух, или их агенты, нанятые среди русских, подожгли поезд, у которого в вагонах были снаряды для артиллерии. Вспыхивая один за другим, в строгой, как мы узнали потом, последовательности, загорелось и взорвалось тринадцать вагонов. Но это, я повторяю, мы все узнали потом, позже. А что ощущалось во время взрывов? В воздухе с трех часов ночи до семи утра стоял почти неумолкавший грохот. Летели вверх и в стороны, падая на наши крыши, в наши дворы, куски шрапнельных стаканов, железная их начинка — этакий увесистый горошек смерти. Мы все оделись, выскочили вот сюда, во двор. Было не до сна. На глазах наших один стакан фунтов на восемь, на десять ударил в этот тамбур над сенями и пробил его насквозь, другой сшиб трубу с прачечной, третий с замечательной ловкостью снес верхушку той воц старой березы. Шрапнельная дробь непрерывно, как адский град, гремела по крыше. Потом мы, знаете, насобирали полное лукошко свинцовых шариков величиною с вишню.

Он вошел в сени, погромел там, принес одну шрапнельную пулю.

— Полюбуйтесь!

Осокин подкинул шарик на ладони.

— Да, увесистая вещь. «Грохочут пушки, свищут пули».

Куприн посмотрел на него, ожидая, что скажет тот еще. Но Осокин вовремя умолк.

— Так я о чем? Я не для живописания ужасов войны говорю все это. Я о русском человеке хочу. Раненые наши, простые солдатики, даже те, кто еще весь в бинтах был и примочках, подхватились с коек и было бежать прямо туда, на железнодорожную линию. «Поезд-то, мол, надо расцепить! Отогнать горящие вагоны от тех, до которых огонь еще не добрался». Лишь силой удалось их удержать в доме, в самом буквальном смысле слова силой. Встали в дверях и не пустили. Жена тут действовала, я, все. И как же верно работала их мысль: расцепить! Он, этот поезд, и был потом именно расцеплен. Совершил этот подвиг тринадцатилетний мальчик, сын здешнего стрелочника. Ребенок еще, а спас девять двойных платформ со снарядами для тяжелых орудий. Вот так! Где они теперь, те наши больные? Дисненко, Тузов, Курицын, Николаенко, Буров, Балан?..

— По-всякому могло быть, товарищ Куприн, — сказал Осокин. — Одни, может, генерала Краснова от Питера гнали и сейчас тоже в Красной Армии. Другие за Плюссой сидят, ножи точат.

— Где, где? — переспросил Куприн.

— За Плюссой. Белогвардейцы. Сволочь.

Куприн покосился на него.

— Мы здесь живем, ничего не знаем, где что делается на свете.

— А газеты?..

— Газеты... Да... Конечно... — уклончиво ответил Куприн.

— Врут газеты, да? Красные газетенки, да? Вот прихлопнутые нами всякие «Новые ведомости», «Вечерние часы», «Вечерние огни», «Новые лучи» — вот они были — да, несли свободное, передовое слово? Да они же свои сведения из кадетской, эсеровской, буржуйской помойки черпали, товарищ Куприн. Вы такой писатель и такую дрянь одобряете!

— Молодой человек, я ни одной из этих газет не называл. Это вы их называли.

— Извините, — сказал Осокин. — Разволновался. Приходилось прихлопывать некоторые из них. Сколько тогда оскорблений наслушался! Вспомнил сейчас и не выдержал. Их, этой мути, после октябрьского переворота десятки было. Все они врали против Советской власти. Я закрывал газетку «Питер», я закрывал газетку господ Церетели, Чернова и Дана, которая называлась «Революционный набат», а была на деле-то сплошной контрреволюционной вонью. Журнальчики разные. «Минута», «Раввин»...

— Вы все только закрывали. — Куприн с иронией прищурился. — А открывать что-нибудь вам не приходилось, молодой человек? Такая радость, радость открытия, вам неведома?

— Ведома, товарищ писатель. Кое-что я и открывал. Контрреволюционный офицерский заговор открывал. Участвовал в этом открытии. Точнее, в раскрытии. — Осокин встал со скамейки. Благовидов подергал его за кожанку, тот отмахнулся. — Вот что, — сказал Осокин твердо. — У меня к вам такое дело, гражданин Куприн. Один тип, адрес его известен, конечно, спирт вам таскает под полой из Петрограда. Вы, наверно, знаете, чем это пахнет. Читали, грамотный человек. Так вот, скажите ему, вашему типу, пусть бросит свое дело. Его же и шлепнуть, скажите, могут. За ваше удовольствие, за рюмку водки человек пропадет.

Благовидов попрощался с хозяином дома, почти силой вытащил Осокина на улицу.

— Костя, Костя, — успокаивал его. — Уймись же, тебе говорю. Знаменитый писатель. Они все маленько чудачки.

— Пошел он к черту! — слышал с улицы гневное Александр Иванович, возвращаясь к своему лукошку с удобрениями. «Ах, Николаенко, Тузов, Дисненко, Балан, неужели сегодня вы вот с такими идете и сами стали такие?» Скупой горстью русский писатель, книги которого были почти в каждой библиотеке России, во многих-многих русских домах, горстью той самой руки, которая написала эти знаменитые книги, разбрасывал дальше по участку меж яблонями под будущий посев моркови со свеклой голубиный помет, высушенный, перемолотый, смешанный с конским навозом. Он уходил в эту работу, она его успокаивала.

Благовидов с Осокиным дошли до проспекта Павла I, сели на лавочку возле длинного здания бывшего сиротского института.

— Не годишься ты в пропагандисты, Костя, — сказал Благовидов. — Совершенно не годишься!

— А я и не пропагандист. Это ты занимайся словесностью. Я дело должен делать, я его и делаю и буду делать.

— Ты знаешь, как с такими людьми надо аккуратно, осмотрительно себя вести. Ему же, при его достатке, при таком доме, саде, огороде, Советская власть пока не нужна, — рассуждал вслух Благовидов. — Она остро нужна рабочим и крестьянам, и то крестьянам бедным, а не богатым. Они ее поэтому и завоевали. А такие, — Благовидов кивнул в сторону, откуда они пришли на проспект, — тоже поймут Советскую власть, но не сразу, не сейчас, когда-нибудь потом. Когда, скажем, кончится разруха, когда настанет светлая жизнь для всех. Тогда и эти поймут, что и к ним пришла новая жизнь, по-настоящему свободная. Но это еще, говорю тебе, не сейчас. Пока они оглядываются на то, что потеряли, горько плачут о нем. Им еще не видно то, что приобретено ими, они этого не ощущают. Потому что материально они его ощутить еще не могут, его пока просто и нет для них в материальном виде. Они это могли бы понять сознанием. А сознание у них еще старое, мерки все старые. Вот и надо с ними очень аккуратно, очень. Потихоньку подводить их к Советской власти, не торопясь, ознакамливать с ней. А ты принялся: «Это закрыл, то прихлопнул!» Костя, Костя!

— С интересом слушаю. Ума набираюсь! «Науки юношей питают!» Чудесно. Ян Карлович меня сверлил и строгал полный час, учил пониманию особенностей гражданских войн. И ты вот любезно преподавал урок нежного обращения с бывшими! — Осокин свирепел, сплевывая направо и налево, будто съел невероятную мерзость.

— Чудак, честное слово, чудак! — Благовидов рассмеялся. — Этот писатель не бывший, он всегда будет писателем. Это же не граф, не князь и не генерал. С тех сдери эполеты и прочие регалии, и кто он? Никто. Такой, действительно, только бывший. Я не призываю тебя воспитывать Булак-Балаховича или Юденича. Тех надо просто давить. А этого... Этого мы должны заставить поверить в нас с тобой, в рабочих и крестьян, в народ. Слышал, как он о солдатах раненых говорил? Хорошо же говорил, верно? По фамилиям всех до одного помнит.

— Ну ладно. — Осокин встал. — Зря паровоз отпустили. Уехал бы к чертям в Питер.

— Не спеши, не ярись. Завтра вместе уедем. На поезде. Пойдем-ка сейчас в казармы! Потолкуем с людьми. Ты и успокоишься.

Жизнь Ирины становилась все труднее, сложнее и запутанней. В тот жуткий вечер, побыв в компании пьяных офицеров, переодевшихся кто мастеровым, кто обывателем, она вернулась домой, смятенная, больная, плачущая; от нее пахло мешаными винами, а может быть, даже и коньяком, она уж не помнила, что подливали ей там, в разгульном, заплеванном доме на Фонарном.

Ирина не знала, что сказать Илье, как объяснить свое непривычное ему состояние. Правду сказать было немыслимо, она видела перед собой почтительно настороженные глаза своего провожатого и его слова: «В этой руке моя честь, моя жизнь, тайны и судьбы многих и многих». Нет, что бы ни случилось, хоть на дыбу, хоть на костер, Ирина не может стать доносчицей, не может. Но что же, что сказать, как объяснить Илье? Она рыдала, поливая слезами подушки. Илья сидел возле и гладил ее по спине, по плечам, по затылку в темно-каштановых завитках. Обычно, когда в их жизни случались неприятности, от этой его чуткой, заботливой руки ей становилось лучше, спокойней, светлее на душе. А тут от его доброты, от его ласки было еще хуже, делалось просто невыносимо, непереносимо и настолько скверно, что она бы уже не плакала, а выла, выла, как волчица, лесным длинным воем. Но в коридоре, там, за дверьми, неслышной тенью скользила девка Санька, все слушала, во все готова была влезть, и только невозможность, недопустимость душевного обнажения перед чужим, любопытствующим человеком удерживала Ирину от этого крика.

Как все на свете, неостановимый ее плач имел и вторую свою — добрую — сторону. Пока Ирина металась среди подушек, в голову ей пришло хотя и уязвимое, но довольно правдоподобное объяснение. Илья простодушный, он поверит, он должен поверить, он не может не поверить. Она сказала, что у нее вдруг закружилась голова. «Ты знаешь, я была у одной дамы. Она обещала мне шерсти, чтобы связать тебе фуфайку. И вот шла обратно, так далеко...» Словом, она упала. Какие-то добрые, очень добрые люди подобрали ее, привели к себе в дом и, чтобы вернуть силы, заставили выпить рюмку самогона. «Такая пакость, такая пакость, меня тошнит, мне очень плохо. Но ничего же другого у них не было, Илюшенька».

Она говорила, оснащала свою выдумку все новыми подробностями. И Илья, как думалось Ирине, ей верил. Он прикладывал холодные компрессы к ее горячей голове, капал в рюмку найденные в шкафах мятные капли, поил чаем из сушеной черники, хранимой в доме с незапамятных времен на тот случай, если у кого-либо расстроится желудок. Ирина постепенно успокаивалась от сознания, что ей удалось выйти из сложного положения, что теперь все уже вновь хорошо. И Илья вот улыбается предобрейшей улыбкой.

Ни слову своей хозяйки не поверила лишь прозорливая, глазастая Санька. Ей случалось видывать таких вот раскисших от нескольких рюмок, растрепанных рыдающих дамочек в доме Завадского, где то запирались в кабинете хозяина и тихо сговаривались солидные господа в тугих белых воротничках и с аккуратно подстриженными бородами, то по-кабацки гуляли переодетые офицеры, которые хвастались друг перед другом револьверами в коридорах и приставали не только к ней, Саньке, но даже и к толстой, огромной, как башня городской думы, кухарке, когда та еще не покинула место.

Как только этот предобрый барин, Илья Андреевич, не понимает, что его барыня в лоск пьяная, а не больная, что не рюмку она выпила, а ведро! И где же ее за несколько минут, пока, мол, приводили в чувство, успели так прокурить, что от ее платья и волос несет махоркой, как на деревенской сходке? Может, потому Илья Андреевич ничего не чувствует, что сам джоге курящий? Санька не старалась выказывать, подчеркивать свое недоверие хозяйке, но Ирина сама это видела. И трудно было не увидеть быстрые изучающие взгляды паршивой девчонки, дряни неблагодарной, вытащенной почти из омота, и в душе Ирины стремительно росло от этого чувство неприязни к своей помощнице, еще утром такой милой, такой необходимой и любившейся, почти подруге.

Прошел день, прошел другой, все улеглось в доме, встало на свои привычные места. За эти дни у них вновь успел побывать брат Ильи Андреевича, Павел Андреевич. Он, как и обещал, увел Саньку в театр. Назавтра девчонка заявила, что уходит от них. Но не так заявила, как

делают обычно прислуги, недовольные хозяевами и решившие уйти, — не с воплями и криками, с разоблачениями на лестнице. Нет. Была она грустная, притихшая, даже, кажется, заплаканная.

— Извините, барыня, дорогая. Не могу у вас. Не потому что с чем несогласная. Все хорошо, а надо уйти. Родные в деревню требуют. Нелады у них.

Ирина не стала расспрашивать, какие родные, в какую деревню, какие там нелады. Если Санька поняла ее ложь в тот вечер, то и Ирина поняла, что Санька лжет. А зачем, почему? Может быть, Павел собрался определять ее на какое-нибудь руководительское место? Может быть, после вчерашнего хождения в театр, впервые в жизни этой девки, она теперь будет управлять театрами?

Ирина в мыслях невесело улыбнулась: «Теперь все возможно».

— Что ж, Саня, — сказала она. — Жаль, дорогая, очень жаль. Я к тебе привыкла.

Санька утерла ладонью влажно заблестевшие глаза и ушла с узлом своих вещичек.

Вновь Ирина одна. Вновь бесчисленные домашние, бытовые трудности. Но уже ни они сами, ни борьба с ними ее в такой мере, как было прежде, не занимают. Спекулянт с консервами и сигарами пропал; должно быть, его арестовали: газеты все время сообщают об арестах и расстрелах спекулянтов. Не стало в доме не только водки, но и простого самогона, за который большевики тоже карают расстрелами. Любитель рюмочки, Илья раздражается, злится. Ирина и рада бы помочь ему, но как, не знает. Даже если бы спекулянт Бабашкин опять появился, что сможет она предложить ему за его дорогие товары? Он брал драгоценностями, золотом и камнями, ничего из этого у нее уже не осталось.

Чтобы уйти от невзгод, забыться, как бы исчезнуть из жизни, Ирина, стоит Илье, чуть свет в окнах, уйти из дому на службу, снова заваливалась в еще не остывшую постель и спала до полудня, а то, бывало, до самого вечера, до возвращения Ильи. Когда же Илья выражал недоумение по этому поводу, она отвечала: «И холодно и голодно, милый. И такая, знаешь, тоска». Вальтаться и спать можно было сколько угодно, потому что днем ее никто не беспокоил, никто не звонил в дверь.

И вдруг однажды позвонили. Отворять или не отворять, раздумывала Ирина, насторожившаяся под одеялом. Тот, кто был за дверью, знал, что в нынешние времена к дверям на звонок не спешат, и был достаточно терпелив. Две-три минуты спустя звонок повторился. Накинув халат, Ирина подошла к своим замкам и задвижкам, осторожно спросила, кто.

— Ирина Владимировна, не пугайтесь, это мы, ваши знакомые. Поэт Лужанин и некто Кубанцев. Кубанцев, — повторил голос, как бы стараясь донести до сознания Ирины нечто очень важное.

— Боже! — заметалась Ирина, не зная, что и делать. — Я не одета... В таком виде...

— Мы обождем, мы не спешим. Когда будет возможно, отомкнете. А пока — мы здесь.

Ирина хватала из шкафов кофты, юбки, ломала гребенки, пыталась создать более или менее приемлемую прическу, всматривалась в свое отражение в зеркале и чуть не плакала: курица, совсем курица: и нос острый, куринный, и губы пропали. Кто это? Я? Не может быть. Она разревелась. Она готовилась к тому, чтобы впустить тех людей, которые ждут на лестнице, и вместе с тем ей до плача, до стоны не хотелось ни их видеть, ни тем более, чтобы они видели ее такую. Кубанцев? Он же неприятный, прилипчивый. Горчилич сказал о нем, что подобных в порядочное общество не принимают, он из скрывающихся от большевиков бывших жандармских чинов.

И только, может быть, ее всегданнее, с гимназических лет преклонение перед людьми искусства властно толкало Ирину к двери: там же Лужанин, Вадим Лужанин, известный, обожаемый поэт Петербурга!

Она распахнула дверь, затянута, подтянута, стройная, молодая, излучая привет своими красивыми глазами.

— Извините, — сказал Кубанцев, положив на столик у дверей громоздкий пакет и склоняясь к ее руке.

Лужанин ограничился молчаливым рукопожатием, после чего занялся долгим рассматриванием ее с ног до головы.

В гостиной, сидя в том кресле, в которое обычно, приходя, усаживается Павел Благовидов, он сказал:

— Может быть, что-то было тогда лишнее. Я сожалею.

— Пустяки! Какие пустяки! — воскликнула Ирина. — Ничего даже не помню. Помню зато другое. Одиннадцатый год. Ресторан «Вена». Моя свадьба... Вы зашли такой юный, весь в порыве. Какие правдивые читали стихи на моей свадьбе!

— Что вы говорите? — Лужанин закинул ногу на ногу в кресле, показывая цветные, узорчатые носки. — Неужели так было? Свадьба? Вы? Все-все ушло, все забыто. Сколько лет, сколько лет!.. — Он прикрыл глаза рукой, лицо у него задергалось как бы от внутренней муки, от воспоминаний, от пережитого за длинные годы.

И в самом деле, пережил он, видимо, немало. Перед Ириной было его оплывшее, желтое лицо в старческих морщинах. Шея, как и прежде, походила на цыплячью, тонкую, в пупырышках шейку. Но лицо... Это был лик испытавшего все, истрепанного, угасающего человека.

— Я не могу вас ничем угостить... — начала было извиняться Ирина. — Мне, право, очень неудобно. Но...

— Не беспокойтесь, Ирина Владимировна, не беспокойтесь! — Кубанцев вскочил и щелкнул каблуками сапог так, будто на них были его привычные ротмистрские шпоры и он рассчитывал высечь ими чарующий «малиновый» звон. Из прихожей он принес свой пакет, и там в плотных оберточных бумагах, в жестких, хрустящих пергаментках оказались шпроты, колбасы, сливочное масло, хлеб, булки. Даже несколько бутылок, в числе которых бутылка прозрачной, чистой водки.

— Боже, боже! — восклицала Ирина при каждом новом свертке, увлекаемом Кубанцевым из пакета. — Уж не волшебник ли вы, господин Кубанцев? Покажете такой чудесный фокус, а протяни к этому руку — все исчезнет.

— Пока не успело исчезнуть, несите тарелки, Ирина Владимировна!

Ирина накрыла в столовой. Вместе с Кубанцевым они живописно расположили снедь на столе. Кубанцев попросил штопор. Ирину стала мучить мысль, как бы сделать так, чтобы бутылка с водкой осталась нетронутой, пусть бы пили только вино. Водка была нужна ей для Ильи. Когда Кубанцев взялся и за эту бутылку, она прямо попросила:

— Господа, доставьте мне удовольствие: не пейте в моем доме водку. Вот же вино!

— Слово дамы — закон! — Кубанцев отнес бутылку на буфет. — Чтобы и на глаза она, зловредная, не попадалась.

Ирина была голодна. Ей налили в бокал, но пить она не стала, только пригубила. Зато, стараясь, чтобы не очень это бросалось в глаза, все подряд ела. Не спеша, двумя пальчиками брала булку кусок за куском, намазывала нетолсто маслом, аккуратно, маленькой вилочкой, поддевала шпроты. Но сколько бы она ни ела, с ужасом чувствовала, что все еще хочет и хочет есть, у нее не было и тени насыщения.

— Горчилич мне сказал, — говорил Кубанцев, — что вам можно вполне довериться, не так ли?

Ирина кивнула с полным ртом.

— Вот мы с Вадимом Илларионовичем вам и доверились, глубокоуважаемая Ирина Владимировна. Времена сейчас такие, что порядочных людей травят, как волков. Обложат красными флажками... — Он даже захохотал, так удачно показалось ему насчет этих флажков. — Да, вот имен-

но красными флажками... На каждом доме они... И гонят, пока не наскочишь на чекистскую пулю. Как можно реже надо бывать там, где тебя уже не раз видели. Таких мест, таких квартир в Петрограде все меньше и меньше. Веря вам, мы пришли в ваш дом. Пришли, гонимые, сырые. Но не отчаявшись.

Лужанин отсутствующе молчал и пил бокал за бокалом.

— Вадим Илларионович, а вы тоже офицер? — спросила Ирина.

— Я? — Как бы очнувшись от неких поэтических грез, он дернулся на стуле. — Я нет. Я солдат. Солдат великой борьбы за Россию, за ее освобождение. За ее поля и дубравы, за ее соловьиные весны и серебряные зимы. За церкви ее, за иконы суздальского и новгородского письма. За древность, за величие, за все, что было и чего нет, но что должно, должно быть!.. — Он ударил кулаком о стол, звякнула посуда, с дребезжанием упал на пол нож.

Кубанцев мгновенно его поднял, удержал руку Лужанина, взлетевшую было для новых ударов.

— Вадимчик, успокойся, дружок, успокойся! Чужих тут нет, одни свои. Зачем бушевать?

— Огнем и мечом! — сквозь стиснутые зубы зашипел Лужанин. — Плетьюми, удавками, топорами, калеными крючьями...

— Кого? — в тревоге мягко спросила Ирина.

— Смердов, сволочь, быдло, всех, кто посмел оторвать свои собачьи морды от корыта с пойлом, от земли! Они все искалечили, изломали, серые, вонючие, портяночные. Я вам, прелестной женщине, не имею права не только сказать «госпожа», но даже «сударыня». Я должен облаивать вас лающими словами «товарищ» и «гражданка». — Лужанин, выкатив глаза, заскрипел зубами.

— Позвольте я вам объясню, Ирина Владимировна. — Кубанцев, глядя на него, посмеивался. — Видите ли, Вадим Илларионович поначалу повел себя с большевиками весьма и весьма лояльно. У него высокая, как бы это назвать, приспособляемость к властям. Вроде ершится, петушится, а сам к ним бегаёт. Он даже ходил к их народному комиссару Луначарскому, предлагал свои поэтические услуги. Но, во-первых, большевики бесцеремоннейшим образом запретили журналчик, в котором сотрудничал Вадим Илларионович. Какой-то «Гуль-гуль» или «Буль-буль». А во-вторых, сказав «пожалуйста, мы очень вам рады, товарищ Лужанин», стали посылать его со своими большевистскими концертными, видите ли, бригадами к мужикам в деревню, к мастерам на фабрики, к своим красным солдатам — бравым ребятушкам. И что же из этого получилось?..

— Перестаньте, Кубанцев! — оборвал Лужанин. — Хватит паясничать.

— А что переставать, Вадимчик, что переставать? Он, Ирина Владимировна, декламирует, старается, душу, как говорится, изливает. Соловей, кенарь, да и только. А они, как жеребцы, гогочут, эти Ваньки и Нюрки. Разве ж они могут понимать изящное? А комиссар, когда Вадим Илларионович попытался выразить ему свою черную обиду, еще и говорит: «А вы, гражданин Лужанин, попробуйте не по проволоке ходить, не эквилибризмом заниматься, а почувствуйте-ка нужды народные, да вот так, для него, для народа, и постарайтесь поработать. Все может по-другому обернуться». Словом, Вадиму нашему не по дороге с товарищами. — Кубанцев ласково погладил Лужанина по тощей, узкой спине.

— Налей! — сказал Лужанин. — Да нет, не в этот наперсток. — Он отодвинул узкий бокал. — А вот сюда, в стакан!

Время шло, гости Ирины уходить не собирались. Лужанин все больше хмелел, все бледнее делалось его отечное лицо, белые глаза все чаще закатывались за веки так, что зрачков становилось не видно, оставались одни пустые глазные яблоки. Как у мраморных статуй в Летнем саду. Кубанцев все больше хихикал, подзадоривал, подвигивал Лужанина. Ирина

взглядывала на часы: вот-вот мог прийти Илья. Что же будет, если он у себя дома застанет такую странную компанию? Страшно даже подумать.

— Между прочим, — найдя минуту, спросил Кубанцев, — а что вам рассказывал наш общий друг Горчилич, Ирина Владимировна? Что говорил он обо мне, например, про нашу организацию, про наши дела?

— Про вас, про организацию? — Ирина насторожилась. Она обещала Горчиличу молчать. И она будет молчать. Никому — ни таким, ни другим, ни третьим — не скажет ничего. — Он же меня совсем не знает, — ответила она равнодушно. — Какие могут быть разговоры? О какой организации, кстати, идет речь?

— Хитренькая вы! — Кубанцев все смеялся. — Ну мы еще с вами поговорим, будет время, побеседуем. А сейчас нам пора. Вадим Илларионович, честь надо знать! Сказать спасибо Ирине Владимировне за ее гостеприимство.

Лужанин встал из-за стола, оделся в передней, вышел на лестничную площадку.

Кубанцев опять поцеловал руку Ирине, на ходу осмотрел замки и задвижки на дверях, одобрил: «Надежно, надежно» — и уже с лестницы сказал:

— Труд мне предстоит великий — тащить поэта по всему Питеру. Да так тащить, чтобы он не качнулся, не обнаружил своего приятного состояния. Плохо может такое дело кончиться. Ну не впервой. Желаю вам!..

Заперев за неожиданными гостями дверь, Ирина кинулась приводить в порядок квартиру. Убрала со стола, вымела окурки, распахнула форточки. Снеди, принесенной Кубанцевым, оставалось еще предостаточно. Переменив скатерть, она вновь накрыла на стол, придав закускам такой вид, что они нисколько не выглядели остатками. В центре же стола она расположила бутылку с водкой и уже представляла себе, как будет рад Илья.

Он пришел поздно и еле держался на ногах.

— Был в Кронштадте сегодня, — заговорил, отправляясь к умывальнику. — На автомобиле туда ездили. По кораблям ползал, головой о железные притолоки стучался, устал дьявольски. Решили к весне эскадру готовить, совет инженеров собрали. Ну и меня... Меня теперь всюду таскают.

— А помнишь, мой папа говаривал: кто везет, того и погоняют. Поешь, милый, подкрепишься, родной. — Она ввела его под руку в столовую. — У нас сегодня колбаска есть, масло. Хлеб какой чудесный!

Илья схватился за бутылку, встряхнул ее.

— Чистокровная смирновская! Бабашкин, поди, был. Твой кормилец и мой поилец.

— Да, конечно, Бабашкин, — не находя ничего другого, ответила Ирина. — Кто же еще?

— Куришь много, — сказал Илья, усаживаясь на стуле. — Весь дом продымила.

— На радостях, Илюша. Видишь, папироски.

Она хлопотала вокруг стола, ей очень хотелось, чтобы Илье было хорошо, уютно, легко. В заботу о нем она уходила, как в блиндаж, как в укрытие от того грозного, страшного, которое чудилось ей в появлении сегодняшних гостей. И «красные флажки», и «волки» Кубанцева, и «огнем и мечом, калеными крючьями, плетью» Лужанина — от всего этого знобило, делалось не по себе. Улыбка Ильи, выпившего рюмку, рассеивала Ирину беспокойство, сгустившийся было вокруг их дома мрак. Она тоже улыбалась, поглядывая на него, и вместе с тем все думала и думала: а если придет беда — она не представляла себе вида этой беды, — но если такая придет, что станет делать Илья, сумеет ли он отвести от них эту беду? Способен ли он на такое? Рядом с ним, с Ильей, в мыслях ее появлялся его брат Павел. Да, Павел... Если бы сказать все Павлу, если бы тот узнал!.. Он наверняка бы нашел средство разогнать тучи над их с Ильей домом. Почему в одной семье получаются такие разные дети? У Ири-

ны было десять сестер. Все они замужем, все поразъехались с мужьями по России, в Петрограде уже нет ни одной. Но Ирина помнит, какие они были разные. Среди них есть клуши, наседки, которые только и делают, что трясутся над своими детьми. Есть любящие погулять, пображничать, побаловаться наливочкой да водочкой. Одна даже поет в каком-то хоре, если этот хор еще не рассыпался после революции.

Раздумья Ирины оборвал звонок. Явился он, легкий на помине, Павел.

— Пируют, буржуи! — сказал брат Ильи, окинув взглядом стол. — Вот как вас, спецов, Советская власть снабжает, а вы еще ворчите на нас.

— Советская власть? — Илья стрельнул на него веселым глазом. — Гнилую картошку она нам выдала в этом месяце. Это все гражданин Бабашкин нас потчует. Что-то еще перешло в его почтенные, трудовые руки из буржуйских рук моей благоверной.

— Бабашкин? — Павел сказал это обычным своим спокойным тоном. Но в этом спокойствии Ирина уловила вспыхнувшую на миг и тотчас угасшую нотку изумления. — Так, Ирина? — Павел не смотрел на нее. Тонким, еле видимым слоем он намазывал масло на кусок хлеба.

— Да, — ответила Ирина, и голос у нее оборвался. Для нее уже не было никакого сомнения в том, что Павел откуда-то, от кого-то знает, что она врет.

— Мне надо у тебя кое-что спросить, Ирина. Такое чисто домашнее, — со смехом сказал Павел, откладывая в сторону намазанный хлеб. — Я же человек холостой, все домашние дела сам делаю. Зайдем на минутку в кабинет Ильи, пока он тут покуривает.

Ирина двигалась за Павлом так, как ходят только на казнь: опустив голову, повесив руки.

— Видишь ли, Иринушка, — заговорил Павел, тихо прикрывая дверь кабинета, — мне очень важно знать, кто на самом деле принес тебе припасы. Бабашкин или, может быть, кто-то другой. Дело в том, скажу тебе прямо, хотя это большая тайна и не моя, кстати, что несколько дней назад тот, кого ты называешь Бабашкиным, отправился туда, откуда он должен возвратиться только через месяц. Если он уже сегодня вернулся, значит, он предатель, он враг и об этом немедленно должны знать наши люди. Если...

— Нет, Павел, это не Бабашкин. Прости мне мою ложь. — У Ирины тряслись руки. — Но я не хотела, чтобы Илья думал, будто бы я путаюсь со всеми подряд петроградскими спекулянтами. Про Бабашкина он знает... не видел его никогда, но знает, от меня знает... и с ним смирился.

— Не надо ему врать, Ирина, пусть Илья знает все. — Павел непривычно строго смотрел ей в глаза. — За одной ложью придет другая, и тебе уже будет не выпутаться из этих тенет. Вместе с тобой запутается Илья. Точнее, ты его запутаешь. Он благодушествует, ничего не видя. А пусть увидит, пусть насторожится, остановит тебя, женщину, от твоих женских ошибок. Время суровое, строгое, Ирина, ошибаться в такое время нельзя. Можно потерять голову, пойми. Перед законами революции никому ни скидок, ни исключений не будет. Развяжись со спекулянтами, развяжись. Так можно доиграться. Погубишь и Илью и себя. Те, кто должен знать о твоих шапках со спекулянтами, об этом знают. Поверь мне. Но смотрят на них сквозь пальцы только во имя твоего Ильи. И моего. Ну, пойдем к нему.

Павел легко подтолкнул Ирину к двери и, возвращаясь в столовую, сказал громко и весело:

— Спасибо невестушке, надумила. А то прямо всю голову изломал. Ты тут, Илюшенька, ревностью не мучился, пока мы шушукались? Жена — красавица. Я, бывало, подумывал, сознаюсь теперь, не похитить ли у те-

бя Ирину да не сбежать ли с ней в чужедальние края. Присматривай за ней повнимательней, братишка.

Ирина не могла выдавить из себя ни слова, не могла даже приветливо улыбнуться. Ее съедала мысль: вдруг Павел не только о Бабашкине знает, вдруг он знает все — и про тех шатающихся вокруг нее офицеров? До чего же страшно он сказал эти слова: «Так можно доиграться. Погубишь и Илью и себя». Будь же они прокляты, все Кубанцевы, Виктории Федоровны, поэты, кадеты, офицеры! Все, все, конец! Она покончит с ними. Ни Илью, ни себя губить из-за них она не желает.

Так думалось Ирине, так страстно хотелось. Но жизнь оставалась жизнью, и ее извечные законы не совпадали с порывами и желаниями людей.

### 13

— А ежели я такая глупая, Павел Андреевич, то вы меня учите. — Санька, одетая в старенькую бархатную кацавейку, степенно вышагивала рядом с Павлом Благовидовым, пытаюсь угадывать с ним в ногу; у нее это не получалось, Санька то и дело подпрыгивала, меняя ногу на ходу. Лицо Санькино было внимательное, строгое. Только в глазах металась обычная ее чертовщинка.

— Не глупая ты, — ответил Павел. — Этого я тебе не говорил и не скажу. Но неграмотная, неученая, знаешь мало.

— Что бабе знать надо, уж знаю!

Благовидов посмотрел на нее искоса. Она тоже смотрела на него, и зрачки в синих ее лучистых глазах показались ему при апрельском ярком солнце такими, как бывают они у молодых козочек, — римской единичкой, вертикальные. Глаза получались серьезными-пресерьезными и вместе с тем озорными.

— Мало этого, твоих бабьих знаний, не хвастайся зря. Женщина не только из бабы состоит. Она человек, Саня. А человеку знать очень много надобно. Смотри, нос ты чем утираешь? Рукавом. Рукав у тебя от этого блестит, как железный. Приедут, например, заграничные люди, посмотрят: хозяйка новой России, Советской России, а со своими собственными соплиями совладать не может.

— Уж насмотрелась я на заграничных этих людей, Павел Андреевич. Третьеводни было их таких двое. Ни слова русского, по одному заграничному говорили и вино пили заграничного названия, ни единой букочки не разобрала. А блевать когда стал тот, который помоложе, совсем как наши мужики. Уперся лбом в стенку в коридоре — и ну хлыщет на пол. Другой пошел за ним, подскользнулся да как матюкнет его, тоже совсем по-русскому.

— Может быть, они и были русскими. Только притворялись иностранцами, а?

— Кто ж их знает. Может, и так.

— Вот видишь: «Кто их знает». А надо, Саня, знать. Языки иностранные всем нам придется изучать. И тебе придется.

— Я и говорю: учите, Павел Андреевич. Чего не знаю, так и скажите прямо: Санька, ты дура.

Они шли по грязному Петергофскому проспекту, миновав Триумфальную арку на той площади, которую обычно все называют Нарвскими воротами. Кособокие, изъеденные гнилью лачуги серой вереницей уныло тянулись по обе стороны разбитого колесами весеннего проспекта. Это был примечательный проспект. Необыкновенный. Служил он во времена она одной из главных дорог петербургской российской знати к летним резиденциям царей в Петергофе. Обстраивали его для показа затейливыми загородными, летними дворцами, оранжереями, заезжими дворами. Неслись по булыжнику кареты, возки, скрипели обозы с припасами. С ходом времен помещичье-

родовое мало-помалу было скуплено тузами-промышленниками, заводчиками, среди дворцов и оранжерей понастроившими заводов и фабрик. В Петергоф стали ездить железной дорогой, а летом по водам Финского залива пароходами, и пошли тут, на еще недавно сверкавшей великолепием «Петергофской перспективе», как опенки вокруг гнилого пня, разрастаться скопления баранов для рабочих, домишек, халуп, с раскиданными среди них то там, то здесь трактирами, чайными, закусочными.

В одной из таких халупок много лет обитал дядя Павла и Ильи Благовидовых, родной брат их покойной матери Степан Егорович Жигалин. Кроме него самого да жены его, Феклы Дмитриевны, да двух дочерей Жигалинских — Маньки и Кланьки, двоюродных сестер Илье и Павлу, других благовидовских родственников на свете уже не было. Павел, когда осточертевала ему бобыльская его жизнь, отправлялся то к Илье с Ириной — побывать в человеческом доме, отойти душой от занудной вечной казармы, то вот сюда, на дальний край Петербурга, за Нарвскую заставу, к дяде Степану Егоровичу.

Санька тоже вышагивает с ним, с Павлом, в далекий поход к его родственникам.

В общем-то, не кто иной, именно Павел виноват, что пришлось ей возвратиться к прежнему хозяину. Не прямо виноват, косвенно, но все-таки виноват. Сказал о Саньке своему другу Косте Осокину. Ничего особенного не сказал. Просто так, что есть, мол, такая, служила у профессора Завадского, не выдержала обстановки, когда поют, гуляют, пристают, о чем-то шушукаются, сбежала в дом к его, Павлову, брату Илье. «Немедленно должна вернуться к Завадскому, немедленно! — взволновался Осокин. — Свой человек нам нужен там, знаешь, как? Может она быть своим человеком?» «Полагаю, что да, она хорошая», — насколько можно равнодушно постарался ответить Павел. Но у Осокина по всему его скуластому лицу расплылась понимающая улыбка. «Очаровательные глазки, очаровали вы меня», — пропел он, радостно рассматривая Павла. — Снимаем, значит, монашеский клобук, и да здравствует жизнь!»

Павел насупил, ему вовсе не хотелось разговора о Саньке и о себе в таком тоне, и вообще он не желал никакого вмешательства в его личную жизнь. «Не может она вернуться к Завадскому, — ответил твердо. — Не может. Понимаешь? Она сбежала, не сказавшись, и с того времени уже прошло больше двух недель». Осокин пораскаживал в комнате — дело было у Благовидова в Смольном, — постоял возле окна, подражая своему начальнику Яну Карловичу. «Может, — сказал, — может! Пусть объяснит своему профессору так. К ней приставали всякие там фраеры, она не выдержала, подалась в свою новгородскую деревню. А там хотя и менее голодно и холодно, чем в Питере, зато жизнь темная, одна скукота вокруг, привыкла к столичному коловращению, да еще и замуж за какого-то моховика родители выдавать вздумали, вот и вернулась обратно. Поплакать надо, похлопать носом. Профессор этот у нас на заметке. Он и сам не дурак, и вокруг него крутятся не глупее нас субчики. Они тоже мозгами пошевелият. Будут подозревать. Но мы их перехитрим тем, что без полной уверенности трогать не станем. Пусть себе собираются, пусть что хотят, то и делают. Ни обысков, ни облав».

Павлу не хотелось, чтобы Санька шла в тот чертов вертеп, из которого она не без усилий вырвалась. Да и сама она захочет ли, еще спросить ее надо. Он был немало удивлен, когда, взяв Саньку в театр на оперу «Риголетто» — уж на что билет достался — и, рассказав ей о планах Осокина, в ответ услышал: «Ежели за делом, Павел Андреевич, то согласная. Говорю ж вам, я бедовая. Только бомбу мне, леворверт бы надо».

Без бомбы и без «леворверта» вернулась Санька к Завадскому после долгой беседы с Осокиным и Яном Карловичем. Она поняла, почувствовала всю серьезность ее новой жизни. Завадский выслушал все, что она

плела про деревню, про родителей, поросшего мохом жениха, и строго сказал: «Не будешь в другой раз дурой, не будешь от добра бегать».

Зайдя на кухню, Санька ужаснулась. Измазанные, затыканные окурками, громоздились тут стопами и стопками все барыни Зои Иннокентьевны сервизы. И на двадцать четыре персоны которые, и на двенадцать, и синий с золотом, и бледно-голубой в рисуночек, чайные и кофейные. Марали их один за другим и стаскивали сюда, оставляли невымытыми. Может, с тысячу всяких столовых предметов собралось на огромной плите, в раковинах, на двух разделочных столах, на табуретках, прямо на полу, тоже грязном, завоженном, заляпанном.

Для Саньки началась прежняя ее нелегкая, тревожная жизнь. Опять приставания, грязные шуточки. Но теперь она переносила все это спокойно, понимая и сознавая, что делает важное для народа, для революции дело. Все слушала, все замечала: кто, когда, зачем приходил, о чем разговаривали, кто звонил по телефону. Время от времени Завадский отправлял ее из дому; давал билет в кино или просто говорил: «Иди погуляй, раньше восьми не возвращайся». В таком случае не только она ломала голову, что бы это могло означать. Осокин сказал ей однажды: «Значит, какая-то особо важная встреча была у Завадского. В другой такой раз ты постарайся остаться дома. Заболей, что ли, и непременно посмотри, послушай, что же там будет. Это очень надо». Прибегала Санька посоветоваться и к Павлу Благовидову. «Вот говорили они, Павел Андреевич, про такое. А что оно означает, не скумекаю. Рассудите, Павел Андреевич».

Сегодня Завадский тоже отправил ее из дому. И очень хорошо, что отправил. Можно погулять с Павлом Андреевичем. А вчера что творилось! Дом ломился от всякого народа, шумели о том, что адмирал Колчак лихо продвигается вперед, что ему надо помочь под Петроградом. Возможен десант. Англичане дадут танки. «Я — во как! — запомнила: «десант», «танки». А что оно такое, не знаю, Павел Андреевич. И еще не знаю — «дефиле» между озерами, удар «с фланга», «форты».

Тут-то Павел и начал с ней свой разговор о том, что знаний ей, образования не хватает, учиться надо.

Шли они так далеко, к Степану Егоровичу, потому что места встреч надо было выбирать поконспиративнее, понадежней. В центре города никак нельзя встречаться: непременно на кого-нибудь из посетителей квартиры Завадского наскочишь, увидит с ним Саньку — возьмет на заметку. И к Илье с Ириной тоже Саньке ходить нельзя. И там может быть слежка. После вранья о Бабашкине-Хамелайнене Павел не очень доверял Ирине. А бывать друг с другом и Павлу и Саньке хотелось. На Павла от нее нисходило так необходимое ему в его одинокой жизни женское доброе тепло. Санька же смотрела на него с обожанием. И когда выходил случай, что или по своей охоте, или по приказанию Завадского Санька оказывалась свободной, она бежала в один из домов на Почтамтской, который ей указал Осокин, и оттуда, из секретной квартиры, где жили красноармейцы, звонила Павлу по телефону. Если застанет его, а бывало это не всегда, то он назначал ей место встречи каждый раз новое. А уж с того места они отправлялись, например, к Степану Егоровичу, к Фекле Дмитриевне, к Маньке с Кланькой. Сидели там, чай из поджаренной на сковороде морковки попивали. Степан Егорович про заводские дела рассказывал. Он паровозы ремонтировал на Путиловском.

На этот раз пошел разговор про то же, про заводское.

— Ждем, Павлушенька, ждем. Все отправляем да отправляем продукцию на фронты против Антанты. И народу из мастерских поуходило много. Старье вроде меня остается да зеленый молодняк, ребяшня. А которые в зрелых-то летах — все в Красную Армию да в Красную Армию.

Стучали каблуки в сенях, скрипела обитая войлоком и дерюжкой дверь, в халупку Жигалиных заходили и заходили многочисленные соседи. Все они знали, кто такой есть племянник Степана Егоровича, задавали

Павлу вопросы о международном положении, о внутренних делах, спорили о делах своих, заводских.

— Вот, товарищ Благовидов, такая штука, — начал один из гостей. — Товарищеский суд, скажем. Мы же государство рабочих и крестьян. «Кто был ничем, тот станет всем». Верно. И вот, к примеру, граф там или князь, барон какой-нибудь, неможется ему если — проснулся поутру, никуда идти не хочет. И не идет. А я? Метель была раз в нынешнюю зиму такая, спасу нет, воеет аж. Глянул в окно — от одного вида, чего там деется, ревматизм меня так и взял за все костье. Лег обратно, никуда не пошел. Так что думаешь? Судили! Объявление про меня вывесили, как про последнего сукина сына. Пайка хотели лишить. Где ж тут «кто был ничем, тот станет всем», объясни? Опять, значит, на твоём горбу сидят, на тебе едут и тебя погоняют? А ведь я революцию завоевывал, Краснова с Керенским возле станции Александровской бил, новую жизнь добывал. Тьфу!

— Не плюй на пол! — строго сказала Фекла Дмитриевна. — Мне за тобой мыть, в дугу сгинаться, спину ломать, граф навозный.

— Вы, товарищ, путаете все, — заговорил Павел. — Барон мог валяться в постели, потому что на него другие, мы с вами работали. У барона вы бы в любую пургу, при любом ревматизме отправились на завод. Иначе с голоду помирай. Так? А вот на нас с вами, когда мы хозяевами стали, никто работать не будет, да мы и не хотим никого заставлять на нас работать. Мы сами можем. Плох же тот хозяин, который на себя не хочет поработать, очень плох. Не может он, значит, сам хозяйствовать, дубинка ему, палка хозяйская нужна.

— Это все верно, спору нет, — заговорили почти все разом. — А только денег на заводе мало платят. С продовольствием — хуже некуда, гнилую картошку едим. Детишкам ни молока, ни сахару купить нельзя.

— Эх, вы! — с досадой сказал плотный парень в старом матросском бушлате. — Заныли, слушать скука. Еще, может, власть-то нашу обратно из наших рук выдерут и пойдут тогда развешивать каждого по фонарям, кожу со спин драть шомполами. А вы про сахар раскудахтались! Генералов сперва отбить надо, Антанту чертову. Когда дом горит, бегут огонь заливать, а не чай пить садятся. В том, конечно, случае, если ты не полный дурак. Э, да что с вами!.. Так твою... тьфу!..

— Алексей, Алексей! — остановила его Фекла Дмитриевна. — С мятучками-то ты во двор выйди.

— Жених Манькин, — подмигивая, сказал про парня в бушлате Степан Егорович. — Алексей Золотов. Фамилия богатая, а у самого и копейки медной за душой нету.

Павел подал Золотову руку.

— Будем знакомы, товарищ. Хорошо, правильно рассуждаете.

— А я не только рассуждаю. Когда у нас на Путиловском некоторые гаврики волюнку затеяли в прошлом месяце, забастовку, значит, под эсеровскую дудочку, я морды тем гадам бил. Было такое дело?

— Ну было, было. Мы и без твоего мордобития с теми сукиными сынами справились. Каждый понимал, откуда вонюю понесло.

— А понимал, так нечего было меж «нашими» и «вашими» путаться.

— Он у нас, Золотов-то, идейный, товарищ Благовидов! Надо день работать — день работает. Ночь надо — будет ночь. Круглые сутки — тоже Алексей Золотов.

— Верно, — подтвердил Степан Егорович. — Последний паровоз дошибали, Алексей наш двадцать часов не уходил из цеха. А носа на пуп не вешает, кверху его держит. Он же веселый у нас. Это только сейчас осерчал вот, ликом такой сделался свирепый. А то — песенник.

— Спой, Лешенька!

— А ну вас, «спой»! — Золотов даже отвернулся. В профиль он был

курносый и оттого еще более задиристый. — Уйду в Красную Армию, и хрен с вашими паровозами и с вашим сахаром.

— Хрена-то не поминай попусту, Лешенька, — сказал старичок с реденькими сивыми волосенками надо лбом. Он все время тихо сидел у окна под кустистой «китайской розой». — А то знаешь, как было раз? Сеет мужик в поле из луюшка зерно. Идет мимо странник. Смиранный, глаза печальные. «Что, добрый человек, сеешь?» — спрашивает вежливо так, хорошо, душевно. А мужичонка занозистый был, невежа и ерник, навроде тебя. «Хрены сею!» — только и буркнул в ответ страннику. «Ну бог в помощь», — тот-то говорит и дальше отправился. Подошла осень, вышел мужичонка в поле на жатву. Глянул — и обомлел весь. У соседей рожь до пояса. А у него все поле — одни хрены. Густо так, стеной стоят. Породистые — во!

Гости Жигалиных захохотали, даже и те, кто уже слышивал эту апокрифическую повесть сивого старичка. А старичок без ухмылок, серьезно закончил:

— Странник тот — сам Иисус Христос был. Вот кто!

— А у нас Иисусов нет пока, не вижу, — ответил Золотов. — Разве что ты один, дядя Федя. В церковь каждый праздник ходишь, поклоны бьешь, обслюнявленные иконы целуешь.

— Поклонов я не бью, конечно, и ничего не слюнявлю. А ходить — хожу, святая правда. Может, бога и нет, как в газетах пишут. Все возможно, перечить не стану. Ну, а что если он есть? Тогда как? Явишься на суд божий, на страшный, значит, а тебя в плетью, в крющья, да куда? В котел со смолой!

— А если, значит, в церковь ходить?..

— Тогда, значит, берут тебя под руки и ведут этак вежливо в самый рай, в кущи.

Много было наговорено всякого: то начинался свирепый спор на темы политические, то вдруг повертывалось все на смешной рассказ из жизни, то принимались подтрунивать друг над другом. За такими занятиями напились чаю, напаренного Феклой Дмитриевной из ее подгорелой морковки. Павел стал прощаться с людьми, среди которых ему всегда было хорошо и просто. Потом всей толпой проводили его немного, и вот вновь бредут они вдвоем с этой забавной Санькой по длинным каменным петроградским проспектам и улицам.

Возле Калинкина моста, на Фонтанке, как раз напротив пожарной части, длинным штабелем громоздились только что выкинутые из баржи на набережную сырые осиновые дрова. Среди этих тяжелых зеленых стволов виднелась и шелушистая кора еловых поленьев; те были суше.

— Посидим, Саня, — предложил Благовидов, отщелкнув крышку карманных часов. — Время у нас еще есть.

Выбрали толстое с просохшей корой еловое полено полуторааршинной длины и уместились на нем рядышком. Солнце ушло за крышу большого дома на той стороне Фонтанки. Перед глазами лежал изломанный, искрошенный буксиром грязный лед. В прогалинах, в разводьях меж льдинами вода казалась совсем черной, от нее делалось страшно; бежала она быстро, подплывая под льдины, вздувая их и шевеля.

Со стороны улиц от глаз прохожих Павла и Саньку скрывала стена из дров, за ней было спокойно.

Становилось по-вечернему свежо, Санька придвинулась к Павлу, прижала к его плечу свое, мягкое и теплое.

— До чего же вы хороший, Павел Андреевич, — сказала она, вздохнув. — Вот сидела бы с вами так и сидела. Никуда бы не пошла.

Благовидов промолчал. Ему тоже было с ней как-то очень по-домашнему, бестревожно, но что мог он ответить? Именно это: хорошо, мол, никаких тревог. А зачем? Она думает о другом, видимо. Может ли он ей обещать хоть что-либо?

— Вот за вас я бы пошла замуж, Павел Андреевич, — совсем уж неожиданно сказала Санька. — Если бы вы согласились. — Она отдираала темные шелушины от полена. Под ними открывалась ярко-коричневая свежая кора. — Но это все так, пустое я говорю, одни мечтания. Я же неграмотная, глупая. Мне бы такой быть, как Ирина Владимировна. Ох, и красивая она! Личико маленько скуластенкое, как у товарища Осокина, зато глаза какие! До дна не проглянуть. А прическу навьет, башней поставит — рот расхлопнешь. И умная она, Ирина Владимировна.

Санька помолчала, может быть, раздумывая, говорить дальше или нет. Не выдержала, сказала:

— Только мне жалко Илью Андреевича. Красивая-то красивая, а врет она ему все. Проплутала раз неведомо где, вся куревом пришла провонявши, я-то чую, у меня нос хороший. А уж такую жалостную песенку про болезнь ему запела, будто желтенькая птичка в клетке. А он верит, бедненький, жалеет ее вместо того, чтобы хорошую палку в руки взять. Только таких, как она, палками не учат, берегут. А вот и зря. Могла бы хорошая быть женщина. До чего же, говорю, красивая, умная, ученая. У ней книжки возле постели не на русском языке. Понимает. Все, как есть, понимает. А вы меня за спину обнять можете, Павел Андреевич? А то зябко стало. Не бойтесь. — Санька взяла его руку и закинула себе за плечи. — Вот так, крепче держите. Хорошо до чего! Тот дед про рай сегодня говорил... Там, в раю-то, думаю, все, поди, вот так по двое сидят, обнявшись, и песенки распевают. Хотите, я вам чего-нибудь спою? Тихонько-тихонько. А?

— Давай, — сказал Павел, удивляясь и радуясь тому, как приятно ему держать возле себя эту бесстрашную, чистую чистотой вечернего розового неба над ними, трогательно доверчивую девушку. — Спою, послушаем.

Пускай могила меня накажет,

— запела Санька почти шепотом,

За то, что я тебя люблю.  
Но я могилы не стра-а-шуся.  
Кого люблю, и с тем умру.

— Уж очень печальное ты затянула, — сказал Павел. — Ты бы лучше...

— Нет, нет, — поспешно перебила его Санька, — не мешайте.

Он подходи-ил ко мне с улыбкой,  
И руку жал, меня ласкал,  
И назы-ва-ал меня голубкой,  
И крепко-кре-е-пко целовал.

Пела Санька тихо, вполголоса, но самозабвенно, с надрывом:

Мне поцелуй тот был прощальный,  
Когда наста-ал жестокий час.  
Ведь я, дитя, любви не зна-а-ла...

Она уткнулась вдруг лицом в колени и заплакала.

— Что ты, что ты! — заволновался Павел, неумело и несмело глядя ее по спине. — Полно, Санюшка. Может быть, я в чем виноват перед тобой?

— Песня такая. — Санька подняла лицо, утирая глаза ладонями. — Всегда так, как дойду до этого места, плачу. Ну не могу стерпеть, что хочешь делай. Реву и реву.

Павел вынул из кармана носовой платок, не слишком-то чистый и свежий, стиранный настолько давно, что Санька, когда он приложил его к ее глазам, воскликнула:

— Павел Андреевич, Павел Андреевич! Да как так можно, грязь какая! Давайте я вам все стирать буду. Рубахи, подштанники...

— Ну ладно, ладно, — остановил он ее, с досадой пряча платок обратно в карман. — Где ты стирать будешь? У Завадского? Чье, спросит.

— А скажу: красноармейцево. С которым гуляю.

— Он тебе покажет «красноармейцево». Нельзя, Саня, ни про какого красноармейца. Ты с красноармейцами не знаешься.

— Тогда скажу: пожарника, замуж за него вышла.

— Болтунья ты, Санька. Пойдем! — Павел встал, взял ее за руку, поднял с полена.

Санька потянулась, как перед сном, зажмурилась.

— До чего же не хочца никуда идти! Взяли бы вы меня замуж, Павел Андреевич.

— Вот кончим войну с беляками, и возьму. А что думаешь, нет?

— Нет. Вам другую надо в жены. Вроде Ирины Владимировны.

## 14

Уже второй месяц комиссар бригады Александр Раков занимался 3-м Петроградским полком. С военной точки зрения это был образцовый полк: почти три тысячи рядового состава, до полуторы сотен командного, в полковых цейхгаузах — четыре тысячи винтовок, два десятка пулеметов; даже бомбометы были. Бывший царский полковник Бржозовский вышколил, выучил, подтянул личный состав своей части, добился, чтобы все у него в полку оделось в новое обмундирование.

Корнями своими полк уходил в стародавние времена. Был это один из знаменитых полков Петра Алексеевича, царя Петра, и звался он Семеновским — по имени того села подмосковного, в котором он образовался два с третью века назад. Знамена его овеялись дымами победных сражений во славу романовской России, их украшали славные — от пуль, от осколков ядер, гранат, снарядов — пробоины и прорехи. Это были гвардейцы, на которых в трудные, критические для трона, для династии часы опирали свою царственную руку российские самодержцы. В дни первой русской революции Николай II двинул семеновцев против рабочих восставшей Пресни с повелением: «Патронов не жалеть!» За одну ночь были они переброшены поездами в Москву и — нет, не пожалели патронов для защитников московских баррикад. «Молодцы семеновцы!» — было им сказано за это августейше.

Лейб-гвардию холили, берегли, пестовали, готовили именно к таким дням, часам и минутам. Но случилось, что ни во время Февральской революции, ни в дни Октября молодцы-семеновцы не оправдали надежд ни царя-батюшки, ни Александра Керенского. Армия русская развалилась, вместе с нею развалился, надломился в своих устоях и лейб-гвардии Семеновский полк — такова уж была сила революционных ураганов тех огненных дней. Казалось бы, и состав полка соответственный, отборный состав — при формировании своей гвардии цари не забывали о классовых принципах. Недоглядели они лишь в начале девятнадцатого века за соблюдением этих принципов, когда допустили в полк серое мужичье. Вот и получилось восстание 1820 года. Сечь, пороть, вешать, гнать в ссылку пришлось бунтовщиков. Зато с тех пор дорога в полк мужичью была закрыта. Все так, а вот поди ж ты!

К октябрю семнадцатого года, когда власть взял в руки народ, в Петрограде оставался резервный батальон Семеновского полка и его тыловые подразделения; находились они в прежних своих казармах, жили по неизменному двухвековому укладу. Почему? Да потому прежде всего, что сохранился тут весь офицерский состав. К такому прочному ядру потянулись раскиданные по России солдаты-семеновцы, солдаты других гвардейских полков, которые, демобилизовавшись, не смогли уехать в родные места, поскольку места те были захвачены немцами. Батальон развернули в 3-й Петроградский полк, и поступил он поначалу в распоряжение создан-

ного Советской властью Комиссариата внутренних дел. Бывшие семеновцы стали нести службу по внутренней охране Петрограда. Государственный банк, военные склады, Петропавловская крепость, телефонная станция — всюду возле них, примкнув штыки, стояли на часах недавние лейб-гвардейцы. Позже их можно было уже увидеть и возле Петроградского губернского Совета, возле губернских комиссариатов и даже возле Чрезвычайной Комиссии — ЧК. Предреввоенсовета Троцкий особо заботился о 3-м Петроградском полку, оберегая его бывший офицерский, командный состав от чисток, проверок, расследований. «Это же кузница военных специалистов, которые верно служат Советской власти».

Месяц назад комиссар бригады пришел в казарму полка вместе с только что назначенным новым командиром коммунистом Тавриным и с комиссаром, конечно же, тоже членом партии большевиков, товарищем Купше. Полк заволновался, когда полковника Бржозовского отстранили от командования. Семеновцы почуяли, что наконец-то и до них начинают добираться. Раков и Купше дни и ночи напролет находились среди красноармейцев; Таврин же работал с командирами, с бывшими офицерами.

Когда собирались втроем, приходили в отчаяние. Контакта с полком ни у кого из них не получалось. Были в этой многочисленной массе две или три сотни бойцов, открыто верных Советской власти. Но остальные, почти три тысячи, во главе со своими командирами на все призывы, на все угрозы и разговоры лишь упрямо отмалчивались.

Один из красноармейцев сказал в беседе с Купше:

— А как иначе-то, товарищ комиссар? Бойтся народ.

— Чего, товарищ, бойтся?

— Офицеры же это бывшее, командиры-то наши. А вдруг что случится, перемена какая — шомполами засекут.

Пришлось затеять длительный опрос каждого красноармейца по одиночке, пришлось изучать жизненный путь почти каждого из бывших офицеров, и в конце концов понадобилось переарестовать одного за другим целых восемьдесят пять командиров и младших командиров и некоторых красноармейцев — за контрреволюционную пропаганду, за возбуждение монархических веяний и настроений в полку. И все равно атмосфера так, как бы надо, не очищалась. Комиссары батальонов, подобранные Раковым коммунисты Сергеев, Калинин и Дорофеев, постоянно чувствовали, что вражеская работа в полку идет, не прекращаясь, но ведется она теперь скрытно, в подполье. Данных нет, но есть полное ощущение того, что помощник командира полка, бывший подполковник, ныне военспец Зайцев и некоторые другие военспецы связаны с тайными офицерскими организациями Петрограда. От Зайцева и его единомышленников исходят такие разговоры и поступают такие сведения, которые могут прийти только извне России, по контрабандным дорогам.

Раков ездил в штаб 7-й армии, в которую вошла его 2-я Петроградская Особая бригада и в том числе — 3-й Петроградский полк, полный час провел в беседе с начальником штаба; был он и в Военном совете. Но слушали его всюду плохо, отмахивались. «Да, да, трудно, товарищ Раков, всем трудно. Работайте!»

После разговора с начальником штаба его догнал на лестнице подтянутый, средних лет, военный в новом, хорошо сшитом френче. Сидя в углу кабинета на кожаном диване, он присутствовал при разговоре Ракова и начальника штаба, но там молчал, а тут вдруг решил произнести длинную речь:

— Всех, товарищ Раков, не арестовать, чего вы столь энергично требуете, — начал он раздраженно. — Арестантских рот не хватит. Не вы один любите Родину. Эти люди, которых вы подозреваете в измене, они тоже русские. Если вас назначили комиссаром, извольте комиссарить, а не командовать. Воспитывайте людей, доходите до их чувств, до их сердец — и не угрозами, а убеждающим словом. А то, видите ли, сажай всех! Мы имеем прямой и недвусмысленный приказ товарища Троцкого беречь воен-

ных специалистов, без которых никакая армия, самая революционнейшая из архиреволюционных, невозможна. Извольте это помнить. А семеновцы, кстати, среди которых вы работаете, лучший полк Красной Армии. Лучший. И имейте в виду, кстати, что девяносто девять лет назад они восстали именно против бесчеловечного с ними обращения. Да! Вот так!

Раков спокойно смотрел в холодно раскрытые светлые глаза человека с узким, тщательно выбритым лицом, который при каждом своем слове постукивал носком сапога о каменные ступени лестницы, произносил слова отчетливо, ясно, свысока. Не было никаких сомнений в том, что общего языка с ним не найти. Спекулирует словами «революционная дисциплина», «комплекс военных знаний», давит авторитетом предреволюционного совета. Поэтому Раков не стал вступать в разговор. Он лишь вернулся к начштабу и спросил о человеке, который сидел там несколько минут назад, кто это.

— Военспец, — ответил начштаба. — Военную службу начинал в Стрельне, поручиком в артбатарее. Года два назад я знал его еще капитаном. При Керенском он быстро дошел до полковника. Знающий, волевой, энергичный. Товарищ Ляндеквист! А что?

— Да так. Любопытствую.

В тот день к Ракову пришло трое красноармейцев-семеновцев.

— Товарищ комиссар бригады, — сказал один из них, худой, длинный, в излишне широком ему, обвисшем обмундировании. — Что хотим вам объяснить... Вот я, Сипягин Онисим, да вот дружки мои — Левонтьев с Чудиковым... Ежели в бой итить против беляков прикажете, побьют нас троих свои же. Ей-бо!

— То есть как побьют?

— Обыкновенно, с винтовки: пулю в спину — и поминай рабов божьих.

— Расскажите подробнее, в чем дело. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь.

— Мы же знаем, он был фельдфебелем еще когда! Может, еще в девятьсот пятом, когда своих же казнил в Москве, — заговорил Левонтьев.

— Это вы про кого же?

— Да про взводного нашего Сидорина. — Онисим Сипягин помялся, Чудиков подтолкнул его: «Говори, чего там!» — Он нам вчерась сказал, Сидорин-то, — продолжал Сипягин. — Вы, говорит, «товарищам» в самый рот глаза пялите, шпана вы, говорит, голодранцы и хамье. А мы гвардия. Вас к нам силком, таких краснозадых, напхали в полк. Ну, говорит, ничего, до первого боя. Там пуля сама произведет очистку. Она не дура, зря так про нее говорено. Она разберется, где гвардеец настоящий, а где липовый. Мы посидели, посидели, покумекали. Ведь он нам что, морда эта, сказал? Как же с ними в бой ходить, ежели они вот этак «очищаться» от нас станут, пулей-то?

— Сидорин, значит?

— Да разве один он, товарищ комиссар!

— Но вы же знаете, товарищи, скольких мы уже арестовали за такие вот примерно дела.

— Всех их туды надобно — в кутузку! — Чудиков в сердцах стукнул кулаком по колену. — Что, у нас своих, рабоче-крестьянских, возможностей не хватает, да? Товарищ Ленин говорит: рабоче-крестьянская власть! Мы вот все трое крестьяне. А какую такую власть видим? Опять золотопогонники пулей грозятся.

«Вот это да! — раздумывал Раков. — Действуй тут убеждающим словом, воспитывай. А кого воспитывать? Этих троих? Они и так понимают правильно все, что касается столкновения классов. Сидорина, значит, карателя девятьсот пятого года, воспитывать? Ну-ну, дойди до его сердца, попробуй!»

Назавтра Раков был вызван в Смольный. Вызывал Благовидов.

— Здравствуй, Александр Семенович! Сейчас вместе пойдем на заседание Петроградского Комитета, — сказал ему Павел, когда Раков зашел в его комнату. — Осложняются дела вокруг Питера. В каком смысле? Сам услышишь. Пойдем!

В узкий длинный зал они вошли, когда почти все места там были уже заняты.

— Комитет заседает с партийным и военным активом, — сказал на ухо Ракову Благовидов. — Вон, видишь, Шатов сидит.

— Как же, знаю Шатова, настоящий большевик.

— Вон сухолицый, военспец...

— Так это же полковник Люндеквист! — воскликнул шепотом Раков. — Знакомы с ним.

— А вот и Зиновьев идет.

Зиновьев занял председательское место.

— Товарищи! — сказал он с ходу. — Мы созвали вас по чрезвычайным обстоятельствам. Как вы знаете, вокруг Петрограда со времен немецкого наступления, с тех пор, когда петроградский пролетариат дал сокрушительный отпор и немцам и тем белым ордам, которые немцы собрали под свои крылышки в Прибалтике, — так вот, с тех самых времен вокруг красного Петрограда было сравнительно спокойно. Где-то шевелились белоэстонцы, разбойничали шайки Булак-Балаховича, постреливали белофинны. Небольшие стычки, небольшие бои. То потеряем село-другое, то отобьем его обратно. Позавчера положение резко изменилось. Позавчера в узкой полосе между Ладожским и Онежским озерами на нас начали наступать войска белофиннов...

В зале возникло тревожное гудение.

— Прошу тишины, товарищи! — повысил голос Зиновьев. — Военные сообщают, что эти вторгшиеся на нашу территорию войска называются «Олонецкой добровольческой армией». Судя по всему, «добровольцы» идут в двух направлениях. Одно — на Петрозаводск, другое — на Лодейное Поле, откуда возможен их заход к нам в тыл. Не будем скрывать от вас: положение тревожное и даже угрожаемое. И прежде всего потому угрожаемое, что мы располагаем слишком малыми силами. Сказалось что? То, что Москва вычерпала у нас тысячи, многие тысячи лучших людей, вычерпала запасы вооружения, разных материалов, совершенно необходимых для ведения боевых действий. В такое-то время, товарищи, когда против нас уже в открытую поднялись враги, вы знаете, Центральный Комитет главной политической задачей дня объявил мобилизацию сил на помощь Восточному фронту!

— Но там же действительно решается судьба революции! — крикнули из рядов. — Там Колчак наступает крупными силами. Его поддерживает Антанта.

— Вы правы, товарищ Шатов, — ответил Зиновьев на выкрик. — Колчак — колоссальная опасность. Однако и у нас тоже не курортная жизнь, не Карлсбад и не Баден-Баден. А Питер, Питер! Потеря его — это же катастрофа для Советской власти, для революции. Ленин нам пишет, вы знаете об этом письме, что «питерские рабочие покажут пример всей России», еще и еще, дескать, будут слать и слать отряды на Восток. «Других рабочих уровня питерцев у нас нет». Такое, конечно, читать лестно и слушать приятно. Но... и другого города уровня Петрограда у нашей страны нет. Нельзя терять эту кузницу промышленности, культуры, партийного строительства. «Все на защиту Петрограда!» — такой лозунг мы должны теперь бросить в массы. Именно эти слова написать на своих боевых знаменах. Все подчинить задаче отпора врагу!

Обсуждения не было. Была выслушана пламенная речь Зиновьева, принято к сведению сообщение о том, что руководством — и партийным, и советским, и военным — принимаются должные меры, чтобы отбить белофиннов на их территорию, и люди начали расходиться.

Раков набрался решимости, подошел к Зиновьеву, окруженному военными.

— Товарищ Зиновьев, — выждал он удобный момент в общем разговоре вокруг Зиновьева. — Я комиссар Второй Особой бригады.

— Да, товарищ Раков. Я вас знаю. — Зиновьев пожал ему руку.

— Так вот, товарищ Зиновьев, завтра, может быть, уже в бой идти, а, честно говоря, мы не готовы.

— Что так?

— Имею в виду бывший Семеновский полк. Засорен он до крайности. Офицеры так и остались офицерами.

— Дорогой мой товарищ комиссар! — Зиновьев весело и дружески похлопал Ракова по плечу. — Вам трудно?

— Да.

— Так вот, дорогой мой, всем трудно. Надо людей воспитывать. Проникновенное, страстное слово делает то, чего не способны сделать никакая палочная-распалочная дисциплина, никакие строжайшие наказания. На чувства надо влиять. Помнить, что у человека есть сердце.

«Что за чертовщина? — думал Раков, слушая это назидание. — Как похоже на то, что не долее, чем вчера, говорил бывший полковник на лестнице штаба армии. Не может же быть, чтобы он, Раков, так жестоко ошибался. Старо народное правило: если двое говорят, что ты пьян, то не сопротивляйся, не доказывай обратного, а иди и ложись спать. И партийный вождь Зиновьев и бывший царский офицер Лундквист говорят ему одно и то же. Неужели надо идти и ложиться спать?»

Он втиснулся спиной в толпу, и вместе с Благовидовым они возвратились в благовидовскую комнату. Свернули здесь по сигарке; красноармеец Савельев, прихрамывая, принес им кипятку в манерке, запарил жженую корку хлеба. Появился Алексей Лабзаев, посланный Благовидовым в город с поручением.

— Лед пошел на Неве! — сказал Лабзаев весело. — Дерьма всякого несет! Народу на Дворцовом мосту собралось с тысячу. Смотрели, как мертвяк плыл на льдине.

— Сходи еще и на Охтинский мост, посмотри, — ответил Благовидов рассеянно.

— Понятно, — догадался Лабзаев. — Третий лишний. Конфиденциальный разговор. — И вышел, довольный.

— Положение действительно сложное, — сказал Благовидов, прихлебывая чай из кружки. — Сил и в самом деле Петроград имеет очень мало. Тут Зиновьев прав. Не возразишь.

— Тем более каждая часть должна быть до предела боеспособной! — подхватил Раков. — Я не умею жить и работать «на авось да небось». Если мне что-либо поручили, оно должно быть выполнено по настоящему. Я не могу утешаться тем, что «всем трудно». Передо мной неотступно стоят эти три красноармейца, которым царский фельдфебель пообещал в первом же бою очистительную пулю. Ведь так, может быть, уже заготовлены именные пули и для тебя, и для меня, и для всей Советской власти. Пусть не они, не эта сволочь, от нас «очищаются», а мы должны очиститься от них, пока не поздно.

— Я тебя провожу, — сказал Благовидов, когда Раков собрался уходить. — У меня есть с полчаса времени.

Они вышли на набережную Невы перед Смольным. Лабзаев сказал правду: всю шел, шурша и похрустывая, пока еще не голубой — ладожский, а грязный — невский — лед. Они стояли и смотрели на неуклонное спорое движение льдин, устремлявшихся к заливу. Солнце сияло, теплое, ласкающее. Оно боролось с едким, злым ветерком, которым тянуло от льдин. По береговым откосам уже цвели желтые мать-мачехи. Над ними не очень яркие, как бы еще не отряхнувшие пыль зимней спячки, лениво кружились прошлогодние бабочки-крапивницы.

На берегу появились мальчишки. Они швырялись камнями в воду меж льдинами.

— Дяденьки, стрельните из нагана! — завопили они, увидав кобуры с оружием.

Жизнь шла своим чередом. Были и мальчишки, и мать-мачеха, и ле- доход — все было; и можно бы жить да радоваться, делать каждому свои, интересные, не связанные с этими кобурами дела. Но вот на севере лезут финны, вот идет скрытая, глухая борьба в полку, вот сидит, затаившись, надменное офицерье в штабах, и вновь черной тучей над жизнью каждого, кто всего лишь полтора года назад шел в смертный бой за эту жизнь, встает новая угроза. Доколе же, до коих пор так будет?

## 15

Подполковник Ларионов, сидя за столиком, держал в пальцах грече- скую сигарету и, время от времени затягиваясь, выпускал в низкий, под- шитый широкоими, темными от времени сосновыми досками потолок лег- кие струйки пахучего дыма. На столе, покрытом не очень чистой скатер- тью, поблескивала плавными округлостями пузатая бутылка с французским коньяком; на одном блюдечке был тонкими ломтиками нарезан лимон, на другом находилась сахарная пудра.

— А вы устроились недурно. По нынешним, конечно, временам, — сказал, осматриваясь, Ларионов. — Что тут было прежде в этой халупе?

— Школа, — ответил один из окружавших его офицеров.

Взгляд Ларионова задерживался то на картинках «парижского» жан- ра, разбросанных по бревенчатым стенам, то на стойке с винами и закуска- ми, за которой, окидывая настороженным взглядом «зал» с десятком сто- ликов, высился толстоплечий молодец в белом кителе, готовый отклик- нуться на любой зов.

Увидав возле одной из стен пианино, Ларионов поинтересовался:

— Кто-нибудь бренчит на этом?

— Никак нет, ваше благородие! — отозвался из-за стойки дети- на. — Найдить в этом болоте образованного кого совершеннейше невоз- можно.

— А ты сам-то, откуда, милейший? Как звать?

— Сонькин мое фамилие. При буфете служил в Санкт-Петербургском ресторане-с «Медведь».

— О, да ты столичной школы, Сонькин! То-то гляжу, уют здесь, знаете, и комфорт с пониманием дела, господа.

— И свое заведеньице-с мы поименовать изволили, ваше благо- родие, по старой памяти «Медведь».

— Для здешних условий это несравнимо более подходит, — Ларио- нов рассмеялся, — чем к ресторану в центре Петербурга, на Конюшенной да на Мойке.

Подполковник Ларионов только что прибыл в район расположения бе- лых войск, в деревню Большая Поля на левом, западном берегу реки Плю- сы. Попав в плен к австрийцам в шестнадцатом году, он долго скитался по лагерям для военнопленных в Австрии и Германии, пережил в тех краях немецкую революцию, завербовался, подпив однажды в берлинском ресто- ранчике, в корпус Бермонта-Авалова под Ригу. А недавно, когда по всей Прибалтике началось собиранье сил в Северный корпус, подполковник решил попытать счастья здесь, на русской земле.

— Все ближе к родным местам, — рассуждал он, вертя в пальцах рюмку. — Я же, господа, коренной петербуржец. Жил в прекрасном месте, на Шпалерной, поблизости от Таврического дворца, в доме номер тридцать девять. Дом принадлежит... а может быть, уже принадлежал... одной до- стойной даме, Вере Федоровне Колобовой. В этом доме, кстати, квартиро-

вал и Владимир Митрофанович Пуришкевич. Раскланивались, бывало. Да. Известный вам думец. Итак, господа, за успех! За победу!

Стали чокаться. Один из офицеров, с бледным не улыбочивым лицом скептика, сказал, кривя подвижные и без того изогнутые губы:

— Если не будет победы сейчас, то ее уже не будет никогда.

— Трегубов, Трегубов, как не стыдно! — закричали на него. — Осточертел всем ваш пессимизм! Хоть однажды не понойте, сделайте одолжение.

— А почему вы так считаете, поручик? — обратился к нему Ларионов с интересом. — Расчет? Или же интуиция?

— Да потому что сил наших с каждым днем не прибывает, а убывает. У красных же наоборот: от малого они идут все к более осязаемому. У них уже миллионная регулярная армия. Они поставили себе целью в ударно короткий срок сформировать и трехмиллионную армию. Об этом пишут в ревельских газетах. В них, естественно, издеваются над этим намерением большевиков. Но факт-то констатируется. Я бы, что касается меня, так легкомысленно издеваться не стал. В Красную Армию пошли сотни, а может быть, и тысячи наших офицеров.

— Вешать будем! — рявкнул кто-то.

— И генералы в нее идут!

— И генералов-изменников на фонари!

— Между прочим, поручик Трегубов... — Из тени за пределами абажура лампы «молнии» выступил офицер в английской новой форме. — Вы, как всем известно, не очень в ладах с материализмом. Вы идеалист. У вас шоры на глазах, и вы плохо видите в стороны. Что же, верно: идут офицеры на службу к красным. И среди них даже такие есть, которые верноподданно им служат и, может быть, умрут за своих новых хозяев. Но далеко не все так служат. Да, Трегубов! Многие, очень многие пошли к красным лишь потому, что им приказала родина в лице неведомых большевикам наших организаций. Они идут к красным, чтобы бороться против красных. И тут нельзя ошибиться, когда мы станем намыливать веревки.

— Поручик Саюшев прав. — В разговор вступил еще один посетитель сельского питейного заведения «Медведь». — Я, скажем, и сейчас был бы в Петрограде и, возможно, сидел бы в каком-нибудь штабе. Вокруг Петрограда стоят две красные армии. Седьмая, растянутая на три сотни верст от Чудского озера до Онежского, и Пятнадцатая. Район действий Пятнадцатой — Луга, Псков, Остров... Так вот, уверяю вас, был бы я сейчас в штабе одной из них и, можно не сомневаться, всеми силами помогал бы — кому? Вам! А следовательно, самому себе.

— Так в чем же дело? Почему вы здесь, а не там?

— В том дело, что большевистская чека нас раскрыла, обнаружила и разгромила. Пришлось спасаться вульгарным бегством, не успев должным образом вращаться в толщу их армии. Только и всего. А задание такое, вращаться, я имел. И как раз от организации помянутого сегодня подполковником Ларионовым его соседа Владимира Митрофановича Пуришкевича. Сразу же после большевистского переворота. Однако, увы. Мы, говорю, провалились. Но сотни наших, с разным, конечно, успехом, еще продолжают и продолжают работать в Петрограде.

— Ну и что? — отхлебнув коньяку из рюмки, упрямылся Трегубов. — Это конвульсии. «Сотни, сотни!» Пусть даже тысячи. А там-то миллионы! И если победы не будет сейчас же, немедленно, мы кончены. Миллионы превратятся в десятки миллионов. Господа, будем реалистами, к чему нас, в частности меня, призывает поручик Саюшев. Где все те, на ком в России держалось так называемое общество? Дом Романовых?.. Почти всех их большевики перестреляли. А те из великих князей, которые остались, не заслуживают ни малейшего внимания. Да и где они, эти августейшие остатки? Кто в Крыму, а кто уже и дальше — в Париже, в Копенгагене. Наши помещики, владельцы земель? Тоже разбежались. Промыш-

ленники? «Увы», как сказал Саюшев. Генералы? Извините, господа, кроме Колчака, Деникина, Алексеева, Лукомского, Юденича — это же не генералы, а полковники и подполковники, в общей шумихе сумевшие сменить полковничьи погоны на генеральские. А когда борьбу ведут третьестепенные фигурки, то соответственными будут и результаты. Фигуры первой линии задали стрелача при первом выстреле.

— Трегубов прав! — перебивая друг друга, заорало сразу несколько человек. — Мы сидим в болоте, третируемые эстонцами, а все эти недавние «герои» — господа Керенские, Милюковы, Струве, Савинковы — по Лондонам и Парижам околачиваются!

— Простите, — сказал подполковник Ларионов. — Живут они, безусловно, в значительно лучших условиях, чем мы. Но делают-то дело общее для всех нас. Расшевеливают Антанту, выколачивают из союзников деньги, оружие, помощь войсками. Это еще скажется, я убежден.

— Господа! — В избу «офицерского собрания» деревни Большая Поля вошел новый посетитель в такой же, как у поручика Саюшева, свеженькой английской форме. — Преппикантнейшая новость!

— Один из чинов контрразведки корпуса, капитан Барский, — шепнул Ларионову Трегубов.

— Так вот! — Барский шумно, уверенно подсел к столу. Ему налили рюмку. — Вчера в нескольких верстах от нас расположился штаб одной из красных бригад. В деревне Попкова Гора. Совсем недалеко — за рекой и за лесом. — Из полевой сумки он вынул карту-двухверстку. Все склонились над ней, стали тыкать пальцами. Контрразведчик корректно, но решительно отстранил руки. — Спокойно. Карту порвете. Новой нигде не получишь. Даже за тысячу золотых рублей. — Он сам повел по ней серебряным карандашиком, вынутым из кармана роскошного френча. — Прикинем по прямой в соответствии с масштабом: Большая Поля — Попкова Гора, около двенадцати верст. А наши секреты почти под самым Замошьем, откуда до Попковой Горы нет и пяти верст.

— Но в Попковой Горе красные стоят давно. С зимы, — сказал Саюшев.

— То были совершеннейшие оборванцы, шатия. — Барский даже не обернулся. — Сейчас они сменены такими же оборванцами, но другими, более похожими на солдат. И вот в чем пикантность всего дела. Командует бригадой... Кто бы вы думали? Его превосходительство генерал-майор Николаев. Прошу любить и жаловать. Продался красным, служит у них. Собирается громить нас с вами, старая перечница.

— Вот вам иллюстрация к тому, о чем мы только что говорили, — сказал поручик Трегубов. — Генералы идут к красным.

— А может быть, у генерала Николаева тоже задание от офицерской организации? — продолжал свое Саюшев.

— Хорошо бы совершить вылазку и захватить этот штаб! Все бы и стало ясным, — сказал Ларионов. — У вас и кавалерия стоит? — Он прислушался к конскому топоту за окнами.

Копыта, глухо цокая, месили весеннюю грязь; в потемках слышались протяжные выкрики команд.

— Какая кавалерия! — скривился Трегубов. — Пара чьих-нибудь кляч. Возят разный хлам.

Все офицеры уже знали, что на тесное пространство вдоль рек Наровы и Плюсы полковник Дзержинский и настойчиво оттесняющий его во всем касающемся Северного корпуса генерал Родзянко поспешно стягивали русские силы из Эстонии и из-под Пскова. Каждый день через Большую Полю проходили новые и новые отряды и отрядики. Иные в каких-нибудь несколько десятков человек. Вот подошло, надо полагать, судя по конскому топоту, очередное такое подразделение.

За столами продолжался общий разговор, когда в ресторацию один за другим густую толпой стали входить офицеры в необычной для тех мест

экзотической форме, то ли кубанцы, то ли терцы, то ли еще кто-то близкий к казачеству: серые барашковые шапки с малиновым верхом, лампы, кривые кавказские шашки в изукрашенных ножнах.

— Садись! — тоном приказа распорядился коренастый черноволосый красавчик с властными манерами и широким жестом указал на свободные столы. — Хозяин! — окликнул он буфетчика, пощипывая черные усики. — Все, что имеешь, подать! Сроку одна минута. — И, отогнув рукав тулжурки, взглянул на часы.

— Господин ротмистр! — воскликнул Саюшев. — Рад вас видеть!

— Извольте-ка обратить внимание на погоны, — ответил красавчик.

— Прошу прощения! — Саюшев отступил в удивлении. Тот, кого он назвал ротмистром, был в погонах полковника. — Господа, — обратился Саюшев к своим коллегам, — беру на себя смелость представить вас полковнику Булак-Балаховичу. Господин полковник...

Все задвигались на стульях, кое-кто встал, чтобы получше рассмотреть личность, овеянную легендами, рассказами и анекдотами.

— Ну? — Балахович уселся за один из свободных столов посредине зала. — Придвигайтесь ближе, господа, будем знакомиться. — По его узкому, в мелких чертах смуглому лицу поплыла веселая улыбка. — Юзек, расскажем господам офицерам историю нашего доблестного полка. Это мой родной младший брат! — Балахович кивнул на офицера, одетого точно так же, как и он, и очень схожего с ним лицом. Но в отличие от своего собратаного, крепкого брата Юзек был долговязым, костлявым и развинченным.

Он встал.

— Сложность нашей жизни, господа... — начал говорить тоном проповедника.

— Рассказывают, что этот малый — расстригшийся ксендз, — шепнул Саюшев своим соседям.

Балахович-младший продолжал:

— ...заключается в том, что, как и предсказывалось в священном писании, брат пошел на брата. Не в масштабе нашей семьи понятно, — Юзек улыбнулся, — а в масштабах всей России. Дела людей военных нельзя в наши дни оценивать только с военной точки зрения. Все течет, все меняется. Мой дорогой брат, когда весной восемнадцатого года немцы стали наступать на Псков, а затем приготовились к броску на Петроград, как и подобает патриоту, собрал отряд партизан и боролся против наших исконных врагов-германцев. Красные, естественно, его проверили, поддержали, отметили и поручили партизанский отряд превратить в регулярный конный полк. Это было сделано. Полк разместился в Луге, где мой брат состоял в начальниках гарнизона, и по заданию красного командования действовал в Лужском и соседних уездах, подавляя так называемые кулацкие восстания... В это мы, господа, пожалуй, особенно углубляться не станем.

Юзек хитро усмехнулся. Сидел и улыбался и сам нашумевший Булак. Он с удовольствием потягивал коньяк из стакана.

— «Товарищ» Троцкий пожимал руку моему брату, — продолжал Юзек, — а нынешний диктатор Петрограда господин Зиновьев даже преподнес полку почетное красное знамя некоего государственного образования, которое называлось «Северной коммунной». А затем, господа, темпоро мутантур «все течет, все меняется», это доблестное красное воинство, то есть мы, благополучно покинуло лагерь своих благодетелей, поскольку благодетели начали на нас коситься, сообразив, наконец, что служим мы не им, а великой матушке России. Мы решили сделать вид, что атакуем немцев под Псковом, да и махнули в Псков. Вот так!

Юзеку аплодировали весело, как эстраднему рассказчику или куплетисту. Он раскланялся.

Старший Балахович довольно быстро захмелел.

— Ну-ка, — властно скомандовал он, — споем нашу боевую! Запевай!

Юзек затянул:

Как ныне собирается вещий Олег  
Отмстить неразумным хоза-а-рам.

Балаховцы подхватили, рывкнув слаженно и мощно:

Их села и нивы за дерзкий набег  
Предаст он мечу и пожа-а-рам!

Пели они долго, старательно, самозабвенно, время от времени подзывая жестами буфетчика Сонькина, чтобы тот нес еще бутылок и еще закусочку.

Сам Булак пел, прикрыв глаза набухшими веками, и как бы уже видел мысленным взором и эти пожары и неразумные головы, летящие с плеч. Вещим Олегом, конечно же, в данном случае был он, удачливый, бесстрашный, понимающий толк в жизни народный витязь.

Песня еще гремела в бывшем классе убогой сельской школы, стараниями столичного буфетчика Сонькина превращенной в офицерский кабак, когда дверь рывком распахнулась, и в ней, как в темной раме, освещенная светом многолинейной «молнии» явилась взорам офицеров ослепительная амазонка. Черные бриджи туго обтягивали ее бедра, черный жакет едва сдерживал незаурядную грудь; на голове же была белая папаха, а на ногах — тоже белые щегольские сапожки.

Все, кроме балаховцев, оцепенели. Всякого насмотрелись они в эстонских болотах. Но чтобы такая амазонка?.. Неслыханно!

Балахович вскочил, шагнул к ослепительному явлению, поцеловал руку.

— Долго я буду ждать? — недовольно бросила амазонка резким голосом, в который очень мило вплетался характерный акцент прибалтийской немки.

— Элли, — сказал Балахович, беря ее под руку. — Присядь, дорогая. Одно мгновение. Один скупой, солдатский глоток, и мы двинемся дальше. Это господа офицеры, — он повел рукой, представляя ей общество. — Боевые люди. Вместе с нами они пойдут на Петроград.

Амазонка поклонилась общим поклоном.

Юзек, тоже успевший хватить лишнего, уже сидел в группе местных офицеров и вполголоса давал интервью:

— Брату, считаю, господа, повезло. Красавица-то какая! Баронесса! Смотрите — грудь, стан, ноги! Лицо — это же картина. Тут еще у вас свет паршивый. Днем на нее взгляните! Глаз не отвести. И откуда, думаете, взялась? Когда мы пришли в Псков, там болтался один бойкий немчик, ротмистр Розенберг. Сам немчонок, он и работал на немцев, из наших старых солдат и офицеров сколачивал немецкую армию. Конечно, ему интересно было иметь у себя такого человека, как мой брат. Чтобы заманить его, ротмистр не остановился даже перед тем, что преподнес моему брату свою любезную. Перед вами — она! Имя? Элеонора. Фамилия? А черт ее ведает! Каждый раз называет новую. Для единообразия мы меж собой кличем ее попросту Розенбергшей. Но чтобы какая фамильярность, господа, за грудь чтобы или еще что — ни-ни, и не думайте. Зарубит. Не она, естественно. А мой братец.

Розенбергша уже освоилась в новом обществе, пила коньяк, хохотала от армейских остроумцев. Увидав пианино, подседа к нему.

— «Рёниш?» Настроен?

Взяла несколько аккордов. Запела грубоватым, сильным голосом.

Играл я у гроба, на свадьбах певал,  
В палатах, в лачуге убогой,  
Когда же темнело и пир умолкал,  
Я брел своей старой дорогой.

- Чертовски здорово, — шепнул Саюшев.  
 — А!.. — Ларионов махнул рукой. — Жестокый романсец.

Бывало, пою, угождаю на всех  
 Про скорби, про радости жизни,  
 У девушек слезы, у юношей смех,  
 А сам я не знаю отчизны...

— Довольно! — выкрикнул Балахович и поднялся. — Не то, совсем не то. Не к настроению. Пусть хнычут другие. Нас путь зовет. Наша песня иная. «Как ныне...»

— ...собирается вещей Олег! — вновь подхватили балаховцы, вставая за своим батькой.

Через минуту в зале никого из них не осталось, только белело и чернело клавишами, как разинутая пасть, оставленное открытым пианино. Исчезла, как видение, черно-белая прибалтийская баронесса; в глазах восхищенных офицеров еще держались отпечатки ее щедрых форм, а на улице слышались крикливые команды, цокали копыта. Спустя несколько минут стихло и это.

— Да, — сказал Трегубов, — ну и женщина!

— Вот это баба, так баба! — в тон ему воскликнул Саюшев.

— Полно вам, господа. — Ларионов закуривал, должно быть, десятую из своих пахучих сигарет. — Такое «вот это да», — он кивнул в сторону двери, — покупается за деньги. И весьма недорого. Разве не видно?

— Стыдно, подполковник! — рассердился Трегубов. — Ничего не знаете, а позволяете себе так говорить о женщине.

— О потаскухе!

— Господин подполковник!.. — Поручик Трегубов вскочил. У него дрожали пальцы.

— Сядьте, мой друг, — спокойно ответил Ларионов. — Сядьте. Драться с вами я не буду. Поскольку и себя и вас мне безумно жалко. Нам и без этих провинциальных дам достаточно кисло. Ну хорошо, хорошо... Она небесное создание и гений чистой красоты. Беру свои слова назад. Вам достаточно?

Трегубов опустил на стул, и в глазах у него были слезы:

— Нет, мы такие циничные, охамевшие...

— Оскотинившиеся, — охотно подсказал Ларионов.

— Да, да, оскотинившиеся... Такие мы победить не сможем.

— Заныл, — сказал Саюшев раздраженно. — Какого черта вы, Трегубов, потащились на фронт? Могли бы устроиться официантом в Ревеле. Между прочим, господа, не считайте меня обманщиком. Я верно сказал, что господин Булак-Балахович еще год назад был ротмистром.

— Я располагаю полным послужным списком этого господина, — самодовольно сообщил контрразведчик Барский. — Его болтливый брательник Юзек — ценнейший источник информации. Булак был произведен в подполковники не то генералом Вандамом, не то полковником, ныне генералом, фон Нефом. За успешные боевые действия при отходе частей корпуса из Пскова. А полковником сей атаман стал совсем на днях. Произвел его Родзянко. Булака отстранили от командования полком и перебрали сюда на должность инспектора кавалерии. Довольно смешно. Но он явился не один, а привел с собой свою сотню. И мой добрый Юзек сказал, что без войск «батька» долго не проживет.

— Все это отвратительно и омерзительно, — бубнил Трегубов, окидывая зал уже совершенно бессмысленным взглядом. — И ваши полковники и ваши генералы. И Юзеки... Груды костей и черепов. Только престелная дама... — Он икнул.

— Голубочек, — ласково сказал Саюшев. — Не пройти ли нам во дворик да по примеру древних римлян не вложить ли в уста пару пальчиков?

— Ваше благородие! — с готовностью подскочил буфетчик Сонькин. — Позвольте мне. Вот флакон нашатырю-с. Прекрасное действие.

— Иди, иди, — отстранил его Саюшев. — Русские офицеры — это тебе не петербургские торгаши или какие-нибудь стряпчие. Ты к ним недостойн прикасаться. Русские офицеры... Пойдем, Трегубов. Спать пойдем.

Он взял поручика под руку и бережно повел к двери. Подполковник Ларионов невесело смотрел им вслед.

## 16

Главнокомандующий финскими вооруженными силами генерал Маннергейм был осведомлен об этом, понимал это и видел, что русские белогвардейцы в Гельсингфорсе и в Ревеле засуетились не по своему почину. С надменностью царедворца, много лет прослужившего бывшему российскому императору Николаю II, он откровенно презирал и «серых армейцев» во главе с неинтеллигентным, неродовитым хохлом Миколой Юденичем, и тех штафинок в сюртуках и смокингах — Карташевых, Струве, Ивановых, Кузьминых-Караваевых, Лианозовых, которые порешили, что быть Юденичу их прибалтийским военным вождем.

За спинами этой, по мнению Маннергейма, мелкоты, выброшенной большевиками в Прибалтику, финский командующий видел могучие силы Антанты. Они еще не приведены в движение, эти силы. Как истинно деловые люди, англичане и американцы желают прежде убедиться, насколько основательны, серьезные и надежны те, кому они намерены вручить оружие, материалы, средства для удара по Петрограду, по большевикам, увязшим со своими главными силами в изнурительных боях на Востоке, Юге, далеком Севере и на Западе. Но нельзя не видеть, что тот час, когда русские белые пройдут такое испытание, уже недалек, и тогда будет непростительно, если он, Маннергейм, а с ним и все белофинские силы отстанут от событий в мире, не поспеют к дележу российского пирога, прозевают земли возле Мурманска, Петрозаводска, богатые лесами и рыбой Поонежье и Приладожье. В то же время еще, пожалуй, опасней броситься сейчас в открытый бой на большевиков, из щедрых рук которых, сразу же после Октябрьской революции, финны получили свою независимость.

Нет, совсем не потому воздерживались от открытого боя гельсингфорские правители, с помощью немцев задушившие революцию у себя, что их в какой-то мере мучили соображения этики. Нисколько эти соображения их не мучили. Просто если выскочишь один, то вдруг так в одиночестве и останешься; большевики тогда размолотят тебя вдребезги. Да, верно, что в Ревеле уже разгружаются пароходы с американскими припасами, что бродит в Балтике английская эскадра, вербуются в Швеции русские добровольцы для Юденича. Но все это еще без заметных ветрил и без ощутимого руля и сколько угодно может поворачиваться то в одну, то в другую сторону.

Хитрые финские головы нашли, по их мысли, превосходнейший выход из затруднительного положения. Зиновьев, информировавший партийный и военный актив Петрограда о наступлении между Ладожским и Онежским озерами, тогда еще не мог ответить на вопрос, почему «Олонецкая армия» финнов называется «добровольческой». Некоторым думалось: а нет ли в ней русских белогвардейцев? Нет, русских там не было. Армия генерала Эльвенгрена была названа добровольческой только для маскировки. Белофиннам хотелось представить дело так, будто бы она составила из финских волонтеров, которые пламенно откликнулись на зов своих братьев в угнетаемой большевиками Карелии. А вторгшись на чужую землю, они еще прикинулись и повстанцами, сбросившими с себя красное иго. Ну, а если «повстанцы», если «добровольцы», то какое же отношение к ним имеют правители Финляндии! Богатейшие советские края тем временем успешно прибираются к рукам.

По боевым планам Петрограда в те места должен был упираться правый фланг 7-й армии. Но удара со стороны финнов никто не ожидал, по лесным и приозерным тамошним селениям были жидко раскиданы малочисленные красные части и отряды. Быстро собрать их в кулак оказалось невозможным, и они под форсированным натиском белофиннов отступали. 23 апреля «добровольцы» ворвались в Олонец, а через несколько дней уже надеялись быть и в Лодейном Поле. Оттуда им открылись бы возможности глубокого захода в тыл Петрограду.

Объединить действия красных войск в район боев срочно выехал бывший полковник Люндеквист. Троцкий говорил о нем, что это выдающийся «военспец». Но и такой выдающийся человек, прибыв на место, растерялся. «Противника не остановить, нет! — восклицал он в отчаянии. — Военная наука точная. Никакими усилиями воли и никаким энтузиазмом нельзя заменить строгий расчет, боевую вооруженную единицу в полках, наличие снарядов и патронов».

Люндеквист метался из деревни в деревню, из одного отряда в другой, и вместо организации отпора врагу своими ссылками на военную науку только вносил дезорганизацию, и, хотел ли он этого или не хотел, сеял панику. Он склонялся к тому, что для уплотнения фронта надо как можно быстрее отступать к Петрограду, и уже там, только там, под самым Петроградом, дать белофиннам генеральное сражение.

Связи между частями почти не было, но их командиры и комиссары и так понимали, что никуда отступить нельзя. И уж, во всяком случае, если и отступать, то не без боя за советскую землю. Они отходили медленно, огрызаясь, отстреливаясь, кидаясь в контратаки. В район боев перебрасывалась Петрозаводская часть Особого назначения, спешно двигался отряд из Званки. В самый горячий момент прибыл член реввоенсовета 7-й армии Шатов во главе большого, хорошо вооруженного отряда. Он сказал Люндеквисту: «Напрасно вас сюда послали. Вы работник штабной, и сидеть бы вам в штабе. По-вашему, здесь надо отступать. А по-нашему — наступать. Мы друг друга не пойдем».

Со времен немецкого наступления под Псковом Петроград не переживал таких напряженных дней. Красные части, собранные наконец воедино Шатовым, остановили противника, на некоторых участках даже стали переходить в контрнаступление. Но оборонная работа в Петрограде не только не затихала, а все развешивалась: врага надо было разбить и выбросить прочь с тех северных подступов к Петрограду. Тем более, что белофинны могли же и не ограничить свои действия этим наступлением в межозерье. Кто знает, не бросят ли они уже не «добровольцев», а регулярные части армии прямо со стороны Белоострова и Сестрорецка? Надо было готовиться к любым неожиданностям. Тысячу коммунистов, из тех, кого только что мобилизовали для Восточного и Южного фронтов, Петроградский комитет партии решил тоже отправить под Олонец.

Павел Благовидов все эти дни почти не спал. Ночи в Смольном, непрерывные разговоры с коммунистами, уходившими на фронт, ночи в казармах, на вокзалах, с которых отправлялись воинские поезда. Мотался он полуголодный, с опухшими, красными глазами. А тут еще, должно быть, цинга подкралась — укусишь ломоть хлеба с овсяной половой, непропеченного, грубого — и кровь из десен, никак не остановить ее, запекается на губах. Саньку он уже не видел почти неделю, с того самого дня, как сидели они с ней среди дров у Калинкина моста. Может быть, она и звонила ему, но и его помощника Алексея Лабзаева на месте в такое время не было, бегал по городу с поручениями, и никто не подходил к телефону, не отвечал на звонки.

2 мая образовался Комитет рабочей обороны Петрограда. Павла послали туда. 5-го пришла телеграмма из Москвы о том, что пленум Центрального Комитета постановил ни одного человека из мобилизованных в армию — будь то по партийной линии, по профсоюзной ли, по линии Со-

циалистического Союза молодежи, по всем другим линиям — из Северо-Западных губерний ни на Восток, ни на Юг не отправлять. Уделить особое внимание обороне в Карелии, под Петроградом, — быть готовым к общему наступлению белофиннов. «Все на защиту Петрограда!» — плакатами с таким призывом оклеивались стены домов, афишные тумбы, трамвайные столбы. Повсюду на пустырях и площадях, еще не очень дружно топя, маршировали шеренги вооруженных людей в куртках, в бушлатах, стеганках, в пальто. Люди совершали учебные перебежки, прицеливались для стрельбы лежа, с колена, стоя. Звякали затворы.

Готовилась к борьбе за Петроград и другая сторона.

Солнечным майским днем оба входа в квартиру Виктории Федоровны — и с парадной, замаскированной, закрытой, и особенно с черной лестницы — охраняли вооруженные наганами и браунингами надежные, давно проверенные офицеры. В квартире шло экстренное заседание петроградского ответвления «Национального центра», большой, располагающей людьми и средствами организации всероссийского масштаба. Из собравшихся в этот день, может быть, лишь один Вильгельм Иванович Штейнингер знал, что в «Национальном центре» в Москве председательствует известный московский домовладелец кадет господин Н. Н. Щепкин. С каждым днем организация эта все усиливала, улучшала, углубляла конспирацию своей деятельности.

Инженер Штейнингер, владелец патентной конторы «Фосс и Штейнингер», бывший гласный Петербургской думы, прошел все стадии борьбы против Советской власти — от организации саботажа служащих до связи с подпольными офицерскими группами. Наступал новый, требующий несравнимо большей организованности и большей решительности острый этап.

Штейнингер сидел во главе раздвинутого на полную длину обеденного стола, накрытого для такого случая зеленым сукном. Для председательствующего перенесли из кабинета тяжелое кожаное кресло. По сторонам стола располагалось дюжины полторы стульев с высокими резными спинками. Приглашенные на совещание сидели чинно, строго, и в какой-то мере походило это на заседание то ли возрожденного кабинета министров, то ли Государственного Совета; словом, сладостно напоминало бывшие правительственные заседания и потому порождало атмосферу торжественности.

— Господа! — Штейнингер поглаживал ладонью бледный белый лоб. — Мы стоим перед лицом важных событий. Курьеры доставили известия о том, что в наступление перешли не только войска генерала Маннергейма. Вот-вот к боевым действиям приступит и Северный корпус, расположенный в районе Нарвы — Чудского озера. Всего лишь сто двадцать верст отделяют нас от наших освободительных русских войск.

Говорил Штейнингер медленно, всматриваясь в лица присутствующих. По правую руку от него сидел профессор Технологического и Политехнического институтов Петрограда Александр Николаевич Быков. По левую — Виктория Федоровна, активнейшая деятельница кадетской партии. Дальше находился профессор Путейского института Завадский. Еще дальше — инженер Альбрехт, за ним — адмирал Развозов... Ощущая значительность минуты, все держались достойно, важно и представительно. Штейнингер, пожевывая толстую нижнюю губу, раздумывал о том, что немало таких же представительных, важных и достойных мелькнуло, вспыхнул и погаснув, на общественном небосклоне «второй», скрытой, ушедшей в подполье России, которая вынуждена прятаться от большевиков. Одни расстреляны — и так, что никто даже не знает, где их могила, другие с трусливой поспешностью сбежали в Крым, на Дон, в Одессу, в Гельсингфорс. Что-то будет вот с этими, которые так чинно сидят по сторонам длинного стола?

— Господа, — снова, после минуты общего молчания, заговорил он, — может быть, близок час нашего освобождения. К этому великому часу не просто надо быть готовыми. Всеми возможными средствами надо его ускорять и приближать. В помощь Северному корпусу, во главе которого, очевидно, встанет генерал Юденич — этот вопрос сейчас решается в Сибири, в ставке адмирала Колчака, — мы должны иметь свой, я бы о нем так сказал — «Петроградский корпус». Все, кто разделяет наши идеалы, кто хочет свободы и умиротворения, кто стремится вновь обрести родину, должен решиться на великие жертвы, может быть, даже и жизнь свою положить на алтарь отечества. Офицерские группы у нас пока что предоставлены самим себе, они ведут расслабляющий их боевой дух, неорганизованный образ жизни. Надо пойти к нашим офицерам, ободрить их, призвать к исполнению долга, когда понадобится. А понадобится это, я убежден, очень и очень скоро.

С аккуратностью, с педантичной инженерской последовательностью Штейнингер набрасывал план подготовки встречи Северного корпуса в Петрограде. Захват офицерскими отрядами телефонной станции, главного телеграфа, почтамта, вокзалов; поджог и взрывы зданий большевистских органов управления и подавления; немедленный арест и расстрел руководителей Петроградского Совета, Петроградского комитета партии большевиков, Петроградской ЧК.

От его решительных, точных, крупных слов запахло порохом, потянуло дымом пожара. Кое-кто даже стал поеживаться, ссылаясь на сквозняк из открытых форточек.

— Да, да, да! — Штейнингер заметил это. — Такова логика борьбы, и, не считаясь с нею, никогда ничего не добьешься.

— Ирина Владимировна, уж не сердитесь, что опять нарушил ваш покой, — почти в тот же час говорил Кубанцев, появившись в передней Благовидовых.

Ирина давала себе клятвы в том, что никто из этой офицерской компании никогда больше не проникнет в ее квартиру, что и сама она никогда к ним больше не пойдет. Но раздалось дребезжание звонка, вошел Кубанцев, которому она так и не смогла не отворить, и вот в чем-то перед нею извиняется. В чем — она не может дать себе ясного отчета. О чем-то просит.

— Вы уж извините, пожалуйста, — с трудом стала улавливать она смысл его слов. — Две корзины и сундучок, всего-то всего.

Двое незнакомцев по его знаку, поданному на лестницу, втащили в прихожую то, о чем он говорил. Корзины оказались громоздкими, большими и тяжелыми; запирались они на длинные железные пруты, прихваченные висячими замками. Сундучок был из железа, как у паровозных машинистов, и тоже замкнутый.

— Куда прикажете поставить? — Кубанцев суетился. — К вам ведь с обыском не придут, ваш супруг — лицо сугубо лояльное. А тут, в этих вместелищах, последнее, что осталось у меня от разрухи, от разграбления. Из носильного кое-что, из домашнего.

Ирину, она даже не могла сказать, почему, охватывал страх перед этими угловатыми, громоздкими вещами. Ирине казалось, что корзины Кубанцева наполнены чем-то зловещим, способным принести гибель и ей и Илье.

— Боже! — сказала она слабо. — А может быть, не надо бы. Унесли бы вы, пожалуйста.

— Увы, Ирина Владимировна. Некуда.

С удивительной ловкостью Кубанцев осмотрел большую Ирину квартиру, над ванной комнатой отыскал невидимые из коридора антресоли, и все втроем, он и приведенные им бессловесные молодцы, тяжело пыхтя, взгромоздили туда свой багаж.

— Немножко, правда, перепачкались! — весело сказал Кубанцев, вывоженный пылью антресолей, до которых Ирина не добиралась более двух лет. — Ну ничего, на лестнице отряхнемся. Спасибо вам, Ирина Владимировна. Превеликое. Говорить-то про это никому, само собою разумеется, не надо. Молчок, и все.

— Итак, Ян Карлович, на этот раз я отправляюсь один. Друг мой, Благовидов, не может. Он в Комитете обороны Петрограда, горячка у них. Бери, значит, опять наган. Кольт оставляю.

— Иди, Осокин, иди. Это может оказаться очень важным. Если твой Хамелайнен не дурак, мы кое-что через него узнаем, ты прав, Осокин.

Ян Карлович внимательно наблюдал за тем, как бережно его помощник укладывает в свой несгораемый ящик кольт, как проверяет, есть ли патроны в барабане нагана.

— Ты любишь оружие, Осокин. Это хорошо, — одобрил он. — Но ты пижон все-таки. Как барышня наряды, меняешь оружие. Если нет патронов к твоему кольту, ну и носи всегда наган. Нет, я вижу, кольт ты любишь, именно как барышня любит то платье, в котором она больше нравится и себе и кавалерам.

— А что, разве это плохо, Ян Карлович?

— Мальчишка ты еще, Осокин, совсем такой, в коротких штанишках. Не надувайся, как пузырь. Я по-дружески с тобой разговариваю. Не как начальник. Да, кстати о барышнях!.. Эта девчонка, Санька, как она поживает?

— Что-то он, Завадский, ее из дому гонит, как кто у него собирается. Подозрительно, Ян Карлович. Значит, есть такое, что они хотели бы от нее утаить. Верно?

— Верно. Только, может быть, он просто баб к себе водит, твой Завадский. Всех подозревать, Осокин, нельзя. И не потому, что так ты красивей будешь. «Вот какой я, смотрите, христианнейший из христианнейших. Я всем верю, у меня голубиная душа». Глупости это. Всех подозревать нельзя по другой причине. Потому что не все способны на то, в чем их можно бы подозревать. Таких идейных, непримиримых, не очень уж и много. Ну, скажем, тысяч десять во всем Петрограде. А остальные, даже если они и не согласны с Советской властью, они обыватели и ничего больше. Такой не может ни за Советскую власть, ни против нее. Охотиться на таких — только зря время убивать. Но это я, учти, лишь в общих рассуждениях. А не в данном случае. Кто такой Завадский — мы с тобой не знаем. И ежели что...

— Я ей сказал, чтобы пока меня нет, она, ежели что, к вам бежала, Ян Карлович. Ничего?

— Правильно сказал. Ладно, дружок, отправляйся. Ни пуха тебе, ни пера.

— Спасибо, Ян Карлович.

— Дурья твоя голова! Разве же за такое напутствие говорят спасибо! К черту, говорят, к черту!

— Этого, Ян Карлович, я не могу себе позволить. Вы же начальник. «Богат и славен Кочубей. Его поля необозримы».

Нигде не найти было Павла Андреевича, телефон его молчал. Отправилась, было, Санька к Степану Егоровичу, к дяде Благовидова, за Нарвскую заставу. Может, тот что о своем племяннике знает. Но и Степана Егоровича не застала. Встретила ее хозяйка дома.

— Милка ты моя, — сказала Фекла Дмитриевна, усаживая Саньку на стул возле стола, — все мужское население сейчас как с ума посходивши. С завода, гляди, только ночевать домой ходят. А то, бывает, прямо

там, в заводе, и ночуют. Финны-то прут на Питер. Против них оружие надобно. Пушки народ чинит, пулеметы, паровозы, вагоны.

Санька спросила, не появлялся ли у них Павел Андреевич.

— А ты что, часом, не сердцем ли к нему присохла, девонька? — Фекла Дмитриевна присела напротив нее, явно заинтересованная. — Он мужчина видный. Самый бы раз ему жениться, да вот невесту никак не найдет. Не ты ли, а?

— Что вы, Фекла Дмитриевна! — Санька не смутилась. — Я так... Просто бегаю за ним. Сама. А он?.. Что ему девка деревенская! У меня и грамоты — на копейку.

— Это верно, верно: он с образованием. Училище реальное прошел. На инженера учиться подавал бумаги. Да служить в солдаты его взяли. Тогда уж, раз такое дело, военное, на офицера выучился. Образованный мужчина. Только ты и себя зря дешевишь. Стан у тебя, знаешь, привлекательный. И личико не деревенское, не так чтобы простое. И глаза эвон какие! Мужики ведь на бабье образование не так, чтобы строго смотрят. Им совсем другое подавай. Может, слыхивала про графа-то Аракчеева?..

— А как же! Я из тех мест. Новгородская я. Цыганку-то который Настю любил? Ну ведь она, Фекла Дмитриевна, не жена ему была все-таки. А потом — и зарезали ее за это.

— Поболе жены была, поболе. Всем крутила. И зарезали ее не за то, что граф любил, а за другое. Жестокая была к дворне, мучила людей. Или вот царица-императрица Екатерина Первая, жена царя Петра... Тоже ведь из деревни. А какая издалася. Это пусть тебя не заботит. Выходи за него, да и все.

— Что вы, Фекла Дмитриевна! Не возьмет меня Павел Андреевич. Я вам скажу... — Санька перешла на доверительный женский тон: — Павел Андреевич повел меня раз в театр. Опера, значит. «Ригалета». Поют все время, шумят на сцене. Как в деревне у нас в престольный праздник. Или на Пасху. А я уставши была, притулилась возле его плеча да и сплю себе. Вроде все слышу, но уже ничего не вижу. Смеялся он потом. Ну, конечно, дура. А барыня, у которой я маленько жила, жена Павла Андреевича брата...

— Ирина? Чего ты мне о ней рассказываешь! Это ж наша сродственница. Илюхина супруга. Из богатеющей семьи.

— Да, верно! Я и не сообразила. Невестка она вам вроде бы.

— Ну этакая, четвероюродная. Так чего она, говоришь-то?

— Она как начнет про театр, как начнет! «Партию пел»... «колоратурская сапрана»... Вот как надо-то! А я, недотепа, храпака задала.

— Ничего, милка моя, ничего. Приятная ты девка. Я бы тебя в сродственниках держала. Ирина — она гордячка. Илюха-то нас из-за нее позабыл. Мы ей не подходящая компания. Серые, видишь. Она и по-французски. Она и по-английски. А мы одно знаем — матюком. Я ей сказала раз: «Гляжось, задница у тебя до чего ладная». Ведь от души сказала, добром, залюбовалась ейной статью. А она как ахнет, как за грудь схватилась, будто я на задницу на эту ейну кипятком плеснула.

Санька смотрела на Феклу Дмитриевну задумчиво, подперев щеку рукой, и не слышала, о чем та говорит. Раздумывала она о возможном и невозможном. Может ли так быть на свете, чтобы ей стать женой Павла Андреевича? Ой, как любила бы она его, он даже и знать про то не знает, ой, как берегла бы, жалела, — все бы позабыл он, кроме нее. Но вот возможно ли это?

## 17

Юденич, как всегда, сидел в номере гельсингфорсской гостиницы и поглядывал на окрестные островерхие крыши из бурой, выстоявшей под сотнями и тысячами дождей, волнистой черепицы. В последние дни у него беспокойства прибавилось. Времени на чтение жене французских романов

не стало совсем. С утра до ночи перед ним торчат то англичане, то американцы, то свои, русские. Ничего не поделаешь. Он северное солнце белых, а вокруг солнца вращаются большие, средние и мелкие военные и штатские планеты. Силу притяжения образуют те два миллиона рублей, которые ему удалось получить в гельсингфорских банках у раздобывшихся после его поездки в Стокгольм и что-то почуявших банкиров. К деньгам потянулись руки из Ревеля, из-под Пскова, из Нарвы. Белые отряды и полки в Эстонии требовали этих миллионов, как земля пустыни требует дождя.

Одна из планет прибалтийской белогвардейской военной системы предстала перед Николаем Николаевичем разодетой в новенький английский мундир. Это был прибывший из Эстонии Александр Павлович Родзянко, племянник Михаила Владимировича, камергера и председателя Государственной думы. Подготовленным к наступлению Северным корпусом фактически командует этот скороспелый генерал, без шума и афиширования, но с полного согласия эстонского генерала Лайдонера, так-таки и отеснивший в сторону старика полковника Дзерожинского.

Юденич дует в усы, пучит глаза и барабанит толстыми пальцами по столу. Родзянко докладывает обстановку и план наступления корпуса. Докладывает кругло, эффектно, такой способен произвести впечатление. Краснобайство, видимо, их общая семейная черта. Бойкий, в общем, малый, нахрапистый, на ходу может подметки срезать. Юденич вспоминает скандальную историю то ли четырнадцатого, то ли пятнадцатого года, запомнил точно, которая была связана с именем этого новоявленного полководца. Командовал Родзянко в ту пору небольшой частью, вроде запасного батальона, сначала на острове Эзеле, где преуспевал свои служебные обязанности и держался чуть ли не генерал-губернатором среди эстонского населения, а позже на материковом берегу — в дачном городке Пернове.

Однажды возле того городка вздумал было опуститься немецкий офицер на аэроплане. Что вражескому авиатору было надобно в таких местах? Может быть, разведку вел, может быть, шпиона хотел выбросить.

Снижающийся аппарат заметили в батальоне Родзянко. На поле предполагаемой посадки прискакал сам командир батальона, приказал открыть огонь по воздушному врагу из всех винтовок и тоже отважно палил из браунинга. Немец ретировался. Племянник председателя Думы отправил в Петербург на имя своего дядюшки соответствующую реляцию. Дядюшка не замедлил с высоких трибун представить эту пальбу в воздух как одну из победных страниц истории русского оружия в Прибалтийском крае. Была, однако, учинена проверка, все выяснилось, генеральный штаб выразил сильнейшее неудовольствие по поводу хвастливой шумихи, и председатель Думы был изрядно обескуражен. Потом он не упустил случая отплатить генералу Юденичу, устроив думскую говорильню, когда Юденич принял кое-какие необходимые меры против аджарцев. Ну об этом чего там вспоминать.

Мысль вернулась к генералу Родзянко. Каковы же еще, кроме того аэроплана, «победы» Александра Павловича, Юденичу было неведомо. Со времен войны он так и путается в Прибалтике, вошел в доверие к эстонцам, помогал им расправляться с революционными рабочими и мужиками-хуторянами, воюет на эстонской стороне против красных; все это так, но все это игра по мелочам: стычки, нападения из засад, пальба с дальних дистанций. А как-то поведет себя сей генерал-племянник во главе крупных войсковых соединений?

— Итак, Николай Николаевич, — докладывал Родзянко, — наш Северный корпус стянут в район между Нарвой и Чудским озером. Общее число активных штыков — до пяти тысяч, сабель свыше тысячи, орудий полтора десятка.

— Только-то? — Прикрыв веком один глаз, Юденич высоко поднял веко другого.

— Этого, безусловно, мало, — согласился Родзянко. — Но мы сосредоточиваем силы на узком участке фронта. На очень узком. Мы пойдем колонной, тараном. Крестьянство Гдовского, Ямбургского, Лужского, Гатчинского уездов только и ждет нашего наступления. Начнут записываться в добровольцы, корпус станет обрастать, как снежный ком во время горного обвала. А кроме того, я еще не сказал вам, что севернее Ямбурга наступать будет расположенная там Первая дивизия эстонцев. Шесть тысяч штыков и тридцать орудий! У дивизии есть два бронепоезда и два английских танка. Перед танками красные побегут, как зайцы. В этом можно не сомневаться. Грознейший вид современного оружия. И еще я должен назвать одну особенность корпуса: некоторые его части целиком состоят из офицеров, которые в наступление пойдут рядовыми солдатами. Вы же знаете русских офицеров, Николай Николаевич. В бою каждый из них стоит десятка новгородских и вологодских лапотников. — Родзянко шумно высморкался. — Только бы до русской земли дойти, только бы! А там!.. — Он отпил из стоявшего перед ним стакана глоток холодного чая. — Таковы, Николай Николаевич, силы. Если не брать в расчет еще и Вторую эстонскую дивизию. Но у нее задачи особые. Эти задачи планируются генералом Лайдонером, который намерен двинуть свою дивизию на Псков.

— А наши, русские, войска пойдут на Псков?

Родзянко замаялся, пожевал губу.

— Как вам сказать. Объять необъятное невозможно. В сторону Пскова будет осуществляться вспомогательный удар. Вдоль озерных побережий двинется кавалерия Булак-Балаховича. Никакой инспектор из этого партизана не получается. Он потребовал полк и с ним должен будет занять Гдов. А если все пойдет благополучно, то под Псковом, или в самом Пскове, присоединиться к эстонцам.

— Меня заботит, Александр Павлович... — Юденич с силой дунул в усы. — Да, очень заботит непрерывное поминание вами эстонцев. На черта они вам сдались? Это же хитрейшие бестии. Посмотрите, как ловко руками наших, попавших к ним в кабалу русских солдат и офицеров вы проводили они из Эстонии красных. Наши сражались, умирали, а Лайдонеры тем временем обучали, школили, вооружали и экипировали свою эстонскую армию. Этак, того и гляди, они нам и в спину могут ударить, когда мы будем подходить к Петрограду. Может быть, и вы так полагаете, извольте-ка ответить, будто после победы над большевиками мы обязаны будем предоставить эстонцам самостоятельность, смириться с тем, что под боком у нас поселится некое подкармливаемое англичанами и американцами препротивное государство. Ну-ка ответьте? А как же тогда «единая», как «неделимая»?

— Сейчас не до этого, Николай Николаевич. Сейчас...

— А потом, когда станет «до этого», — перебил Юденич, — уже будет поздно. Надо своими, русскими, силами воевать. Балтика полна английских кораблей, учтите. Уже десятка три их крейсеров и эскадренных миноносцев утюжат наши воды. Есть у них даже плавучий аэродром... как его?..

— Авианосец.

— Да, да. Есть катера для торпедных атак, минные заградители и целых двенадцать подводных лодок. Вы все это можете увидеть и здесь, в Гельсингфорсе, у причалов порта, и в Ревеле, через который ехали сюда и поедете обратно. Бескорыстно нам помогать никто не станет, нет. С помощью своих крейсеров эти господа оттяпают добрую половину матушки России. Разве не видно?

— А что делать, Николай Николаевич? Без жертв, без потерь не обойтись. Большевики, может быть, только потому еще и живы и здравствуют, что не побоялись пойти на жертвы. Ленин чуть ли не на завтра после своего переворота поспешил объявить независимость Финляндии. Фин-

ны были нейтрализованы. Не правда ли? Под нажимом Ленина был заключен и трудный для большевиков Брестский мир. О нем кричат, что он позорный. Но большевики выиграли время, выиграли...

— Нет, нет, не агитируйте. На черта мне сдались ваши эстонцы! — Юденич сердился, грузно ворочаясь в старом кресле. Кресло под ним скрипело и похрустывало.

— А без них мы не сможем! — злился и Родзянко, совсем недавно принятый и обласканный Лайдонером. — Может нам оказать действительную помощь верховный правитель?

— Колчак?

— Да.

— Думаю, что окажется. Я ему отправил свое послание. Объяснил положение, просил помощи. Жду ответа. Путь не близкий. Вокруг Европы, вокруг Африки и Азии.

Юденич и Родзянко смотрели друг на друга и друг другу остро не нравились. Каждый считал, что у его собеседника есть нечто скрытое на уме, о чем каждый из них говорить избегает.

— Что ж, — завершая беседу, сказал Юденич, — как ни кинь, все клин. С богом, Александр Павлович! Значит, тринадцатого выступаете?

— Самая благоприятная дата. Красные все силы гонят сейчас в район Олонца, выстраивают крепкий фронт в Карелии. А под Нарвой и у Пскова у них голо. Через день, два, три — как раз к тринадцатому — будет еще голей.

Они пожали руки и расстались.

Адъютант доложил о том, что пришел генерал Владимиров.

— Николай Николаевич, хорошие известия из Петербурга. — Дождавшись приглашения, Владимиров сел.

— Какие же? — Юденич разминал в пальцах папиросу.

— Наши действуют. Создан запас оружия на конспиративных квартирах. Верные люди в штабах, в разных большевистских организациях. В воздушном дивизионе Балтийского флота наш офицер, «военспец» Берг. На петроградской радиостанции некто Рейтер. Я его не знаю, но наши утверждают — верный человек. Правда, есть данные, что он работает и на французов. Но бог с ним, лишь бы и для нас делал то, что надо. Потом разберемся. В оперативном отделении Балтийского флота тихо сидит полковник Медиокритский. Это все специально для вас сообщает через курьеров полковник Люндеквист. Сам-то он сейчас под Олонцом. Большевики отправили его туда спать положение. Но в Петрограде много людей Владимира Яльмаровича. Нет, недаром мы провели с вами время в подполье, Николай Николаевич. Глубокие корни остались.

Владимиров сообщал своему шефу лишь то, что шеф, если бы захотел, мог узнать и без него: Юденич и сам имел немало доброхотов в Петрограде. Зато бывший жандарм и словом не обмолвился о сети только его, даже от белого командования законспирированных агентов, скрытых в петроградском подполье. Был там особо надежный, преданный ему, способный на все, жандармский ротмистр Кубанцев, Гаврила Лукич, костолом, членовредитель, первоклассный стрелок из нагана. Помнится, оба они, Новогребельский, ныне Владимиров, и Кубанцев, стреляли в присутствии самого Павла Григорьевича Курлова. В медный семишник с двадцати шагов. Пять пуль из семи Кубанцев всадил в такую мелкую монетку. И почти не целился, подлец. На вскидку бил.

Воспоминания о золотом прошлом были приятны. Разглядывая носки своих безукоризненно, до лилового сияния начищенных сапог, Владимиров улыбался.

— Генерал Воейков тут, в Гельсингфорсе, сидит, Николай Николаевич, — сказал он.

— Дворцовый комендант, что ли? Какой же он генерал! Генерал от кувакерии! — Юденич шумно, раскатисто захохотал. — Иначе-то этого, извините, генерала никто и не называл, Владислав Станиславович.

Вежливо, в меру, посмеялся и Владимиров. Он не однажды встречал Воейкова на улицах Гельсингфорса и тоже каждый раз ухмылялся, вспоминая, как приближенного царя Николая и царицы Александры называли, бывало, в России. Удачливый человек этот обратил внимание на природный ключ в своем пензенском имении. Стал заполнять ключевой водичкой бутылки, наклеивать на них броские этикетки «Минеральная вода Кувака» и отправлять такое добро в Петербург, в Москву, в другие города империи. Источник бьет, денешки текут. Отсюда-то его «кувакой» или «генералом от кувакерии» и прозвали.

— Пишет книгу, Николай Николаевич. Назову, говорит: «С царем и без царя».

— Нахарчился, кот гладкий, возле царского семейства. Поди, на всю жизнь и ему и его внукам хватит.

— Да нет, ноет. Говорит, что все состояние осталось у большевиков. Ждет, когда можно будет в Петербург вернуться. Тайников, должно быть, в Царском понаустроивал. Я ему сказал: «Что ж, Владимир Николаевич, ждать-то, сиднем сидючи? Отправляйтесь в Северный корпус, в Эстонию, да с богом в бой на врага. Вы генерал!»

— Генерал! — Юденич фыркнул. — Он патрон не знает как заложить в винтовку. Свитский хомяк. Вся эта жадная до наживы шайка не могла царя уберечь. Увезли бы, переправили за границу. А то первыми в бега ударились, как только пальнул кто-то под окошком дворца. Вот прогоним большевиков из Петрограда, кого во главу России ставить будем? Ну, кого? Керенского, что ли, опять? Увольте. Не получился из него государственный человек. Засучил тощими ножками, в Бонапарты ему захотелось. Нельзя нам, нет, по французскому подобию государственное управление строить. Нам самодержавие как раз. Прочная власть нужна. А кому, говорю, царем быть? То-то!

Глухо стучали толстые пальцы по столу. Смотрели водянистые, цвететшие глаза на скопление бурых крыш за окном гостиницы. Думы одолевали Юденича. Из всех из них, из заметных генералов, если брат Колчака, Деникина, разных там Врангелей, — кто самый ближний сегодня к Зимнему дворцу? Он, конечно. В истории ведь всякое бывает. Почему бы среди великой смуты российской не прийти этак спокойненько, без толкотни, в окружении верных людей, таких, как Владимиров, скажем, — не прийти вот так да и не сесть в одно из древних тронных кресел Руси, сохраняемых ныне в Оружейной палате? Кровь придется пролить? Что ж, без крови никакой истории пока что не бывало.

Генералу вспомнились горные и прибрежные селения Батумской области. Начинался шестнадцатый год. Турки сильно досаждали своими набегами русским войскам. Шпионы среди войск ходили запросто. «В чем дело? — потребовал главнокомандующий Кавказской армии у чинов своей разведки. — Почему не принимаете мер?» «Невозможно, — отвечают те. — Невозможны никакие меры. Турок от аджарцев никто не может отличить — одинаково черные, одинаково — мусульмане». «Значит, этих аджарцев тоже надо считать турками, — решительно заявил главнокомандующий, — и соответственно поступать с ними». Был разработан план, одно за другим окружались войсками аджарские селения в пограничной полосе, раздавалась команда: «По турецким шпионам — огонь!» — гремели орудийные залпы, трескуче рассыпались в горах пулеметные очереди. Уцелевших от снарядов добывали выстрелами из винтовок, приканчивали штыками. Стон стоял над плодородными долинами, в которых из-за их райского климата еще и в далекие-далекие времена селились пришельцы — то греки, то древние римляне. Дым пожарищ валил из ущелий, вставал над горными вершинами. Главнокомандующий рысил на коне через сожженные деревни, мимо

мертвых тел, подвешенных к субтропическим деревьям. Конь разбрызгивал копытами кровавые лужи. Главнокомандующий не желал видеть и не видел, как солдаты выкручивали руки женщинам, волоча их в кусты... Может быть, и здесь, под Петроградом, будет так же? Что ж, на войне как на войне. Солдата, офицера, пострадавшего в изгнании, без родных, не остановишь в их священном гневе. Бьет двенадцатый час большевиков!

Юденич встал, хотел было перекреститься, окидывая взглядом стены гостиничной комнаты. Ни икон, ни сюжетов из священного писания тут не было, только голые языческие богини соблазнительных форм; удержал вознесенную руку на половине пути и двумя пальцами заложил за борт генеральской куртки.

Родзянко тем временем, окруженный адъютантами, сидел в кабачке русских офицеров на одной из гельсингфорсских улиц и коротал часы до парохода на Ревель. В отличие от этого байбака, тюфяка и мямли Юденича племянник председателя Государственной думы любил пожить и понимал толк в жизни. Но этот кабачок, вся обстановка в нем не располагали к приятным мыслям. На тесной эстрадке пять тощих девиц старательно крутили перед посетителями полуголыми щуплыми задами. Синие куриные ляжки производили весьма неприятное впечатление на командующего Северным корпусом. Ему вспоминалось преуютнейшее казино в Пернове на улице, ведущей к морю. Вот там были «сюжеты», вот там можно было повеселиться. А тут...

Выпив третью рюмку в меру охлажденной водки, он приказал одному из адъютантов пригласить девиц к его столику.

— Девочки, — сказал он, когда они не слишком веселой стайкой прилетели на зов и расселись на поданных адъютантами стульях. Генерал с удивлением рассматривал их. Совсем же девчонки, гимназистки! Какой идиот набрал их сюда и выпустил на эстраду? Разве такие способны настроить на приятные мысли? — Откуда вы, юницы? — спросил Родзянко.

— Из Петербурга, господин военный, — с гордостью ответила одна из них.

— Как же так, совсем молоденькие, и рискнули отправиться одни в путешествие?

— А мы не одни. У нас у всех и родители тут. Мы и себе и им зарабатываем на жизнь. Жить-то трудно. Квартиры дорогие, одежда дорогая...

Все это рассудительно рассказывала самая взрослая из девиц. Поначалу она старалась говорить весело, беззаботно. Но в конце концов и она и ее подруги приуныли.

— Хотелось бы поскорее домой, господин военный, в Петроград.

— Выпейте по рюмке да закусите, — предложил Родзянко. — Может быть, после этого легче будет решать такой вопрос.

Девицы выпили по рюмке, выпили по другой. Одна заплакала. Появился не то хозяин, не то вышибала, костлявый, рукастый. Увел ее, молча и злобно.

Зато из-за соседнего столика заговорил подвыпивший поручик.

— Господин офицер! — сказал он. — Вы здесь лицо новое. Поэтому к дамам прошу не приставать. Вы их расстроили своими глупостями, порушили нам все веселье.

Скандал затевать не хотелось. Родзянко пожал плечами и отпустил девиц. Они вновь взобрались на эстраду, закрутили девчоночьими задами, а одна из них принялась петь скабрезную песенку.

Зала кабачка все больше заполнялась народом. Друг друга тут знали, входя, раскланивались, подсаживались на свободные стулья. Родзянко затеял разговор с несколькими из посетителей: что, мол, они делают в Гельсингфорсе и что намерены делать дальше.

— Вы, очевидно, новичок, — внимательно осмотрев его, ответил один подполковник. — Удовлетворю ваше неопытное любопытство. Ничего мы не делаем и не собираемся что-либо делать.

— О Северном корпусе слышали? — спросил Родзянко.

— Слышали, да. Были тут вербовщики из него, завлекали жалованьем и обмундированием. Но корпус-то создан немцами, на немецкие деньги. Разве мы, русские патриоты, три года гнившие в окопах на германском фронте, можем пойти на службу к врагам России?

— Заблуждаетесь, подполковник. Создавался наш корпус действительно при участии немцев. Но уже давным-давно стал он чисто русским.

— Как же это русским! — воскликнул поручик со шрамом на подбородке. — Если командует им эстонский генерал Лайдонер. Мы же знаем. Родзянко не удержался.

— Командую корпусом я! — ответил он, откидываясь на стуле.

На минуту все примолкли, ошеломленные.

— Полковник Родзянко? — неуверенно сказал кто-то, не видя знаков различия, поскольку Родзянко для спокойствия в пути приехал в Гельсингфорс в тужурке без погон, и о том, что он офицер, лишь свидетельствовала папаха, положенная на подоконник.

— Генерал Родзянко, — ответил он.

По залу пошел шум. К столику командующего Северным корпусом стали стягиваться со всех углов. Одни с простым любопытством в глазах, другие с надеждой на изменения в их унылой жизни. А краснолицый толстяк — штабс-капитан подошел с иронической улыбкой.

— Вы родственник Михаилу Владимировичу, не так ли?

— Да, так.

— Ваша фирма, генерал, ненадежна. Старший, как всем известно, подорвал устои самодержавия в России. Его Дума только и занималась клеветой на царствующий дом, с ее трибуны ведрами выливались помой на императрицу, а следовательно, и на государя императора. Он, он, ваш дядюшка, виновен в том, что мы все оказались в таком тяжком и глупом положении, без родного угла, без родины. Он, он подготовил, вспахал и удобрил почву для большевиков. А что теперь можете вы, племянник? Вы поведете нас под большевистские лули? Нас поодиночке, а может, в общих могилах закопают под Гатчиной и Красным Селом... Спасибо, ваше превосходительство!

— Не слушайте его, господин генерал. Он черносотенец, дитя Пურიшкевичей и Валяй-Марковых.

— Не черносотенец, а верный, последовательный слуга своего покойного императора! — выкрикнул штабс-капитан. — Зарублю! — Он сделал такой жест, будто хватается за шашку. Но там, где надо быть шашке, ничего у него не было. Штабс-капитан утер лоб обшлагом заношенной гимнастерки и пошел к выходу.

Оставшиеся все теснее окружали Родзянко. Он отвечал и отвечал на вопросы. Какое жалованье? Где квартировать? Обмундирование? Видно было, что вербовщики, побывавшие в Гельсингфорсе, отнеслись к своим обязанностям формально, не рассказали всего слоняющимся по Финляндии русским офицерам. И когда Родзянко всходил на пароход в гельсингфорском порту, вместе с ним по трапу тянулось десятка два успевших собрать чемоданчики, наконец-то нашедших пристанище и пехотных, и артиллерийских, и кавалерийских офицеров. Еще столько же обещало выехать в Ревель завтра-послезавтра.

«Можно собрать громадную армию, — размышлял с досадой Родзянко, стоя на верхней палубе отчаливавшего парохода. — Но для этого, наверно, надо, чтобы вербовщиками были сами командующие. Эх, мать Россия! Ты все та же».

## 18

Возле халупки, в которой Осокин уже провел две ночи, были сложенные бревна. Сложили их давно, они успели изрядно поистлеть, и в некоторых из них можно было пальцем проковыривать дыры. Осокин сидел на одном из таких трухлявых бревен и, раздумывая, курил. Утро занималось тихое, безветренное. Над окрестными кустами всходили синеватые туманы. Весенняя земля парила, отходила от зимней стлы и, впитав влагу сошедших снегов, набирала сил. Кое-где на своих огородах крестьяне раздирали старую пашню деревянными сохами, а женщины, идя следом за пахарями, кидали в борозды из лукошек слегка проросшие лиловыми росточками вялые картофелины. Кони в запряжках были мосластые, тощие. Зима для крестьян прошла трудно, изнурила всех. То врывались в село белогвардейцы, то вновь приходили красные. И те и другие испытывали нужду в фуражке для коней, и те и другие реквизировали овес, сено, солому; своему скоту оставались корье да ветки с кустов и деревьев. «А ветка она и есть ветка, — как сказал вчера Осокину один местный старик. — Испробуй кормить человека дреколем из плетня, чего с человеком будет? Так и лошадушка, — вишь, идет, еле ноги переставляет, болезная».

И все же весна делала свое дело; почувяв тепло майского солнца, ожили кони, ожили немногочисленные коровенки; по утрам пастух гоняет их в луга; но не как бывало — не в лесные кормежные дали, а пасет вблизи деревни, не далее человеческого крика; в леса, в кусты гнать боязно, — шатаются окрест голодные шатуны, не то дезертиры, не то просто грабители.

Старик был словоохотливый, от него да от хозяйки халупы Осокин узнал немало интересного.

Землю Советская власть крестьянам дала; радовались, было, нарадоваться не могли, когда помещичьи угодья получали, в свои дворы добро волокли из имений, делили сеялки, веялки, конные грабли. Но спокойя из всего этого мужикам не получилось. То тебе новый налог преподнесут, то реквизицию объявят, то стрельба подымется по ночному времени, то пожар где заполыхает. Знай, утешают да уговаривают советчики: обождите, мол, вот покончим с лютым классовым врагом... А пока давай да давай хлеб да мясо городу, рабочим и солдатам. «Незнамо, как и жить-то, — рассказывала вчера Осокину хозяйка, постелив ему полушубок на дощатом некрашеном полу. — О тринадцатом годе, перед самой ерманской войной, значитца, задумал мужик мой избу новую ставить. Лесу наготовил, вон бревна-т под окнами лежат. А тут, глядь, война. Мужика в солдаты забрали. Не вернулся он, товарищ-гражданин. Бумажку только прислали: убитый, значитца, на чужой ерманской земле, и могилку не сыщешь евонную телерича. А бревна, ишь, лежат, ждут чего-то, прель их гноит. Дождутся ли чего?»

Осокин сидит на этих бревнах, из которых точится рыжая мука, и раздумывает. Двенадцатое мая, а Хамелайнена все нет. Ну, правда, рано еще беспокоиться: уговорились, что придет он в промежутке между десятым и пятнадцатым, время есть. Но и пораздумывать тоже есть о чем. В Попковой Горе, в окруживших село деревеньках расположилась часть 19-й красной дивизии — бригада, командует которой бывший царский генерал Николаев. Видел Осокин не раз генералов. Доставляли их в ЧК под конвоем минувшей осенью. Одни входили в комнату Яна Карловича этикие важные, негодующие, грозясь жаловаться в Париж и в Лондон; другие взирали на все с презрением и наотрез отказывались отвечать на вопросы; третьи мелко юлили и лебезили и нисколько не соответствовали представлению Осокина о генералах. До разговоров с ними его еще не допускали: молод-де, обождешь, подучишься, пооботрешься. Беседы с генералами вел Ян Карлович, а то и сам председатель ЧК. В представлениях Осокина они, эти генералы, так и существовали, как люди другого мира, глубоко чуждого и ему, и всему народу, и революции. С ними надо было бороться, их надо

было изолировать, а то и ликвидировать. И вдруг — генерал, который сам борется против белых, можно сказать — красный генерал! Не слишком обычное положение. Осокину очень хотелось пойти к нему и побеседовать. Прямо подмывало пойти. Но командир бригады был в возрасте; говорили, что ему под шестьдесят. Запросто не заскочишь: так и так, мол, я Осокин, желаю пообщаться.

Осокин не считал себя неспособным побеседовать с генералом. Кое-какие знания, думалось ему, у него для такой беседы были. Не зря же со своей Счастливой улицы, которая возле Путиловского завода, он через вечер бегал в Автово, в школу для взрослых и подростков. Учитель Семен Григорьевич полюбил Костю Осокина, паренька с верфи, особо отмечал его любознательность, сам подбирал для него книги. «Можно, друг мой, нахвататься всего отовсюду, но если будет это нахватоно как попало, без системы, то даже при множестве разрозненных знаний окажешься ты полным невеждой. Представь себе дом: третий этаж есть — висит этак в воздухе, а второго и первого нету? Чердак — вот он, а лестницу туда не построили. Окошек восемь штук, а двери ни одной. Можно в таком доме жить? А вот если есть фундамент, да хотя бы один первый этаж, да не только окна, а и двери пробиты — такой дом уже годится. Живя в нем, можешь постепенно возводить над первым этажом второй, третий. Но опять же не перескакивая от первого к третьему, а по порядку — от первого ко второму, от второго к третьему. Так и с учением, с образованием самого себя — порядок нужен строгий, полная последовательность».

Известную последовательность Осокин имел в своем багаже. Мог бы про «Слово о полку Игореве» поговорить с бывшим генералом Николаевым. Про древнюю Русь, про Синеуса и Трувора, про набеги половцев и татар, про Ивана Грозного и Бориса Годунова. А то, если желательно, про римских полководцев и императоров или про то, как в греческой Спарте детей воспитывали. Но, может быть, для генерала это такая мелочь, которая годилась только тогда, когда он в гимназии учился. А после академии... наверно же, все генералы свою военную академию проходят... так, после академии они про «Слово о полку Игореве» да о спартанцах и в памяти уже не держат. Они на пятых да на седьмых этажах живут. Осокин же все свой первый этажишко обжить толком не может.

Он поймал себя на невзрослом, на ребячьем, детском строе мысли. Боевой чекист, страж революции — и школьная дребедень в голове. С чего бы? Может, с того, что как раз школа вспомнилась, вспомнились учитель Семен Григорьевич, Счастливая их улица, окраинная, куценькая — десятка два домишек по обе стороны, но продутая свежими ветрами с залива, освещенная солнцем, шумная по праздникам, когда выпьет водочки заводский люд, и вся живущая только трудом, только борьбой за существование по длинным, хмурым, бесконечным будням. Отец — клепальщик с верфи, полуоглохший от его громыхучей профессии, мать — уборщица в конторе, хромая сестренка Валька, которая из-за этой своей хромоты сидит дома, не гуляет с ребятами, стыдится их и ведет хозяйство. Уже больше года, как бросил родных Осокин, уйдя в напряженную работу чекиста, живет по казармам, общежитиям, самого себя забыл, не то что их. Предстал перед ним отец, с его жесткими усами, рыжими над губой от курева; в разговорах он всегда приставляет к уху ладонь, всю в таких же, как усы, рыжих мозолях — от молотков, от заклепок — от железа. Увидел Осокин и мать, с невеселым, в мелких глубоких морщинках, желтым лицом, и Вальку-сестренку, которая так неловко расшибла в девчонках колено о камень.

Для них, для таких вот, для рыжеусых папок да безрадостных мамок, для Валек, для крестьянок, потерявших мужиков на войне, для мужиков, медвежьими голосами орущих среди огородов на изнуренных коней, будто бы криком можно заменить охалку сена или торбу овса, — для них, для их лучшей доли ночей не спят ни Ян Карлович, ни председатель ЧК, ни

Ленин в Москве, ни он, Осокин. Все из сил выбиваются за революцию, за лучшую жизнь для народа. И ничего в том детского нет, похлопать маленько носом, повспоминать, пораздумывать о близких и о близком.

Осокин позабыл уже и о бывшем генерале, и о Хамелайнене, и вообще о том, зачем занесло его в это дальнейшее лесное село на Гдовщине; сам того не замечая, он тихонечко насвистывал известный всем мотив, на который поется и всем же известная песня новобранцев про последний нынешний денечек.

— Товарищ!

Осокин вздрогнул: так неожидан был этот оклик. Хватаясь за карман, обернулся. Позади него стояли два красноармейца.

— Закурить не будет? — спрашивал один из них.

Осокин достал кисет и сложенный во много раз газетный лист.

Красноармейцы подсели, не торопясь принялись отдиирать косые полоски от газеты, затем так же деловито скручивали длинные конусные трубки, переламывали их на середине, заполняли раструб махоркой, обминали ее там пальцами и, закрепив загнутыми вовнутрь краями раструба, с минуту как бы любовались своими изделиями. Один из них, в зеленых ярких обмотках на толстых, крепких икрах, принялся после этого ляскать плоской железинкой о желтый камешек-кремень, стараясь высечь искру так, чтобы влетела она в свернутый фитилем сухой трут.

Осокин нажал на колесико зажигалки, красноармейцы прикурили от дымного пламени, резко пахнувшего бензином.

— Благодарствуем, товарищ. Сам-то не здешний, поди?

— Из Питера.

— А мы новгородские. С-под Валдая. Слышал такой город? Колокольцы там льют знаменитые.

— Слыховал. Еще девки там... эти... как их?

Все трое засмеялись.

— Девки обыкновенные, — посмеявшись, сказал тот, у которого были зеленые обмотки. — Как везде. Это со стороны погудка пришла про особливость наших валдайских. Надула одна потаскуха проезжего барина. Он и распустил и про нее и про всех других такую прилипчивую славу.

— Домой охота, — сказал второй, у которого на локтях вылинявшей гимнастерки лежали большие черные заплаты.

Были они оба постарше Осокина — лет, поди, по тридцать пять — по сорок каждому — и чем-то схожие меж собой; может, от того схожие, что обоих совсем, видать, недавно подстригли одни и те неумелые ножницы. Бородки получились этикие обкусанные, а виски и вовсе голые.

— Народ землю сохами пашет, — продолжал тот, у которого были в заплатках рукава, — а мы ее тоже, вишь, пашем, да только носом. Окопы роем, воду ведрами выплескиваем, брустверы кладем. Позиции, выходит, оборудуем. А какая может быть война в этих топях? Гадюки да ревматизма вокруг. Эх, домой ба!..

— Мужики здешние на Советскую власть ворчат, — сказал Осокин. — С тутошними жителями общаетесь?

— К солдаткам захаживаем, бывает. — Оба ухмыльнулись, посмотрев друг на друга. — А чего!..

— Да нет, ничего. Замечали, говорю, как тут размышляют про современный момент?

— Про момент-то? Замечали. По-разному размышляют. — Красноармеец подправил свою зеленую обмотку пальцем. — В общем если, то последнюю жилу надсаживает народ. Или надо одно, или уж как-нибудь другому. А посередке — не житье, мученье. В таком рассуждении толкуют.

— А ваше мнение?

— Мы что? Мы люди служивые. Наше дело: коли штыком да бей прикладом!

Осокин еще издали увидел, как, выйдя из кирпичного дома под зеленой крышей, в котором стоял штаб бригады, прямоком к ним направился молодой красноармеец. Подойдя к бревнам, красноармеец приложил руку к шапке и прокричал:

— Товарищ петроградский представитель! Вас в штаб требуют. К командиру бригады.

— Будьте здоровы, товарищи. — Осокин дружески кивнул своим собеседникам. — Может, еще свидимся. — И пошагал за посланцем из штаба, слегка волнуясь и раздумывая, зачем он понадобился командиру бригады и как с тем надо держаться при встрече.

В чистой горнице, за столом, покрытым клеенкой, сидел на табурете седой крупный человек и смотрел на Осокина невыспавшимися глазами.

— Садитесь, молодой человек, — вялым тоном сказал он, указывая на второй табурет. — Может быть, документы покажете?

Просмотрев чекистский мандат, командир бригады вернул его.

— Что ж, будем знакомы, товарищ Осокин. — Он подал руку. — Николаев. Назвался бы и по имени-отчеству. Но, во-первых, это сейчас не принято. Во-вторых, отчество-то у меня слишком необыкновенное и весьма даже трудное. Пан-фа-ми-ро-вич, — произнес он по слогам. — Александр Панфамирович! Вот так! — И улыбнулся. — С чем же товарищ петроградский чекист пожаловал к нам? Мне доложили, что живете вы в нашем расположении уже два дня, а вот не удосужились объявиться, так сказать, старшему в гарнизоне. то есть мне. Непорядок, непорядок!

— Товарищ генерал... — Осокин остановился, не зная, как быть дальше.

— Я генерал бывший, товарищ Осокин, — пришел ему на помощь Николаев. — Теперь я командир бригады Красной Армии. С тех моих генеральских времен многонько воды утекло.

— Товарищ командир бригады, — сказал Осокин. — У меня такое дело, что я не могу о нем никому рассказывать. Вы же человек военный, понимаете сами.

— Ну-ну, не настаиваю. Нельзя так нельзя.

— А что касается того, что не доложил вас... Неловко было идти, беспокоить... Комендант отвел меня на ночлег, тем дело и кончилось. А если по-честному говорить, то хотелось зайти к вам. Здорово хотелось.

— Интересно, да? Генерал, и служит народу? — Николаев хорошо улыбнулся глазами. — Понятно, мой молодой друг, вполне понятно. Вы, вероятно, питерский рабочий, ринулись в революцию добывать народу, таким же, как вы, рабочим — а их миллионы и миллионы — хорошую жизнь. А что в революции понадобилось генералу, золотопогоннику, прихлебателю самодержавного режима — это вам нелегко понять. Не так ли?

Осокин был смущен подобной откровенностью. Он попытался возразить. Но Николаев поднял руку: помолчи, мол, и продолжал:

— В отличие от многих моих коллег я не столько понял, сколько ощутил в ходе революции, что большевики — это не на час, не на месяц, не на год, а надолго и, может быть, навсегда. А позже и понял. Почему? Да потому, что люди всегда думали о более справедливом устройстве общества, с древнейших времен. Но никто не знал, как это сделать, как этого добиться. Большевики предложили свою программу такого справедливого устройства. И в ней много привлекательного. Народу она понравилась, он ее поддерживает. Ну правда, как все новое, и сама эта программа и особенно практика ее осуществления, может быть, пока не во всем совершенны, есть в них шероховатости, малые и более серьезные недостатки. Но это же временно, товарищ Осокин, временно. С ходом лет, не сомневаюсь, лишнее будет отброшено, недостающее восполнено. Ждать возврата к прошлому смешно. Следовательно, если сегодня бороться против большевиков, в которых поверил народ, значит, бороться против народа. Увольте, господа, от такой миссии! Я не пошел со своими коллегами и знаю, что им когда-нибудь

придется жестоко, очень жестоко пожалеть о той антинародной войне, которую они ведут. Вам интересна моя стариковская исповедь, товарищ Осокин?

— Но скажите, товарищ командир бригады. — Осокин был взволнован беседой. — Вы знаете, сколько мы, чека, переарестовали и расстреляли бывших, а среди них и генералов. Об этом были сообщения в газетах...

— Вы хотите знать, как я отношусь к этому?

— Да.

— А что вам еще оставалось? — Николаев достал из кармана поношенной военной куртки кривую короткую трубочку, стал набивать ее махоркой. — Ничего вам другого и не оставалось. Или вы, или вас. Жестокая, но никакими порывами добродобия не преодолимая закономерность. Не вы, так вас бы те люди расстреляли. Притом с величайшей жестокостью, мстя за испытанный страх.

Удивительно, как рассуждения бывшего царского генерала совпадали с рассуждениями Яна Карловича. Осокин слушал, боясь упустить хотя бы слово его речи, смотрел на собеседника так, будто старался запомнить каждую черточку на его домашнем, не командирском лице.

Осокину не понадобились школьные знания жизни римских цезарей; и Чингиз-хана не пришлось беспокоить в этом долгом интересном разговоре и Грозного не ворошить в гробу. Командир бригады расспрашивал про все, из чего состояла жизнь рабочего-чекиста Осокина. Осокин же узнал в тот день столько, что многое представляло теперь перед ним не просто с фасада, который легче всего видится, а и в разных других поворотах, обычно, в повседневной суете, трудноразличимых.

Вместе они пообедали. Николаев представил Осокина командирам и комиссарам батальона, начальнику штаба. Оставлял ночевать у себя. Но Осокин отказался, сказал, что уже освоился в халупке своей гостеприимной хозяйки, неловко будет уйти от нее, еще обидится.

Он долго не засыпал в эту ночь на тринадцатое мая. Не потому, что было жестко на полушубке, через который доски пола изрядно давали себя знать. Просто много думалось — о людях, о жизни, о бывшем генерале, добром старом человеке, честно пошедшем служить народу.

А когда уснул наконец, приснились ему Счастливая улица, отец, мать, Валька. Валька, прихрамывая, собирала на стол к обеду. Поспешив, она оступилась, и эмалированные миски, которые в их семье служили вместо тарелок, выпали из ее рук с таким железным грохотом, что дом вздрогнул. «Ложись! — заорал истошным голосом отец. — Рассыпся в щепы!»

Осокин вскочил. В окне стоял серый, туманный рассвет. Хлопали частые винтовочные выстрелы, слышались шальные, испуганные крики. И вновь железно ударило, сотрясая избушку. Было похоже, что разорвался артиллерийский снаряд.

Позабыв на гвозде кожанку, лишь затянув пояс с кобурой, Осокин вскочил на улицу. Мимо неслись красноармейцы. Стрельба была повсюду: и в лесу к западу и в лесу к востоку. И с севера бухало.

Помчался в штаб.

— Если не ошибаюсь, это белые, — довольно спокойно сказал ему командир бригады Николаев. — И, кажется, они зашли к нам в тыл. Ах, эти болота!

— Я с вами, — сказал Осокин. — Можете мной располагать.

— Хорошо. — Николаев кивнул. — Ни один человек сейчас не может быть лишним. Но только ваше оружие, этот наган для настоящего боя не годен. Вот вам моя винтовка, а наган отдайте сюда. Вместе с кобурой. Потом снова обменяемся, когда, надеюсь, отобьем это нападение.

Они вышли за огороды, где командиры батальона уже распоряжались рытьем стрелковых ячеек. Но было поздно: белые наступали на деревню со всех сторон. Перед ними разрозненными и малочисленными группками пятисились красноармейцы. Пулеметным огнем, и время от времени пострели-

вая из легкой пушки, белогвардейцы гнали отступавших, кого в болото, кого в овраг, чтобы зажать там в тиски.

Удар был таким внезапным и напористым, что не прошло и получаса, как дом штаба бригады уже заняли офицеры в погонах и в фуражках с кокардами. Разоруженных красноармейцев согнали на луговину перед домом. Тесной, сжавшейся толпой стояли они под дулами двух пулеметов и доброй сотни винтовок. В толпе пленных был и Осокин. Его захватили конники, которые над ним и над Николаевым с налета занесли свои огненные в лучах утреннего солнца, жутко взвывшие шашки.

«Глупо, глупо! — металась мысль Осокина. — Все погубил, не сумел избежать плена. Попался. А что болтал Яну Карловичу? «Живым никогда не возьмут». А вот взяли же, взяли... Верно сказал тогда Ян Карлович: мальчик он еще, младенец, а не чекист».

Он видел, как в дом провели Николаева. Командир бригады шел свободным шагом, как на прогулке, и о том, что это не прогулка, свидетельствовали лишь штыки конвойных, почти врезанные в спину старика. «Может быть, они еще и споятся? — подумалось Осокину. — Черт их разберет, генералов. Ворон ворону глаз не выклюет». И еще тошнее стало от мысли, что все вчерашние разговоры Николаева могут стать всего-то-навсего маскировкой. Знает же Осокин, кто такие царские генералы. Знает, а глаза вылупил, уши развесил.

Из дому вышел офицер.

— Эй вы, красная банда! — выкрикнул он. — Бригада ваша разбита. И вся дивизия разбита. Войска освобождения Петрограда от большевистской сволочи победоносно движутся на Петроград. Взяты Ямбург, Луга и Гатчина. День-другой — и красной чуме конец. В две шеренги становись!

Начались толкотня, давка. Перепуганные люди не знали, куда и как, рядом с кем становиться. К ним кинулись офицеры и, сортируя прямо штыками, принялись наводить порядок. Били в спины, в грудь прикладами, носками сапог по ногам. С трудом выстроились пленные красноармейцы в эти две унылые шеренги. Осокин прикинул: человек семьдесят — восемьдесят. Должно быть, только те, кто успел с передовой позиции отойти к деревне, к штабу. Где были остальные подразделения бригады — кто их знает. Скорее всего, рассеялись по лесу, по болоту.

— Итак! — продолжал все тот же офицер. — Немедленно выдать комиссаров, командиров и большевиков! Рядовые красноармейцы, обманутые и насильно мобилизованные русские люди могут ничего не бояться. Они будут зачислены в наши войска, получают новое обмундирование, хорошую мясную пищу и оружие. Мы воюем не с народом, а с большевистской заразой. Итак, повторяю: жду! Комиссары, командиры, большевики!..

Шеренги молчали. Красноармейцы знали своих командиров, знали комиссаров. Но кто среди них большевик — в этом не все еще толком разбирались, а если кому и была известна партийная принадлежность другого и, дабы спасти свою шкуру, такой хотел бы его выдать, то как же вот взять и заявить об этом принародно? Потом свои же пустят в спину пулю в первом бою.

Тонкость создавшегося положения поняли и офицеры.

— Ладно! — крикнул их главный. — Дадим вам время поразмыслить. Шевелите мозгами.

Всех выстроили в колонну по четыре и под дулами винтовок конвойных, ехавших по бокам и сзади на конях, погнали из деревни. Шлепали красноармейцы по грязи весенних проселков — шлепали неведомо куда. Шли они унылой этой колонной весь день и к вечеру добрались до богатого, со множеством построек имения. Там их всех завели в пустой коровник, сложенный из массивных гранитных валунов, и заперли на замки. Стены коровника были как у старинной крепости — больше аршина толщиной. Прочнее тюрьмы не придумаешь.

Осокин не стал дожидаться более удобного случая, — такого могло и не представиться. Когда все слегли от усталости, он свои документы, обернутые в рыжую прозрачную клеенку для согревающих компрессов, стараясь сделать это незаметней, подсунул под дощатый настил коровьего стойла. Когда затем огляделся, то увидел, что лежит он возле уже знакомого ему красноармейца в гимнастерке с черными заплатами на локтях. Оба ухмыльнулись друг другу, как старые знакомые.

Пленные еще не понимали тяжести своего положения. Они надеялись на то, что после долгого, изнурительного пути по грязи им дадут отдохнуть и выспаться до утра.

Но не тут-то было. Уже через час при бледном свете наступающей белой ночи офицеры начали процедуру проверки и отделения одних пленных от других. Подымая пинками ног с пола коровника, красноармейцев по очереди подгоняли к столу, принесенному и поставленному посредине помещения. За столом сидели три офицера; бочком к нему примостился и солдат, должно быть, писарь, который составлял список.

— Фамилия? — орал председатель офицерской тройки.

— Соломин.

— Звание?

— Красноармеец.

— Большевик?

— Никак нет.

— Обыскать!

Вот тут-то Осокин похвалил себя за предусмотрительность с документами.

Два белых солдата, вывертывая карманы, сдирая сапоги или опорки, — у кого что было, — с треском отпарывая подкладку ватников, ощупывая гашники, старательно обшаривали каждого с головы до ног. Бумаги, кисеты, зажигалки, перочинные ножи — все летело на стол. Офицеры заинтересованно рылись в найденных вещах. С особым вниманием исследовали они документы и письма.

Если, на их взгляд, все было благополучно, выносилось решение:

— В третью роту! — И солдат-писарь делал отметку в своей ведомости.

Но вот выкрикнуто:

— Фамилия?

— Рогозин.

— Звание?

— Красноармеец.

— Большевик?

— Смотрите сами.

Офицеры вскочили.

— Обыскать!

Они впились глазами в документы Рогозина.

— Сволочь! — заорал председательствующий. — Коммунист! Военно-полевой суд тебя, красную собаку, приговаривает к смертной казни! Приговор привести в исполнение немедленно!

Загудел коровник. Кто лежал на досках стойла, поднялся на ноги. Люди шатнулись к столу. Но лязгнули затворы винтовок, стволы устались на толпу, все стихло под их черными глазками.

Рогозина бросили на пол, били ногами, плевали ему в лицо. «Зачем? — думал с тоской и гневом Осокин. — Зачем? Это же бессмысленно. От него даже ничего не требуют, никаких сведений о расположении, о численности красных частей. Бьют просто так, от злобы. Зверье. Как прав Ян Карлович! Столкнулись две силы, которые на одной земле ужиться не могут и не смогут. Одна должна подавить или истребить другую».

Красноармейца-коммуниста Рогозина изувечили так, что стоять на ногах он уже не мог. Солдаты под руки подтащили его к каменной стене,

прислонили к ней спиной, но он сполз на цементный пол. Тогда, дав залп из трех винтовок в упор, застрелили лежащего.

У кровавой этой стены убили затем еще троих. Одного лишь потому, что при нем не оказалось никаких документов и никто не подал голоса за него, когда офицер гаркнул: «Кто засвидетельствует личность? Таковых нет? Что ж, к стенке!»

Осокин понял: точно такая участь ждет и его. Спасения не будет. Медленно, но верно, с неотвратимой неизбежностью приближается минута, когда его застрелят у той вот стены, он упадет на те цепенеющие тела, и никто — ни отец, ни мама, ни Валька, ни учитель Семен Григорьевич, ни суровый и добрый Ян Карлович, ни Павел Благовидов — не узнает о его гибели, о том, куда же делся боец революции Осокин; только, может быть, сама революция будет это знать, да никому не скажет.

Его толкнули к столу. Он подошел, собирая все свои силы. Он решил, что когда его поставят к стене, успеть до залпа выкрикнуть: «Да здравствует революция!» Как телок — бессловесно, безропотно, — он умирать не хотел, и только это его еще поддерживало.

— Фамилия? — услышал он.

— Алехин, — не ведая почему, ответил первое, что пришло в голову.

— Звание?

— Красноармеец.

— Большевик?

— Никак нет.

Писарь заносил его ответы в список.

— Обыскать!

Обшарили. В карманах не было ничего.

— Где бумаги?

— Потерял, покуда по кустам-то бегал. Я и винтовку потерял.

— Кто может засвидетельствовать личность?

«Все, конец! — метнулась мысль. — Сейчас к стене — и выстрел».

И от этой до предела ясной определенности стало не так даже страшно. Занимала, заслоняла все остальное мысль о том, какие же слова он должен крикнуть. А может быть, взять да и запеть «Интернационал».

— Я, — вдруг услышал он голос, как показалось ему, из-под земли. К столу был выпихнут его знакомец в заплатанной гимнастерке. — Я могу, — повторил тот.

Красноармейца допросили, обыскали, установили личность по документам, которые были у него в полном порядке: рядовой, крестьянин, уроженец Валдайского уезда, Новгородской губернии.

— Так кто это перед нами? — задал офицер вопрос. — Только, смотри у меня, не врать. Иначе — туда! — Он указал в сторону обрызганной кровью стены.

— Красноармеец Алехин, Иван Иванович, наш новгородский земляк.

— Кто еще знает красноармейца Алехина, Ивана Ивановича?

— Я!

Вытолкнули к столу второго знакомого Осокина, того, у которого были зеленые обмотки.

— Алехин, Иван Иванович, он и есть, — бодро подтвердил тот.

— Ладно! В третью роту!

Осокина пнули прикладом, направляя в ту сторону коровника, где сгрудились прошедшие проверку. Туда же перегнали и его двух случайных знакомых. Сердце понемногу успокаивалось. Мысли приобретали порядок. Осокин подумал о том, что стоило офицеру спросить у него, а как зовут тех, кто свидетельствует его личность, и ему пришел бы конец. Был бы конец и им, свидетелям. Расстреляли бы всех.

Он протиснулся сначала к тому, с заплатками, пожал руку.

— Спасибо, — шепнул.

— Чего там, — услышал в ответ. — Ты мне только скажи в другой раз: Егор, мол, Петрович Козлов, так и так, и я завсегда готов приятно поспособствовать. Что мы, не христиане, что ли?

«Вот это человек! — подумал Осокин. — До чего ловко он мне назвал себя. Тоже, значит, понимал и понимает опасность. Надо не забыть: Козлов, Егор Петрович».

А тот добавил:

— И деревенский наш, Степан Михайлович Озеров, одинаково душевный человек.

Степан Михайлович Озеров, обладатель зеленых обмоток, не был так догадлив, как его земляк. Он не назвался, на рукопожатие Осокина только и ответил:

— А чего там! — И сплюнул на пол.

«Козлов, Егор Петрович, Озеров, Степан Михайлович», — твердил про себя Осокин на случай новых допросов и проверок. И еще подумалось ему: «Теперь я бяляк, враг Советской власти. Что бы сказал об этом Ян Карлович?»

## 19

Обойдя болотами бригаду Николаева, Северный корпус развивал наступление. Булак-Балахович с его нахрапистыми конниками устремился вдоль Чудского озера к Гдову, основные же части генерала Родзянко ударили с тыла по негустой цепочке красных войск, растянутых по деревням южнее Ямбурга. К северу от этого старинного уездного городка, расположенного на реке Луге, перешла в наступление и 1-я дивизия белоэстонцев, стремясь блокировать береговые форты Серую Лошадь и Красную Горку.

Новые коллеги подполковника Ларионова ошиблись, утверждая при его появлении в корпусе, что он сглупил, покинув войска Бермонта-Авалова, что здесь, под Нарвой, ему придется быть рядовым солдатом, как пришлось многим другим офицерам. Что сыграло роль, сказать трудно. То ли георгиевские кресты на его офицерской гимнастерке... А может быть, сабельный удар через лоб, который он старался прятать под козырьком надвинутой низко фуражки? Могло как раз сказаться именно и то, что подполковник добровольно ушел из прекрасно экипированного и до излишеств обеспеченного продовольствием Бермонтовского корпуса. Но как бы там ни было, он получил батальон.

Ларионов был аккуратен, каждое утро брился, что бы вокруг ни происходило. Артиллерийский ли огонь, контратаки противника, пожар в деревне, где расположились на ночлег, — все равно в положенный час он окликал вестового, требовал кипятку или на худой конец холодной воды и, разведя в чашке порошок, намыливал щеки.

Подполковник Ларионов не одобрял зверств, которые совершались над захваченными в плен красными. Конечно, коммунистов и комиссаров уничтожать следует, двух мнений тут может и не быть. Но почему при этом их надо избивать прикладами, топтать ногами, выкалывать им штыками глаза? Это же средневековье, это отвратительно. Глубоко и искренне он был возмущен тем, что сотворили офицеры и солдаты соседнего батальона, захватившего в Попковой Горе штаб красной бригады. «Так нельзя, — доказывал он командиру полка. — Так мы перепугаем и красноармейцев и все население и вместо помощи получим в этих местах нашу петроградскую Вандею. Красноармейцы не станут сдаваться в плен, предпочитая биться до последнего патрона, а мужики уйдут в леса или затеют против нас партизанскую войну».

«Ерунда!» — кричали ему всюду. Никто не желал его слушать. Успех действовал на людей, как вино. В головах шумело. Батальоны, полки врывались в селения, хватали коммунистов, работников Советской власти.

Под тяжестью мертвых тел трещали ветви деревенских берез, горели избы семей повешенных и расстрелянных, мертвецы с разрубленными головами, со звездами, вырезанными на груди, на спинах, на лбу, валялись в придорожных канавах и на сельских площадях.

Главными своими силами белые шли на Ямбург, одну из колонн отводя к станции Веймарн, чтобы отсечь Ямбург от Гатчины, от возможных подкреплений. Булак-Балахович уже ворвался в Гдов. И там тоже на железных балконах главной улицы закачались мертвые тела. Со стороны Изборска, вдоль Рижского шоссе к Пскову, шла 2-я дивизия эстонцев.

А под Олонцом, на севере, все еще не утихали бои с белофиннами.

С каждым днем росло беспокойство в Петрограде. На заседании Комитета рабочей обороны Зиновьев сказал:

— У нас нет сил защищать город со всех направлений. Нас обескровили непрерывными мобилизациями для Юга и Востока. Мы стоим перед перспективой потери Петрограда. Мы будем сражаться до последних возможностей. Но возможности наши весьма скоро будут исчерпаны. В чем же задача? Задача в том, чтобы сохранить людей и материальные ценности Петрограда для страны, для Советской власти. Будет более чем разумно начать немедленную эвакуацию заводов и фабрик, а суда Балтийского флота в пределах города и в Кронштадте потопить! Это не единоличное мое мнение. Так думают и морские начальники.

По Петрограду и до этого дня ходили слухи об эвакуации промышленных предприятий и о затоплении кораблей. Но коммунисты были убеждены, что слухи такие распускает враг — для паники. И вдруг то же самое предлагает не кто-то там, а сам Зиновьев!

— Это что, мнение Советского правительства, Центрального Комитета партии? — после длительного, тяжелого молчания спросил Павел Благовидов, присутствовавший на заседании.

— У правительства и без того дел достаточно! — резко ответил Зиновьев. — Правительство и Центральный Комитет поставили во главе Петрограда нас, надеясь на то, что мы сами будем соображать в соответствии с той обстановкой, какая складывается.

— Совершенно верно, товарищ Зиновьев, — сказал один из членов Петроградского комитета, Щукин. — Мы обязаны уметь соображать. Но это слишком государственное дело — сдавать или не сдавать Петроград. Без правительства решать его нельзя.

— А мы уже начали работу, товарищ Щукин, — с усмешкой ответил Зиновьев. — Мы не в том возрасте, чтобы по всякому поводу кричать няню. Из коротких штанишек выросли. Съездите на товарные станции петроградских вокзалов. Всюду грузят на платформы и в вагоны заводское имущество. И на черта нам сейчас эти заводы и фабрики? Нам бойцы нужны, бойцы! Надо всех рабочих Питера — всех до единого — мобилизовать в армию, на фронт. Только в этом сейчас спасение.

— Тогда начнется паника! — вновь возразил Щукин. — И никто не сумеет ее остановить. Паника перекинется в войска. Будем бежать до Москвы без остановки.

— Вот ты, товарищ Щукин, и есть паникер! — Палец Зиновьева, как гвоздь, устремился в его сторону.

— Товарищ Щукин прав! — крикнул Павел Благовидов. — Я знаю положение в войсках...

— А ты, — грубо перебил его Зиновьев, — просто слишком молод, Благовидов. Тебе в присутствии старших еще надлежит молчать.

Решения на этом заседании, как всегда, когда Зиновьеву возражали и он не собирал большинства, никакого принято не было. Но Зиновьев, высоко подняв голову, ушел с него, тоже как всегда, победителем. Он был убежден в том, что сумеет утихомирить, призвать к революционному порядку крикунов.

Но в тот же самый день его ожидала крупная неприятность. Телеграф отстукал, и секретарь положил на стол перед Зиновьевым ленту с текстом требования немедленно представить в Совет Оборона республики объяснение, кто, зачем и почему распорядился эвакуировать петроградскую промышленность, кто придумал топить боевой флот Балтики и призывать в армию поголовно всех петроградцев. Подписал телеграмму Ленин.

— «Кто, зачем и почему?.. — сказал сам себе Зиновьев, перечитывая телеграмму. — Интересно бы знать, кто, зачем и почему с такой поразительной сверхоперативностью сообщил об этом Ленину». — Перед ним поплыли лица Щукина, Благовидова, других партийных, советских, военных работников, людей, в которых он не чувствовал искреннего отношения к себе. Он хотел бы, чтобы его любили, всюду встречали овациями. У него были верные люди, которые со вкусом устраивали подобные встречи своего петроградского вождя. На собраниях, на митингах он видел, как группировались такие в залах, чтобы быть поближе к трибуне, на виду у него, как начинали они первыми ему аплодировать, а за ними, понятно, не зная, что к чему, подхватывал аплодисменты и весь зал. Верные люди вскакивали, чтобы встретить и проводить его стоя. За ними, опять-таки не совсем понимая, зачем это, нехотя, но все же поднимались — да, поднимались — и остальные. Любое дело требует организационной работы. А создание, укрепление авторитета и силы руководителя — тем более. Зиновьев ценил людей, которые умели это делать и делали, отмечал их, подкармливал, выделял. Им по его распоряжению были отданы лучшие квартиры бежавшей или выселенной буржуазии на Таврической улице, на Шпалерной, Сергиевской, Моховой, на Каменоостровском. Они ездили в автомобилях, реквизированных в свое время у богачей, у знати, в гаражах акционерных товариществ и обществ. Они поддерживают его, Зиновьева. Он всегда поддержит их.

Но ни Щукин, ни этот юнец Благовидов к таким не принадлежали. «Начатки фракционности, — с раздражением думал об их поведении Зиновьев. — Еще древние римляне предупреждали: сопротивляйся начаткам. Наверняка это Щукин сообщил обо всем в Москву».

17 мая днем и поздно вечером Зиновьева, который лишь сутки назад послал в Совет Оборона, Ленину, свои пространные, расплывчатые не столько объяснения, сколько рассуждения, постигли подряд три жесточайших удара. Во-первых, пришла депеша о том, что Совет Оборона республики принял решение никаких общих эвакуаций из Петрограда не проводить. Лишь по определению специально созданной комиссии может быть, и то в отдельных случаях, вывезено особо ценное оборудование. Второй удар заключался в том, что Совет Оборона решил командировать на Петроградский участок Западного фронта с самыми что ни на есть широкими полномочиями — трудно даже представить себе кого — Сталина!

Зубы Зиновьева скрипнули, когда он увидел эту фамилию. Он выскочил из-за стола, обошел его несколько раз вокруг, то возвращаясь к депеше, то подходя к окнам и выглядывая на темную площадь, будто бы этот представитель ЦК и Совета Оборона уже мог там появиться каким-то чудом. Сталин! Что дался Ленину этот не больно-то понятный, себе на уме, упрямый грузин? Почему Ленин дает такие поручения и такие полномочия именно ему? А он, Зиновьев, пешка, да? Ему дядьку надо, наставника? А если и дядьку, то какой к черту дядька этот Сталин? Кавказский семинарист! Подумаешь, организовал где-то в кишлаках или шашлыках пару демонстраций, удрал из тюрьмы да из ссылки! А кто оттуда не удирал? А что еще за душой у этого «уполномоченного»? Пусть едет, черт бы его побрал, пусть. Пусть получает наступление под Ямбургом, бои под Олонцом...

После всего этого Зиновьев почти обрадовался третьей неприятности за один день — телеграмме из штаба 7-й армии. Белые заняли Ямбург.

Сколь ни тревожно было известие, от которого еще час назад Зиновьев пал бы духом, — в эти минуты оно принесло ему и ехидную радость: пусть и этот подарочек получает высокий «уполномоченный»!

Перед Зиновьевым грудой лежали на столе телеграммы, письма, копии писем, резолюции собраний рабочих Ижорского завода, из Сестрорецка, из Шлиссельбурга, с Путиловского, с других заводов и фабрик Петрограда. Ижорцы писали, что протестуют против эвакуации, что они работают в данный момент для фронта — покрывают броней боевые автомобили. Эвакуация сорвет и провалит важное дело. Протестовали против эвакуации все. Но Зиновьев и в руки не взял эти письма и резолюции. О содержании их ему коротко доложил помощник. Что там рабочие! Не в них дело. Щукины, Благовидовы — вот кто постарался настроить против него Москву.

Белые наступали, они одно за другим захватывали селения Петроградской губернии, а Зиновьев сидел в кабинете в Смольном и, страдая от ущемленного самолюбия, метался в поисках достойного выхода из лично для него неблагоприятных обстоятельств.

После заседания Комитета Обороны Павел Благовидов и Щукин вышли из зала вместе.

— Спасибо за поддержку, товарищ Благовидов. — Щукин крепко стиснул его ладонь. — Нельзя же в конце-то концов так самостийничать, как мы самостийничаем. Зиновьеву обидно, что покончили с его «северным правительством», с областным Советом комиссаров. Но нам эти его обиды ни к чему. Помните басню про лягушку и вола. Лопнула бедняга, раздуваясь не по возможностям своей шкуры.

Подошел один из приближенных Зиновьева, Соткин, блеснул очками.

— Критиканы объединяются? Фракция недовольных?

Щукин спросил:

— А фракция — это когда большинство или когда меньшинство?

— Когда как, — ответил Соткин. — Смотря что исповедует большинство и что исповедует меньшинство. Иной раз меньшинство стоит на более верном пути, чем большинство. И даже на единственно верном.

— Помнится, — Щукин резанул Соткина глазами, — не очень давно было и такое меньшинство, которое выступало против захвата власти большевиками, а потом, когда власть все же была захвачена, настаивало на разделе ее с меньшевиками и эсерами. Было такое меньшинство?

— Чего ты от меня хочешь, Щукин? — Соткин хотел уйти. Щукин удержал его за рукав.

— А того, Соткин, что то высокоинтеллектуальное меньшинство так и остается в ничтожном меньшинстве, но мерзко пахнет еще и сегодня. Неразумное большинство все видит, все помнит. У него память крепкая.

— Хорошо, хорошо. — Соткин снова рванулся. — В таких тонах я не люблю дискутировать. Это для массовых собраний, а не для серьезных теоретических беседований. Ты, Щукин, как теперь говорят, бузотер. — Товарищ Соткин, — решился заговорить и Павел Благовидов. — По этой терминологии и я бузотер. Нас таких очень много.

— Да-да, я понял — большинство! Об этом здесь уже сказано. Но не большинством делается история! — Соткин возвысил голос, слова его гулко отдавались в сводчатом потолке коридора. На шум сходились люди. — Не толпами, не массами! — ораторствовал Соткин, может быть, представив себе, что он на каком-то собрании. — Толпу и массу надо за собой вести. Ведут же ее единицы высокого интеллекта, высокой образованности, предельной собранности и организованности.

— Вы, конечно, говорите о Владимире Ильиче? — спокойно спросил Благовидов.

Соткин как бы с разбегу ударился о неожиданно возникшую перед ним стену.

— Что? — Шальным взглядом он секунду-две смотрел в глаза Благовидову, резко повернулся и почти побежал по коридору в сторону кабинета Зиновьева.

— Чего это он? — спрашивали собравшиеся в коридоре.

— Да так. Теоретический спор, — ответил Щукин и, взяв Благовидова под руку, предложил: — А не пойти ли нам пообедать? В городе продовольствия дней на пять — на шесть. А муки и вовсе на три дня. Так что возможность пообедать не следует откладывать ни на час. Через час продовольственная норма может быть снижена. Пошли!

— Не могу, товарищ Щукин, не могу, — отказался Благовидов. — Надо ехать в военный совет Седьмой армии. Экстренное заседание. Как-нибудь в другой раз.

— Ну, счастливо!

Военный совет армии заседал в одном из брошенных прежними хозяевами богатых особняков бывшего Царского Села, переименованного в Детское Село. То ли это был дворец одной из великих княгинь, то ли какого-то великого князя. Во время боев с кавалеристами Краснова кое-что в особняке попортило осколками снарядов, пулеметными очередями, винтовочными и револьверными пулями. Сетью трещин покрылись огромные зеркала в золоченых рамах на мраморной лестнице. Лепные амурсы на потолках потеряли кто руку, кто ногу, а кто остался и без головы.

Но в целом дворец сохранял былое великолепие.

Члены военного совета расположились вокруг овального стола посреди окрашенной в небесно-голубой цвет высокой залы. В соседних комнатах стучали пишущие машинки, велись крикливые разговоры по аппаратам полковых телефонов, попискивал телеграф.

Заведующий политотделом армии товарищ Восков, прямой, честный большевик, прошедший школу дореволюционного подполья, делал резкий доклад о состоянии частей, ведущих бои с наступающими белыми. Из его доклада явствовало, что дела на фронте плохи и что, несмотря на героическое поведение отдельных частей и отрядов на Нарвском участке, общего отпора белые не получают. Почему? Слишком пестр состав частей, не соблюден в должной мере классовый подход при их формировании.

— За Советскую власть до конца могут и будут сражаться только рабочие, крестьяне-бедняки и сознательная часть середняков да коммунисты, члены большевистской партии! — горячо говорил Восков. — Наемники в таком святом деле не бойцы. Они разбредутся, продадут и предадут. Такие факты мы, к сожалению, уже имеем. Всех партийцев, какие только есть у нас сейчас в тыловых армейских учреждениях, надо бросить в части, в красноармейскую толщу для цементирования ее, для воодушевления, для того, чтобы красноармеец, посылая пулю, знал, понимал, куда, в кого и зачем он ее посылает. Надо, чтобы в каждом отряде была своя партийная ячейка. При комплектовании новых частей это уже начали учитывать. Героический рабочий класс красного Питера, создавая новые отряды, батальоны, полки, шлет в них лучших своих партийцев. Это будут идейные, коммунистические части. Но надо укрепить и имеющиеся. Товарищи! Если мы потеряем Петроград, люди поколений, идущих за нами, наши внуки и правнуки, поставят осиновый кол в память нашего с вами позора и наши имена будут произноситься с проклятьями.

Среди светлой майской ночи медленно брели по Петрограду Павел Благовидов и Александр Раков. Ракову с немалыми усилиями удалось **еще**

разок поскрести от враждебных и случайных элементов бывший Семеновский полк.

— И все равно, — говорил он, — болит у меня душа за него, Павел Андреевич. Слушал я сегодня товарища Воскова и прямо-таки обмирал от беспокойства. Партийцев-то в полку единички. Хоть бы сотенку в него еще подбросить. Не дают. «Вы, говорят, пока в резерве. Ждите. Пойдете в бой — добавим». А тогда уже может оказаться поздно.

Они шли через пустынное бывшее Марсово поле, которое носило теперь название Площади жертв революции. Раков остановился перед могилами, прочел вслух имена товарищей Урицкого, Володарского, похороненных в прошлом году рядом с героями революции.

— Могли бы жить, — сказал он. — Тоже поздно мы схватились. Беспечничали до тех пор, пока не заговорили револьверы убийц. Мы что же, эсеров не знали? Знали же их как профессиональных бомбистов, террористов, налетчиков. Понадеялись на совесть, да?

Вышли на Неву. Дул восточный ветер, и было прохладно. Темную, тяжелую воду рябило мелкой волной. Петропавловская крепость каменно дремала на противоположном берегу; влево от нее несли свою дозорную службу массивные башни маяков Биржи. Город спал. Сонные фасады нависли над набережной. Дворцы. Особняки. Консульства. Бывшие посольства. Что там происходит за стеклами окон, задернутых шторами?

Два бойца революции вглядывались в эти окна, как бы пытаясь проникнуть своими взглядами внутрь притаившихся зданий. Но стекла, отсвечивая, лишь отражали темно-серую невскую воду да розовый свет встающей над Выборгской стороной молодой зари.

Пронесся, ревя мотором, длинный черный автомобиль.

— Чей, не знаешь? — спросил Раков.

— Григория Зиновьева, — ответил Благовидов. — Домой, в «Асторию», покати.

На Дворцовой площади они пожали друг другу руки.

— Я в Петропавловку схожу насчет пулеметов. Обещали с десятка, — сказал Раков устало.

— А я на Балтийский вокзал. Посплю уж, пожалуй, в поезде. В Ораниенбаум надо. Есть решение сформировать сводную Балтийскую дивизию из тех отрядов, какие имеются, и из нового призыва.

Они разошлись в разные стороны, но шаги их по булыжникам пустыи площади еще долго отдавались от стен Зимнего дворца и Гвардейских казарм к стенам Генерального штаба.

## 20

В конце далекого XIV века сюда, на правый берег реки Луги, пришли новгородцы. Над песчаными обрывами они поставили город Ям, и в ту пору здесь был северо-западный край новгородской земли; за ним уже начинались сложенные из камня разбойничьи гнезда — замки воинственных шведов и жестоких рыцарей Ливонского ордена.

Новый свой город новгородцы обнесли валом, поставили поверх него с углов четыре каменные башни, и начались в лесных этих болотистых пределах неисчислимые битвы против всех, кому соседство русских было не по душе. Двести лет стоял Ям, выдерживая и отражая осады шведов и ливонцев, и только к концу XVI столетия шведским полчищам удалось-таки сломить сопротивление его защитников. Но и десяти лет не правили здесь завоеватели. Русские полки выбили их и вновь утвердились на реке Луге, и держались бы они в этих местах и далее, не уступая врагу, да в дело вмешались тогдашние дипломаты, занялись политесом цари и короли, по-своему, по-царски и королевски, решая острые вопросы истории. Короли и цари определили: быть Яму в составе обширной Ижорской земли отныне под шведами.

Прорубаясь в Европу, меняя все вокруг только что заложенного Санкт-Петербурга, Петр I перекроил и ту часть географической карты, на которой стоял город Ям. Он вновь навечно закрепил его за Россией и собственноручно начертал новое ему название — Ямбург.

Пришел однажды порыв добродетели — и великий самодержец подарил весь город своему любимчику Александру Меншикову. А когда Петра не стало и любимчик доживал век в опале, город перешел в казну и какое-то время находился в изрядном захирении. Наконец на него пал взор Екатерины II. Было повелено считать город Ямбург уездным; срыли тут валы и разобрали башни, зато учредили мануфактуру, на которой выделялись весьма тонкие полотна, шелковые чулки для петербургских модниц, ласкающие тело батисты, дорогие стекла и зеркала. Через весь город пролегла длинная и широкая главная улица, вдоль нее понастроили каменных домов и возвели гостиный торговый двор.

Затем пришли более поздние времена — времена Николая Павловича Романова. С екатерининским великолепием было покончено, и все ее сооружения, перестроив их надлежащим образом, в соответствии с веянием века, превратили в солдатские казармы. Началась новая полоса хирения древнего города. Перед тем как России вступить в войну с Германией, во всех географических описаниях этого края отмечалось, что город Ямбург «принадлежит к числу беднейших в губернии» и что «главный доход обывателей составляет отдача внаймы домов офицерам квартирующих в городе войск».

На эту сторону дела, на экономическую сторону, командование белых родзянковских войск смотреть не имело никакого желания. Главное — что город древний, российский, исконный. Петр, Екатерина, Николай Павлович!.. Знамена, штандарты, серебряные трубы. Почти столица. Совсем без малого. Сто с небольшим верст до Петрограда. Своя, родная, русская земля!

Едва город был взят зашедшими со стороны Веймарна белыми полками, как в него хлынули толпы тех, кому не терпелось в Петроград. Все дома были переполнены постояльцами. Иные квартировали в повозках. Кое-кто разбил чуть ли не цыганские шатры на окраинах. Бренчали колокола замолчавших было церквей.

Одними из первых в Ямбург прибыли родственники барона Тизенгаузена, имение которого, Торма, располагалось поблизости от станции Веймарн, меж деревнями Большая Пустомержа и Ястребино. Появились затем заводчики Гирс и Таубе, торопясь к своим лесопильным заводам в Ястребинской волости и на реке Долгой, которая впадает в Лугу. Покатились, гремя колесами, коляски и кабриолеты по выщербленным мостовым ямбургских улиц, зашагали по тротуарам дамы под вуалями.

В одном из казарменных флигелей обосновалась городская комендатура, с назначенным Родзянкой комендантом полковником Бибиковым. Подвалы комендатуры были набиты захваченными в боях за город коммунистами, советскими и профсоюзными работниками. Каждый день конвоиры выводили из этих узилищ по несколько человек, избитых, окровавленных, в рваном тряпье. Их вели то в сосновую рощу на северной окраине города, то прямо на главную улицу. Из рощи слышались залпы винтовок и одиночные револьверные выстрелы, которыми добивали раненых. А на главной улице к старым липам и тополям приставляли лестницы-стремянки, перекидывали через сучья намыленные веревки и на глазах у горожан вешали людей, известных всему городу.

В первые же дни так погибли захваченные под Веймарном курсанты гатчинских курсов красных командиров, красноармейцы-коммунисты из 6-й и 19-й красных дивизий, были повешены председатель следственной комиссии Ямбурга товарищ Лохе и профсоюзный работник товарищ Бустро.

В одном из казарменных помещений, где окно искрестила толстая железная решетка, ждал решения своей судьбы командир красной бригады, бывший генерал Николаев.

Прошла неделя с того дня, как вместе со всем штабом его захватили в деревне Попкова Гора. У него гноился разбитый глаз, непрерывно не утихая ни на час, болела голова. Слабость была такая, что и не поднимался бы никогда с вороха соломы, брошенного ему на пол вместо постели. Но все это было мелочью в сравнении с душевной болью, которая днем и ночью измучивала его, не давая уснуть. Бывший генерал понимал, конечно, что прорыв на Ямбург удался белым во многом еще и потому, что не выстояла его бригада, что он дал так легко себя опрокинуть и раздавить. Нет, он не оправдал надежд людей, которые поверили в него, понадеялись на его опыт, знания, приняли в свои ряды и поручили ответственный боевой участок! Отвратительна была сцена пленения. Его привели тогда в тот же дом, где стоял штаб бригады. Появился офицер в английской форме и, не задавая никаких вопросов, ударил его кулаком в лицо, отчего вот пухнет, болит и гноится глаз. Офицеру было мало — он ударил еще и рукояткой нагана по голове. «Что ты делаешь? — истощено закричал другой офицер. — Это же генерал! Генерал Николаев» «Неужто? Боже! — воскликнул тот, кто бил. — Ваше превосходительство! Прошу прощения!» Оба типа разыгрывали глумливую комедию.

И вот доставленный в Ямбург лежит на соломе «военный специалист» красных комбриг Николаев и терзает себя придирчивым анализом совершенных им ошибок.

На восьмые сутки его подняли с пола, дали умыться с мылом, с чистым полотенцем; через окруженный кирпичными стенами глухой двор повели в другой казарменный флигель.

В просторной комнате за столом, на котором стояли бутылки с водкой и коньяком, тарелки с закусками, сидел невзрачный, белесый, бесцветный человек, тоже, как многие тут, в английском френче, но с золотыми погонами русского генерал-майора.

Человек этот не выразил приторно-приветливого радушия, как бывает в подобных случаях. Сухо предложил присесть к столу и представился:

— Владимиров. Прошу чувствовать себя как можно свободней. Будет деловой разговор генерала с генералом.

— Я не генерал, — ответил Николаев, ощущая приятность оттого, что может откинуться на спинку стула: в своем заключении он или лежал на полу, или сидел на нем, прислонясь к стене. — Я командир бригады Красной Армии, военный специалист.

— Полно, — с легкой улыбкой сказал Владимиров. — Я же не председатель чека, я не испытываю вас.

Он прибыл в Ямбург по поручению Юденича. Когда герою Эрзерума сообщили, что в первый день наступления Северного корпуса взят в плен бывший генерал, как, мол, с ним быть, что сделать, Юденич вызвал Владимира.

— Владислав Станиславович, это по вашей части. Надо бы поехать туда, как вы полагаете?

Владимиров мог бы ответить: «По вашей части тоже, господин бывший командующий Кавказским фронтом. Порубили голов вы немало». Но, конечно же, ответил совсем не так.

— Будет исполнено, Николай Николаевич. Я полагаю, что его надо примерно наказать, в назидание всем изменникам. Повесить бы следовало. Притом — публично. С широким оповещением.

— Может быть, не стоит так-то, с генералом-то... Расстрелять бы... А вернее всего, — рассуждал вслух Юденич, — предложить ему полк или поначалу — батальон. Пусть смывает кровью свою вину и свой позор. Словом, действуйте по обстоятельствам. Будет кочевряжиться — к стенке!

Владимиров действовал в соответствии с этой инструкцией.

— Полно вам, — повторил он, разглядывая в упор покрытое синяками и кровоподтеками лицо Николаева. — Мы же... Я говорю с вами от имени генерала Юденича... Мы прекрасно понимаем, что вы не могли пойти к большевикам добровольно. Вас вынудили. Вы человек немолодой, нелегко в вашем возрасте переносить физические и нравственные меры воздействия...

— Никаких мер не было! — оборвал Николаев. — Не придумывайте чепухи, генерал.

— Что же, вы вот этак, при полной ясности ума, в полном духовном здравии пришли к «товарищам» и, как бывало говорилось, предложили им свою генеральскую шпагу?

— Не так оперно, как вы изображаете, но да, пришел к «товарищам» и в борьбе за будущее России встал на их сторону.

— Ого! — Владимиров достал портсигар и, не сводя белесых глаз с Николаева, закурил. — Так вы не идейный ли? — Ему очень хотелось сказать этому седому болвану, что он, Владимиров, перевидал таких заносчивых индюков и петухов сотни, тысячи на своем жандармском веку. Но то в большинстве были юнцы, желторотые дурни. Они плевались на допросах, орали возле виселицы «Марсельезу» и затягивали свои занудные революционные песни. Они утверждали, что борются и гибнут за идею. С ними было чертовски трудно из-за этой их идеи. Но смешно же видеть царского генерала, заболевшего революцией! — Вы не марксист ли, ваше превосходительство? — Владимиров рассмеялся.

— Я почти не знаю трудов Маркса, поэтому не могу вам ответить утвердительно. — У Николаева покруживалась голова, он делал усилия над собой, чтобы не показать перед противником слабости. — Но я знаком с программой Ленина, с программой большевиков. Над ней сейчас можно сколько угодно смеяться. Но она народна и потому побеждает и победит. Для каждого нормального человека народное благо — закон. Не думаю, что возвращение царской охранки, помещичьих прав и прочих институтов прежнего — путь к народному благу.

— Красиво, красиво! — Усмехаясь, Владимиров согласно кивал. — Для сентиментальной пьески это превосходный сюжетец. Но, если говорить по-деловому, я уполномочен предложить вам командование полком. На первых порах. Дальше возможна и дивизия. Вы возвращаетесь в семью русского офицерства, с ее понятиями о чести, благородстве поступков, патристичности порывов. Вы вновь станете уважаемым человеком, и когда придет час полного освобождения родины от красной нечисти...

— Не будет такого часа, нет! Не обольщайтесь. Историю вспять не повернуть.

— Но для некоторых ее можно оборвать на самом нежелательном для них этапе! — жестко сказал Владимиров.

— Пуля? — Николаев взглянул на него с насмешкой.

— Петля! — Ладонь Владимирова стукнула по столу.

Выражение насмешки сошло с лица Николаева. Он знал, что его собеседник не шутит. Если в этой армии штабс-капитаны и поручики бьют рукоятками наганов по головам пожилых людей, зная, что те неизмеримо выше по воинскому чину, — на что же способны их начальники, их генералы! Глаза Николаева приняли спокойное и строгое выражение.

— Тогда не мешкайте, не тяните. Готовьте свои веревки, господа. Владимиров поднялся. Пути дипломатических уверток были сброшены. Он вновь обращался в беспощадного, жестокого жандарма.

— Ты сам, старая телега, выбрал себе участь. Чего пожелал, то и получишь, — сказал вполголоса и выплеснул в лицо своему пленнику коньяк из начатой рюмки. — Скотина!

— Нервишки не выдержали? — Николаев с грустью покачал головой. — Вояка!

С английской винтовкой у ноги Осокин стоял в строю роты на Базарной площади Ямбурга. Две другие роты образовывали вторую и третью стороны прямоугольника. Четвертая сторона была открыта, и там, пестря одежками, толпились горожане — одни из любопытства, другие потому, что им было строго-настроено приказано явиться с утра на площадь. Строгий строй батальона мог бы навести на мысль, что в этот майский день белое командование производит смотр войскам после победоносного сражения, если бы не виселица, широкой, приземистой буквой «П» вставшая посреди людского четырехугольника.

Осокин терпеливо, стойко, безропотно сносил тяготы и унижение плена. Он уже получил временный документ солдата Северного корпуса на имя Алехина Ивана Ивановича, ему выдали винтовку и пустой подсумок для патронов. В бою батальон еще не был; в него включили добрую сотню тщательно отсортированных пленных красноармейцев и, видимо, пускать в бой пока еще опасались, муштровали, обрабатывали, подтягивали, внушали новичкам основы дисциплины, совсем иной, чем была у красных, — жесткой, бездушной, с непрерывными наказаниями и даже расстрелами тех, кто ее нарушает.

Снося все, Осокин ждал, когда же выдадут патроны и когда отправят в бой. В бою он немедленно сбежит и пробьется к Петрограду.

Каково положение на фронте, никто толком не знал. Офицеры кричали о величайших победах, о том, что Гатчина, Красное Село, Ораниенбаум, Петергоф, Царское Село взяты; что белые войска — на Пулковских высотах и грозной лавиной спускаются с них к окраинам Петрограда. «Неужели это так? — думалось Осокину. — Неужели под огнем лежит его родная Счастливая улица? Где тогда отец, где мать, Валька? Что происходит в ЧК? Что думают о нем, об Осокине, Ян Карлович и председатель товарищ Петерс? Если враги у Нарвских и Московских застав, то как же нужна в Петрограде и его, Осокина, винтовка! А он?.. Он пригнан стоять среди пыльной площади и смотреть на то, как белые контрразведчики будут кого-то казнить. Войска, батальоны... Казнь обставляется пышно. Кого уничтожат сегодня? Которого из товарищей Осокина по большевистской партии?»

Он оглядывал солдат, стоявших справа и слева от него. Он успел привыкнуть к ним за несколько дней, которые показались ему бесконечным годом, он узнал, что есть меж ними и настоящие сволочи, но большинство — то народ неприкаянный, застрявший в дни революции в немецких лагерях, скрывавшийся от керенщины в джунглях, оборвавшийся, изголодавшийся. Этим людям было все равно кому служить, абы кормили да хоть как, хоть в обноски, но одевали. А сволочами были те, у которых революция поотнимала их имущество, их хозяйства, богатство: крепкие мужики, лавочники, были среди таких и уголовники — профессиональные разбойники, грабители, убийцы. Они охотно выполняли работу палачей, мучили людей, избивали их, живьем резали. Этим бы Осокин ставил к стенке без разговоров и формальностей.

Но Осокин терпел даже и общество отпетых мерзавцев, лишь бы пришел час, когда он сможет сбежать в Петроград.

Под треск барабанов из ворот казармы вышла процессия. К середине площади шагал взвод солдат с винтовками наперевес. А среди них, окруженный ими, со связанными назад руками... Осокин готов был закричать от отчаяния, от жалости, от невозможности чем-либо помочь... Стараясь быть спокойным и безразличным ко всему, в окружении солдат медленно шел комбриг Николаев, Александр Панфамирович. Нет, значит, нет, ошибся он, Осокин, не изменил народу старый человек. Не признало генеральское воронье в нем ворона, ежели собралось глаза ему выклеивать.

Перед ошеломленным Осокиным то рассеивался, то вновь густел сильный дрожащий туман. Не сразу в наплывах этих разглядел он тех, кто следовал за солдатами и за пленным Николаевым. А были там уже про-

славившийся жестокостью ябургский комендант Бибиков и никому еще не ведомый невзрачный человек в иностранном мундире с золотыми погонами русских генералов. Сопровождали их офицеры — тоже в погонах, в крестах, с разными украшениями и побрякушками.

— Вся контрразведка, — шепнул Осокину сосед слева.

Осокин вглядывался в каждого из них, как бы стараясь запомнить навсегда. Зачем — кто его знает, но надо, надо запомнить! И этого, со шрамом на подбородке, и длиннющего верзилу, который вскидывает брови на лоб так, что они, будто черные гусеницы, ползают по его лбу во всех направлениях, и того, с толстой сигарой во рту, узко щурящего глаза от солнца... Всех!

Николаева подвели под перекладину, под бревенчатую, из свежего окоренного дерева букву «П». Кто-то дергал над его головой веревку с петлей на конце, примеривая нужную высоту. Подхватив Николаева под мышки, два солдата ловко взбросили его на заранее приготовленную табуретку. Снова кто-то стал то опускать, то поднимать петлю. Она задевала Николаева, ползала у него по лицу, спадала на плечи. Он, видимо, ничего не чувствовал, не замечал.

Офицер со шрамом на подбородке начал читать приговор военно-полевого суда.

— Генерал-майор Николаев... Александр Панфамирович... поступив добровольно на службу к врагам России... тем самым предал... приговаривается...

— Приговор привести в исполнение! — крикнул полковник Бибиков, взмахнув перчатками.

Солдаты бросились к Николаеву, чтобы накинуть на него примеренную по высоте петлю. Но тут он очнулся от своего безразличия ко всему, что происходило вокруг, решительно отстранил веревку рукой.

— Товарищи! — крикнул, обращаясь к горожанам. — У меня могут отнять и отнимут жизнь. Но веры в народ, веры в победу народа...

— Какого черта! — едва он заговорил, проорал Бибиков. — Где эти болваны?

Спихнулись, что бездействуют барабанщики. Их привели именно на тот случай, если вдруг вздумает заговорить осужденный на смерть, но никто не подал им должного знака. Теперь они ударили с удвоенной силой, и последние слова Николаева растворились в дробном, трескучем грохоте.

Осокин опустил глаза в землю, он не мог смотреть на то, что происходило дальше. Он так и ушел в строю роты с площади, не взглянув больше, не обернувшись в сторону виселицы, оборвавшей жизнь хорошего, доброго, умного человека, с которым так интересно было говорить там, в деревне Попкова Гора.

Он видел, что большинство солдат тяжело удручено случившимся на Базарной площади уездного городка Ямбурга. Среди них были же и такие, кто служил под командованием комбрига Николаева, кто не мог сказать о нем ни одного плохого слова. Только радостно скалился Митька Жильцов, толстомордый рябой солдат с финским ножом у пояса.

— Пожил, поди, власть этот комиссарский генерал, — разглагольствовал он в строю, благо поручик, встретив знакомого на улице, отстал от роты. — Поточат слезки теперь евонная генеральша да детушки-генеральчики. Так им, гадам, и надо! Я бы, моя воля, свеживал бы таких, как боровов. — Он потрогал свой нож в ножнах из желтой кожи.

Только теперь Осокин подумал, что, верно, у Николаева должна же быть где-то семья. Что станет с его семьей, с детьми? И вновь перед ним возникла Счастливая улица, он представил себе отца, мать, Вальку, к которому, возможно, тоже тянулись в этот час кровавые руки таких вот Митек Жильцовых с их разбойничьими ножами.

Не было сил ждать удобного часа. Надо было действовать немедленно. Но как? Нельзя спешкой все загубить и провалить. Ян Карлович, научите, пожалуйста, подскажите самое правильное решение.

Заплачет мать, заплачут се-е-стры,  
Заплачет старый мой отец —

услышал Осокин, как вокруг него затянули солдаты.

— Отставить! — заорал догнавший строй поручик. — Кто приказал ныть эту заупокойщину?

— Да вот он начал! — указал на Осокина Жильцов.

— Я тебе, Алехин, с заду ноги повыдергаю, слышишь? — Поручик успокаивался. — Смурной ты парень. Чертова деревенщина!

Осокин растерялся. Что же такое получается? Не подвела ли его на этот раз привычка произносить, надо ли, не надо, разные куплетики? Не сбrehнул же этот собака Жильцов.

Потом, вечером, он спросил одного из своих новых товарищей, Егора Козлова, которому, несмотря на щедрые обещания, заплатанную гимнастерку так еще и не обменяли, что за происшествие получилось в строю с этой песней.

— Заснул ты, что ль, паря? — удивился тот. — Ты же и подал первым голос: «Последний, мол, nonешний денечек гуляю с вами я, друзья». Ну, ребята подхватили, известно. На душе-то у каждого препогано было, вроде дерьма наевшись каждый. Душа и отозвалась. От песни человеку, всякий знает, легче становится. А ты что, спросонья это?

— Задумался, знаешь. От такого дела, как сегодня на площади было, разве заснешь?

— Да-а, — длинно и невесело потянул Козлов. — Да-а... — Что он думал при этом, Осокину очень бы хотелось знать.

## 21

Окно на улицу было открыто. За ним кричали воробьи, неведомо чем пробавлявшиеся в голодном Петрограде, пошаркивали шаги прохожих по плитам тротуаров, и дребезжал железный обруч от бочки, который через булыжную мостовую гоняли друг к другу мальчишки.

Подойдя к окну, взглянув на мальчишек, на их увлекательное занятие, Горчилич вернулся в кресло, на лице его была улыбка.

— Чудесная пора — детство, Ирина Владимировна.

Он сидел у Ирины уже более часа, и она никак не могла понять, зачем пришел к ней этот, в общем-то, симпатичный офицер, но не такой уж близкий к их дому, чтобы заходить запросто поболтать среди дня. А разговор идет именно такой — обо всем и ни о чем.

Когда он позвонил и назвал за дверь, Ирина готова была заплакать. Достаточно ей недавнего посещения Кубанцева, тех тяжелых корзин, о которых она ни на минуту не забывает, которые лежат на антресолях, тая в себе страшное, неведомое, гнетущее. Ну зачем еще и Горчилич? Он же воспитанней, умнее, тактичней хамоватого Кубанцева, мог бы понять, что не следует ходить, когда не зовут, не надо досаждать. Но она открыла, и вот он сидит, и они разговаривают о пустяках.

— В нашем патриархальном Новгороде, где я родился и рос, Ирина Владимировна, — продолжал Горчилич, — гонять обруч было одним из любимейших мальчишеских занятий. Несешься, бывало, по Московской улице... Семья наша жила на Московской, поблизости от аптеки... Гонишь, говорю, обруч палочкой, ловко так направляешь его меж прохожими, огибаешь возы с сеном или дровами, летишь по Буяновской к Волхову, под уклон и не замечаешь, как ты уже на рыбном рынке. А рынок у нас!.. В чанах плавают вот такие окуни! — Горчилич показал руками размер этих окуней.

Ирина засмеялась, сказала, что когда они с мужем, Ильей Андреевичем, выезжали на дачу в Елизаветино и Илья Андреевич увлекался ловлей рыбы в небольшой красивой речке, то его добычей были совсем другие окуньки.

— Вот такие! — Она показала мизинец.

— Елизаветино! — подхватил Горчилич. — Дылицы! Чудесные места. Имение княгини Трубецкой. Дом какой! Парк! Да, приходилось бывать, приходилось. Еще когда я был юнкером, там, в Дылицах, держала дачу семья одного из моих товарищей по училищу. Случалось, меня приглашали туда провести свободное время. Но в тех местах нет порядочных рек, Ирина Владимировна. Вашему мужу не повезло. — Горчилич окинул Ирину быстрым взглядом. — Странно звучат эти слова: ваш муж. Муж! Вы так молоды, что невозможно представить себе вас замужней. Нет, нет, не думайте!.. — воскликнул он, увидев выражение досады на Иренином лице. — Никаких пошлых офицерских излияний не будет. Я вам сейчас все скажу, скажу, зачем, почему, для чего пришел к вам. Думаете, я не вижу, как заботит и угнетает вас этот вопрос? Вижу. Вот что, Ирина Владимировна... — Не спрашивая разрешения, он закурил папиросу. — Вы помните Кубанцева?

— Да, конечно.

— Очень прошу вас не иметь с ним никаких дел. Очень. Это жандарм, я уже говорил, кажется. Он способен на все. Я уже вручил вам свою жизнь однажды, открыв тайну нашей организации. Не буду и сегодня ничего скрывать от вас, я верю вам. Я хочу вам верить, мне это необходимо, иначе я тоже погрязну в трясине заговоров и нечистооплотных деяний.

Он волновался, Ирина видела, чувствовала это. Она положила свою ладонь на его руку.

— Ну, пожалуйста, успокойтесь. Ну что вы так, Георгий Константинович. Пожалуйста.

— На Петроград со всех сторон наступают наши войска, — продолжал несколько спокойнее Горчилич. — Близок час, когда большевики отсюда побегут. Это несомненно. Северный корпус. Финны. Эстонцы. Английская эскадра на Балтике. Да, да. Вопрос решен. Но я не сомневаюсь, что большевики в этих гибельных для себя условиях начнут предсмертно зверствовать. И такие, как Кубанцев, замечутся под их чекистскими ударами. Будут проваливаться наши конспиративные квартиры, явки, тайники. Кубанцевы, хватаясь за соломинку, могут погубить честных, ни к чему не причастных людей. Не пускайте к себе Кубанцева, не давайте ему скрываться у себя, не позволяйте что-нибудь спрятать в вашей квартире. Из-за репутации вашего мужа — она у большевиков вне всяких подозрений — Кубанцевы непременно захотят этим воспользоваться. Вы понимаете меня?

Ирина ощущала, как с каждым его словом она все глубже погружается в цепенящий холод страха. Сказать или не сказать Горчиличу, что у нее на антресолях уже лежит что-то кубанцевское?

А Горчилич продолжал:

— Я потому заглянул к вам и только за этим пришел, что Кубанцев уже хвастался своим посещением вашей квартиры.

— Да, да, он здесь был.

— Ему только бы палец в рот, он доберется до всей руки. Мертвая хватка. Жандармский бульдог. Он знает приемы мгновенного умерщвления человека. Он знает, как через непереносимые мучения получить от человека полное признание в том, чего человек никогда не совершал. Бойтесь этой гадины, Ирина Владимировна.

— Но... но... — у Ирины не хватало дыхания. — Но почему же, — почти выкрикнула она, — почему вы, ваша организация, связываетесь с такими?

— А потому, что мы все за два послефевральских года до омерзения опустили в нашей морали. Мы готовы целоваться с жабой, лишь бы

жаба тоже боролась против большевиков. Вы посмотрите: мы были правоверными монархистами, свято блюдя присягу царю. Сегодня мы сидим за одним столом с теми, кто вчера был царю заклятым врагом, — с бомбистами, социал-революционерами. Мыслимо ли? Все перемешалось: эсеры, кадеты, анархисты, монархисты... Ирина Владимировна, может ли быть съедобной каша из толченого стекла, пуха, перьев, обрезков жести, извините, из навоза и всякой тухлятины со свалки? Вот что такое сейчас мы, борющиеся за возрождение России, «единой и неделимой».

— Но вы же только что сказали: вот-вот большевики побегут, вот-вот от них будет очищен Петроград.

— Одно другому не противоречит. Да. Так и будет. Нам помогут страны Антанты. Это они двинули Северный корпус в наступление. Мы-то и по сей день все еще митинговали бы. Без организованности европейцев, без их деловитости разве мы что-нибудь можем?

В дверь позвонили тройным условным звонком.

— Это муж! — Ирина слегка побледнела. — Почему-то так рано. Необычное время. Третий час. Но в окно прыгать не надо. — Она вновь усадила в кресло поднявшегося было Горчилича. — И черным ходом убежать не стоит. Сидите.

Она пошла отмыкать задвижки, поспешно придумывая, как бы объяснить присутствие в их квартире незнакомого Илье гостя и кем бы его назвать.

Илья вошел возбужденный, оживленный.

— Знаешь, Иринушка, а я на днях уезжаю. Под нашим Петроградом идут сильнейшие бои. Белые подорвали несколько мостов на Балтийской и на Варшавской дорогах. Надо очень срочно восстановить.

Ирина сделала знак: тише — и кивком указала на дверь в гостиную.

— А за ремонт кораблей Петроградский совет и военное ведомство мне благодарность объявили. Корабли вступили в строй, — продолжал Илья, шепча ей в ухо.

— У нас гость, — сказала она громко, радуясь наконец-то явившейся спасительной мысли, и распахнула дверь в гостиную. — Знакомся, Илюша. Это Георгий Константинович. Он из Новгорода. Земляк нашей прислуги Саньки. Пришел по ее просьбе передать привет. Видишь, какая она добрая девушка.

— Да, да. Санька! Она хорошо устроилась, — забормотал Горчилич, поставленный Ириной в сложное положение.

Но выручил всех сам Илья.

— Новгород? Заповедник русской старины. Бывал там, бывал. Начали мы большой новый мост строить...

— Возле Юрьева монастыря! — подхватил Горчилич. — Стоят только быки посреди Волхова, и высоченная насыпь вид на озеро загораживает. У тех быков, кстати... мне Ирина Владимировна рассказывала о вашем увлечении... преогромнейшие бычки водятся. На донную удочку надо ловить. Вершка по четыре, знаете. А то и больше. Приезжайте, Илья Андреевич. Рады будем, так рады.

— Э, мой милый Георгий Константинович! Совсем в другие места ехать я должен. Эти мерзавцы — генерал Родзянко с Юденичем, которые уже захватили Гдов и Ямбург и, если не ошибаюсь, Псков, безобразничают на дорогах. Как только мы их начинаем контратаковать и отесняем, рвут перед нами мосты. А мы, мне сказали сегодня знающие люди, уже даем им на некоторых участках изрядно по губам.

— Илья, — у Ирины дыхания не стало совсем, — я соберу на стол? Может быть, поьем чаю?

Только тут она поняла, в какое чудовищное положение поставила Илью, своего мужа. Тому, кто враг Советской власти, которой с увлечением служит Илья, он раскрывает, выдает тайны защитников Петрограда. Если об этом узнает ЧК, Илья будет расстрелян, как шпион, как враг,

как пособник врага. Он погибнет по ее, Ириной, вине. Никто другой, только она одна будет виновницей его трагической смерти. Два непримиримых врага легкомысленно сведены ею под одной крышей. Причем один из них, Горчилич, все знает о другом, а другой же, Илья, ничего не знает о ее госте. Илья в глупом, нелепом, смешном положении. И сделала все это она, она и только она.

— Илья, — позвала Ирина. — Мне тебя надо на минутку. Помоги мне, пожалуйста. — Когда они вошли в кухню, она обняла его за шею. — Илюша, ну что ты так обо всем открыто говоришь, родной! Он же все-таки неизвестный нам человек. Кто знает, с кем общается, с кем встречается. Главное, не говори ничего о Павле.

— О! Ты молодец, — согласился Илья. — Верно. Болтаю лишку. Сейчас везде призывы: берегись шпионов! Мы ему, не волнуйся, вкрутим очки. Георгий Константинович! — Он возвратился в гостиную. — Вы не играете в шахматы? Чудесно! Попьем чайку. Он немудрящий, конечно. Брандахлыст. Но все же согревает желудок. А когда в желудке тепло, то и весь организм в приятном состоянии. Так вот попьем и сыграем. У меня превосходные шахматы. Редкой восточной работы. Чуть ли не персидской. Может быть, даже индийской. Тесть подарил, в день свадьбы. Очень дорогая, сказал, штука. У него качество определялось только ценой. Брюллов сколько стоит? Суриков? — назови сумму в рублях.

Горчилич не знал, как быть ему с этим радушным, говорливым хозяином дома. Уйти? Не странно ли будет: пока хозяина не было, сидел, любезничал с хозяйкой, появился хозяин — бежит. Сидеть — это явно угнетает хозяйку. Не находя ответа на свои сомнения, он сидел.

Когда принялись за чай с коврижками, испеченными Ириной из кофейной гущи, — причем гуща была из ячменно-желудевого кофе, так как настоящего уже давно не было, пропал Хамейлайнен, — Илья, попивая пахучий настой, радостно нахваливал:

— Листья мяты завариваем. Приятно, правда? К тому же все боли и неприятности во внутренностях удаляет. Старинное народное средство. Ездил в Ориенбаум, нарвал в одном огороде. Большой пучок. Как веник.

Горчилич отмалчивался. Он не мог ни о чем выпрашивать мужа Ирины Владимировны. Это было бы откровенным предательством, в ее глазах он выглядел бы последним подлецом.

Илья говорил о каких-то необыкновенных народных напитках, сожалел, что в доме нет ни глотка чего-либо более крепкого, чем мятная бурда. Вспомнил ресторан Соколова, где гуляли его свадьбу с Ириной. Какие-де там подавались водки. И с тмином, и анисовые, и с перцем, и с полынью. На любой вкус.

Ирина обрадовалась тому, что разговор ответвился в сторону от острых, опасных тем, принесла альбом, в который из книги именитых гостей и даже со стен она переписывала в ресторане Соколова интересные надписи.

— Там постоянно бывали господа Аверченко, Арцыбашев, — говорила она, раскрывая перед Горчиlichem то одну, то другую надпись. — Удивительно! Такие знаменитые люди, а вели себя просто-просто! Иван Сергеевич Соколов рассказывал моему папе, что Арцыбашев часами игривал у него на бильярде. Следом за ним в ресторан приходили толпы поклонников, литераторов, издателей. Иван Сергеевич говорил, что готов его кормить и поить бесплатно — он составляет ресторану широкую рекламу. Или вот писатель Куприн. Мы сами за ним с Ильей Андреевичем однажды наблюдали.

— Да, было, было, — кивнул Илья. — Сидел он тогда в углу литературской залы, это было его постоянное место. Вокруг собралось много остряков и зубоскалов.

— А он молчал, — продолжала Ирина, — всматривался во всех такими изучающими, обшупывающими глазами и вместе с тем совершенно

отсутствующими, будто был далеко-далеко. Может быть, в Крыму, в Одессе, в Финляндии. Рассказывали, что он был большим охотником неожиданных поездок. Сидит, сидит, схватится за карту России и укатит назавтра в Балаклаву или в Житомир. Но если рассказчики вокруг него собирались хорошие, интересные и рассказывали не анекдоты, а случаи из жизни, он слушал со вниманием. Мы видели как раз такой момент. Положил подбородок на ладонь, прищурился и так слушал, что я сказала Илье Андреевичу: непременно напишет новый рассказ. Или еще были там разные поэты. Мы видели их: Игорь Северянин, Константин Олимпов, Грааль Арельский...

— Игоря Северянина знаю, — сказал Горчилич. — А этих, Олимпова да Арельского... Что-то не слыхивал о таких.

— Они — оригинальничающие поэты. У них еще была «Академия эго-поэзии», я читала про нее в «Синем журнале».

— А в этой «академии» не состоял, часом, поэт Лужанин?

Ирина быстро взглянула на Горчилича, не начнет ли он опасного разговора. Но Горчилич ограничился только этим вопросом.

— Состоял, — ответила она. — Один из наишумнейших. У нас где-то валяется множество брошюрочек их «академии». Эти «академики» выпускали брошюрки по несколько страничек, с крикливыми названиями. Их бесплатно рассовывали в почтовые ящики, раскладывали по столам в редакциях газет и журналов. Настоячивые поэты заставили заговорить о себе всю прессу. Они заглушали всех других. Уже никого не стало. Ни Пушкина, ни Некрасова, ни Лермонтова. Одни Олимпов да Арельский с Лужаниным. Еще к ним присоединилась какая-то Жозефина Лемье. Газеты кричали об эго-футуристах во все горло. «Константин Олимпов носит воротнички номер тридцать семь!», «Арельский живет на даче в Шувалове!» Может быть, помните, за несколько лет до войны у этих поэтов даже появилась своя газета — «Петербургский Глашатай»?

— А есть у вас что-нибудь из их сочинений? — поинтересовался Горчилич, раздумывая о том, что пора уходить, но вот удастся ли уйти, или хозяйин заставит его еще и играть в шахматы.

Ирина полистала свои альбомчики.

— Это образец поэзии Олимпова. Послушайте.

Она стала читать:

Тройка в тройке колокольной,  
Громко, звонко пьяной тройке.  
Колокольни колокольной  
Колокольчик бойкой тройки.  
В тройке тройка, пой, как тройка,  
Звонко, громко, пьяно, тройко.  
Колокольчик колокольный  
Колокольни колокольной...  
Колокольчик звонче тройки,  
Колокольня, колокольня,  
Тройка тройкой колокольной.  
В тройке тройка пьяной тройки.

— Уф! — сказал Илья. — Грандиозно! Как были бы посрамлены Пушкин с Лермонтовым, доживи они до этих эго... кого?

— Эго-футуристов. Вселенских футуристов.

— Одного из них я знаю. Хорошо знаю, — сказал Горчилич. — Не случайно я помянул Вадима Лужанина. Через своих знакомых его знаю. Через петербургских. Я-то сам новгородский, — спохватился он. — Когда-то Лужанин писал такие же колокольные стишки. Баловался юноша. Ну, немножко «эго», чего там! — посмеивались над ним. Сейчас он научился стрелять из нагана.

«Мы пройдем по земле ураганом.  
Кровью черной Россию зальем», —

вспомнила Ирина страшный вечер на Фонарном переулке, страшных, пьяных людей, страшные стихи и страшное лицо Лужанина.

— Смотри в кого стрелять из нагана, — откликнулся на слова Горчилича Илья. — Сейчас такое время, такие дни — женщины берутся за винтовки. Петроград действительно же в большой опасности. Это будет катастрофой, если мы его потеряем. Но я думаю, Москва не допустит. Павел сказал... — Илья поперхнулся лепешкой, состряпанной Ириной, и никак не мог прокашляться. Он спохватился, что болтанул такое, о чем даже заикаться было нельзя, и не знал, как же быть дальше — кашлял да кашлял.

Ирина ударила Илью несколько раз по спине, выручая его, и сказала Горчиличу:

— Отец Павел — это наш знакомый батюшка. Он иногда приходит играть с мужем в шахматы.

— Так что сказал батюшка? — спросил заинтересованно Горчилич, почувствовав ненатуральность этой сцены и этого объяснения.

— Он сказал, — наконец продохнул Илья, — что если бог не допустит, свинья не съест.

— Остроумный священнослужитель. Ну, спасибо за гостеприимство. — Горчилич встал. — Что ж, расскажу Феньке...

— Саньке! — крикнула Ирина почти в отчаянии.

— Тьфу! — сказал с досадой Горчилич. — Всегда путаю. У них в семье ее в шутку называют сдвоенно: Санька-Фенька. Расскажу ей, как мы провели сегодня вечер. Будет очень рада.

Он ушел. Ирина прислушивалась к его шагам на лестнице.

— Что за тип? — спросил Илья недовольно, когда шаги затихли совсем. — Почему ты его как бы и опасаясь и в то же время вроде бы лебезишь перед ним? — Он был необычно серьезен.

— А ты болтун, ты невозможный болтун! — перешла в наступление Ирина. — Ну зачем, зачем о Павле!.. Я же тебя предупредила.

— А вот и надо все сказать об этом типе Павлу.

— Зачем? Мы не знаем ни его адреса, ни одного человека, кто бы его знал, был бы как-то с ним связан. Случайный приезжий.

— Если он из Новгорода, там, в Новгороде, его и найдут.

— А зачем искать? Что он сделал?

— Что? А то, что перепутал, как зовут эту Саньку — раз. Нисколько не поверил в твоего «отца Павла» — два. Человек с чистой душой должен был поверить. Он не поверил.

Ирина с трудом успокоила непривычно разошедшегося Илью.

— Милый мой, — говорила она, обнимая его. — Это все пустяки. Меня тревожит, волнует другое — что ты хочешь уехать куда-то. И надолго?

— Не знаю, Иринушка. Не очень, наверно. Оно и не так-то далеко. Сотня верст — самое большое. Я постараюсь отремонтировать мосты как можно быстрее.

— Не знаю, не знаю... — отчаивалась Ирина. — Мне будет трудно без тебя, Илюша, очень трудно.

— Мне тоже, дружок.

— Мне труднее, все равно труднее. Как ты не понимаешь.

Илья заставил ее с ногами взобраться к нему на колени, обнял, как обнимают малых ребят, начал покачивать, убаюкивать. Ирина прижалась щекой к его груди. Так было хорошо в его руках, спокойно, все темное отступало. Но она знала, что состояние это лишь на минуту, на десять минут. Стоит сойти с колен Ильи, и грозная, злая действительность, в которой все больше запутывалась Ирина, вновь встанет перед нею во весь свой великанский рост. У той действительности почему-то было отчетливо различимое лицо — белесое, ухмыляющееся лицо переодетого жандарма Кубанцева.

Телеги, грохоча и подбрасываясь, катились по разбитой лесной дороге. Молодая, просвеченная солнцем зелень покрывала березы, осины, ольхи, всю землю под ними, склоны насыпи железнодорожного полотна, по временам видного среди кустов и деревьев. Посвежели, стали сочнее и гуще кроны сосен; бронзовые среди осин и ольх, поскрипывали на ветру их столетние стволы.

Осокин во всю грудь не хотел да дышал радостными запахами отмякшего, отошедшего от зимних стуж весеннего леса. Птичьего ликующего хора не могли заглушить даже колеса четырех крестьянских телег, следовавших за лакированной, на мягких рессорах коляской, которую резво несла впереди пара серых в яблоках, похрапывающих коней.

В коляске, пригнанной из Нарвы, направлялся в свое имение один из ближайших родственников его прежнего владельца, недавно умершего в Петрограде барона Тизенгаузена, — тоже барон и тоже Тизенгаузен. С ним была крупнотелая дама в широкополой, закрывающей лицо от солнца, обшитой серыми кружевами шляпе.

В телеге, которая едва попевала за коляской, развалилась на подостланном сене, пожевывая сухие травинки, ехали два поручика; один — из Ямбургской комендатуры, другой — командир того взвода, где состоял рядовым солдатом Осокин. В трех остальных телегах, растянувшихся следом по трудной, колдобистой дороге на добрые полверсты, трясся и сам этот взвод — двенадцать солдат, включая Осокина, его спасителей и знакомцев — Егора Козлова и Степана Озерова да еще и отвратительного Осокину бандюгу Митьку Жильцова с его неизменным ножом у пояса.

У Осокина от тряски уже болело во внутренностях. Перевесив ноги через грядку телеги, он придерживал руками живот, чтобы утишить боль, не дать утробе окончательно вывернуться наружу. Но еще больше было ему, члену большевистской партии, видеть, как быстро вернулось то, что, казалось, навсегда было сметено в семнадцатом году. Уже вот и коляска, и барин с барыней — землевладельцы, помещики, и согнанные из деревень мужички с подводами для отбывания барщины, которая, как ее ни называй по-иному, все равно так и есть барщина. Вчера мужички эти хаживали в волостной Совет, выправляли бумаги на землю, отнятую у барина и поделенную Советской властью между ними, а сегодня они же везут в свою деревню белых солдат, чтобы с помощью солдатских штыков барин мог вновь вступить в свои родовые владения. Сколько же, значит, было еще недоделано, недостроено, непереустроено, если так быстро могло вернуться старое, о котором говорили, что оно отжившее, сгнившее, смердящее.

О предстоявшей экспедиции взводу объявили с вечера. «В случае чего, — сказал перед строем их командир поручик Попов, — если, допустим, красное мужичье вздумает шалить, — немедленно приклад, штык, пуля!» Наконец-то в руках Осокина была не деревяга с железинкой, какую представляла собой винтовка, не снабженная патронами. Это уже было боевое оружие, потому что каждому солдату, и Осокину в том числе, выдали по пять обойм патронов, по целых двадцать пять штук. И хотя Осокин понятия не имел, где там, впереди, проходит линия фронта, каких мест достигли белые, на каких рубежах сопротивляются красные, решение его было твердым — бежать, пробиваться к своим. Какой смысл ожидать боя? Винтовка есть? Есть. Патроны есть? Есть. Вокруг лес, буреломы, болота. В них можно исчезнуть так, что никто и не заметит, не хватится.

Осокин посматривал на Козлова с Озеровым — приглашать их в товарищи или нет? Оба уже доказали, что мужики они хорошие, очень хорошие, верные, с ними втроем было бы в пути легче, безопасней, чем в одиночку. Но согласятся ли? Все-таки риск, все-таки дело петлей пахнет и наверняка ею и кончится, если побег сорвется и всех поймают.

Коляска и телеги катились вдоль железнодорожного полотна. Не останавливаясь, миновали они лесной полустанок, и за ним все увидели на путях разбитый, исковерканный взрывом паровоз.

— Это что же, не знаешь? — спросил Осокин у возницы, подхлестывающего лошадь кнутом.

— Как что? Паровик, известно.

— А кто его так?

— Бой был. Которые от Ямбурга отступали...

— Красные, что ли?

— А я не знаю. Одно мы, видели — отходят. На выручку к ним броневой поезд подошел. И ну лупить по тем, которые от Ямбурга наступают.

— Белые?

— Говорю ж, не знаю. Видели мы только, кто в какую сторону двигался, и все. Лупит, значит, бронированный поезд из пушек по тем, которые от Ямбурга наступают, головы поднять им не дает. Тогда в этом паровозе — он в Ямбурге на путях стоял — развели пару поболе да и подхлестнули его без машиниста на полный ход прямо в грудь броневому поезду. А броневой поезд как даст, как даст встречу паровозу из пушек! И расколошматил его.

— А как полустанок-то называется? — Осокин не без удовольствия рассматривал работу красных артиллеристов. Паровоз, который белые решили использовать как таран, как сухопутную торпеду против одного из питерских бронепоездов, был изорван в клочья точными ударами снарядов. Осокин радовался за своих.

— Полустанок-то? — услышал он в ответ. — А Тикопись ему название, Тикопись.

Только поздно вечером добрались до бывшего имения барона Тизенгаузена. В свете белой северной ночи Осокин узнал каменный коровник, в котором две недели назад решалась его судьба — жить или не жить, и где ему так вовремя удалось спрятать под дощатый настил коровьего стойла чекистские документы. Если они целы, он больше здесь их не оставит. Это было совсем хорошо, это было добрым предзнаменованием для благополучного побега.

Поместили их на ночлег в нижнем этаже барского дома. От прежнего добра в нем не осталось ничего. В одной из комнат стояли сколоченный из неокрашенных досок стол, длинные деревянные скамьи да шкаф, закрытый на висячий ржавый замок. По стенам пестрели знакомые петроградские плакаты. Они были яркие, броские, зовущие. А один из них мог даже испугать тех, кто некрепок нервами. Изображался на нем как бы с птичьего полета весь Петроград: Нева, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Исаакий, Невский, Вознесенский проспекты, Гороховая... И над ними шестиногая, огромная, с охватистыми челюстями, пучеглазая гадина. Написано было тревожно, с восклицательным знаком: «Вошь над Петроградом!». Плакат призывал бороться с разносчицей сыпного тифа.

Поручик Попов распорядился сорвать все плакаты и немедленно устраиваться на ночлег. Барон с баронессой поднялись на второй этаж, куда кучер стаскал из коляски их узлы и сундуки.

Солдаты попробовали было найти соломы или сена, но не нашли и стали расстилать на голом полу свои шинели. Оба офицера таким же образом принялись устраиваться в соседней комнате, размерами поменьше. Но их то и дело звали наверх. Барон учинял скандал за скандалом. Оказывается, он с баронессой тоже вынужден был ложиться на полу. «Все разворовано! — долетали до солдат его выкрики визгливым, немужским голосом. — Пороть надо подлецов. Вернуть все немедленно!»

Поручик Попов расставил вокруг дома дозорных из солдат взвода и вернулся в свою комнату. Дверь затворилась неплотно, из нее были вы-

вернуты ручки и замки, сквозь щели и скважины Осокин отчетливо слышал разговоры офицеров.

— Мать... мать... мать... — первое, что произнес там поручик Попов, стуча каблуком о пол, должно быть, стаскивая тугой сапог. — Правы все-таки те, кто поразгонял этих бар из их гнезд. Сволочье недобитое.

— Поручик! — сказал офицер из комендатуры. — Крамола! — Но сказал он это тоном вялым и безразличным.

— Ну и мать... мать... мать... если и крамола. — Попов еще грохнул чем-то об пол, наверно, уронил кобуру с наганом.

Потом в дырках дверей коротко помигал свет, и затем оттуда потянуло табачным дымом. Офицеры закурили.

— Вообще-то, — сказал представитель комендатуры, — нынешний помещик уже не помещик. Так, недоразумение...

— Но память о былом не дает им покоя, — ответил Попов. — Пыжатся. Эти вон, наверху, кудахчут: где кровати красного дерева, где оттоманки и канапе, обитые китайским шелком? Где, где, где? А хрен его знает, где? Я вот, например, не знаю, где мои родители, не то что оттоманки!

— За своих родителей вы спросите с господ большевиков, — уверенно сказал собеседник Попова. — А барон за кровати и канапе законно хочет спросить с местных мужичков. Кто же другой? Это они, подлецы, все разворовали. Экспроприация экспроприаторов! Вот как это у них называется.

Осокин думал о том, в какую отвратительную историю его втянули сложившиеся обстоятельства. Может случиться завтра так, что его, большевика, ленинца, заставят пороть крестьян, тех самых, для которых, во имя которых он почти два года живет такой трудной жизнью. Это невозможно себе даже представить. Вот бы знали Павел Благовидов, или Ян Карлович, или отец с матерью, Валька. «Нет, мусульманин, верный измаилу, отступнику не выроет могилу», — повторяясь и повторяясь в мозгу, привязалась к нему стихотворная фраза.

А те, за дверью, все говорили.

— В стародавние времена были помещики так помещики! — с ощутимым даже через дверь удовольствием восклицал представитель комендатуры. — Здесь, скажем, какой-нибудь Шереметьев, а за десять верст от него какой-нибудь Строганов...

— Одни Притвицы здесь были, Тизенгаузены да Ван дер Флиты, — перебил Попов. — Прибалтийские губернии, серые бароны.

— Я обобщаю. Беру Россию в среднем. И вот сидит-сидит Шереметьев-батюшка, обсуждает, значит, думает, чем бы поразвлечься. Сем-ка, думает, выпорю девок. Всю неделю хлопоты, вместе с управляющим батюшка отбирает подходящих девок, шлет соседу Строганову официальное приглашение; угощаю, мол, интересным зрелищем. Управляющий выдумывает девкам должную вину: не так глянула, не так ступила, тарелку расколола, ягоду сорвала в барском саду — мало ли! В пятницу этих бедолажных трепух моют в бане с земляничным мылом, шелковые ленты им в волосы вплетают, духами опрыскивают. Ну, а с утра сосед едет. Пожалуйста! Обед, возлияния и так далее. А на десерт идут оба — хозяин и гость — в сенной сарай. Там уже лавка установлена, прутья приготовлены, в квасу вымоченные. И начинается. Одну, значит, раскладывают, задирают рубашонку, другую. Экзекуторам наказ дан — не больно-то стараться, не в розгах дело... — Представитель комендатуры засмеялся, и слышно было, как заворочался на полу.

Осокин понимал, что самому этому сукину сыну понравилась картинка, которую он так старательно разрисовывал перед поручиком Поповым. Рассказчик сам бы жаждал быть на месте Шереметьевых и Строгановых, да вот вместо этого валяется на грязном полу конторы, устроенной крестьянами в доме барона Тизенгаузена.

— А следующей субботой уже Строганов приглашает Шереметьева. Теперь, мол, он угощает соседа. Умели жить, а?

Попов не ответил, должно быть, уже уснул.

Осокин мучился мыслью, как же ему выручить свои документы и как улучшить минуту, чтобы поговорить с Козловым и Озеровым. Спалось от этого плохо; вздрогнув с чего-то, он просыпался; или получалось так, что и сон вроде видится, и вместе с тем и светлая ночь за окнами ощутима, и солдаты, раскинувшись на полу, с их могучим храпом. Поизнывав так часа три, не выдержал, поднялся, вышел на крыльцо. На патронном ящике под старой липой сидел Митька Жильцов. Винтовка у него была положена поперек колен, тяжело нависла над нею большая, сонная Митькина башка.

Осокин шагнул за угол дома, в кусты сирени — мало ли зачем туда надо было солдату, и, не топя, не суетясь, не переходя на галоп, пошел к коровнику. Были еще где-то два дозорных. Но те не страшны. Осокин опасался одного этого Митьки.

Коровник по-прежнему пустовал. Пятна крови на торцовой его стене побурели и при сумеречном свете северной ночи казались почти черными. Отворачиваясь от них, Осокин кинулся к настилу, к тому месту, где лежал он тогда, и в нетерпении сунул руку под доску. Клеенчатый пакетик был на месте. Но что с ним делать: взять его уже сейчас или же это небезопасно? Мало ли что может произойти утром и днем. А если оставить до минуты побега, то будет ли тогда возможность вернуться, забежать сюда? Ян Карлович, что делать? Как будет вернее, правильной?

Вокруг было тихо, лишь в парке, похожем на лес, перед близким восходом солнца запевали птицы.

Осокин решил взять свой пакетик. Он развернул его, осмотрел партийный билет, удостоверение чекиста и мандат, которым все организации и все должностные люди обязывались оказывать оперативному работнику К. Осокину всевозможное содействие в его работе. Да, за такие бумаги с него бы живого содрали кожу, если бы их нашли. И ничто пока не миновало, еще в любую минуту он может быть схвачен и отправлен в ябургские застенки. Разве исключена возможность, что его опознает кто-либо из офицеров, из этих баронов, из всей той шушеры, с которой он имел дело в Петрограде и в немалой своей части поудиравшей в Финляндию да в Прибалтику.

Положив пакет в карман под кисет с махоркой, Осокин вернулся к дому. Когда он выходил из-за угла, раздвигая кусты сирени, Жильцов окликнул его:

— Кто идет?

— Свои, свои, — ответил Осокин, для натуральности поддергивая штаны.

— Дай закурить, — попросил Жильцов. Осокин отсыпал ему на ладонь большую щепоть махорки. — Не спишь? — сказал Жильцов, зевая. — А я вон не совладал — ткнулся лбом в затвор. Глянь, шишку набил.

Днем взвод поручика Попова обшаривал крестьянские дворы в окрестных селениях. Ходили вместе с солдатами и два мужика, в которых барон признал служащих своего родственника. Они с готовностью указывали, в какой двор заходить, а какой и миновать можно.

— Откуда корова? — спрашивал поручик Попов, заходя в очередной хлев.

Крестьянин с крестьянкой молчали. Попов прикладывал руку к кобуре.

— Откуда ж, касатик! — вскрикивала крестьянка, понимая, что означает этот жест. — Власть дала, власть. Не сами же взяли.

— Что еще за власть? — вступал в разговор представитель ябургской комендатуры. — Краснопузых за власть считаете? Ну?

Мужик мялся, баба редела в голос.

— Чтоб через час корова была на месте, во дворе ее законного владельца, барона Тизенгаузена, — выносил решение поручик Попов. — Записать! — приказывал он бывшим служащим барона. — А тебя, — говорил он мужику, — придется выпороть. Чтобы понимал, где власть законная, а где узурпаторская. Добровольно явишься завтра к восьми утра на усадьбу. Вздумаешь уклоняться — избу спалим и самого вон на ту березу вздернем. Кто сажал-то? Поди, еще твой дед. Вот и пригодится для его строптивного внука. Распустились мерзавцы!

— Это что за стул? — начинался допрос в следующем доме.

— Из столового гарнитура господина барона, — докладывали добровольные фискалы, бывшие служащие имения.

— Чтоб был стул отнесен на усадьбу в целости и сохранности. Сроку — один час.

В третьем доме обнаруживался плуг баронский. В четвертом — веелка. Потом еще корова, третья, десятая... Стулья, столы, зеркала...

— Грабители вы, разбойники! — орал представитель комендатуры, когда в одной из деревень после обхода и обыска дворов согнали крестьян на площадь перед церковью. — По решению законных властей у вас будет работать особая следственная комиссия. Она определит вину каждого из вас. Ни одно преступление не останется без наказания. В этом залог прочности и устойчивости всякого строя, всякой власти.

Крестьяне угрюмо смотрели из-под шапок. Среди них были разные. Были и такие, которые ждали прихода белых. Но не так представлялся им этот приход. Чаялось мужичкам, что ударят по-пасхальному колокола в церквях Ястребинской волости, выйдут певчие на дорогу, крестные ходы двинутся навстречу освободительному воинству. А воинство пришествует на белых пляшущих конях, с медной музыкой, со знаменами, хоругвями.

А тут одно эти замухраистые офицерики заладили: под розги да на березу тебя. Чего пужают, и без них жить страшно!

Вечером поручик Попов выстроил взвод и объявил:

— Нам тут дела не меньше, чем на неделю. Устроиться надо по-основательней. Говорят, если поискать, можно найти сено, солому, парусину или холсты. Пошевелитесь, братцы мои, сами, раздобудьте, что надобно, сделайте сносные постели.

Крестьяне тем временем тащили в баронский дом разрозненную, пощербленную, облинявшую мебель, расставляли ее где попало и как попало. Барон с баронессой при виде каждой вещи ужасались:

— Неслыханно! Невиданно! Как все опоганили, варвары проклятые!

Осокин понял, что лучшего момента, чем этот, когда солдатам разрешено позаботиться о постелях, больше может и не быть.

— Эй, ребята, — окликнул он Козлова с Озеровым. — Пойдем-ка и мы за соломкой.

— Винтовок не оставлять! — крикнул поручик Попов. — При себе держите. Мало ли что!.. — Он помахал в сторону Гатчины, откуда доносился глухой, тяжелый гул артиллерии. — Не в летних лагерях в мирное время.

Пошли было на поиск втроем. Но увязался за ними и Митька Жильцов.

— А я тоже с вами.

Что было делать? Не скажешь же ему: поди прочь, паскуда, отстань, твое общество отвратительно, или еще что-нибудь подобное?

Молча прошли мимо коровника, пересекли поле, на котором зеленели озимые. Сеяли их крестьяне для себя, но убирать будут для помещика-барона, если красные не вышибут отсюда белых. Вступили в кустарник.

— Тут должны быть стога, — сказал Осокин. — Крестьяне всегда косят на лесных полянах.

— А может, вернуться? — сказал Жильцов. — К ночи дело. Небезопасно.

— Вот баба, ночи испугался! — Осокин плюнул с пренебрежением. — А винтовки у нас на что?

Шли и шли, все глубже забираясь в лес. Осокину казалось, что и без разговоров два его товарища понимают, для чего он затеял этот дальний поход, и согласны с ним. Они весело шагали по непросохшей весенней земле. Козлов сказал:

— Солнце вон куда садится, за наши спины. Значит, мы что, на восток идем?

— Должно, так, — отозвался Озеров. — Не заплутать бы.

— Вернемся, а? — снова начал Жильцов. — Никаких стогов нет тут и не было. Коровы-то голодные по деревьям стоят. Если бы свежая трава не пошла, сдохли бы.

— Хочешь, развертайся, — ответил ему Озеров. — А нам не к спеху.

Осокин прикинул, сколько они прошли. Версты уже три, наверно, имение далеко позади. Вокруг лес и лес, редкие поляны, густое мелколесье, подлесок. Дорог нет, только людские тропы. Можно бы уже и концы рвать, как говорил один знакомый матрос с буксира у них на верфи. Но что делать с Жильцовым? Трудную загадку загадывала Осокину жизнь.

— Вот что, — сказал вдруг Жильцов, останавливаясь, — или мы возвращаемся вместе, или я пойду один.

— Иди, — спокойно ответил Озеров. — Иди. Тебя никто не звал. Никто и не держит.

Жильцов окинул всех троих понимающим взглядом, усмехнулся.

— Ладно. Пойду один.

Он постоял, пожег плечами, повернулся и пошел в ту сторону, где садилось солнце.

«Нельзя, нельзя, чтобы он ушел, — забеспокоился Осокин. — Никань нельзя. Он же, этот подлюга, не смолчит. Все расскажет. Пошлют погоню...»

— Жильцов! — крикнул он вслед. — Слышь, Жильцов!

Тот остановился.

— Чего тебе? — И снял винтовку с ремня.

— Правду тебе скажу, Жильцов. Мы уходим. Пойдем с нами, слышь? — Осокин ощущал, как сердце его все больше волновалось, все сильнее стучало под распахнутой шинелью. Надвигалась, подходила какая-то очень важная минута, которая решит все.

— Куда же? — спросил Жильцов. — Куда ты зовешь, Алехин? К красным?

— К красным.

Жильцов передернул затвор винтовки, загнав патрон в патронник.

— А мне это ни к чему. Я у них ничего не оставил. Не трожь меня. Пойду я. — Не опуская ствола, держа палец на спуске, он стал медленно пятиться под защиту кустов калины.

От того, уйдет он или не уйдет, зависела жизнь троих человек. Осокин тоже медленно снял с плеча и положил на руку винтовку.

— Жильцов, тебе говорю, в последний раз говорю: не смеешь уходить. Стрелять буду.

— Попробуй только. — Жильцов был уже в двух шагах от калины. Прыгнет сейчас за нее и скроется в гущине — там его ни пулей, ничем не достанешь.

— Раз! — крикнул Осокин. — Два! — Вскинул винтовку, и вместо команды «три» ударил гулкой, раскатистой в лесу выстрел. Жильцов упал.

— Ребята! — Осокин растерянно обернулся к своим спутникам.

Те стояли позади него, винтовки у обоих тоже на руке, оба побледневшие, серьезные.

— Не переживай, Алехин, — сказал Озеров. — Что же еще можно было сделать? Или ты его, или он тебя.

А деловитый Козлов пошагал туда, где лежал Жильцов. Опустился над ним, ощупал всего, прижал ухо к груди, послушал.

— Мертвый!

Взял из рук покойника винтовку, вытащил из подсумка обоймы с патронами, вернулся.

— Теперь пошли. Куда идти-то, Алехин?

Сердце не успокаивалось, стучало. Осокину слышался и слышался голос Козлова: «Мертвый». Жильцов был первым человеком, которого собственноручно лишил жизни он, Костя Осокин, рабочий парень с путиловской верфи, житель окраинной петроградской улочки, имя которой — Счастливая. Нет, это было не просто, очень не просто — решиться убить. Но другой дороги не было. Как прав Ян Карлович, как прав! Две враждебные силы живут на одной земле, обе эту землю считают своей, только своей, ни одна другой не уступит добровольно, и каждый раз при столкновении этих сил будет только так, только так, как получилось сегодня между ним, Осокиным, и Жильцовым. И только потому, что Осокин на мгновение опередил Жильцова, не он валяется на этой мокрой земле, а Жильцов. Но могло быть и иначе, и, кто знает, может быть, еще и будет иначе.

## 23

В полдень, едва отшумел короткий майский дождь и обмытые им булыжники слепяще засверкали под солнцем, в деревянных улочках Пскова из сотен прокуренных, проспиртованных самогоном глоток рванулась к голубому небу лихая и грозная песня, которая была знакома псковичам еще с недавней осени восемнадцатого.

— Как ныне собирается вещей Олег...

Густо цокали по булыжникам кованые копыта растяннувшейся в длинную колонну кавалерийской массы. Покачиваясь в седлах, конники пели не так чтобы дружно, но зато со смаком, с разбойничьим пугающим свистом. Толпы мальчишек и девчонок вприпрыжку, кто так, а кто и на гибких хвостинах, стараясь блюсти равнение с рядами конников, вихрящейся толчеей окружали колонну.

Одни эти ребяташки, пожалуй, и радовались появлению новых войск со стороны Гдовской дороги. Жителям Пскова были хорошо памятли повадки конников Булак-Балаховича, и, услышав их отрядную песню, кто тревожно закрестился перед иконами, кто, не мешкая, бросился прятать добришко в подполье, кто, растерянный, затворял распахнутые на дымную, парную после дождя улицу окна, из которых совсем недавно повывинали зимние рамы.

Но были и такие, кто надевал праздничный сюртук или драповое пальто, чтобы поприветствовать доблестное белое воинство.

Никто бы не сказал, что подобных было много. Нет. Даже те, которые четыре дня назад радовались оттого, что белоэстонцы отогнали красных и заняли город, — даже и они встревожились при виде рыжих, буланых, гнедых, сивых и серых, плохо ухоженных коней, запрудивших главные городские улицы. В глазах обывателей средней зажиточности эстонцы были носителями европейского порядка, того самого, который основан на незыблемом уважении права частной собственности. А конники Балаховича — это же разгульная атаманщина; никто не ведает сегодня, что сотворят они завтра...

Сам Булак-Балахович гарцевал на рослом вороном коне. Он делал рукой направо и налево, отвечая на приветствия скопившихся на перекрестках любопытствующих зевак. Слева от него удерживал свою рыжую норо-

вистую кобылу долговязый брат атамана Юзек. По правую же руку находился адъютант Балаховича поручик Аксаков; поперек луки адъютант держал большой портфель из черной кожи с двумя медными замками; портфель тот вмещал в себя всю отрядную канцелярию. Чуть поодаль от главной троицы следовал штаб отряда — десятка полтора офицеров, разодетых кто в пехотное, кто в кавалерийское, а кто и в нечто среднее. А за штабниками — меж ними и первыми рядами отрядников — в длинном просторном интервале одна, отовсюду видная, эффектная, свободно держалась на чисто белом нервном коне красивая амазонка в тугих черных одеждах.

Обыватели шушукались: в минувший-де раз бабы при атамане не было. Кралю, значит, завел. Добра теперь не жди: начнутся побоиры на наряды ей да на украшения.

Взирая на пеструю кавалькаду, лавочники, аптекари, льнопромышленники, чиновники в страхе и трепете думали о том, что вот уйдут с приходом Балаховича спокойные эстонцы, и разгуляется в древнем Пскове беззаконие, с пальбищей, свистопляской, непотребством.

Белоэстонская 2-я дивизия захватила Псков не потому совсем, что располагала она тяжелой артиллерией, что была вооружена и оснащена неизмеримо лучше красных, хотя и это, само собой, имело место. Но как во всех случаях, когда белые побеждали красных, главной причиной их побед было то, что в штабах у красных, среди командного состава красных частей сидели изменники — бывшие офицеры, матерые волки, прикинувшиеся образцово-дисциплинированными овечками.

При первом натиске эстонцев на Псков тотчас кто куда разбежался целый красный полк, только что присланный на пополнение. Его распустили по домам и по лесам командиры-изменники. В открывшуюся брешь и прорвались оповещенные об этом эстонцы. В глубине красной обороны тем временем уже разбежались и резервные части, сигнал к бегству которым тоже подали «военспецы», соответственным образом обработавшие своих подчиненных.

Бой за Псков по-настоящему вели большевики, их коммунистические отряды. Коммунисты упрямо сражались на подступах к городу, на его улицах, а затем медленно, с боями, отступали в сторону Острова, по пути все обрастая и обрастая новыми пополнениями коммунистов, превращаясь из отряда в боевую воинскую часть.

Балахович намеревался вступить в Псков если не раньше эстонцев, то, во всяком случае, и не позже их. Одновременно. Но из его намерений ничего не получилось. Весь путь балаховцев от Гдова до Пскова прошел в непрерывных боях, в которых главной ударной силой красных неизменно были коммунистические отряды. Чтобы пройти сто верст, Балаховичу понадобилось девять трудных дней; отряд понес ощутимые потери и в людях и в конях.

Чтобы не омрачать радостной картины вступления конников в Псков, раненых балаховцев везли далеко позади колонны на телегах, на крестьянских клячонках мужики, которых согнали со всего Гдовского уезда.

Когда голова отряда — то есть Булак-Балахович с его штабом — достигла Сенной площади, колокола Георгиевского собора в Кремле, над рекой Великой ударили во все их медные пасти. Навстречу конникам вышли священники в горящих золотым шитьем облачениях, выпорхнули уже взявшиеся откуда-то черносюртучные отцы города. Атаману были поднесены хлеб-соль на расшитом утиральнике знаменитого псковского льна. Говорились речи с дощатого, устланного коврами помоста.

Последним сказать слово псковичане попросили самого героя дня. Балахович взбежал на помост лихо, прыжками, придерживая шашку в дорогах, изукрашенных металлом и камнями ножнах. Туго затянутый в талии, он щипнул усы, сплюнул под ноги. «Наглотался в пути пылищи, — сказал стоявшим в первых рядах. — Длинные и нелегкие дороги военные».

— Люди! — крикнул затем в толпу чиновников, гимназистов и гимназисток, офицеров, солдат, всякого праздного народа. — Знайте, что скажу вам. Я воюю с большевиками не за царскую, не за помещичью Россию. К прошлому самодержавному угнетению обратного хода нет и не будет, если не предадут наш великий народ некоторые генералы. За что я, можете спросить? За новое Учредительное собрание, отвечу. Вот за что. Красные стоят под самым Псковом, рукой подать. У эстонцев не вышло отогнать их дальше. Кто же отгонит? Я отгону. Я командую красными еще более, чем белыми. Они у меня здесь! — Балахович показал сжатый кулак. — Всем известно, что я не враг красноармейцам и всем насильно мобилизованным красным. Всем известно, что я их друг. И они в точности выполняют и будут выполнять приказы мои, а не своих комиссаров. У нас с вами будет демократический, народный порядок, почтенные горожане. Вы свободно будете решать сами, кого из тех, кто арестован или кто подозревается в преступлениях, карать, казнить, а кого миловать.

Кое-кто из слушавших речь атамана обратил внимание на то, какие картинные позы принимает оратор, как лицедействует, с какой актерской доверительностью обращается к слушателям.

— Между прочим, — сказал один слушатель другому, — полгода назад он носил погоны ротмистра. Сегодня, глядите, уже полковник!

— Не будет никакой пощады только коммунистам и комиссарам! — продолжал Балахович. — Об их головах никто другой, один я самолично решать буду.

Под крики «ура», вырвавшиеся из нескольких неистовых глоток, он закончил речь так:

— Вы мои дети, я ваш отец!

Балахович, амазонка в черном и весь его штаб удалились по направлению к губернаторскому дому, над крышей которого на флагштоке был поднят трехцветный российский флаг.

Утро следующего дня было солнечное, теплое. В стороне Торошина, через которое железнодорожный путь вел от Пскова на Петроград, бухали пушки красных. Снаряды не долетали до городских улиц, рвались в окраинных болотах и в песчаных карьерах. По улицам скакали группы балаховцев; они останавливались на перекрестках, чтобы прокричать на все четыре стороны:

— Эй, на Великолуцкую улицу! Эй, на Великолуцкую улицу! Батка всем приказывает.

К середине дня на улицах в центре города уже было довольно густо. Многих заинтересовало, зачем это горожан требует к себе «батка». Народ лущил семечки, шелуха шуршала под ногами на тротуарах и мостовой. Болтали кто о чем.

Затем начались приготовления, по которым нетрудно было догадаться, какие зрелища ожидали псковичей в тот день. Солдаты-балаховцы от одного фонарного столба на Великолуцкой к другому перетаскивали длинную лестницу, приставляли ее к столбу; один из них взбирался наверх и через железный кронштейн перекидывал веревку с петлей на конце.

Толпа загудела, зашумела, некоторые стали разбегаться в соседние улицы да и по домам. Но немало и осталось.

В последобеденный час на Великолуцкую въехали конники. На своем черном, вороном — Балахович. Рядом с ним, бок о бок, стремя в стремя — амазонка; следом — Юзек и адъютант Аксаков в выгоревшей офицерской фуражке, на фронтовой манер заломленной и помятой. За конниками подошли пешие отрядники с винтовками наперевес и в их окружении — пятеро оборванных, измученных людей, кто в гимнастерках, кто в пиджаках, и все пятеро босые; обувь с них уже успели стянуть.

А позади — опять на конях — с полсотни кавалеристов.

У первого столба, оснащенного петлей, шествие остановилось. Прикладами в спину конвойные выпихнули парня лет двадцати пяти, перепу-

ганного, с жалкими, умоляющими глазами. Его поставили под петлей, рядом с неизменной в таких случаях табуреткой. Парень, руки которого были связаны за спиной, забился, заметался, закричал: «Граждане, граждане! Да что же это такое! Спасите, граждане!»

Один из конвойных стукнул его прикладом по голове, парень качнулся и затих.

— Граждане! — сказал и Булак-Балахович, выезжая вперед на коне. — Сейчас мы будем вершить суд суровый, но справедливый. Вместе с вами мы допросим этого взятого в плен красноармейца. Ну, отвечай! Коммунист? — Он повернулся к парню.

— Какой же я коммунист, господин хороший! — У парня подгибались ноги, он порывался плюхнуться на колени. Но конвоиры били его по ногам, чтобы он разогнул их, чтобы стоял прямо.

— А ведь у тебя в кармане нашли большевистский билет. Как понять это?

— Всех загоняли в большевики. Ну и меня. А теперь я... Какой я теперь большевик?

— Да, теперь ты полное дерьмо и ничего больше. — Балахович говорил это с отеческим добродушием и, ухмыляясь, пощипывал ус. — И потому ты, друг ситный, дерьмо, что все вы такие, нашкюдив, ответ достойный держать не умеете, без промедления кладете в штаны. Граждане! — Он повернул коня к толпе. — Если найдется кто, чтобы взять этого хлопца на поруки, кто примет на себя труд наставить его на путь истинный и свято соблюдать свое обязательство, я помилю преступника, хотя он есть истинный и тяжкий преступник, поскольку держал в кармане своем большевистское удостоверение. Ну, кто, выходи, отзывайся!

Толпа молчала. Балахович подал знак плеткой. Парень завыл, его скрутили дюжие молодцы, надели петлю ему на шею. А дальше — табуретка, удар ногой. И кончено. Толпа замерла, потрясенная. Не слышно было ни слова. Только дыхание — тяжелое и горячее.

— Следующий!

Процессия и зрители передвинулись ко второму столбу с петлей.

К табуретке — снова ударами прикладов — выпихнули еще более молодого парня, лет двадцати, а то и восемнадцати. Этот не кричал, только не хотел даваться палачам в руки, боролся с ними, толкая их то одним плечом, то другим, вывертывался. На нем в этой схватке разодрали рубаху, и тогда из-за пазухи поверх лохмотьев вывалился белый серебряный крестик на цепочке.

— Отставить! — рявкнул Балахович на отрядников. — Откуда у тебя крест, малый? — Он напирал конем на парня. — Кто тебе его повесил?

— Матка, кто же, когда на службу меня брали.

Балахович привстал на стременах, чтобы его было видно подальше, закрасовался, повысил голос.

— Знать, воистину верующая твоя матка! — сказал он так, чтобы вся толпа слышала. — Дошла ее материнская молитва до господа бога. Отпустить его! Ну, живо!

Толпа одобрительно загудела. Некоторые захлопали в ладоши. Парень, едва ему развязали руки, пробился меж людьми к боковой улице и понесся по ней хваткой рысью: как бы не передумали да не вернули к фонарю. Юзек свистнул вслед хлестнувшим по ушам разбойным свистом.

Балахович был доволен произведенным эффектом. Приложив руку к козырьку, под шум аплодисментов он направил коня к следующему столбу с петлей, уже к третьему. Приклады вышвырнули к табуретке человека лет сорока, обросшего, с кровоподтеками на лице. Одет он был в заношенный синий пиджак и в косоворотку.

— Коммунист? — начались уже известные расспросы.

— Коммунист! — твердо ответил человек, подымая голову выше. Один глаз его заплыл кровью и не раскрывался.

Балахович как бы поразился твердости и ясности ответа.

— Чего ты так сразу-то? Петли, что ли, не боишься?

— Все ее боятся. И ты, живодер, когда придет твой час, не так нагло будешь вести себя перед нею.

— Что-что? — Балахович двинул коня прямо на человека в пиджаке. — Какие слова плетешь?

— Товарищи! — вскочив на табуретку, закричал смертник. — Слышите артиллерию у Торошина? Не сегодня-завтра вернутся наши, красные. И этот гад будет болтаться на этом же фонаре. Да здоровствует коммуна! Да здра...

Юзек двумя пулями из нагана убил бесстрашного человека. Никто его не знал. Может, это был комиссар? Может, псковский коммунист-подпольщик?

— Нехорошо, Юзек! — сказал насупившийся Балахович. — Партизанствуешь. Надо все по порядку. Все-таки вы его подвесьте. — И он тронул коня к следующему столбу...

Началось страшное время. Что ни день — все новые и новые казни на Великолуцкой. Никогда не пустовали железные эти фонари. Трупы казненных висели по нескольку дней, в назидание и в устрашение.

Но однажды был устроен спектакль иного содержания. Выставив стол прямо на тротуар перед занятым под штаб зданием, Балахович затеял запись добровольцев в свой отряд. Об этой записи кричали на перекрестках балаховцы, к ней же призывали и расклеенные по городу афиши.

Желающие нашлись. Уж больно завлекательные слухи ходили о веселой жизни балаховцев. Проходимцев тянуло в такую компанию. А были и неприкаянные, которые не знали, куда бы приткнуться. И те и другие шли к штабному дому, предстали перед Балаховичем.

— Подходи! — приказывал он желающему записаться и, сидя в кресле за столом, разглядывал его в упор.

— Как твоя фамилия? Большевиков любишь?

— А кто их любит-то?

— Правильный ответ. Достойный. За святую Русь будешь биться без страха, без колебания?

— Буду.

— Бери листок, пиши в нем все, что там спрашивают. И айда в казарму!

— Постой! — окликал сидевший тут же возле стола казначей отряда. — Деньги у тебя есть?

— Деньги-то? Да бывают иной раз.

— Хорошо. Наш порядок знай: с друзьями делись, а с врагами дерись.

Все дружно при этом хохотали. Прямо-таки сценка набора добровольцев в Запорожской Сечи.

Время от времени часть отряда или весь отряд, который в городе называли полком, отправлялся за город, совершал налеты на расположение красных. Балаховцы захватывали нередко пленных и перебежчиков. Однажды они притянули пулемет и возили его по городу, как трофей, добытый в доблестном бою.

В таких вылазках участвовала и баронесса. «Розенбергша», жаждущая острых ощущений. На ее завлекающем взоры отрядников, туго обтянутом бриджами крутом, раскормленном бедре висел пистолетик в кожаной кобурке. Баронесса палила из него в схватках с красными. Хвасталась потом числом убитых комиссаров.

Загадочная жизнь Балаховича и его окружения волновала, занимала и вместе с тем пугала горожан.

*(Окончание следует.)*



## Москва, Москва...

ИЗ ПОЭМЫ «СЕДЬМОЕ НЕБО» ■

**В**сю жизнь мою,  
Бывало ль хорошо,  
Бывало ль плохо мне,  
Не за наградой  
К тебе, Москва,  
Я не за славой шел.  
К тебе, Москва,  
Я шел всегда за правдой.

Тебя впервые  
Видя из окна,  
Не ахал я,  
Не охал я при въезде,  
Как будто мне открылась  
Вся страна  
В каком-то собирательном  
Разрезе.

Да, да, Москва,  
По улицам кривым  
Пока в тебе  
Доедешь до столицы,  
Ты взору явишься  
Во многих лицах:  
Сельцом,  
Селом,  
Поселком заводским.

Пока минуют  
Улиц рубежи,  
Пока спидометр  
Гасит километры,  
Мелькнут дома  
Заштатного райцентра,  
Проскочат  
Областного этажи.

Но Кремль,  
Но Мавзолей  
Запомнил я.  
Рубины звезд  
В беломорозном дыме  
Над древними  
Шеломами Кремля  
В ту зиму были  
Очень молодыми.

Уставшей,  
Но глядевшей свысока,  
Тебе к лицу была  
Твоя обнова.  
Под Новый год  
В конце сорокового  
Такой тебя  
Увидел я, Москва.

Мне той поры  
Тревожной не забыть,  
Когда,  
Подвох предвидя  
Сатанинский,  
Все свои крылья  
После «малой» финской  
Моя страна  
Спешила заменить.

Стареет все.  
Нежданно устарел  
Наш бомбовоз,  
А время — насмерть драться.  
Тогда-то, мастера  
Крылатых дел,  
Слетались мы к тебе  
Стажироваться.

Мы торопились  
Окрылить страну,

Прикрыть с высот  
От края и до края...  
Уже тогда  
Работа заводская  
Напоминала звуками  
Войну...

\* \* \*

Здесь, что ни звук,—  
Досрочная борьба.  
Есть звук —  
Как одиночная стрельба.

Есть звуки,  
Долетающие слабо,  
Есть звуки однозвучные,  
Как залпы.

Есть звуки нижних,  
Звуки верхних нот.  
Бьет миномет,  
Стрекочет пулемет.  
Грохочет пушка.  
На вершине хора  
Все покрывает  
Львиный рев мотора.

А если звуки  
В краски перевесть  
И посмотреть на них  
В момент разгара,  
То в этих красках  
Будут жить и цвести  
Все краски  
Азиатского базара.

По малым звукам  
Накопляя гром,  
Что потрясет потом  
Дома и рощи,  
Здесь строился «ПЕ-2»,  
Бомбардировщик,  
Пикирующий  
Под крутым углом.

Весь новенький,  
Всего вчерашний,  
Сиял он, приподняв крыла,  
И плексигласовые башни  
Высокие, как терема.  
В нем было все для удивленья,  
Все, все — от башен, дивных нам,  
До хвостового оперенья  
С двумя киями по бокам.

Не видевший  
Ни звезд, ни облаков,  
И страху и безверью  
Неподвластный,  
Его творил  
Лобастый,  
Коренастый  
Твой сын, Москва,  
Владимир Петляков.

Таким он  
И стоял невдалеке  
И объяснял,  
Сбивая нашу радость:  
— Одна беда:  
Сегодня при пике  
Машине что-то  
Не дается градус...

Мы понимали,  
Были не темны,  
Что градус тот,  
Не давшийся заводу,  
Мог подтвержденьем стать  
Его вины,  
Что снял он подвигом  
Всего полгода.

В окно влетал  
Еще не смертный гром,  
Но в нем уже была  
Его природа...  
Как мне ни горько  
Говорить о том,  
Все войны начинаются  
С завода...

Здесь, что ни звук —  
Уже борьба, судьба.  
Есть звук —  
Как одиночная стрельба.

\* \* \*

Ходил предпраздничной Москвой  
И тосковал тысячёверстной,  
Душевною,  
Телесной,  
Костною,  
Таежно-темною тоской.  
И больно было, хоть кричи,  
Когда вокруг порхали милые,  
Как бабочки розовокрылые,

Улыбки женские в ночи.  
 Вино ли пить,  
 Читать ли классиков,  
 Бродить ли у чужих огней?  
 Для одиноких нету праздников,  
 Им в праздники еще трудней.  
 Так думал я, но думу грустную  
 Развела на стапелях  
 Письмом, врученным второпях,  
 Какая-то девчонка шустрая.

В письме был зов.  
 О, сила зова!  
 Я растерялся, поражен,  
 Что так вот странно приглашен  
 В Дворец культуры Горбунова.  
 И даже не заметил враз  
 Всей книжности  
 Певучих фраз:  
 «Придите,  
 Сбросьте боль отравную...  
 Среди елок, ставших на виду,  
 Ищите в залах елку главную.  
 Пробьет двенадцать —  
 Я приду».

\* \* \*

Парк.  
 Через парк  
 Во мгле пуржистой  
 Меня тропинка привела  
 К творению конструктивистов,  
 Певцов бетона и стекла.  
 Дворец светился до угара.  
 Из глуби зала на окно,  
 Танцую, наплывали пары  
 Беззвучно, как в немом кино.

А там,  
 Подобно водопаду,  
 Навстречу мне  
 В сиянье брызг  
 Все многозвучье маскарада  
 По лестнице катилось вниз.  
 Там... Где-то там стояла ель,  
 И я по лестнице высокой  
 Вплывал, казалось, как форель,  
 Навстречу горному потоку.  
 Преодолев пролет крутой,  
 Таинственному зову верный,  
 Поднялся я до елки первой,  
 Но, по всему, еще не той...

О высота!  
 О красота!  
 Плечами хвойными играя,  
 Очам предстала ель вторая,  
 Но, по всему, еще не та.  
 Под вальс старинный,  
 Легкий, плавный,  
 Звучавший мне издалека,  
 Добрался наконец до главной  
 С вершиною у потолка.

Я даже вздрогнул  
 Среди гульбы,  
 Когда на Спасской,  
 Рвя со старым,  
 Год начался глухим ударом,  
 Недобрым, как удар судьбы.  
 А время было...  
 Было...  
 Было...  
 Клянусь, не ведая стыда,  
 Ударов тех  
 Тринадцать было,  
 А не двенадцать,  
 Как всегда...

Я ждал.  
 Я терпеливо ждал.  
 Обидно было,  
 Горько даже,  
 Что ставшего  
 На чуткой страже  
 Меня никто не признавал.

Но вот  
 По шумной быстрине  
 Шла группа летчиков приметных,  
 Орденоносных и портретных,  
 Давноизвестных всей стране.  
 В наградах, в блеске их слиянья,  
 Играло, золотом горя,  
 И заполярное сиянье  
 И халхингольская заря.  
 И чуть темневший на свету,  
 Среди наград носимый свято,  
 Негласный в золотом ряду,  
 Багрец испанского заката...

Шли летчики,  
 Шли женщины меж них,  
 И, как бы в фокусе  
 Живой картины,

Ступала коронованная Дина  
В капризном золоте  
Кудрей своих.

Как будто бы  
Ничто не изменилось:  
Походка та же  
И улыбка та.  
Все так же лунно,  
Матово светилась  
Покатых плеч  
Лебяжья красота.

Мы любим жен,  
Мы женщин обнимаем,  
Не постигая  
Все-таки душой,  
Что красоту их  
Больше понимаем,  
Когда она  
Становится чужой.

Она шла с мужем,  
Как со мной, бывало,  
И потому  
Больнее стала боль.  
Но, может быть,  
И с ним она играла  
Какую-то  
Любительскую роль?

И в ревности  
Себя не утешая,  
Спросил ее потом  
В порыве зла:  
— Красивая,  
Капризная,  
Чужая,  
Счастливая,  
Зачем ты позвала?

Стирая свет  
Благополучья,  
По безмятежности лица  
Скользнула тень высокой тучи,  
Как бы летевшей в небесах.  
— Прости...— и стихла, а когда-то  
Была не робкой на слова,—  
Умом я верю, что права,  
А чувствую, что виновата.

Для памяти  
Звала метелицу,  
Чтоб снег укрыл ее собой,  
Но память бродит, как медведица  
Над заметенною тропой.  
Шекспира ль,  
Пушкина ль прочту...  
Они писали не фальшивя.  
Любви законы там Большие,  
А правят Малые в быту.  
Мне мука сердце изожгла:  
Где истина?  
Где откровенье?  
Пошла на подвиг, а пришла,  
Как баба подлая,  
К измене...

Мне оттого и нет покоя,  
Затем тебя и призвала.  
Когда б ты счастлив был  
с другою,  
И я бы счастлива была...

К нам  
Муж ее уже шагал,  
Приметив нас  
В людском разливе,  
И я из ревности солгал,  
Сказав, что нет меня счастливей,  
Сказал ей, что с конца зимы  
Семейным радостям предамся,  
Склонился перед ней... И мы,  
Как прежде, закружились  
в танце.

Нарядная стояла ель,  
Над ней, высокой, небывало  
Пикировала и взмывала  
Бомбардировщика модель.

А мы кружили,  
Мы кружили...  
Просила милая меня,  
Чтобы отныне мы дружили,  
Как настоящие друзья.  
Чужим весельем не пьянея,  
Сказал, предавшись куражу:  
— Я с женщинами не дружу,  
Я женщин лишь любить умею!..

Так я сказал,  
Прощаясь с нею,

Веселый покидая зал.  
 Теперь до боли сожалею,  
 Что так заносчиво сказал.  
 Теперь иное откровенье,  
 Иная правда мне видна.  
 Любовь способна к перемене,  
 А дружба более верна.  
 Любость! Нет выше и прекрасней,  
 Чем обжигающая страсть,  
 Но человек над ней  
 Не властен.  
 Над дружбою  
 Возможна власть.

\* \* \*

Мы покидали  
 Опытный завод  
 И думали, спеша  
 К ангарским водам,  
 Что враг нам даст  
 Еще бескровный год,  
 А оказалось, дал  
 Всего полгода.

. . . . .

Прекрасному  
 С тех пор я счет веду  
 И жизни приношу  
 Благодаренье,  
 Что видел я  
 Улановой паренье,  
 С Качаловым сидел  
 В одном ряду.

Душа моя  
 Светилась новизной,  
 Новей, чем холст  
 При первой нагрунтовке.  
 Усталым я шагал  
 Из Третьяковки,  
 Как после пересмен  
 Из проходной.  
 Печальный Врубель,  
 Нестеров, Крамской,  
 Что не пришел еще,  
 О том жалею...  
 В тот грустный день  
 Прощания с Москвой  
 Я тихо продвигался  
 К Мавзолею...

\* \* \*

Я буду помнить весь свой век  
 Игру снегов и холод чертовой.  
 Мороз и снег,  
 Мороз и снег,  
 Как в январе  
 Двадцать четвертого.

Плечом к плечу,  
 Плечом к плечу  
 Мы шли безмолвно:  
 Снег, не вейся!  
 Придем из вьюги к Ильичу,  
 Войдем с мороза и согреемся.

Снег и мороз,  
 Поток людей  
 Был смутен  
 Смутностью былинною.  
 Противник всех очередей,  
 Я был доволен  
 Самой длинною.

Старушка —  
 Из-за трех одеж,—  
 Нарушив строгость ненамеренно,  
 Как будто шла к живому Ленину,  
 Спросила тихо:  
 — С чем идешь?

Припомнив  
 Быль и небылицы,  
 Я шел к нему,  
 Продрогший весь,  
 Что был Ой,—  
 Лично убедиться  
 И в том увериться,  
 Что есть.

Снег,  
 Снег...  
 Сквозь снег  
 И ветер адовый,  
 Что мне в лицо  
 Шрапнелью бил,  
 Я шел к нему  
 С судьбою братовой,  
 Который так его любил...

Снег...  
 Снег...

И только башни — вежами,  
И только выучка — терпи,  
Я с трудовыми шел успехами  
И с неудачами в любви.

Снег...  
Снег...  
Но часовых видать.  
Все ближе блеск  
Штыка почетного.  
В буденовках бы им стоять,  
Как в январе двадцать  
четвертого.

Пусть форма та века пройдет,  
Пусть, вызывая чувства  
странности,  
В ней Революция живет  
В своей суровой  
Первозданности.

Вниз...  
Вниз...  
Тепло.  
Там Ленин спал,  
Не потревоженный шагами.  
Там темный камень прозревал  
Голубоватыми цветами.

Вниз...  
Вниз...  
В печальном полукруге  
Судеб, как бы обнявших гроб,  
Лежали трудовые руки,  
Светился думающий лоб.

Вниз...  
Вниз...  
Лицо его сурово,  
Широк, высок бровей размах.  
И недосказанное слово  
Еще теплело на губах...

Я думал,  
Душу облегча,  
Счастливо выйду  
С легкой ношею,  
А выходил от Ильича  
С нарузкою  
Намного большею.

Я старше, я мудрее стал,  
Как будто он за все мучения  
На всю большую жизнь мне дал  
Ответственное поручение.  
Не знаю,  
Сколько буду жить,  
Но, отработав  
В цехе огненном,  
Приду однажды доложить,  
Что сделано  
И что исполнено...

\* \* \*

Москва, Москва,  
Бывало ль хорошо,  
Бывало ль плохо,  
Бодрый иль усталый,  
Как через сердце  
Родины большой,  
Я шел через тебя  
Кровинкой малой.  
И счастлив я,  
Что узами родства  
Сыны земли, как я,  
С тобой роднятся.  
Ты не имеешь права  
Жить, Москва,  
Одними теми,  
Что в тебе родятся.  
Сказать «люблю»,  
Душой не покривив...  
Сказать не смею —  
Это слишком мало!  
Ты выше неприязни и любви,  
Ты для меня, Москва,  
Судьбою стала.

# Р а с с к а з ы О Ж И З Н И

■

## ■ ЗАБАСТОВКА

**Р**асстрел 9 января 1905 года в Петербурге мирного шествия рабочих к «царю-батюшке» вызвал в Донбассе, как и по всей стране, бурю народного гнева. В ответ на кровавое воскресенье Луганский комитет РСДРП (большевиков) решил поднять против самодержавия всех пролетариев города.

По нашему плану инициатором забастовки должен был выступить наиболее крупный и хорошо сплоченный коллектив паровозостроительного завода Гартмана. Между его цехами и отделами были распределены агитаторы — активисты из старой рабочей гвардии, а также хорошо проявившие себя молодые рабочие: Василий Евтушенко, Александр Пархоменко, Иван Литвинов, Федор Якубовский, Иван Пилькевич («Ваня Большой»), Дмитрий Осипенко, Иван Шмыров, Петр Чижиков, Иван Рыжов («Ваня Маленький»). Немалая доля общей работы выпала и мне, тоже еще молодому в то время машинисту мостового крана (мне шел двадцать пятый год). Я работал в чугунолитейном цехе, в центре производственного процесса, и, может быть, поэтому и получилось, что я оказался руководителем забастовки. А вскоре мне поручили возглавить всю партийную организацию города — Луганский большевистский комитет.

Начать забастовку мы наметили 16 февраля и подготовили специальную прокламацию.

В частности, мы требовали восьмичасового рабочего дня, государственного страхования рабочих за счет капиталистов, увеличения заработка на 20 процентов, увеличения поденной платы чернорабочим и женщинам на 30 копеек в день, отмены сверхурочных работ и штрафов. Были выдвинуты также требования не увольнять, и не арестовывать рабочих и выборных от них как во время забастовки, так и после нее, и за все дни забастовки уплатить полный заработок.

С утра 16 февраля атмосфера в цехах была как бы наэлектризована. Рабочие уже прочитали листовку и многозначительно переглядывались, собирались группами, ожидая сигнала. Когда раздался неурочный гудок, первым остановился механический цех, а следом за ним и другие. Повсюду раздавались возгласы: «Шабаш!», «Бросай работу!». К назначенному месту потекли бурливые человеческие ручьи, постепенно сливавшиеся в реки. Вскоре на заводском дворе собралось более трех тысяч человек. Начался митинг.

По поручению комитета выступил я, рассказал о кровавом воскресенье, о преступной русско-японской войне, которая выгодна только капиталистам. Я подробно

---

Начало см. «Октябрь» № 9, 1967. Печатается с сокращениями.

разъяснил цели забастовки и призвал поднять на совместные революционные действия рабочих других заводов и крестьян из пригородных деревень.

Вслед за мной брали слово другие рабочие — поддерживали партийный комитет, приветствовали забастовку, заявляли о своей готовности к решительным действиям. Особенно ярко говорил Иван Пилькевич («Ваня Большой»), местный поэт: он призывал проявить твердость в отстаивании наших требований перед заводской администрацией. В заключение прочитал собственные стихи:

На борьбу с капиталом зови!  
Призови всех на подвиг великий,  
Пусть рабочий великий народ  
Произвол уничтожит тот дикий,  
И тогда солнце правды взойдет.

В дальнейшем судьба Ивана Пилькевича сложилась трагически. Тесно связанный с Луганским комитетом партии, он активно участвовал в революционной борьбе. Во время выступления против царского самодержавия на одной из железнодорожных станций его зверски избили черносотенцы из «Союза русского народа», и он в бессознательном состоянии был доставлен в больницу. За революционные стихи, распространявшиеся в рукописях и устно, и за участие в революции Пилькевича в 1907 году сослали в Бессарабию. В 1909 году, отбыв ссылку, он умер от истощения...

Митинг прошел с большим подъемом. Выбрали стачечный комитет — Данила Николаевича Гурова, Ивана Николаевича Нагих, меня и еще нескольких человек. Комитету поручили уточнить требования к дирекции завода и добиваться их удовлетворения.

Весь остаток дня мы, комитетчики, занимались составлением перечня наших требований. Писали, переписывали, спорили, стараясь как можно полнее учесть и четко сформулировать все предложения, высказанные не только на митинге, но и в личных беседах и в записках, переданных рабочими. Для утверждения выработанных стачечным комитетом требований на следующий день, 17 февраля, собрали еще один митинг. Вновь тысячи рабочих заполнили заводской двор. Предложения, сформулированные комитетом, обросли рядом поправок и дополнений. В итоге получился внушительный документ, состоявший из 29 пунктов. В частности, рабочие настаивали на удалении городских из всех цехов и замене их сторожами; требовали уволить с завода доносчиков, разрешить свободную организацию цеховых союзов.

Для переговоров с администрацией избрали 56 депутатов (по два человека от каждого цеха). Они составили Депутатское собрание, которое из своей среды выделило исполнительный комитет. В руках этого комитета — а в него вошли почти все члены первоначально созданного стачечного комитета — сосредоточилось все руководство забастовкой.

Переговоры с заводским управлением проходили напряженно. Директор Е. Е. Хржановский сравнительно быстро принял всякие второстепенные пункты, а главные, основные упорно отводил на том основании, что он якобы некомпетентен даже рассматривать их, что их решение возможно лишь в законодательном порядке. Но мы стояли на своем.

Явно издеваясь над представителями заводского коллектива, директор завода спросил нас с усмешкой:

— А почему вы, господа рабочие, требуете установления восьмичасового рабочего дня, а не семичасового? Ведь тогда работать будет еще легче.

Как возглавляющий Депутатское собрание и его исполнительный комитет, я от имени своих товарищей ответил, что человек должен не только работать, но и отдыхать, а ночью спать. Если разделить сутки на три такие части — работа, отдых, сон — то как раз и получается каждая по восемь часов.

Директор не нашел на это вразумительных возражений. В конце концов он сказал:

— Ну, что ж, вы знаете мнение дирекции, и нам больше не о чем говорить. Предлагаю прекратить забастовку и рабочим вернуться на свои места.

— Этого не будет, — ответили мы. — И до тех пор не будет, пока не удовлет-

ворят наши требования. Если же администрации неуютно продолжать разговор сегодня, давайте продолжим его завтра.

Мы твердо стояли на своем, уверенные в поддержке рабочих других заводов, с представителями которых договорились заранее. Уже широко разошлась новая прокламация «Рабочим и работницам железнодорожных мастерских, заводов Патронного и Эмалировочного и других промышленных заведений города Луганска». С часу на час мы ждали, что забастовка на Гартмановском заводе перерастет во всеобщую, и это вынудит заводчиков и фабрикантов пойти на уступки.

Так и получилось. Вскоре прекратилась работа на Эмалировочном, Костыльновоздильном и Спиртоочистительном заводах, в двух городских типографиях, на казенном винном складе, в мастерских, магазинах, аптеках. Однако еще продолжал действовать государственный Патронный завод. Тогда мы организовали внушительную демонстрацию солидарности.

Более двух тысяч рабочих Гартмановского завода двинулись по улицам города. В пути к нам присоединились забастовавшие рабочие железнодорожных мастерских и других предприятий.

Когда мы подошли к Патронному заводу, в наших рядах было уже около шести тысяч человек.

Администрация Патронного завода не на шутку встревожилась. Появился начальник завода генерал-майор Кабалевский со своими помощниками. Они предлагали демонстрантам разойтись, устрашали разными карами. Но это нас не остановило. Из толпы раздавались крики:

— Давайте гудок — прекращайте работу!

— Патронники, дело за вами!

Из проходных ворот завода стали выходить на улицу мужчины, женщины, подростки. Многие примыкали к нашей демонстрации, другие окружили своего начальника и тоже стали требовать: давайте гудок! Опасаясь осложнений, Кабалевский был вынужден согласиться — над собравшимися тысячами рабочих Луганска раздался протяжный гудок Патронного завода. Казалось, его басовитый голос призывал: «Кончай работу! Смелей! Пришло время показать нашу силу!..»

Обстановка в городе накалилась. Местные власти вызвали в город роту солдат. Но рабочие не дрогнули, и это вынудило администрацию завода Гартмана возобновить переговоры с нашим Депутатским собранием. На этот раз Хржановский оказался сговорчивее. Он принял ряд основных наших требований, и мы решили 22 февраля возобновить работу.

Таким образом, продолжавшаяся с 16 по 21 февраля забастовка закончилась победой рабочих. Мы добились девятичасового рабочего дня, повышения заработной платы, удаления из цехов полиции, расширения заводской школы, создания библиотеки. Одно из основных требований — оплатить всем рабочим за время забастовки — администрация также приняла, хотя и сделала, как говорят, хорошую мину при плохой игре: в виде «поощрения» коллективу паровозостроителей были выделены сто тысяч рублей из доходов завода за 1904 год. Эта сумма составила солидный фонд нашей ссудо-сберегательной кассы.

Победа дала возможность рабочим почувствовать, что мы могучая и грозная сила, с которой не могут не считаться хозяева заводов и фабрик. Созданное в дни забастовки Депутатское собрание осталось функционировать и дальше, превратившись в постоянный орган заводских рабочих, своего рода Совет рабочих депутатов, ставший прообразом народившейся в октябре 1917 года Советской власти.

## ■ НАСТУПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Успех февральской забастовки поднял боевой дух трудового населения Луганска и серьезно напугал городские власти, полицию и в особенности местную буржуазию. По их настоянию в город ввели еще войска и казачью сотню. Но мы верили в свои силы, знали, что не одиноки в борьбе.

О боевом настроении рабочих и Луганского большевистского комитета свидетельствует листовка, выпущенная в конце апреля 1905 года:

«Товарищи! Поздравляем вас с днем 1 Мая — всемирным пролетарским праздником борьбы, стоящим выше всех остальных праздников, выдуманных папями да назначенных начальством.

И пусть в этот день, несмотря на угрозы сволочей полицейских омрачить наш светлый праздник погромом, мы будем всюду провозглашать:

Да здравствует 1 Мая!!!  
 Да здравствует братство рабочих!!!  
 Долой самодержавие!!!  
 Да здравствует восьмичасовой рабочий день!!!  
 Да здравствует социализм!!!

Луганская организация Российской Социал-  
 Демократической Рабочей партии».

С огромным воодушевлением встретили луганские большевики сообщение о III съезде РСДРП. Дошли до нас и сведения о Женевской меньшевистской конференции. Сопоставив их решения, мы еще яснее поняли правоту и силу ленинского курса на свержение самодержавия, ликвидацию всех остатков крепостничества и царского произвола в стране.

Усиленные наряды полиции и прибывшие в Луганск войска, донские казаки постоянно напоминали нам о кровавом воскресенье. Мы понимали, что царские власти, стремясь задушить революцию и разгромить рабочие организации, ни перед чем не остановятся, что нам предстоит трудные времена. Если дело дойдет до вооруженной борьбы, рассуждали мы, то часть солдат, таких же, как и мы, простых людей, поддержит нас, однако найдутся и «верноподданные», которые будут стрелять. И мы готовились обуздать их, заставить подчиниться воле народа. Для этого надо было вооружиться, самим создать специально обученные группы для охраны собраний, демонстраций, стачек. В случае необходимости эти группы должны действовать против царских войск и полиции. Мы начали выяснять, кто из наших рабочих служил в армии, имеет оружие и умеет им пользоваться. Оказалось, такие есть, но довериться можно было не каждому. Кое-кто любил выпить и был не в меру болтлив, другие замечены в наущничестве, в связях с заводской администрацией, третьи слишком дорожили своим благополучием и как огня опасались не только участия в революционной борьбе, но и самых безобидных разговоров на политические темы. И все же мы нашли нужных людей.

Одним из первых был Тихон Лаврентьевич Бондарев, рабочий с завода Гартмана. Он отбыл воинскую повинность, обладал военными навыками. По его совету мы разделили дружинников на строго законспирированные группы по 10 — 12 человек, выделили среди них старших. Эти группы назывались у нас «десятками».

По поручению партийного комитета члены дружины собрали и отремонтировали несколько старых дробовых ружей, отковали самодельные пики, и Тихон Бондарев стал проводить с дружинниками занятия. Они изучали военный строй, разбирали и собирали оружие, а иногда стреляли в цель в глухих балках и отдаленных оврагах. В дальнейшем Бондарев стал признанным руководителем всей нашей боевой рабочей дружины, а в годы гражданской войны отважно защищал молодую Советскую республику и был награжден орденом Красного Знамени.

В числе первых добровольцев-дружинников был и слесарь Захар Горпиненко, прибывший в Луганск из Двинска, где служил в царской армии и состоял членом подпольной военной организации социал-демократов, распространял среди солдат нелегальную литературу. За это военный суд упрятал его в тюрьму. Отбыв наказание, Горпиненко переехал в Луганск и включился в партийную работу под кличкой «Патронный», был организатором-агитатором, а когда потребовалось, стал членом боевой дружины.

Занятия наших дружинников проводились, конечно, в строжайшей тайне — в окрестностях города, а иногда у кого-нибудь на дому. Одним из таких пунктов сбора являлась квартира рабочего Давида Кирзона. У него были две взрослые сестры, и это позволяло нам собираться у него как будто бы для развлечений, гулянок.

При больнице завода Гартмана нам удалось создать конспиративную группу медиков. В нее вошли наши заводские девушки — Фрося Поваркова, Ольга Самохвалова, Соня Хесина, сестры Кирзон. Руководили санитарной дружиной фельдшерница Софья Александровна Пряничникова и доктор Кац.

Возможность получать от друзей-горняков динамит из шахтных хранилищ позволяла наладить изготовление бомб, надо было только найти надежных людей для этого дела. Такими людьми оказались Максим Поляков и Александр Феер. Они организовали отливку и отточку чугунных корпусов для бомб, а лаборант — провизор больницы Перчихин, умелый и верный человек, заряжал их динамитом. Кое-кто доставал у шахтеров запалы-детонаторы. Сборка и окончательная оснастка бомб проводилась в доме не то Люца, не то Куца, в Артиллерийском переулке.

Готовые бомбы мы испытали в дальней загородной балке; они оказались вполне пригодными. Хранить их решили в укромном месте — в скирдах из обмолоченной соломой в Каменном Броде, за рекой Луганью. Но опыта обращения с бомбами у нас не было, и это однажды привело к случайному взрыву. К счастью, никого вблизи не оказалось, и потому обошлось без человеческих жертв.

Помню, я был на квартире моего бывшего учителя Семена Мартыновича Рыжкова. Мы о чем-то беседовали, как вдруг где-то вдали раздался взрыв, всполошивший, как нам показалось, весь город. Я подумал, что, должно быть, погибли запасы наших бомб, и, видимо, резко изменился в лице. Семен Мартынович заметил это и спросил: — Уж не у ваших ли рабочих что-то взорвалось?

Мне пришлось собрать всю свою волю, чтобы не выдать себя.

— Не понимаю, о чем вы говорите... Может быть,— добавил я, стараясь держаться как можно спокойнее,— взорвался какой-нибудь склад, где хранится взрывчатка шахтовладельцев.

Видимо, мой ответ не очень-то убедил учителя. Он улыбнулся, однако промолчал.

В связи со взрывом зашевелилась полиция; долго расследовала, выясняла, что и где произошло, но так и не докопалась до истины. Нас же этот случай заставил еще тщательнее конспирировать каждый свой шаг, в особенности все, что касалось оружия и вообще деятельности боевых дружинников. К тому времени они уже играли значительную роль в охране нелегальных большевистских собраний и загородных рабочих митингов и массовок.

Первомайскую маевку 1905 года мы провели в загородной балке за Ольховым мостом.

Через своего человека, связанного с полицией, мы знали, что шпики разнюхали место нашего сбора и готовят расправу. Полиция хотела застать нас врасплох во время митинга. Но мы расставили своих людей на подходах к условленному месту, поручили им зорко следить за всем, что делается в лесу, и сообщать о новом месте сбора рабочим, которые под видом гуляющих шли на маевку. В случае же появления полицейских наши дозорные должны были изображать подвыпивших гуляк — затевать между собой борьбу, играть, плясать под гармошки и балалайки.

Особенно удачно действовала боевая десятка молодого рабочего Северьяна Кузьмича Крюкова. Его дружинники — И. Д. Литвинов, А. А. Лимарев, Н. М. Дьяченко, Петр и Павел Мальцевы, А. С. Руденко — буквально сбили с толку полицейских своими проделками.

На этом первомайском митинге было оченьлюдно. Рабочие открыто осуждали царский режим, бурно поддерживали выступающих ораторов, говорили, что готовы, если надо, взяться за оружие и биться за дело рабочего класса до победного конца. Некоторые ораторы цитировали в своих речах стихи нашей поэтессы Софьи Яковлевны Дальней (Дерман). Она еще в 1902 году вступила в Луганске в социал-демократический кружок, долго работала в подполье, стала профессиональной революционеркой, и в дальнейшем ее стихи печатались в «Правде» и в журнале «Работница».

Софья Дальняя была замечательным человеком, одной из первых пролетарских поэтесс. Главной темой ее творчества был рабочий Донбасс. В 1926 году вышла книга ее стихов «Первые шаги» с предисловием Н. К. Крупской. Она оставила на память товарищам свою рукописную поэму «На заре», в которой прославляет безвременно погибшего молодого пролетарского поэта, своего друга Ивана Пилькевича («Ваня Большой») и упоминает имена других участников революционной борьбы того времени — Ивана Федоровича Ткаченко-Петренко, Петра Иосифовича Пупова и мое.

Когда маевка окончилась и ее участники уже расходились, мы, человек пятьдесят наиболее активных молодых рабочих, все еще толпились на месте сбора, ожив-

ленно обсуждая только что прошедший митинг. Нам не хотелось расставаться, мы чувствовали прилив сил, жаждали деятельности... Кто-то подал мысль: хорошо бы показать горожанам и полиции, что мы не боимся никаких репрессий и смело выступаем за правое дело. Тут же было решено двинуться с красными флагами на вокзал, куда вот-вот должен был прибыть пассажирский поезд.

Сказано — сделано. Нацепив на палки красные девичьи платки и построившись в колонну, мы направились к железнодорожной станции и подошли к ней в самое время. Пассажиры из проходящего состава прогуливались по перрону. Пожалуй, никто бы и не заметил, как на краю платформы появилась наша небольшая группа. Но мы запели «Варшавянку», и это привлекло всеобщее внимание.

Шагая в ногу, мы маршировали сомкнутым строем, и наши импровизированные флаги колыхал свежий ветерок. Все это оказалось столь неожиданно для железнодорожной администрации, что она не успела предпринять никаких мер для пресечения дерзкой выходки. А когда появилась полиция, нас на станции уже не было.

Так под носом у царских властей нам удалось провести празднование Первого мая и сплотить рабочих вокруг немногочисленной группы большевиков-ленинцев. В праздновании приняли участие и некоторые крестьяне из соседних деревень. Их мы специально пригласили на митинг, и с помощью наших провожатых они миновали полицейские кордоны.

Тяжелая жизнь вынуждала крестьян подниматься на борьбу против помещиков, и луганские рабочие старались объединить с ними свои силы для общего натиска на самодержавный, помещичье-буржуазный строй. Посланцы Луганского комитета партии бывали почти во всех селах уезда и завязали знакомства с надежными людьми из деревенской бедноты. Особенно прочные связи у нас установились с крестьянами из Александровки и Макарова Яра.

Запоминающаяся встреча произошла с крестьянами Александровки. Мы долго готовились к ней и приурочили к одному из престольных праздников. На церковное богослужение собралось множество народа, не только местные жители, но и богомольцы из соседних деревень.

Прибыв в село накануне праздника, я и мои товарищи разошлись по крестьянским хатам, беседовали с бедняками и батраками, расспрашивали, как они живут, какие у них беды, заботы. В частности, нам удалось установить, что крестьяне этого села имеют все вместе девятьсот десятин земли, тогда как у местного помещика — двенадцать тысяч десятин — в тринадцать с лишним раз больше! Крестьяне были в кабале у помещика, семьями гнули спину на его полях, жили впроголодь. Весь этот фактический материал мы использовали на нелегальной сходке, которую провели вечером на площади, за помещичьим садом.

На этой сходке я рассказал об обстановке в стране, о положении трудящихся в России и привел конкретные примеры из жизни самой Александровки. Слова о том, что рабочие и крестьяне должны идти одной дорогой и сообща бороться за землю и свободу, против общих врагов — помещиков и капиталистов, — вызвали бурный отклик, много вопросов и реплик.

— Давно пора расчитаться с помещиками-кровососами!

— Как будем делить землю?

— Что делать с теми полями, которые уже засеяны?

Мы понимали, что время для практических действий еще не пришло, но час этот не за горами. И чтобы не толкать крестьян на преждевременные и обреченные на провал выступления, посоветовали им:

— Держите с нами связь. Создавайте революционный комитет и, когда настанет срок, не останавливайтесь на полпути: земля должна принадлежать не богатым бездельникам, а тем, кто ее обрабатывает, кто поливает ее своим потом и кровью.

И участники сходки, как видно, запомнили наши советы и в дальнейшем стали нашей опорой на селе.

Но вернемся к событиям в самом Луганске. Здесь по-прежнему работали заводы и мастерские, торговали лавочки и магазины, в городском саду по вечерам происходили гулянья, играла музыка, хотя город и жил настороженно. На улицах стало больше полицейских, то и дело появлялись конные казацкие разъезды.

В эти дни мы узнали о восстании черноморских моряков на броненосце «Потемкин», и боевое настроение революционеров-луганцев еще более поднялось. В рабочих районах начали открыто говорить о гнилости самодержавного строя, о бездарности царских генералов, проигравших русско-японскую войну, о необходимости с оружием в руках расправиться с самодержавием, помещиками и буржуазией. Нам оставалось лишь направлять революционную энергию масс в нужное русло.

Большой силой к тому времени в городе стало наше рабочее Депутатское собрание, созданное в ходе февральской забастовки, и его исполнительный комитет, который все более превращался в орган рабочего управления, орган власти. В исполком входило пять человек — Д. А. Волошинов, Д. М. Губский, Д. Н. Гуров, И. Н. Нагих и я. Нам приходилось заниматься уймой дел, связанных не только с работой заводов, но и с жизнью населения. Мы все более убеждались, что администрация завода Гартмана уклоняется от выполнения ранее принятых ею требований рабочих, ссылаясь на то, что владельцы паровозостроительного завода подписали в Петербурге с другими промышленниками конвенцию, запрещающую сокращать рабочий день, оплачивать за время забастовок и допускать нас к устафовлению расценок и к выработке правил внутреннего распорядка. Не выполнен был и пункт февральского соглашения об увольнении с завода шпиков, которые доносили администрации и полиции обо всем, что делалось в цехах.

Тогда мы устроили совместное заседание заводской партийной организации и Депутатского собрания и потребовали от дирекции завода выполнить все пункты соглашения. Директор отказался, и нам не оставалось ничего иного, как призвать рабочих к новой забастовке.

Эта наспех организованная забастовка началась 8 июля 1905 года. Началась дружно, с большим подъемом, но мы не учли силы полиции и не использовали по-настоящему свои боевые дружины.

Когда рабочие собрались на заводском дворе обсуждать новые требования к администрации, появились вооруженные полицейские, и мы оказались почти полностью окруженными. Мы даже не успели объявить об открытии митинга, как полицейские открыли стрельбу и начали теснить людей к реке. Нужно было обеспечить организованное отступление, но и его нам не удалось наладить.

Основная масса участников митинга ринулась к Лугани, где еще оставался небольшой проход, и пустилась вплавь на другой берег, за территорию завода. Как один из организаторов забастовки, я отходил в числе последних и, насколько позволяла обстановка, старался руководить комитетчиками и навести хотя бы относительный порядок.

Мы стремились разбить толпу на ручейки, чтобы ускорить переправу. Ценой больших усилий это было почти достигнуто, но сами мы не успели скрыться. Разъяренные полицейские с обнаженными шашками, с револьверами в руках окружили нашу группу. Меня сбили с ног, еще кто-то из товарищей упал рядом. Началась расправа. Нас били, что называется, смертным боем, и вскоре я потерял сознание. Очнулся в полицейском участке, который помещался здесь же, на заводе. Спустя некоторое время сюда привели еще и рабочего-большевика Самарина. Он был весь в синяках и кровоподтеках. Я попытался выяснить у него судьбу других комитетчиков, но он ничего толком не знал. Связаться ни с кем было нельзя. Время от времени полицейские забегали в каморку, в которой мы находились, и потчевали нас зуботычинами и пинками, били рукоятками револьверов и всем, что попадалось под руку.

Однако по нервной суете полицейских, по всему их поведению мы догадывались, что они беспокоятся за собственную судьбу, опасаясь внезапного нападения рабочих. Этого нападения с надеждой ждали и мы, хотя и понимали, что полицейские прежде всего рассчитаются с нами. Мы своими ушами слышали приказание пристава:

— В случае чего прикончить этих мерзавцев.

А около полуночи раздалась новая команда:

— Подать веревки! Да быстрее, не мешкать!

Мелькнула мысль: «Повесят!» Но все же теплилась надежда: «Нет, не посмеют. Ведь если об этом узнают рабочие, они разнесут не только полицейский участок, но и весь завод». Однако могло быть всякое. И когда в нашу камеру вошли

городовые с веревками в палец толщиной, я почувствовал себя не особенно приятно. Взглянул на своего товарища; его обезображенное лицо залила страшная бледность.

Нам приказали встать. Избитые, мы не могли подняться, лежали — один на полу, другой на лавке. Тогда нас подняли силой. Опираясь друг на друга, мы еле стояли. Нанося удары под ребра и по лицу, городовые принялись нас связывать. Вначале крепко привязали мою правую руку к левой руке Самарина, затем связали вместе и наши туловища, сделав несколько витков. При этом в руках полицейских остались еще длинные концы веревок, и они, как бы на растяжках, вывели нас из участка.

Во дворе стояла большая толпа полицейских и конных казаков. Пристав прокричал им с крыльца:

— Господа! Вы ведете злейших преступников против царя и отечества. Имейте в виду: на вас может быть совершено нападение их сообщников. Так вот, при малейшем вмешательстве толпы прежде всего покончите с ними! Поняли?

— Так точно, ваше высокоблагородие!

Подгоняемые ударами, мы двинулись. Вели нас по самым темным улицам и переулкам, прилегающим к территории завода. Было тревожно: ведь полицейские могли подстроить любую провокацию, чтобы убить нас. Кто их станет спрашивать, нападала или не нападала на них толпа, пытались мы убежать или нет?

В глухом переулке, у дома с ярко освещенными окнами нас остановили. Томясь ожиданием, мы простояли около часа. Тело ныло от побоев, ноги «гудели» от усталости, глаза, залпывшие от синяков, почти ничего не видели.

Наконец из окруженного городовыми дома вывалилась на улицу новая толпа полицейских. Они кого-то толкали впереди себя, и мы не сразу узнали в этом человеке нашего товарища, большевика Вольфа. Его поставили рядом с нами, но не связали и не били — может быть, потому, что он и без того был едва жив. Мы двинулись дальше, потом снова где-то стояли и еще кого-то принимали в свою арестантскую компанию.

Так продолжалось всю ночь. Нас водили по темным улицам и переулкам, оставляли, кто-то еще и еще пополнял наши ряды, и нас гнали дальше. Полиция, видимо, основательно подготовилась к этой расправе, у нее было много адресов, и почти всюду она подкарауливала, заставляла врасплох кого-нибудь из наших. Так была захвачена большая группа самых активных подпольщиков, членов нашей партии. Стало очевидно: нас выдал какой-то провокатор.

В полицейское управление нас привели уже на рассвете. Донельзя усталые и измученные, мы буквально валились с ног. Здесь нас не били и даже не допрашивали, записали фамилии, еще какие-то данные и тут же отправили в тюрьму.

В тюрьме меня отделили от других арестованных и посадили в карцер. Двое полицейских снова начали избивать меня смертным боем. Били, пока я опять не потерял сознания. Не знаю, как долго находился без памяти. Помню только: когда очнулся, было уже за полдень. В карцер зашел надзиратель и спросил, хочу ли пить. Я пробормотал что-то, и он принес кружку воды. А через некоторое время второй надзиратель перевел меня в одиночную камеру. Здесь было какое-то убогое ведро с водой, грязное полотенце. Затем мне принесли миску горячей баланды, и я впервые за день утолил мучивший меня голод. Силы во мне едва теплились. Только дней через пять-шесть я почувствовал себя лучше. К этому времени ко мне в одиночку начали подселать кое-кого из товарищей: тюрьма была переполнена. С некоторыми из них я просидел до самого освобождения.

## ■ ГОРЯЧИЕ БУДНИ

Разгром июльской забастовки, арест ее руководителей позволили администрации завода Гартмана и полиции осуществить и другие репрессии. Около двухсот активистов-забастовщиков были не только уволены с завода, но и выселены из Луганска. Временно ослабела деятельность Депутатского собрания. Но, несмотря на все это, власти были не в состоянии остановить революционный подъем. Луганские пролетарии, как и рабочие других промышленных центров России, продолжали действовать смело и решительно.

Большевистский центр в Петербурге и Екатеринославский партийный комитет постоянно оказывали нам помощь опытными кадрами профессиональных революционеров. В это время и позднее в Луганске периодически работали видный партийный пропагандист Л. Л. Шкловский («Сергей»), петроградский рабочий А. П. Тайми, екатеринославский большевик В. И. Нанейшвили, профессиональные революционеры Вольфсон («Михаил»), А. П. Пинкевич («Максим»), Г. И. Левин («Анатолий»), Э. В. Лугановский («Роберт», «Монька»). На Орловско-Еленовском руднике душой местной партийной организации стал ветеран рабочего движения, руководитель знаменитой морозовской стачки 1885 года в Орехово-Зуеве, большевик Петр Анисимович Моисеенко. Они помогли укрепить луганскую большевистскую организацию и преодолеть трудности, возникшие после поражения июльской забастовки. В ряды большевиков были приняты многие передовые рабочие, доказавшие на деле свою преданность пролетарской революции, — активные участники забастовок, боевые дружинники, надежные и верные исполнители различных поручений партийного комитета.

В одном из сообщений В. И. Ленину из Луганска один из местных большевиков писал в то время:

«Собирали заводские комитеты, привели силы в порядок, устроили массовку, первую. Рабочих было 300 человек. Говорил оратор о Государственной думе, о нашем отношении к ней. На второй было рабочих до 200, теперь укрепили комитеты завода Гартмана, Патронного, железнодорожных мастерских и города, восстановили кружок, начали занятия... одним словом, работа у нас идет хорошо. Связи растут. Очень нуждаемся в пропагандистах. 17 сентября было собрание организованных рабочих, говорил оратор о третьем съезде, о наших разногласиях с меньшинством и друг.»

Чтобы улучшить связи с рабочими и трудовым населением, Луганский комитет создал районные организации: гартмановскую, Патронного завода, железнодорожную и городскую. Выборные представители от них и составили общегородской партийный комитет.

Вести партийную работу приходилось конспиративно, хотя мы и стремились использовать любую возможность для легальной деятельности. В частности, мы довольно широко прибегали к помощи Публичной рабочей библиотеки-читальни, созданной вскоре после успешно завершившейся февральской забастовки. Луганский комитет пополнил эту библиотеку лучшими художественными произведениями, книгами на естественнонаучные и исторические темы, а также отдельными нелегальными или полунелегальными изданиями, которые были переплетены в обложки от других книг.

Заведовал рабочей библиотекой-читальней учитель Павел Максимович Седашов. Не будучи членом партии, он сочувствовал рабочим, их революционной борьбе и по нашему поручению выдавал нужную литературу партийным агитаторам и пропагандистам. Об этом вскоре узнала полиция и нагрянула к Седашову с обыском. Впоследствии Павел Максимович рассказывал в своих воспоминаниях, как в помещение заводской библиотеки явились пристав и надзиратель завода Гартмана с инспектором народных училищ. Начался обыск... «Архангелы» распределились по отделам каталога. Пристав был из офицеров царской армии и претендовал на самый большой отдел — беллетристику. Малограмотному надзирателю поручили заниматься политической и исторической литературой, а инспектору отдали все другие отделы.

«Архангелы» были личностями достаточно серыми, в особенности полицейский надзиратель. Этот деятель зачислял в разряд запрещенных все книги в красных переплетах. Доходило до курьеза: самые что ни на есть легальные книги по земледелию, и те оказались в числе крамольных. Причина была все та же — цвет переплета.

Но в кучу отобранных книг попали и действительно запрещенные... Обыск затянулся допоздна. Отобранные книги не успели переписать. Завязанные, но не опечатанные, их отправили на подводе в полицейское управление.

Положение создалось критическое. За наличие запрещенных книг в Публичной библиотеке-читальне отвечал заведующий библиотекой. Павлу Максимовичу грозили арест и ссылка. К счастью, вечером удалось отыскать земляка из г. Славяносербска, Александра Чернощекова, молодого человека, служившего писарем в управлении по-

лиции. Чернощеков помог подменить наиболее «опасные» из запрещенных книг другими — в таких же красных обложках.

Но хотя обыск и не дал нужных полиции результатов, все же царские власти припомнили П. М. Седашову его работу в «крамольной» Публичной рабочей библиотеке-читальне. Когда награждали учителей за выслугу лет медалью «За усердие», он ее не получил, хотя имел на это полное право. Но Советская власть не забыла честного труженика (он руководил библиотекой бесценно до 1922 года) и назначила ему пожизненную персональную пенсию.

Партийный комитет стремился к расширению связей с рабочими и их семьями, привлекал наиболее сознательных к революционной борьбе. Особенно большую помощь оказывала нам «тетя Гущи́ха» — Анна Лукинична Гущина, жена рабочего из чугунолитейного цеха завода Гартмана. Ей было тогда около пятидесяти лет, и эта исключительно жизнедеятельная, изобретательная женщина фактически являлась главой семьи — муж и двое взрослых сыновей, Павел и Василий, беспрекословно ей подчинялись.

В молодые годы Анна Лукинична примыкала к организации «Земля и Воля» и в обличье монахини, под кличкой Вари Пучковой, «ходила в народ», но была схвачена полицией. Чтобы избежать ссылки, она, по ее собственному выражению, женила на себе Гущина и бежала с ним. Может быть, именно в те годы и приобрела она некоторый опыт работы с гектографом и научилась варить гектографическую массу. Во всяком случае, это ее умение нам очень пригодилось, и квартира Гущиных, в которой мы устроили специальное подполье и подземный ход в сарай (на случай внезапного провала), стала нашей базой по выпуску прокламаций.

Как-то ночью, еще до моего ареста, в доме тети Гущи́хи печатались прокламации, причем не в подполье, а в комнате. И вдруг нагрянула полиция. Тетя Гущи́ха разбудила гостивших у нее сестру и племянника подростка, спрятала под матрац на кровати гектограф и прокламации, вновь уложила на ту кровать племянника и, засунув ему под рубаху подушку, повязав ему голову платком, «превратила» в молодую роженицу и приказала: «Стони!» После того, как мы уже скрылись через потайной ход, открыла дверь.

— Почему так долго не открывали? — набросился на нее полицейский.

Но она уже была в белом халате и, показывая акушерский инструмент (она иногда действительно принимала роды), спокойно сказала:

— Да вы разве не видите: у меня в доме племянница-рожи́ница!

Полиция приступила к обыску, обшарила все углы, заглянула и под кровать, но потревожить «рожи́ницу» не осмелилась. На это и рассчитывала Гущина. Она знала, что закон запрещает грубо обращаться с женщиной, которая вот-вот должна родить.

Так ничего и не обнаружив, полиция убралась, как говорится, не солоно хлебавши и даже извинилась за беспокойство. Гектограф и прокламации были спасены, а наша тетя Гущи́ха блестяще выдержала боевой экзамен. Однако нам стало ясно: полиция что-то пронюхала; надо искать новое убежище, а заодно и совершенствовать технику выпуска прокламаций. Так возникла идея создать подпольную большевистскую типографию.

Предстояло достать шрифт, печатный станок, типографскую краску, бумагу и подобрать людей, умеющих набирать и печатать. Поиски велись не только в Луганске, но и в других городах — в Харькове, Екатеринославе, Таганроге, Ростове. Помогли нам рабочие типографии, печатавшей луганскую газету «Донецкая жизнь». Они доставили немного шрифта, типографские формы, линейки, краску, а печатный станок мы собирали чуть ли не по крупицам из частей и деталей, раздобытых в самых разных местах.

Все эти приготовления отняли у наших товарищей несколько месяцев. Типография появилась на свет лишь к осени 1905 года. Разместили ее мы в подполье квартиры рабочего Ивана Кононенко на Вокзальной улице. Чтобы частое появление у него посторонних людей не наводило на ненужные размышления, поскольку Иван был холостым, комитетчики посоветовали ему поселить у себя под видом жены сочувствующую нашему общему делу работницу Патронного завода Гайдукову: гости в семейном доме явление вполне естественное.

Кононенко, конечно, согласился.

Чаще всего в подпольной типографии бывали прибывшие в Луганск профессиональные революционеры-пропагандисты. Они составляли и редактировали воззвания и прокламации. Набирал текст надежный товарищ из типографии «Донецкая жизнь».

Мой арест спутал нам все карты. Оказались в тюрьме и некоторые другие активные участники революционной работы: Т. Л. Бондарев, В. Т. Абросимов-Архипкин, Савелий Батинов, Вольф. Поскольку я в ту пору возглавлял Луганский большевистский комитет, оставшиеся на свободе товарищи начали искать пути связи со мной. Однако я был у полиции на особом счету, в мою одиночку никого не впускали. И тут снова нам помогла тетя Гушиха — Анна Лукинична Гушина.

Нарядившись богатой дамой, надев шляпу, вуаль, она отправилась на дачу к жандармскому ротмистру Ермолаеву и разыграла там настоящий спектакль. Расплакавшись, она рассказала жандарму «под большим секретом» душеспитательную историю, якобы случившуюся с ней в молодости. Якобы я ее незаконнорожденный сын от какой-то вельможной особы, причем я и сам не знаю об этом, так как родился, когда она еще была в девушках (чтобы скрыть свой грех, она отдала малютку чужой женщине). Ей до того удалось растрогать ротмистра, что вскоре она не только стала ежедневно приносить мне передачи, но ей разрешили и беседовать со мной. Таким образом была установлена связь с Луганским большевистским комитетом, я был в курсе всего, что происходило на воле, передавал товарищам свои советы и хоть в какой-то мере влиял на ход нашей партийной жизни и на практическую деятельность комитета.

Хочется сказать доброе слово и еще об одной замечательной женщине, нашей надежной помощнице в то горячее время — Варваре Спиридоновне Чугуновой.

Известная в городе модистка, она хорошо зарабатывала. У нее был свой домик, уютно расположенный в зелени на берегу Лугани, и небольшое хозяйство: корова, поросята, куры. Здесь луганские большевики имели надежное укрытие, принимали представителей из центра, иногда проводили политические занятия, заседания комитета. Дом Чугуновых особенно был удобен тем, что из него легко можно было скрыться — через сад, а затем по реке в лодке.

Варвара Спиридоновна бескорыстно помогала нам чем могла, и всякий раз, когда мы у нее бывали — а бывали мы там почти ежедневно, — щедро потчевала нас пирогами, молоком, сметаной, мясом.

Были случаи, когда мы скрывали у нее раненых дружинников, хранили оружие, собирали совещания районщиков и подрайонщиков. Чтобы не вызывать подозрений обилием людей в своем доме, она сзывала соседских ребятишек, устраивала с ними шумные игры, и в этой сутолоке приход комитетчиков оставался незамеченным. Конечно, в случае провала ей грозили серьезные последствия — арест или даже ссылка.

Поражение июльской забастовки на заводе Гартмана вопреки ожиданиям местных властей не привело к ослаблению революционного натиска рабочих. То здесь, то там возникали стихийные, а чаще организованные большевиками забастовки, митинги, на которых наши товарищи разъясняли политику партии и насущные задачи революции. Июльская забастовка привела в дальнейшем к новым крупным выступлениям луганских рабочих в октябре и декабре 1905 года. Несмотря на поражение, она помогла нам укрепить наши ряды и сделать нужные выводы для дальнейшего улучшения революционной работы в массах.

Вскоре после печальной памяти царского манифеста 17 октября 1905 года (о чем я расскажу несколько позднее) все наши товарищи — политические заключенные были выпущены на свободу. Только меня да еще нескольких руководителей июльской забастовки оставили в тюрьме, предъявив уголовное обвинение в вооруженном сопротивлении полиции, в результате чего был якобы ранен один полицейский. Эту клевету сочинили для того, чтобы возможно дольше держать нас в каменном мешке — официально до суда, а по существу, до бесконечности.

Но, несмотря ни на что, мы верили в силу революции, в неизбежность нашей победы. И мы знали, что наши товарищи-большевики не оставят нас в беде.

Находясь в заключении, мы старались извлечь из вынужденной отсидки максимальную пользу. Помню, в то время я перечитал много книг, заучил на память много стихов — Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Кольцова, Никитина. В одиночных каме-

рах нас держали по четыре-пять человек, и мы подолгу беседовали, больше всего, конечно, на политические темы, старались обогатить друг друга революционным опытом; все это, конечно, способствовало нашей идейной закалке, воспитанию воли, дисциплины и чувства товарищества. Мы жили тогда одним — делом революции, которая бушевала в России за каменными стенами нашей тюрьмы.

## ■ ДОЛОЙ САМОДЕРЖАВИЕ

В начале октября 1905 года до Луганска дошло известие о забастовке московских печатников и булочников, о расстреле рабочей демонстрации на Тверском бульваре, у булочной Филиппова. Наш большевистский комитет ответил на это новым выступлением рабочих-луганцев. За городом, вблизи мельницы Шаховича, состоялась большая массовка. Выступавшие высказывались за решительную подготовку к вооруженному восстанию.

Октябрьская политическая стачка охватила тогда многие промышленные центры России. Прекратили работу фабрики и заводы, остановились железные дороги, замерли почта и телеграф, а в ряде мест дело дошло до вооруженных схваток рабочих с полицией. Выступления рабочих проходили под большевистскими лозунгами свержения самодержавия, бойкота выборов в думу, установления демократической республики. Это и вынудило царское правительство выпустить 17 октября манифест, в котором народу были обещаны «незыблемые основы гражданской свободы: действительная неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и союзов». В манифесте говорилось об амнистии политическим заключенным, о созыве законодательной думы — «Российского парламента», о привлечении к выборам более широких слоев населения. Разумеется, все это делалось лишь для того, чтобы выиграть время и подготовить новые силы для разгрома революции.

Сообщение о царском манифесте было получено в Луганске в тот же день, часов в семь-восемь вечера. Весть о нем разнеслась по городу и вызвала самое различное к себе отношение — от открытого одобрения до насмешек и резкого осуждения. Либералы и монархисты ликовали; по их инициативе на следующий день в городе начались патриотические молебны и торжественное шествие. Мы же организовали рабочую демонстрацию. Толпы рабочих с красными флагами, большевистскими лозунгами и революционными песнями прошли по улицам.

На этом дело не кончилось. Кто-то из черносотенцев пустил грязные слухи о том, что евреи якобы собирают деньги «на гроб императору Николаю II» и что «теперь они будут править Россией, лишь бы им извести царя». Эта провокация взбудоражила обывателей, которых в городе было немало. В воздухе запахло погромами.

Как и во многих городах Украины, в Луганске сравнительно небольшую часть населения составляли евреи, такие же труженики, как и представители других национальностей. Были среди них, конечно, как и среди русских, украинцев и греков, люди состоятельные и богатые. Но, будучи интернационалистами, мы, большевики, всегда считали, что рабочие и трудящиеся всех национальностей — наши друзья, а все богатей, эксплуататоры — враги. Но в те дни местным царским властям было выгодно, натравливать друг на друга рабочих разных национальностей. Они стремились одурманить массы шовинистическим угаром, мутной мерзостью еврейских погромов отвлечь население от участия в революционной борьбе.

Луганский партийный комитет и Депутатское собрание зорко следили за происками монархистов-черносотенцев и готовились в нужный момент дать организованный отпор погромщикам. Активную роль в этом сыграл один из лучших моих друзей, большевик Александр Яковлевич Пархоменко, ставший впоследствии одним из героев гражданской войны. Смелый и решительный, Пархоменко проявил в те дни кипучую энергию, и когда в ночь на 21 октября в городе начались погромы, он вместе с другими молодыми рабочими буквально голыми руками разгонял анархистов, черносотенцев и подпавших под их влияние обывателей.

Полиция, на глазах которой происходили дикие расправы с евреями, оставалась безучастной и, более того, поощряла погромщиков.

Неподалеку от Патронного завода и железнодорожной больницы черносотенцы подожгли мельницу, принадлежавшую одному из местных евреев. Мельница догорала,

а громили тащили из квартиры ее хозяина мебель, одежду и всякую утварь. Со двора выносили муку и какие-то доски. Все это они грузили на подводы. Тут же рядом стоял городской, но делал вид, что ничего не замечает.

Когда наши активисты попытались обратить его внимание на творящиеся беззакония, он набросился на них:

— А вам какое дело?! Ишь, какие защитники нашлись. А ну, проваливайте отсюда, пока самих в полицию не забрал...

Нам оставалось только одно: черносотенным громилам противопоставить свою рабочую силу и организованность. Много поработали тогда все члены партийного комитета, районщики и подрайонщики, агитаторы и активисты. На действия рабочих-луганцев по предотвращению диких расправ с еврейским населением обратил внимание В. И. Ленин. В статье «Реакция начинает вооруженную борьбу» он специально отметил этот факт.

«Депутат Рыжков, — писал В. И. Ленин, — прямо назвал **ложью** объяснение погромов племенной враждой, — злым вымыслом — объяснение их бессилием власти. Депутат Рыжков привел ряд фактов «сотрудничества» полиции, погромщиков и казаков. «Я живу в крупном промышленном районе, — сказал он, — и знаю, что погром, например, в Луганске не принял ужасающих размеров **только потому** (слушайте это хорошенько, господа: **только потому**), что **безоружные рабочие** голыми руками гнали погромщиков под страхом быть застреленными полицией».

Депутат Рыжков, о котором упоминал В. И. Ленин, был не кто иной, как мой школьный учитель и старый друг Семен Мартынович, избранный в I Государственную думу по курии «трудовиков». Далекий от революционной борьбы рабочего класса, он искренне верил, что с помощью речей в думе можно повлиять на политику самодержавия и добиться улучшения жизни народа. Это положило начало нашим идейным расхождениям, и, хотя мы продолжали встречаться, прежняя наша дружба заметно померкла.

Но вернемся к событиям в Луганске.

Борьба нашей большевистской организации за наведение революционного порядка в городе была весьма поучительной. Именно в это время не только трудовое население, но и местная буржуазия отчетливо увидела, что наше Депутатское собрание представляет собой реальную силу, способную не только агитировать против самодержавия, но и руководить массами, охранять их жизнь и спокойствие.

В Алчевске Совет рабочих депутатов завода ДЮМО, которым руководил Д. К. Паранич, по существу, на какое-то время захватил власть в свои руки и охранял город, станцию, рабочий поселок, а также деревни Васильевку и Новоселовку от нападения полиции и черносотенцев.

Активным помощником Д. К. Паранича была местная фельдшерница, член большевистской организации завода ДЮМО Анна Ивановна Щохина. Эта отважная женщина была в центре революционной борьбы, и когда в Горловке вспыхнуло вооруженное восстание, она вместе с другими алчевскими дружинниками выехала на помощь восставшим и отважно сражалась в их рядах. Будучи арестованной и конвоируемой в Луганск, она смело бросила в лицо начальнику конвоя:

— Вам бы только с женщинами воевать! Холуи!

Ее тут же вывели из колонны арестованных и зверски изрубили шашками в придорожных кустах...

В октябре 1905 года по призыву партийного комитета забастовали рабочие всех луганских заводов. Их основными лозунгами были: «Долой самодержавие!», «Да здравствует учредительное собрание!».

## ■ НА ГРЕБНЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВОЛНЫ

Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года явилась важнейшим этапом первой русской революции — преддверием вооруженного восстания. По многим признакам было видно, что революция подходит к своему кульминационному пункту, когда в ходе смертельной схватки будет решаться вопрос — кто кого. Это понимало и царское правительство. Оно спешно перебрасывало войска к наиболее крупным очагам революции, создавало и укрепляло махрово черносотенные органи-

зации: «Союз Михаила Архангела», «Союз русского народа» и другие. В эти дни накал революционной борьбы усиливался повсеместно. Не был исключением и Луганск.

Большевики-подпольщики стремились как можно более расширить и укрепить свои связи с рабочими и вообще с населением Луганска. Все чаще стали проводиться открытые митинги, на которых присутствовали не только заводские рабочие и члены их семей, но и просто горожане — кустари, мелкие служащие. Горожане воочию увидели тех, кто руководил революционной борьбой, стали узнавать их в лицо и нередко приветствовали их не только на митингах и собраниях, но и при встречах на улице.

Большая ответственность легла на плечи наших боевых дружин, которым приходилось нести охрану митингов и собраний: силе полиции надо было противопоставить свою силу. Мы увеличили число дружинников. Усиленно проводились занятия боевых десятков. Кое-какое оружие для них нам удалось достать в Ростове и Севастополе. Но его все равно не хватало. Поэтому многие дружинники, особенно слесари и токари, ремонтировали всякое старье, собирали из разрозненных деталей собственные револьверы. Некоторые имели даже бомбы, хотя это было категорически запрещено партийным комитетом: во избежание недоразумений дружинники получали оружие лишь во время военных занятий или охраны митингов, а затем сдавали его в специальный арсенал.

Нарастание революционного движения рабочего класса, политическая обстановка, создавшаяся в стране, не оставили безучастными и передовые слои интеллигенции. В те дни в Луганске был проведен ряд важных собраний учителей, агрономов, врачей. Особенно бурно прошло многолюдное собрание в Народной аудитории, где успешно выступили большевики, горячо поддержанные всеми присутствующими.

Революционизировались и крестьянские массы. В близлежащих к Луганску селах крестьяне громили и жгли помещичьи усадьбы. Необходимо было побудить крестьян на еще более решительные, а главное, организованные выступления. С этой целью Луганский комитет выпустил прокламацию, призывающую к укреплению союза рабочих и крестьян в борьбе против царизма, буржуазии, помещиков.

«Крестьяне! — писали луганские большевики. — Помогайте рабочим, которые борются в городах. Когда вы услышите, что рабочие поднялись в городах, вставайте и вы, чтобы вместе побороть общего врага. Собирайтесь в большом числе, выбирайте свое управление, отказывайтесь повиноваться полиции и всем царским властям, не платите податей, вооружайтесь».

Для распространения этой прокламации в деревни и села уезда выезжали наши рабочие-агитаторы. Но настоящей организованности у крестьян еще не было, и они потерпели поражение. В окрестных деревнях и селах царские власти арестовали больше трехсот участников крестьянских волнений. И тут оказалось, что сажать арестованных уже некуда: луганская тюрьма и без того переполнена.

Жандармерия решила восстановить пришедшее в негодность здание старой тюрьмы. Тогда ночью боевая десятка братьев Чекменевых по нашему поручению обложила старую тюрьму и пристройки к ней керосином и подожгла сразу в нескольких местах. Весь Луганск видел, как полыхало огромное зарево.

Когда в Москве началось декабрьское вооруженное восстание, мы решили потребовать от городской думы немедленной передачи власти и управления городом нашему Депутатскому собранию. Выработав условия передачи власти в руки рабочего класса, Луганский партийный комитет вынес их на широкое обсуждение предприятий города. Рабочие горячо поддержали нас. Дружно голосовали они за большевистские требования:

1. Немедленно распустить городскую думу, образовать вместо нее новую думу, выбранную на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права.
2. Немедленно удалить из города полицию и казаков, передать охрану города в руки народной милиции, отпустив необходимые средства на организацию и вооружение народной милиции.
3. Немедленно отвести соответствующее помещение для народных митингов.
4. Принять меры к прекращению повышения цен на продукты».

В довершение своего замысла, опираясь на волю народных масс, мы выработали и специальное заявление. «В случае неудовлетворения наших требований, — говори-

лось в этом документе,— мы поведем самую энергичную и широкую агитацию среди всего населения г. Луганска за отказ вносить платежи и платить налоги в городскую думу».

Вручая 10 декабря 1905 года заявление городскому голове, богатому купцу Лутовинову, мы поставили условие: рассмотреть наше заявление на открытом заседании городской думы с участием представителей Луганского партийного комитета и Депутатского собрания, причем провести заседание в самом большом зале — в Народной аудитории.

Перепуганная и растерянная, городская дума приняла эти требования, даже не пытаясь сопротивляться, и назначила внеочередное открытое заседание на 12 декабря 1905 года. Все члены Депутатского собрания получили специальные приглашения.

«Г.г. депутатам рабочих Патронного завода. Покорнейше прошу гг. делегатов от рабочих Патронного завода, избранных на митинге, пожаловать 12 декабря к 6 часам в помещение Народной аудитории для совместного с гласными городской думы и другими лицами обсуждения текущих событий. Приглашение мое принять участие в совещании этом покорнейше прошу передать и делегатам, избранным социал-демократической организацией. Городской голова Лутовинов».

Сам тон этого документа достаточно красноречив. А вот как описывает столь необычное заседание городской думы профессиональный революционер Л. Л. Шкловский («Сергей»), который находился тогда в Луганске:

«На сцене расположились по одну сторону городская дума, а по другую — мы, представители организаций и выборные представители от заводов и предприятий. Зал и хоры заполнили до отказа рабочие и обыватели... По требованию делегаций в состав президиума был введен наш представитель, который фактически и стал вести собрание».

Захватив инициативу, луганские большевики использовали заседание думы для разъяснения обстановки в стране — текущих событий и партийных лозунгов. В центре внимания, естественно, было наше заявление, врученное городскому голове.

Гласные городской думы не посмели даже рта раскрыть; притихнув, наблюдали эни, как восторженно принимали своих рабочих ораторов присутствующие в зале представители заводов и фабрик. В заключение был оглашен проект резолюции, заранее подготовленный Луганским комитетом РСДРП. В нем еще раз повторялись все пункты нашего заявления. Кроме того, мы предъявили требование о немедленном освобождении из тюрьмы все еще находившихся там руководителей июльской забастовки.

Нажим на думу был так велик, что городской голова Лутовинов, лавируя и стремясь выиграть время, заявил, что «дума принимает оглашенную резолюцию к сведению» и «на деловом заседании обсудит ее практически». Однако представители рабочих потребовали точных сроков. Договорились через два дня собраться в том же составе и заслушать результаты «делового заседания».

Но ни гласные городской думы, ни Лутовинов не явились в установленный срок в Народную аудиторию. Возмущенные рабочие тут же постановили: доставить Лутовинова в здание и потребовать от него объяснений. Несколько человек отправились за Лутовиновым. Привели его, бледного и трясущегося. Робким голосом городской голова сказал, что дума не может сложить своих полномочий, поскольку нет закона о демократических перевыборах, и по той же причине денег на вооружение народной милиции она не может ассигновать — на этот счет тоже не издано никакого закона.

Заявление Лутовинова вызвало бурю протеста. Он был вынужден прервать свое выступление и сойти с трибуны. Под сводами Народной аудитории вновь во весь голос зазвучали речи рабочих. Ораторы требовали установления в Луганске революционного порядка и предлагали осуществить принудительные меры: силой взять деньги у местной буржуазии на вооружение народной милиции, иначе говоря — рабочей охраны. Здесь же было решено немедленно отправиться к тюрьме, чтобы освободить все еще находившихся там товарищей, среди которых был и я.

Вся масса собравшихся в Народной аудитории двинулась к тюрьме. По пути к ней присоединялись толпы горожан, и, когда это шествие подошло к тюрьме, оно выглядело весьма внушительно. В руках у многих были красные флаги.

Прильнув к оконным решеткам, мы, заключенные, с волнением наблюдали за недолгими переговорами наших товарищей с тюремной администрацией. В создавшейся обстановке последней ничего не оставалось, как освободить под залог всех, кого требовали рабочие: Т. Л. Бондарева, В. Т. Абросимова-Архипкина, Вольфа, меня и других товарищей.

Настала незабываемая минута: в тюремном коридоре послышался топот многих шагов, раздалась непривычно громкие голоса, бряцание ключей. Начальник тюрьмы сам пришел в мою камеру и с вымученной улыбкой заявил:

— Господин Ворошилов, вы свободны.

Когда все мы, освобожденные из тюремных застенков, вышли за ворота на улицу, нас встретили восторженными возгласами. Нам приветственно махали руками, бросали в воздух шапки и рукавицы, некоторые женщины плакали. Возглавив эту стихийную демонстрацию, мы двинулись к зданию Народной аудитории.

Весть о том, что руководители луганских большевиков вызволены из тюрьмы, моментально распространилась по городу, и когда мы — освободители и освобожденные — пришли в Народную аудиторию, там уже собралась многотысячная толпа. Состоялся волнующий митинг. Выступившие большевики еще и еще раз призвали горожан к еплочению вокруг партийного комитета и Депутатского собрания, говорили о том, что огонь революции пылает по всей России, и призвали к решительным действиям. Но вот кончил свою речь очередной оратор, и из зала послышались возгласы: «Ворошилова!», «Пусть выступит Володя!» (так звали меня в подполье), «Слово Ворошилову!».

Кто-то подтокнул меня к трибуне.

Не помню, что я говорил тогда, по всей вероятности, то же, что и выступавшие до меня товарищи. Но настроение всех присутствующих было накалено до крайности, и поэтому каждое слово, каждый призыв к вооруженному восстанию встречались восторженными возгласами и бурными рукоплесканиями. А я смотрел на людей, на своих братьев по классу, ожидающих от нас, большевиков, что мы поведем их в последний и решительный бой с царизмом, и думал: мы не должны, не имеем права обмануть их доверие. Надо действовать, действовать, действовать! С такими мыслями я и покинул митинг.

Однако даже беглое ознакомление с состоянием дел на заводах, в железнодорожных мастерских и на других предприятиях города показывало, что широкие массы рабочих и горожан еще недостаточно готовы к революционному выступлению. Сказывался продолжительный арест многих членов Луганского комитета РСДРП и то, что в районах и подрайонах кое-кто увлекся митингами и не уделил должного внимания организаторской работе.

Надо было срочно исправлять положение и прежде всего вооружать рабочие отряды. Голыми руками не победишь. И мы решили изыскать средства на приобретение оружия. Наряду с добровольными взносами в рабочих коллективах — кто сколько может — Депутатское собрание приняло постановление: для предотвращения еврейских погромов и других хулиганских действий монархических и анархических элементов обложить налогом местную буржуазию в принудительном порядке. Для каждого городского богатея, для каждой буржуазной семьи в зависимости от их капиталов были определены размеры налога, и наши товарищи, которым это было поручено, пошли по адресам собирать деньги.

Некоторые купцы беспрекословно уплачивали назначенную сумму, иные торговались, просили сбавить. А один из местных промышленников — Соломон Давидович Вендерович — отказался. Товарищ, ходивший к этому промышленнику с листом обложения, сказал, что Вендерович деньги, наверно, даст, но не ему.

— Почему ты так думаешь? — спросил я.

Немного смутившись, тот рассказал, что Вендеровичу показалось подозрительным, почему за деньгами на оружие к нему пришел молодой рабочий-еврей.

— Ты что думаешь из меня сделать? — спросил его Вендерович, употребив при этом не совсем приличное еврейское выражение. — Хочешь, чтобы я доверил тебе такую уйму грошей? Нет, этот номер не выйдет!..

— Я же не просто так собираю деньги, а по списку, — ответил ему наш посланец. — Я вам квитанцию выдам.

— А куда мне твоя бумага? Подтереться ею? Нет, пусть приходит ко мне ваш старший. О нем я слышал, он уже потаскался по тюрьмам... Пусть сам придет, другому денег не дам.

Делать было нечего, пришлось идти мне.

Шахтовладелец господин Вендерович оказался высоким, широкоплечим мужчиной с живыми, выразительными глазами. Одет был просто, держался с достоинством.

— Рад познакомиться, господин Ворошилов,— сказал он, когда я вошел в его домашний кабинет.— Много слышал о вас, но увидиться до сих пор не доводилось. Так, значит, вы решили с нас, буржуев, деньги собирать?

— Но это вам же на пользу,— ответил я.— Если откажетесь, можете потом пожалеть. Разве вы не знаете о еврейских погромах?

— Но ведь оружие вам нужно не только для защиты евреев.— Он хитро посмотрел на меня.— Я ведь тоже газеты читаю и кое-что слышал о большевиках.

— Тем лучше. Это облегчит наш разговор. Вы опытный человек и знаете, как иногда нужна финансовая помощь. Сегодня вы нас выручите, а придет время, может, и мы, большевики, кое в чем вам пригодимся. Во всяком случае, если вы сверх наложенной на вас суммы дадите еще нам займы, готов заверить вас, в свое время мы честно уплатим сполна и даже с процентами.

— А вы мне нравитесь, господин Ворошилов,— сказал он.— Так откровенно со мной еще никто не разговаривал. Деньги по раскладке я вам уплачу. А насчет будущего дело неясное. Когда придет оно, тогда и увидим, чем оно пахнет...

В общем, С. Д. Вендерович полностью внес причитающуюся с него сумму и даже кое-что сверх нее. На том мы и расстались. Думалось, расстались навсегда.

Но вскоре после гражданской войны в Ростове-на-Дону, где я командовал Северокавказским военным округом, адъютант мне однажды доложил:

— Вас хочет видеть какой-то Соломон Давидович Вендерович, говорит, что бывший капиталист, а ныне пролетарий. Говорит также, что вы его знаете лично.

Неужели тот самый Вендерович? Я тут же распорядился о пропуске. И вот смотрю — он! Все такой же крупный, плечистый, но сильно поседел. И роли у нас переменялись: тогда я был просителем, а теперь у него ко мне какая-то нужда.

— Вы ли это, Соломон Давидович?

— Да, я.— Он горестно усмехнулся.— Только теперь у меня нет больше грошей. Остался гол, как сокол. Но я помню давний наш разговор и вот пришел... Правда оказалась на вашей стороне.

— Мы всегда верили в эту правду!

— Не подумайте, я пришел не денег просить. Но я вижу, что новая власть встала твердо на ноги и надо начинать жить по-новому. Ведь я инженер и сам когда-то работал в шахтах. Видно, снова надо идти...

Я тут же связался по телефону с товарищами, ведавшими восстановлением шахт, и договорился о приеме на работу в горное управление инженера Вендеровича. Он ушел от меня с благодарностью, и это была наша последняя встреча. По дошедшим до меня позже слухам, он до последнего дня жизни честно отдавал народу свои знания.

## ■ ВОССТАНИЕ В ГОРЛОВКЕ

Наиболее ярким событием в Донбассе и на всем юге России в революцию 1905—1907 годов было вооруженное восстание горловских пролетариев. Ему предшествовала политическая стачка на Екатерининской железной дороге, начавшаяся под руководством большевиков сразу же, как только 8 декабря в Екатеринослав поступили телеграммы о всеобщей забастовке в Москве.

По призыву боевого стачечного комитета в течение одного дня прекратили работу 45 тысяч железнодорожников Екатерининской магистрали. К ним примкнули рабочие почти всех промышленных предприятий, находящихся в зоне этой железной дороги. На территории, охваченной стачкой, было прекращено пассажирское и товарное движение, остановились заводы. Забастовочные комитеты сосредоточили в своих руках почти всю полноту власти. Они захватили железнодорожные станции, телеграф, депо, мастерские, паровозы, вагоны, водонапорные башни, склады угля. Подвижной состав использовался лишь по их распоряжению для специальных делегатских поездов, перевозивших только участников стачки и тех, кто им помогал.

Высокую активность и организованность в этой борьбе проявили все трудящиеся Горловки.

Еще 1 декабря администрация машиностроительного завода объявила о введении новых правил работы, серьезно ухудшающих экономическое положение трудового люда. 3 декабря возмущенные рабочие-машиностроители прекратили работу. Их поддержали рабочие всех других предприятий Горловки. Обстановка накалялась, и, когда из Екатеринослава поступила телеграмма с призывом поддержать забастовку железнодорожников, началось выступление всех трудящихся-горловцев.

Под руководством большевиков 9 декабря в Горловке состоялся общегородской митинг. Ораторы призывали к немедленному свержению царского правительства, к отобранию земель, заводов, рудников и фабрик у помещиков и капиталистов, призывали не верить Государственной думе, предупреждали об опасности вооруженной расправы с забастовщиками. Такая опасность действительно существовала: в город была введена 5-я рота солдат 136-го пехотного Таганрогского полка 34-й пехотной дивизии.

16 декабря, накануне срока, установленного хозяевами машиностроительного завода для введения новых условий работы, представители бастующих явились к директору для переговоров, и он был вынужден отменить намечавшееся снижение заработной платы. Но в это время прибыла новая группа войск — драгуны. Драгунский унтер-офицер Соболевский явился в кабинет директора, приказал рабочим немедленно разойтись и выдать зачинщиков. Рабочие выгнали его из конторы. Но, когда сами они стали выходить из помещения, озлобленный унтер-офицер приказал солдатам открыть огонь. Девять человек было убито, тринадцать ранено. Бастующим не оставалось ничего другого, как призвать на помощь своих товарищей, чтобы вместе дать отпор карателям.

Узнав об этой неслыханной расправе над безоружными, все мы, луганцы, были глубоко возмущены и живо откликнулись на призыв о помощи. Немедленно разослали мы гонцов по заводам и окрестностям города, чтобы наши люди вооружались и любыми путями направлялись в Горловку. Связаться с рабочими из других мест было труднее: к тому времени полиция уже спохватилась. Однако все же мы сумели установить связь с Алчевском и некоторыми рудниками. Оттуда на помощь горловцам тоже двинулись боевые дружинники.

В общей сложности в Горловку выехало около 2 500 алчевцев. Помощь шла и из других мест — прибывали боевые дружины из Енакиева, Харцызска, Ясиноватой, Гришина. Все понимали, что дорога каждая минута, что промедление грозит большими потерями для горловцев.

«Взломали замки на дверях материального склада, — вспоминает те горячие дни рабочий Кадиевского металлургического завода В. Я. Костюченко, — и взяли оттуда круглую сталь. Кузнецы всю ночь ковали из нее пики. Я вместе с другими рабочими закаливал острия пик, отливал пули для охотничьих ружей... Рано на заре прекратили работу, остановили доменные печи, мехмастерскую... Рабочая дружина вооружалась ружьями, самодельными пиками и отправлялась на станцию Алмазная. Оттуда поездом выехала на станцию Дебальцево на помощь восставшим. В Дебальцево завязалась схватка с царскими войсками. Отбросив войска, дружина направилась в Горловку».

К началу вооруженного восстания в Горловке собралось более шести тысяч дружинников, из которых 150 были вооружены боевыми винтовками, около 500 — охотничьими ружьями и револьверами, а остальные — самодельными пиками, кинжалами, ломиками, топорами. Сила была немалая, но ей не хватало главного, может быть, оружия — воинского искусства.

В ходе вооруженной борьбы был момент, когда правительственные войска дрогнули и начали отступать в степь. Надо было преследовать их до полного разгрома, а вместо этого повстанцы начали укреплять свои позиции. Так противник получил возможность перегруппировать силы и с помощью подоспевшего подкрепления перейти в наступление.

Участники восстания дрались яростно — бой продолжался семь часов. Однако силы были неравными. Сломив натиск боевых дружин, царские войска начали расправу. Они безжалостно избивали и расстреливали на месте всех, кто попадал им под

руку, хватали и бросали в тюрьму любого, кто, быть может, случайно оказался среди восставших. Не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. Восстание было подавлено, восставшие понесли огромный урон, а их вожаки схвачены и упрятаны в тюремные застенки. Всем им угрожала смертная казнь.

У донбасских большевиков возникла мысль попытаться спасти их от верной гибели. Мне и только что вернувшемуся из ссылки одному из основателей луганской партийной организации, Якову Моргенштейну, поручили отправиться в Горловку, связаться с арестованными товарищами и организовать их побег, а если он не удастся, вырвать кого только возможно из лап царских палачей.

Мы с Моргенштейном немедленно принялись за дело. Раздобыли фиктивные паспорта и направились в Горловку. Там узнали, что всех арестованных руководителей и участников восстания уже увезли в харьковскую и екатеринославскую тюрьмы. В Горловке остался лишь один Александр Кузнецов-Зубарев, профессиональный революционер, присланный на помощь горловцам, кажется, из Ростова. У него была отнята рука, и он в тяжелом состоянии лежал в больнице под охраной целого взвода солдат. Выкрасть Кузнецова можно было лишь, перейдя через трупы этих солдат или же при их содействии, если удастся подкуп. Но ни на то, ни на другое мы не могли рассчитывать: у нас не было ни сил, ни средств, а Кузнецова в любой момент могли увести в губернскую тюрьму.

Надо было найти иной выход. Через местных большевиков-подпольщиков мы узнали время смены караула, а также то, что охраняющие Кузнецова-Зубарева солдаты охотно принимают угощение от посетителей и падки на выпивку. Этим мы и воспользовались. Договорились с медицинскими сестрами угостить солдат водкой с примесью снотворного, а когда они заснут, проникнуть в палату, вывести Кузнецова-Зубарева во двор и увести его из Горловки.

С помощью своих людей — доктора и аптекаря — мы достали снотворное, заготовили для передачи солдатам продукты и водку. Теперь надо было достать лошадей и найти место, где можно скрыть Кузнецова.

Горловские товарищи посоветовали связаться с неким Брунстом, либералом и владельцем завода сельскохозяйственных машин. Его завод и особняк находились верстах в 30 — 35 от Горловки.

Встретившись с Брунстом, я понял, что его увлекает романтика всякого рода приключений, и, поскольку ему самому и его капиталам не угрожает непосредственная опасность, он готов нам помочь. Почти не задумываясь, Брунст согласился дать свою прекрасную упряжку из двух лошадей, распорядился бросить в легкие сани несколько шуб и теплых одеял и даже снабдил меня деньгами. Он согласился и укрыть у себя Кузнецова на несколько дней.

А пока я ездил к Брунсту, Моргенштейн основательно поработал с персоналом больницы и даже устроил пробное угощение солдат.

В условленный день и час мы начали продуманную нами операцию. Ночью Яков Моргенштейн через своих помощников и помощниц снова, теперь уже как следует, угостил солдат; снотворное их быстро свалило. Чтобы не вызвать подозрений солдат, свободных от караула, мы оставили лошадей Брунста с санями примерно в километре от больницы, и оттуда во втором часу ночи я тайком и пробрался в здание. Здесь стояла тишина, все лишние люди были заранее удалены, кое-кто притворился спящим, а те, что принимали участие в спаивании солдат, не зная о примеси снотворного, валялись вповалку вместе со стражей.

Наш человек показал мне палату — я юркнул в нее. Кузнецов-Зубарев, сидевший на койке, вяло поднялся навстречу. До этого он часто торопил нас записками, просил ускорить освобождение, и мне показалась странной эта его вялость в самый решающий момент. Поскольку мы раньше не были знакомы, я представился ему и спросил, готов ли он.

— А что солдаты? — поинтересовался Кузнецов-Зубарев. — Они приняли снотворное, не погибнут ли?

Не отвечая на этот неуместный вопрос, я попросил его быстрее одеваться: предстояла смена караула, а нам еще надо было дойти до лошадей.

Кузнецов как-то мутно посмотрел на меня и принялся жаловаться на свое недомогание — у него кружилась голова, ныла ампутированная рука. Начал расспра-

шивать, куда его повезут, высказывать сомнения в благополучном исходе побега. Когда я еще раз напомнил, что время не ждет и нам надо как можно быстрее идти, он еще более растерялся и сел на кровати.

— Нет, нет, я не сумею пойти.

На все мои доводы, что по дороге к лошадям расставлены наши товарищи и они помогут, в крайнем случае на руках донесут его до саней, он лишь недоверчиво покачивал головой. Стало ясно, что Кузнецовым-Зубаревым овладело отчаяние, он потерял силу воли.

Тогда я прямо сказал ему, надеясь хоть этим пробудить его к действию:

— Приближается смена караула. Промедление грозит гибелью и вам, и мне, и другим товарищам. Если вы отказываетесь идти, напишите записку, чтобы товарищи могли убедиться: вы сами избираете этот путь.

И он чуть слышно прошептал:

— Что ж, давайте, я напишу...

Но ни карандаша, ни бумаги в палате не оказалось. Не было их и у меня. Тогда мы обнялись и расстались.

Так безрезультатно окончился этот хорошо задуманный и организованный побег. Кузнецов-Зубарев отказался от него и тем обрек себя на гибель.

Чем объяснить такое его поведение? Ведь он хорошо знал, что царское правительство не пощадит ни его, ни других вожаков восстания. До сих пор не могу понять сложных переживаний, мыслей и чувств его в тот момент, когда он принимал роковое для себя решение. А ведь он был подлинный революционер, бесстрашно и самоотверженно руководил восставшими горловцами.

Правда, как мне стало известно позднее, Кузнецов-Зубарев через какое-то время стянул с себя напавшую на него апатию и бежал из тюрьмы. Однако был схвачен и вместе с активными участниками горловского и других восстаний, вспыхнувших в то время в Донбассе, повешен в екатеринославской тюрьме.

В числе казненных был и Григорий Федорович Ткаченко-Петренко — отважный и мужественный революционер, один из основателей луганской социал-демократической организации. За час до казни он писал своему брату:

«Здравствуй и прощай, дорогой брат Алеша и все остальные братья, рабочие и друзья!

Шлю вам свой искренний и последний поцелуй. Я пишу сейчас возле эшафота, и через минуту меня повесят за дорогое для нас дело. Я рад, что не дождался противных для меня слов от врага... и иду на эшафот гордой поступью, бодро и смело смотрю прямо в глаза своей смерти, и смерть меня страшить не может, потому что я, как социалист и революционер, знал, что меня за отстаивание наших классовых интересов по головке не погладят, и я умел вести борьбу и, как видите, умею и помирать за наше общее дело так, как подобает честному человеку. Поцелуй за меня крепко моих родителей. Прошу вас, любите их так, как я любил своих братьев рабочих и свою идею, за которую отдал все, что мог. Я по убеждению социал-демократ, и ничуть не отступил от своего убеждения ни на один шаг до самой кончины своей жизни. Нас сейчас у эшафота восемь человек по одному делу — бодро все держатся. Постарайся от родителей скрыть, что я казнен, ибо известие после такой долгой разлуки с ними их совсем убьет».

Военный суд над участниками вооруженного восстания в Донбассе, состоявшийся в 1908 году, из 132 подсудимых признал виновными 92. Большинство из них было осуждено на различные сроки каторги, а восемь — П. Л. Бабич, А. И. Вещаев, В. П. Григорашенко, А. М. Кузнецов-Зубарев, И. Д. Митусов, Г. Ф. Ткаченко-Петренко, В. В. Шмулювич и А. Ф. Щербаков — были приговорены к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение 3 сентября 1909 года.

Мужественное поведение руководителей вооруженного восстания перед казнью вызвало глубокое уважение к ним всего народа. Большевицкая газета «Пролетарий» писала в те дни: «Бесстрашно пошли они — восемь рабочих-героев — на смерть. Их повесили 3 сентября за оградой екатеринославской тюрьмы. Но они живы... Живы в памяти пролетариев, в неостанавливающейся пролетарской борьбе...»

Одна из главных причин поражения революции 1905 года, как известно, заключалась в том, что рабочему классу не удалось создать прочного союза с крестьянством в борьбе против самодержавия. Сыграли свою роль и слабая связь с солдатами, недо-

статок оружия, оборонительная тактика, а также капитулянтская линия меньшевиков, стремившихся подорвать веру рабочих в свои силы.

Жизнь требовала от большевиков сделать правильные выводы из поражения в вооруженной борьбе с царизмом. Эту работу со всей тщательностью проделал В. И. Ленин. В статье «Уроки Московского восстания» он писал: «Декабрь подтвердил наглядно еще одно глубокое и забытое оппортунистами положение Маркса, писавшего, что восстание есть искусство и что главное правило этого искусства — отчаянно смелое, бесповоротно-решительное **наступление**. Мы недостаточно усвоили себе эту истину. Мы недостаточно учились сами и учили массы этому искусству, этому правилу наступления во что бы то ни стало».

Эти ленинские указания помогли нам, большевикам-подпольщикам, не растеряться, воодушевили на еще более упорную борьбу. Надо было во что бы то ни стало уберечь партийную организацию от разгрома, сохранить явки, оружие, предотвратить уныние и панику, еще теснее связаться с массами рабочих и крестьян. Мы взялись за эту тяжелую, кропотливую, опасную работу, и она позволила нам сохранить силы и боеспособность нашей подпольной организации.

## ■ ВСТРЕЧА С В. И. ЛЕНИНЫМ

После неудачной попытки освободить Кузнецова-Зубарева мы с Яковом Моргенштейном вернулись в Луганск. Надо было снова и снова сплачивать ряды для новых классовых битв, не допустить среди рабочих пораженческих настроений, а их настойчиво сеяли господа меньшевики, у которых в ходу была известная плехановская фраза: «Не надо было братья за оружие». Однако мы хорошо знали, на чьей стороне правда, и не давали себя обмануть. К чести луганской социал-демократической организации следует сказать, что она твердо шла за Лениным.

Разъясняя рабочим необходимость дальнейшей подготовки к вооруженному восстанию, Луганский комитет партии решил установить связи с наиболее революционно настроенными солдатами и казаками, склонить их на нашу сторону. По поручению комитета у солдатских казарм побывали А. Я. Пархоменко, Т. Л. Бондарев, И. И. Шмыров; несколько раз бывал там и я. Мы выпустили специальную листовку, в которой разъясняли цели нашей борьбы, призывали солдат и казаков не проливать кровь своих братьев и сестер — рабочих и крестьян, переходить на сторону народа. Действие этой листовки оказалось так велико, что начальство было вынуждено заменить воинские и казачьи подразделения в Луганске другими частями.

В ходе подготовки к IV (Объединительному) съезду партии у нас разгорелась ожесточенная идейная борьба с меньшевиками. В Луганск приезжали из центра видные меньшевистские ораторы. Хорошо запомнился проезд одного из них, имевшего две партийные клички — «Костя» и «русский Бебель». И действительно, он говорил остро, с юмором, густо пересыпал свою речь цитатами из Маркса, Плеханова, Мартова и даже из Ленина, против которого и направлял весь огонь. Замаскированный смысл его речи был таков: восстание народных масс — дело вредное и ненужное, оно обречено на провал, надо искать другие пути, чтобы не было кровопролития и жертв. Работая довольно тонко, умело, пользуясь всякими шутками и прибаутками, он пользовался успехом у некоторой части населения, у малосознательных рабочих.

По поручению товарищей я выступил на одном из собраний против этого меньшевистского «златоуста». Даже многие беспартийные рабочие кричали с места: «Большевики, дайте отпор этому хлюпику!», «Пусть выступит Володя!».

Может быть, моя речь и не была такой увлекательной и яркой, как речь «русского Бебеля», но я постарался растолковать, что мы, рабочие люди, не можем положить на милость помещиков и капиталистов. Беда не в том, что мы взялись за оружие, а в том, что его у нас было недостаточно и действовали мы разобщенно. Теперь, научившись многому, мы станем сильнее и обязательно победим наших врагов.

После этого митинга один из рабочих сказал мне:

— Ловко говорил «русский Бебель», красиво, с фантазией, но твоя, Володька, правда куда правдивестее!

Итогом нашей ожесточенной, упорной борьбы с меньшевиками явилось усиление в Луганске влияния большевистской партийной организации.

Весной 1906 года я, двадцатипятилетний рабочий-большевик, под фамилией Володин, выехал в Петербург с мандатом делегата IV (Объединительного) съезда в потайном кармане и с волнением в сердце: впервые в жизни мне предстояла встреча с работниками Центрального Комитета партии, впервые в жизни предстояло увидеть Владимира Ильича Ленина.

Прибыв в Питер, я сразу направился на явку, где регистрировали делегатов съезда. Дежурным на явке оказался Загорский (В. Н. Крохмаль) — делегат с совещательным голосом от меньшевиков. Впоследствии он был выбран в состав ЦК РСДРП от меньшевистской фракции<sup>1</sup>.

Узнав, что я из Луганска, где безраздельно господствовало большевистское влияние, В. Н. Крохмаль состроил кислую мину и, заглянув в свою записную книжку, сквозь зубы, заикаясь, процедил:

— Б-б-большевик, к-ко-нечно?

— Да, большевик.

— Т-т-огда в-вам н-надо и-и-дти к с-с-своим.

Я и сам знал, куда и к кому идти, но хотел узнать, нет ли на явочной квартире объединенного ЦК В. И. Ленина. Мой вопрос привел Загорского, благообразного, адвокатского вида господина, в настоящую ярость. Он набросился на меня с ругательствами, и хотя я был не из робкого десятка, но, признаюсь, слегка растерялся. Не вступая в спор с этим свирепым «цекистом», я решил поскорее скрыться с его глаз.

На улице придя в себя, я даже рассмеялся. Уж если такие ярые меньшевики, как этот Загорский, боятся Ленина, подумал я, значит, Ленин действительно не дает им спуска, «заливает за шкуру сала», как говорят на Украине.

Смех смехом, а положение мое было довольно сложным. В Питер я попал впервые. И хотя знал явку в большевистское книгоиздательство «Вперед» и имел несколько писем донбасских друзей к их питерским надежным знакомым, тем не менее и явку и товарищей предстояло еще разыскать. А пока что я был один, как перст, в неизвестном огромном городе.

Но я продолжал шагать как ни в чем не бывало и старался запоминать названия улиц, повороты, приметные дома и магазины, проходные дворы. После долгих блужданий, наконец, оказался в издательстве «Вперед». Руководил им тогда В. Д. Бонч-Бруевич. Он встретил меня очень приветливо, сообщил, что делегаты только съезжаются, что многие еще в пути, а на мой вопрос о Ленине — бывает ли Ленин в издательстве — ответил:

— Конечно. Но сегодня он занят в другом месте, сегодня его здесь не будет. — Увидев огорчение на моем лице, очень тепло добавил: — Владимир Ильич и сам ищет встречи с рабочими-делегатами; и вы обязательно его увидите и поговорите. А пока побывайте в Техноложке, покажитесь Надежде Константиновне Крупской — это жена и друг товарища Ленина. Она введет вас в курс событий.

И я направился в Техноложку (Технологический институт). Настроение мое переменилось, от недавних неприятностей на душе не осталось и следа, и, посвящая шаг по прекрасному Невскому. Как мало надо человеку в молодости — немного теплоты, ласки, доверия!..

Надежда Константиновна отнеслась ко мне, как к хорошо знакомому, — может быть, кто-нибудь ей обо мне рассказывал. С большой сердечностью, с неподдельной заинтересованностью расспросила о нашей Луганской партийной организации, об активистах и рядовых подпольщиках, о настроениях рабочих. Слушая, делала заметки в малюсенькой записной книжке.

— По всей вероятности, — сказала она потом, — съезд будет за границей. Но когда и куда придется ехать, еще не определено. Будем ждать. А вы пока ознакомьтесь с городом, отдохните.

— А где и когда я увижу товарища Ленина? Ведь мы, рабочие, знаете ли, так любим Владимира Ильича!

<sup>1</sup> В РСДРП был еще и другой Загорский (Лубоцкий), Владимир Михайлович, видный большевистский деятель. В его честь город Сергиев, Московской области, переименован в Загорск.

Надежду Константиновну, как мне показалось, немного смутили эти мои признания.

— Увидите и услышите его, и не один раз. А сейчас подумайте лучше о том, чтобы не провалиться в Питере: шпиков здесь тьма-тьмущая!

Из Техноложки я вышел окрыленный. Еще бы! Я уже связан с большевистским центром, с ближайшими друзьями и помощниками Ленина. И хотя впереди еще многое было неясно — сколько и где придется мне жить в столице, когда и куда ехать на съезд,— все это выглядело мелким и незначительным в сравнении с тем большим, к чему предстояло мне приобщиться. В чудеснейшем настроении отправился я на поиски явки и лиц, к которым были адресованы письма моих донбасских друзей.

Мне повезло, я застал дома Д. И. Лещенко, который приезжал в Луганск по поручению ЦК РСДРП (большевиков) и немного знал меня. После радужной встречи опять начались разговоры о наших луганских делах, о моих впечатлениях от Питера. И, конечно же, я и его спросил о Ленине.

Лещенко удивленно вскинул на меня глаза.

— Неужели еще не повидались? Даже не пойму, как это могло случиться, он теперь почти каждый день бывает в издательстве «Вперед», старается основательно прощупать всех прибывающих делегатов, кто чем дышит.

— Значит, мне не повезло,— ответил я и тут же решил начать следующий день с похода в издательство.

Еще как следует не рассвело, а я уже был на месте. Решил сидеть здесь, если потребуется, целый день, но дожждаться Владимира Ильича.

Когда на работу в издательство пришел Бонч-Бруевич, он только взглянул на меня и все понял.

— Стало быть, ждете? — спросил сочувственно.

— Жду! — И почему-то покраснел.

— Ничего, ничего... Сегодня Владимир Ильич обязательно должен быть.

Вот уж в издательстве начался рабочий день — появились первые посетители; сотрудники с какими-то рукописями скрывались в одной из комнат, откуда доносился треск пишущей машинки, собирались группами в коридоре и о чем-то оживленно беседовали. Наблюдая все это, я так увлекся, что не заметил, как ко мне подошел какой-то человек и тронул за плечо.

— Вы, кажется, делегат съезда? — спросил он меня.

— Да, от Донецкого союза.

— Тогда пойдете, нас уже ждут.

Это был тоже делегат, прибывший ранее меня, не то уралец, не то сибиряк.

Внутренними ходами мы поднялись, не помню уже точно, на второй или третий этаж и вскоре очутились в небольшой комнатке. Сгрудившись, сидели человек десять — двенадцать; один из них что-то говорил. Осторожно, чтобы не помешать, мы протиснулись в дверь и присели на краю скамьи.

Я стал внимательно слушать говорившего делегата. Он рассказывал о настроениях рабочих в связи с выборами в I Государственную думу. При этом оратор все время смотрел на одного из участников совещания. Я тоже начал смотреть на этого человека — на его энергичное лицо, чуть прищуренные, с живой искоркой глаза. Каким-то почти неуловимым движением он время от времени поощрял докладчика и тут же что-то быстро записывал в лежащий на коленях блокнот.

— Да это же Ленин! — осенило меня, и, обрадованный, восхищенный своим открытием, я принялся еще пристальнее рассматривать выразительную фигуру Владимира Ильича. Хотелось как можно основательнее запомнить его лицо, жесты, отдельные реплики. Все это я делал не без тайного умысла: я хорошо знал, что, когда вернусь в Донбасс, мне придется подробно рассказывать партийным товарищам и всей нашей пролетарской братве о том, где побывал и что видел. Конечно же, меня прежде всего спросят о Ленине. И я уже прикидывал в уме, как и что буду говорить.

А в это время оратор закончил свое выступление, предоставили слово другому. Ясно, Владимир Ильич выслушивает краткие доклады с мест. Шепотом меня предупредили: я выступаю третьим. Стало даже жарко.

Но все шло своим чередом. Докладчика никто не перебивал. Ленин спокойно слушал его, изредка улыбался. И опять стремительно делал какие-то заметки в блокноте. Я немного успокоился.

Наконец наступила моя очередь. Я встал, назвал себя и организацию, которую буду представлять на съезде. Владимир Ильич живо обернулся, уловил мое смущение, сказал что-то ободряющее. Я как следует не расслышал тех слов, но почувствовал их теплоту, ощутил на себе ленинский всепонимающий взгляд, и сразу будто бы груз свалился с плеч.

Сжато я рассказал о составе Луганской партийной организации, о настроениях рабочих, о маневрах местной буржуазии в связи с выборами в Государственную думу и о некоторых других текущих событиях нашей революционной борьбы. Владимир Ильич, как и во время других выступлений, делал записи, изредка бросая на меня быстрый и острый взгляд.

Вслед за мной получили слово представители большевистских организаций других районов страны.

Когда доклады с мест окончились, Владимир Ильич сформулировал общий итог: революция продолжается, народные массы полны ненависти к самодержавию. Нужно умножить наши старания по объединению всех революционных сил, укрепить связи рабочего класса с крестьянством, солдатами и матросами. Одной из важных вех в этом отношении должен стать предстоящий партийный съезд, но надо трезво смотреть на вещи: засилье меньшевиков в ряде партийных организаций еще велико, мы должны сделать все, чтобы вырвать рабочих из-под меньшевистского влияния. Объединение возможно только на подлинно революционной основе.

Совещание окончилось, но все оставались на своих местах. Ленин, подобно магниту, притягивал к себе. Завязалась общая беседа. Владимир Ильич много шутил и в то же время расспрашивал то одного, то другого о том, что его интересовало. А интересовало его буквально все: и горловское восстание, и как мы живем, и каковы условия труда и заработка, и связаны ли мы с крестьянской и солдатской массой, и что делают и как вооружены наши боевые дружины. Когда кто-то из нас сообщил, что крестьяне самовольно захватывают земли у помещиков, Владимир Ильич особенно оживился:

— Вот это настоящее революционное дело! И мы должны помочь крестьянам выступать еще более решительно, действовать с нами заодно.

Затем он снова вернулся к предстоящему съезду, говорил, как укрепить большевистское влияние в партии и среди всего рабочего класса.

Мы, рабочие-большевики, твердо зная, что на местах за нами идет основная масса рабочего класса, предполагали, что большевистская фракция будет иметь на съезде преобладающее число голосов. Но Владимир Ильич рассеял нашу самоуверенность, заметил, что может сложиться и такое положение, что большинство окажется у «мекков», как тогда называли меньшевиков, и они постараются диктовать свою волю.

— Не надо рассчитывать на легкие успехи,— сказал он на прощание.— Предстоит упорная борьба.

Переполненный сильными и прекрасными чувствами, вышел я после этой встречи из помещения издательства. Не хотелось думать ни о шпиках, ни о какой другой гадости,— передо мной все еще стоял Владимир Ильич Ленин, я видел его лицо, слышал голос, призывающий нас к борьбе во имя счастья трудящихся, во имя светлого будущего — коммунизма.

Долго я так бродил по петербургским улицам.

И заснул в тот вечер поздно — все не брал меня сон...

## ■ НА IV (ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ) СЪЕЗДЕ РСДРП В СТОКГОЛЬМЕ

В издательстве «Вперед» нам, делегатам, сообщили, что ввиду жестоких преследований революционеров по всей России съезд будет проведен за границей — в Стокгольме. Каждому был выдан заграничный паспорт, как правило, на вымышленную фамилию, указан маршрут следования, кому с легальным, а кому и с нелегальным переходом границы; каждому дана была явка.

Я получил документы на имя Володина и под видом туриста должен был добраться до финского порта Або и оттуда, уже на пароходе, отплыть в Стокгольм.

Благополучно проделав весь путь, я в начале апреля 1906 года уже стоял на шведской земле. Здесь, в стокгольмском порту, меня встретил наш человек и определил на жительство в небольшую комнатку на втором этаже какого-то дома, примечательного разве лишь тем, что внизу помещалось питейное заведение, — не то бар, не то ресторан.

В ту же комнату вскоре поселили еще одного делегата по фамилии Иванович. Это был невысокий, коренастый человек примерно моих лет, на смуглом лице которого едва заметно проступали рябинки. Глаза у него были удивительно живые, и весь он — веселый, жизнерадостный — казался сгустком энергии. Из разговоров с ним я увидел, что он хорошо знает марксистскую литературу и художественные произведения, — мог на память цитировать целые страницы, знает много стихов и песен, любит шутку. Говорил Иванович с заметным кавказским акцентом. Мы подружились, и я вскоре узнал, что мой новый друг — грузин и что на самом деле его зовут Иосифом Виссарионовичем Джугашвили. Он представлял на съезде грузинских большевиков и являлся непримиримым ленинцем.

Так волею случая много десятков лет назад мне довелось впервые встретиться с человеком, который в дальнейшем под именем Сталина прочно вошел в историю нашей партии и страны и долгие годы после смерти В. И. Ленина возглавлял Центральный Комитет, а во время Великой Отечественной войны — Советское правительство и Вооруженные Силы СССР. Мне после этого не раз пришлось встречаться с ним, а после победы Октября вместе воевать против белогвардейщины и иностранной интервенции, вместе участвовать в работе высших органов партии и государства. Он прожил большую, сложную жизнь, и, хотя его деятельность в конце пути была омрачена известными всем крупными ошибками, я не могу говорить о нем без уважения и считаю своим долгом, когда дойдет до этого в моих воспоминаниях, правдиво сказать о нем все, что знаю и что навсегда сохранил в памяти.

К тому времени, о котором сейчас идет речь, И. В. Джугашвили (Сталин) уже проявил себя как видный деятель большевистского направления в Закавказье, побывал и в батумской и в кутаисской тюрьмах, был сослан на три года в Восточную Сибирь и бежал из ссылки. На съезде он твердо отстаивал ленинскую линию на вооруженное восстание. Выступая на одном из заседаний съезда, он очень четко определил сущность наших расхождений с меньшевиками: «...Или гегемония пролетариата, или гегемония демократической буржуазии — вот как стоит вопрос в партии, вот в чем наши разногласия».

В явочной квартире нам сообщили, что делегаты продолжают прибывать — и большевики и меньшевики, — но день открытия съезда еще не определен, и что мы можем пока что свободно распоряжаться своим временем — побродить по городу, ознакомиться с его достопримечательностями. Не зная чужого языка, я не рисковал забредать куда-либо в глубь кварталов, но время от времени прогуливался по ближним улицам, все более расширяя кольцо своих обходов.

Стокгольм, расположенный на нескольких островах, чем-то отдаленно напоминал мне Петербург. Здесь так же много каналов, проливов, замечательных сооружений своеобразной архитектуры: Национальный музей, Опера, Рыцарский дом, Королевский дворец, Большая церковь, Риддархольменская церковь... Повсюду спокойно и неторопливо шествовали рослые, хорошо одетые белокурые шведы. Рабочих не видно, да это и понятно: рабочий люд в это время занят на многочисленных фабриках и заводах, в порту и на других предприятиях. К тому же мне не довелось добраться до окраины, где, наверное, и дома были иные и люди одеты похуже, победнее.

Привыкший к засилью царских чиновников в России, я невольно отметил про себя демократизм в отношениях между людьми разных сословий. Это было заметно и в магазинах, и на перекрестках улиц, и в мелких мастерских бытового обслуживания, куда я заглядывал. Люди разного общественного положения запросто обращались друг к другу, полицейские попадались лишь изредка и там, где они действительно были необходимы, — на уличных переходах, в местах скопления горожан. В Швеции мы позднее увидели и свободное празднование рабочими первомайского праздника — у себя в России мы тогда могли лишь мечтать об этом.

В одну из прогулок я заметил, что на близлежащей набережной люди как-то особенному вели себя: тише разговаривали, замедляли шаг и поглядывали на сидящего на берегу рыболова. Он ничем как будто не выделялся из массы других, удивших здесь рыбу, и тем не менее привлекал к себе всеобщее внимание. Я не мог понять, в чем дело, и лишь случайно узнал, что эта набережная — любимое место рыбной ловли шведского короля. Таким образом, мне неожиданно довелось увидеть королевскую персону в столь необычном месте и за столь необычным занятием...

Съезд открылся 10 апреля 1906 года. Проходил он в прекрасных залах огромного шестизэтажного Народного дома, предоставленного в наше распоряжение шведскими социал-демократами. Участие в его работе для меня и, как я полагаю, для всех других рабочих-большевиков явилось замечательной школой революционной закалки. Заседания проходили в ожесточенной идейной борьбе с меньшевиками, и главную роль в этой борьбе играл Владимир Ильич Ленин. У него мы учились твердости и настойчивости в отстаивании интересов народа, дела революции, воинственной непримиримости ко всему, что мешало сплочению масс под знаменем марксизма, снижало их активность в революционной борьбе против царизма и буржуазии.

Я впервые тогда видел и слушал В. И. Ленина как оратора, трибуна партии. Особенно запомнился мне его доклад о пересмотре аграрной программы. Хотя для меня в то время и не все было понятно в теоретических рассуждениях Владимира Ильича, в частности такие термины, как абсолютная и дифференциальная рента, латифундии и так далее, я, как и другие рабочие-делегаты, хорошо понял главный смысл ленинской аграрной программы: развязать революционную инициативу крестьян, нацелить их на захват помещичьих земель, объединить усилия рабочих и крестьян в борьбе за свободу и демократию, за свержение царизма путем восстания.

Очень понравилось нам и то, что В. И. Ленин связал оппортунизм Плеханова в аграрном вопросе с его неверием в силы рабочего класса и всего народа, с его ошибочной и вредной оценкой декабрьского вооруженного восстания, непониманием задач буржуазно-демократической революции.

Непримиримо и настойчиво защищал В. И. Ленин подлинно марксистскую линию революционных действий и по другим пунктам повестки дня и особенно при обсуждении тактических вопросов. Из выступлений и реплик Владимира Ильича мы все более убеждались в том, что меньшевики принижают рабочий класс до роли пассивного участника буржуазно-демократической революции, таскающего каштаны из огня для своих классовых врагов.

Проникновенные, предельно ясные выступления Владимира Ильича буквально покоряли нас. Создавалось впечатление, что ты сам вместе с ним приходишь к одной и той же мысли, что только так, а не иначе могут развиваться события, только такие действия единственно целесообразны и подлинно революционны в создавшейся обстановке.

Часто случалось, что меньшевики во время полемики с В. И. Лениным ничего не могли противопоставить его железной логике и лишь в конце заседания или в перерывах шумно и безалаберно выражали свое несогласие. Так и хотелось ответить этим господам: «Эх, вы, «борцы», нечего вам сказать нашему Владимиру Ильичу, вот вы и машете кулаками после драки!..»

На съезде я познакомился со многими видными большевиками-ленинцами: Бубновым (на съезде — «Реторгин»), Воровским («Орловский»), Дзержинским («Доманский»), Красиным, Луначарским («Воинов»), Скворцовым-Степановым («Федоров»), Шаумяном («Суренин»), Ярославским и другими. Особенно сердечные отношения у меня установились с «Артамоновым» (Ф. А. Сергеев-Арте́м), «Арсеньевым» (М. В. Фрунзе) и «Никаноровым» (М. И. Калинин). Может быть, потому, что все мы представляли рабочие районы, а я и М. И. Калинин были, что называется, рабочими от станка. Во всяком случае, мы часто собирались во время перерывов и в свободное от заседаний время и обсуждали практические вопросы партийной работы, делились впечатлениями о докладах и выступлениях. И у нас сложилось общее мнение, что в лице В. И. Ленина наша партия, рабочий класс и все трудящиеся России имеют непреклонного и всесторонне подготовленного вождя.

— Такого, — сказал как-то Михаил Иванович Калинин, — не провести нашим классовым врагам, он выше их на несколько голов. Его надо беречь как зеницу ока.

Михаил Васильевич Фрунзе с присущей ему теплотой и проникательностью добавил:

— Другого такого нет. Ведь его знает подавляющее большинство сознательных рабочих, он стал знаменем нашей революционной борьбы. А посмотрите, как верно и глубоко понимает он всю обстановку на местах, наши насущные задачи. Ведь его призыв к вооруженному восстанию вытекает из требований самих масс, разве мы не знаем, как рвутся рабочие в схватку с самодержавием? «Добьемся мы освобождения своею собственной рукой» — это не только песня, это ключ к победе.

Однажды Владимир Ильич подошел к нам и заговорил так, будто всегда вращался в нашем кругу:

— Я вас давно приметил, вы все время своей кучкой, одной компанией держитесь. Это хорошо. Была у нас «могучая кучка» композиторов. Они сказали свое новое слово в искусстве. А рабочий класс — это уже могучая организация. И нам предстоит, дорогие товарищи, не только сказать новое слово в революционной борьбе, но и покончить со старым миром угнетения и насилия, построить новую, замечательную жизнь.

Прохаживаясь вместе с нами, Владимир Ильич расспрашивал об организации забастовочной борьбы, о боевых дружинах, об участии молодежи в революционном движении. Два или три раза он возвращался к подробностям Горловского восстания.

Мы порой удивлялись тому, как хорошо информирован В. И. Ленин о положении дел в партийных организациях. Он знал, например, подробности стачки иваново-вознесенских текстильщиков, начавшейся 12 мая 1905 года и продолжавшейся 72 дня, о вооруженном восстании в Харькове, Депутатском собрании рабочих в Луганске и первом в России городском Совете рабочих депутатов в том же Иваново-Вознесенске. Он знал, что М. В. Фрунзе во главе шуйских рабочих участвовал в Московском декабрьском вооруженном восстании, сражался на баррикадах Красной Пресни. Отозвавшись однажды с похвалой о рабочей солидарности, Владимир Ильич вдруг остановился и, повернувшись к М. В. Фрунзе, спросил его:

— Давно хотел узнать у вас, товарищ Арсений, как это вам удалось в разгар забастовки создать «рабочий университет» на реке Талке? Что вы там изучали?

Михаил Васильевич, несмотря на то, что ему в то время шел всего лишь двадцать второй год, был очень развитым и начитанным. Еще два года назад — студент Политехнического института в Петербурге, он уже стал профессиональным революционером-большевиком, работая по заданию партии среди рабочих Иваново-Вознесенска, Шуи, Кохмы и других городов и рабочих поселков обширного текстильного района или, как его называли тогда, «Ситцевого царства».

— Рабочий университет — это очень громко сказано, Владимир Ильич, — скромно ответил М. В. Фрунзе. — Просто время было горячее, не хватало агитаторов, вот и решили подготовить их сами. На берегу Талки, где обычно собирался наш Совет, стали изучать с рабочими марксизм, задачи рабочего движения и другие дисциплины. Подготовили около двухсот агитаторов, и это очень помогло нам... Но какой же это университет? — Он улыбнулся.

Однако Владимир Ильич отнесся к этому опыту очень серьезно. Он долго еще расспрашивал Фрунзе, какие работы Маркса и Энгельса удалось изучить, были ли на занятиях споры и о чем спорили, принимали ли участие в работе школы женщины, молодежь. Прощаясь с нами, он, как бы подзадоривая нас — Артема, Калинина и меня, — весело заявил:

— А ведь совсем неплохой пример показали вам иваново-вознесенцы. Не так ли, товарищ Арсений? — И как-то особенно тепло и сердечно посмотрел при этом на М. В. Фрунзе. — Подумайте об этом, товарищи.

Последние дни работы IV съезда были для В. И. Ленина очень напряженными. Мы видели, что он не щадит своих сил, чтобы как-то спасти революционный дух в принимаемых решениях от оппортунизма меньшевиков. А последние, как известно, обладали тогда большинством голосов.

Перед нашим отъездом из Стокгольма Владимир Ильич говорил, что мы должны в рамках организационного единства и подчинения решениям съезда продолжать идейную борьбу, разъяснять массам то, что считаем правильным. Особое внимание он обращал на необходимость подготовки вооруженного восстания, укрепления связей рабочего класса с крестьянством, всемерного укрепления в ходе революционной борьбы

подлинно народных органов власти — Советов рабочих депутатов. И мы, рабочие-депутаты, вернулись на места, вооруженные этими ленинскими указаниями. Нам было ясно, что революция далеко не исчерпала всех своих сил и решающие бои еще впереди. И, хотя резолюция IV съезда о вооруженном восстании страдала нерешительностью, половинчатостью, мы помнили, что под напором большевиков, и прежде всего В. И. Ленина, в ней сохранил свой боевой дух первый пункт, о котором еще раз напомнил Владимир Ильич всей партии в своем «Докладе об Объединительном съезде РСДРП»:

«Объединительный съезд Российской социал-демократической рабочей партии признал **непосредственной** задачей движения — **вырвать власть** из рук самодержавного правительства. Всякий, кто забудет об этой непосредственной задаче, кто отодвинет ее на задний план, — **нарушит** волю съезда, и мы будем бороться с такими нарушителями самым резким образом».

Так сумел Владимир Ильич использовать в интересах партии даже слабую меньшевистскую резолюцию — он сосредоточил наше внимание на самом главном, что удалось ему отстоять в ожесточенной полемике с Плехановым. Это был ленинский курс на дальнейший подъем революционной борьбы, на подготовку вооруженного восстания.

## ■ КРАСНЫЙ ФЛАГ НАД ЛУГАНСКОМ

Вернувшись в Луганск, я рассказал своим товарищам об итогах работы IV съезда РСДРП, о встречах с В. И. Лениным и снова окупился в работу большевистского комитета и Депутатского собрания, которое в 1906 году превратилось в подлинно народный орган управления всеми городскими делами.

В ту пору мы не знали еще такого слова — двоевластие. Но фактически у нас создалось именно такое положение. Функционировали все органы царского самодержавного строя, но их решения и указания большей частью городского населения игнорировались. Решения же Депутатского собрания принимались к исполнению всеми, кого они касались, — трудящимися, заводской администрацией, домовладельцами, хозяевами магазинов. Конечно, это пришло не сразу, но по мере развития революционных событий мы приобретали и опыт руководства массами и умение правильно ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, а главное, на ходу и во все более широких масштабах использовать в революционной борьбе силу и организованность рабочего класса.

Газета «Вперед» писала 7 июня 1906 года: «В Луганском заводе общества «Гартман» депутатам рабочих удалось приобрести сильное влияние не только на рабочих, но и на заводскую администрацию. Это позволяет проводить желательные частичные улучшения условий труда и время от времени добиваться обратного приема уволенных за «беспокойное» поведение товарищей».

Постепенно в сферу деятельности Депутатского собрания входили все новые и новые задачи, связанные с жизнью всего Луганска и окрестных деревень. Мы решали, в частности, вопросы качества выпечки хлеба и сроков продажи его в магазинах, водоснабжения рабочих жилищ, обучения детей... Приходилось решать по просьбе отдельных граждан и их семейные дела: о разделе имущества и наследовании, помогать в трудоустройстве их взрослых детей. Когда однажды купцы уволили группу неугодных им приказчиков, мы заставили отменить увольнение. Обо всем этом становилось широко известно, и авторитет Депутатского собрания рос.

Однажды во время обычной в то время поездки по селам уезда ко мне и еще одному члену Депутатского собрания (уже не помню, кто это был) крестьяне обратились с жалобой на казаков из близлежащих донских станиц. Эти станичники служили у помещиков в качестве стражников, охраняли их земли и заодно с войсками и полицией выступали как каратели против участников крестьянских волнений.

— Житья нет от этих казаков, — говорили хлеборобы. — Как цепные псы, избивают и калечат крестьян. Вот вы помогли бы нам, ведь у вас на заводе сколько казаков работает. Неужели нельзя найти управу на станичников?

Это была хорошая идея, и мы, вернувшись в Луганск, поставили на обсуждение партийного комитета вопрос о защите крестьян. Решили через Депутатское собрание разъяснить рабочим-казакам (а их только на заводе Гартмана было более тысячи),

что высший долг рабочего класса — помогать крестьянам, и мы не можем допустить, чтобы казачество выступало в роли карателей. Когда начали проводить такие беседы, многие рабочие-казаки соглашались с нами, но ссылались на то, что станичная верхушка сочувствует помещикам: ведь она сама владеет большими наделами, и ее уговами не проймешь. Другие же откровенно поддерживали кулаков-станичников: это была их родня, они сами во многом зависели от этих кулаков. И тогда мы решили пойти на самые решительные меры.

Станичники постоянно приезжали в Луганск для продажи на рынке муки, картофеля, овощей, молока, яиц и других сельскохозяйственных продуктов. Мы попросили наших казаков-рабочих съездить в станицы и рассказать землякам о положении крестьянской бедноты; убедить их, чтобы прекратили помогать помещикам, и одновременно предупредить: если не послушают, тогда Депутатское собрание не допустит на луганский рынок ни одного станичника.

— Выставим заставы на всех дорогах в город, — заявили мы. — И, кроме того, призовем население бойкотировать все, что просочится на рынок из казацких станиц. Будьте уверены, сумеем добиться этого!

Результаты превзошли наши ожидания. Через несколько недель на помещичьих усадьбах не осталось ни одного стражника-казака, и вскоре крестьяне уже делили помещичьи земли, устанавливали в деревнях свои порядки.

Правда, позднее, когда революция пошла на убыль и реакция начала наступление, многие крестьяне поплатились за свою смелость свободой, а некоторые и жизнью. Но сделанное нашим Депутатским собранием не могло не оставить глубокого следа в сознании народа. Это придавало крестьянству уверенность, что в союзе с рабочими оно может добиться решающих побед.

Луганский большевистский комитет и Депутатское собрание постановили организовано провести празднование 1 Мая 1906 года, они назначили на этот день демонстрацию и предложили прекратить работу на всех заводах и фабриках, а также торговлю. Это требование было выполнено всеми заводчиками, торговцами, хозяевами мелких предприятий. Отказались закрыть магазины только три наиболее махровых купца-черносотенца: Лузгин, Николаев и Грудинин.

На следующий день исполком Депутатского собрания постановил оштрафовать этих купцов и предупредить, что, если они не внесут в рабочую кассу штрафа, их магазинам будет объявлен бойкот. Лузгин и Николаев внесли деньги, а Грудинин отказался наотрез.

Мы хорошо понимали подоплеку его поведения. Известный богач, он учитывал и свой политический вес — как-никак церковный староста в крупнейшем городском соборе, да еще и попечитель уездной тюрьмы. В его роскошном мануфактурном магазине всегда были лучшие в городе ткани. Однако купец ошибся в своих расчетах и убедился в силе рабочей организованности.

Через своих агитаторов мы широко оповестили население, чтобы никто ничего не покупал в магазине Грудинина. И начался народный бойкот грудининской торговли. Обычно к его прилавкам шли чуть не вереницы покупателей — и луганцы и приезжие из сел, теперь же приказчики стояли без дела, да и сам хозяин уныло прохаживался у кассы.

Проходили дни за днями, положение не менялось. А у его конкурентов торговля шла бойко. Но богач-купчина все еще держался самоуверенно. Тогда мы применили новую тактику. Время от времени в магазин начали заходить покупатели, выбирали товар, интересовались ценой и просили отрезать приглянувшееся сукно, сатин или ситец. Им отмеряли и отрезали сколько-то аршин, но тут покупатели как бы вдруг спохватывались:

— Да, мы ведь и забыли, вы под бойкотом. За покупку и вас и нас по головке не погладят! — И уходили, оставив отрезы на прилавке.

Таких «покупок» становилось все больше и больше, убытки росли. Через три месяца Грудинин понял, что лбом стену не прошибешь, и скрепя сердце вынужден был признать свое поражение. Понеся огромный урон, он обратился с покаянным письмом в Депутатское собрание, просил принять наложенный на него штраф, заявляя, что никогда впредь не пойдет против народа. Он даже предлагал деньги на издание специальной листовки — о том, что бойкот с его магазина снят.

Интересно, что при аресте одного из наших товарищей письмо купца попало в руки полиции и по всей вероятности принесло Груднину еще кучу неприятностей. На этот раз от его покровителей — царской полиции и охраны.

Но вернемся к празднованию 1 Мая. В этот день рабочие явились к заводу пришедшиеся. Никто, конечно, не приступил к работе. На демонстрации шли с красными флагами, пели революционные песни. Потом на площади у завода был митинг; выступили наши партийные ораторы.

Но самой знаменательной приметой того дня явился вывешенный на заводской трубе большой красный флаг. Этот революционный стяг реял над городом в течение нескольких дней.

Партийный комитет никому не давал такого задания. Сделал это по своей инициативе кто-то из молодых рабочих. Но получилось как нельзя кстати. Весь город увидел свободно развевающийся в небе красный флаг, и это наполняло рабочих гордостью, служило для каждого сочувствующего революции призывом к борьбе, вызвало растерянность и переполох во вражеском стане.

Городские власти приказали полиции немедленно покончить с «безобразием», но это оказалось не так-то просто. Полиция пыталась нанять, подкупить кого-нибудь из рабочих, чтобы он забрался на трубу и снял флаг, но таких охотников не нашлось. Тогда заводской пристав начал понуждать к этому городских, предлагал за снятие флага довольно крупную сумму. Однако и городские не соглашались, боясь, что рабочие не простят этого, что рано или поздно придется отвечать перед народом. Под разными предлогами городские отказывались лезть на трубу: одни ссылались на недомогание, другие — на то, что не переносят, мол, высоты, третьи прямо говорили, что боятся получить удар из-за угла.

И красный флаг продолжал реять над Луганском. О флаге стало известно в Екатеринославе и в Петербурге. Оттуда последовало категорическое требование: снять во что бы то ни стало! Тогда на заседание Депутатского собрания явился пристав и стал просить убрать флаг. Он откровенно признался, что иначе ему грозит наказание, и добавил, что будет неприятности и самим рабочим — пригонят новые сотни казаков, начнутся аресты, другие репрессии.

Заседание шло под моим председательством, и я так ответил полицейскому, нашедшему на себя шкуру овечки:

— Господин пристав, ведь вы знаете, что Депутатское собрание — легальная организация рабочих; оно просто не могло себе позволить какие-либо нелегальные действия. Мы не имеем никакого отношения к вывешиванию флага. Если его нужно убрать, пусть об этом позаботится администрация — ведь флаг-то на заводской трубе!..

Так и ушел пристав ни с чем. Однако вскоре он снова явился, и не один, а с директором завода Хржановским. Директор сообщил, что история с флагом «вызвала озабоченность» в правительственных кругах, и его предупредили, что если флаг не будет снят, тогда заводскую трубу разрушат артиллерийскими выстрелами.

— Все это не принесет пользы ни вам, рабочим, ни дирекции. Снаряды могут повредить не только трубу, но и сооружения, а остановка предприятия повлечет простой оборудования. К чему же допускать до этого? — Он помолчал и добавил просительно: — Я буду вам очень признателен, если вы спасете завод от разрушения.

Когда директор и пристав ушли, мы решили, что флаг уже сыграл свою роль, и поручили нашим товарищам снять его. Сделано это было ночью, после того, как наш победный стяг почти неделю реял над Луганском.

Депутатское собрание, работавшее под руководством городского большевистского комитета, все больше начинало играть роль организатора подготавливаемого всей партией вооруженного восстания. Однако одной организаторской работы мало, надо и вооружить народные массы реальными средствами борьбы — быстрее закупить оружие. И по заданию комитета я выехал в Петербург...

## ■ В ФИНЛЯндию ЗА ОРУЖИЕМ

В Петербурге меня постигла неудача: как выяснилось в результате встреч с несколькими видными работниками партии, в том числе и с Надеждой Константиновной

Крупской, добыть здесь оружие было почти невозможно: оно все было роздано боевым дружинам заводов и фабрик.

— Придется вам ехать в Финляндию, — сказали мне.

И пояснили: в Гельсингфорсе (Хельсинки) в конце октября 1905 года создали Красную гвардию; затем, под ударами реакции, она была распущена. Оставшееся после ее ликвидации оружие теперь потихоньку раскупали различные русские социал-демократические организации.

Меня связали с двумя товарищами, которые имели уже немалый опыт в этом рискованном деле. Чтобы не вызывать подозрений у полиции, мы, все трое, договорились ехать в Териоки порознь и встретиться на явочной квартире — на даче финна Они Комулайнена, помогавшего русским революционерам.

Поначалу все шло благополучно. Сравнительно быстро и по сходной цене мы приобрели в Териоках маузеры, браунинги, парабеллумы и патроны к ним, переночевали у гостеприимного хозяина и наутро двинулись в обратный путь, причем каждый, как и раньше, ехал своим маршрутом. Но дальше... дальше мне пришлось, как говорится, хлебнуть горя.

Считая, что так будет удобнее и легче передвигаться по Петербургу, я не стал запасаться чемоданом или рюкзаком, а смастерил пояс собственной конструкции, на который навесил под рубахой браунинги и маузеры, мешочки с патронами. Вначале это показалось мне и удобным и не так-то тяжелым, но пока я добирался до столицы, мое изобретение буквально меня измотало. Ныла поясница, болела голова, казалось, на мне нет ни одного живого места. Я поспешил к одной из явочных квартир. Дежуривший на подходе к ней знакомый подпольщик, поравнявшись со мной и как бы нечаянно толкнув в бок, на ходу тихо сообщил:

— Явка провалена, кругом полно шпиков. Опасно идти и в другие места. Пережди ночь на улицах, а потом приходи на вокзал к отходу утренних пригородных поездов. Там мы дадим тебе новую явку.

Он быстро удалился и вскоре растворился в толпе, а я снова остался один-одинешенек.

Что придумать, куда податься? А, не все ли равно! Стараясь не показывать своей растерянности, я медленно шагал, сам не зная куда. По-прежнему, то навстречу мне, то обгоняя меня, спешили по своим делам люди. Изредка я останавливался у витрин, якобы разглядывая выставленные в них товары, а на самом деле, чтобы хоть немного отдохнуть, а заодно убедиться, не привязался ли ко мне какой-нибудь шпик. Все мое тело будто бы разламывалось на куски, я чувствовал, что скоро упаду от голода и усталости, и все же упорно шел и шел, высматривая, где бы присесть и передохнуть. Однако попадавшие мне скамейки были заняты женщинами с детьми, какими-то стариками с тросточками, влюбленными парочками. Больше всего я боялся, что потеряю сознание, меня начнут поднимать и уж тогда, несомненно, откроется моя тайна, — я попаду в лапы полиции.

Возле какого-то рынка я увидел полуразрушенный сарай, превращенный, как видно, в отхожее место. Я поспешил туда, чтобы укрыться от людских глаз и хоть на какое-то время освободиться от изнурившей тяжести.

Быстро захлопнув за собой еле державшуюся лишь на верхней петле дверь и закрыв ее на ржавый крюк, я немедленно снял с себя пояс и бережно уложил его со всем содержимым в угол. Ноги дрожали, подкашивались. Прислонившись к стене, я тяжело дышал, почти не замечая всей, мягко сказать, неприглядности окружающей меня обстановки. Хотелось лечь или хотя бы сесть, но я понимал, что нельзя. Вскоре в дверь постучали, я промолчал. Через какое-то время стук повторился, и грубый голос проговорил:

— Ты что там, заснул?

Отмалчиваться было нельзя. Жалобным тоном я стал объяснять:

— Подождите немного — живот разболелся... Сейчас.

— Ну-ну, поторавливайся. В каждом деле должен быть порядок.

И тут сквозь щель в двери я увидел, что стучится ко мне дворник; он был в фартуке и с метлой. Уж кто-кто, а мы, большевики, знали, что эти люди в своем огромном большинстве являлись главными осведомителями околоточных и полицейских участков. Надо было поторавливаться. Снова надев на себя злополучный пояс

с оружием, прикрыв его рубахой и полами пиджака, я вышел, чуть сгорбившись и придерживая руками живот.

— Сам не понимаю, что стряслось, — сказал я, виновато взглянув на поджидавшего дворника. — Как ножом режет — никогда такого не было.

— Ладно, проваливай...

И я направился к рынку, стремясь поскорее скрыться с его глаз.

Так произошло я по разным петербургским местам всю ночь. А утром на вокзале меня действительно встретили наши товарищи и переправили на новую явочную квартиру, где мне наконец-то удалось отдохнуть.

Через день я уже вновь ехал в Териоки.

Словом, в тот раз удалось совершить еще несколько рейсов. В итоге наша луганская большевистская организация получила шестьдесят браунингов, двадцать маузеров и довольно много патронов.

Но через некоторое время мне снова пришлось ехать за оружием в Финляндию. На этот раз мне помогали «Анатолий» (Г. И. Левин), с ним я познакомился еще в Луганске, Казаков, член военной большевистской организации при Центральном Комитете (была ли то его настоящая фамилия или партийная кличка, не знаю), и жена одного петербургского архитектора — энергичная, революционно настроенная женщина.

В Териоках при участии того же Они Комулайнена мы приобрели довольно крупную партию браунингов и маузеров.

Петербургский особняк упомянутого мной архитектора служил нам базой накопления и хранения оружия, чтобы затем уже большой партией можно было переправить его в Луганск. К тому времени у меня созрела идея: выдавать себя за представителя известной фирмы «Зингер», снабжавшей чуть ли не всю Европу своими швейными машинами; обычно эти машины и запасные части к ним продавались в рассрочку. Как представителю фирмы «Зингер», рассуждал я, мне будет куда спокойнее путешествовать с большими тяжелыми чемоданами, отпадет надобность все время таиться, изворачиваться.

Мою идею поддержали Казаков и жена архитектора. Эта хорошая и заботливая женщина приобрела для меня подходящую одежду и чемоданы, проинструктировала, как следует вести себя в обществе коммивояжеров, если придется очутиться в их среде; по ее словам, ей не раз приходилось иметь с ними дело. И вскоре я был преобразен с головы до ног. Очередная моя поездка в Финляндию в новой роли агента фирмы «Зингер» прошла успешно. На обратном пути я нанимал носильщиков и щедро платил им чаевые, неоднократно предупреждая, чтобы несли чемоданы как можно осторожнее, чтобы — упаси бог! — не ставили их слишком резко: ведь так недолго и повредить запасные части к швейным машинам, которыми я торгую. В Петербурге так же широко пользовался услугами носильщиков и извозчиков, а ночью благополучно доставил оружие в дом архитектора. Там, с помощью хозяйки, мы надежно упрятали его в подвал.

Перед отъездом в Луганск все оружие, накопленное в подвале архитектора, мы заново упаковали в чемоданы, а патроны уложили в большую круглую кожаную коробку — в таких коробках в то время хранили модные шляпы-цилиндры. Получилось весьма солидно, только каждое место отличалось необыкновенной тяжестью. Но я надеялся, что щедрыми чаевыми сумею заставить носильщиков не обращать на это внимания.

Так и вышло. Погрузка в вагон чемоданов и шляпной коробки на Московском вокзале в Петербурге и пересадка в Москве на поезд, идущий на юг, прошли без происшествий. Носильщики сгибались от тяжести чемоданов, насадно кричали, а я заботливо следил за ними и при каждом их резком движении предупреждал:

— Ради бога, осторожнее. Это же запасные части к швейным машинам, вы знаете, как легко сломать или попортить их, особенно челноки.

Усадив меня в Москве с моим грузом в купе вагона второго класса и получив значительно больше положенного, носильщики распрощались, пожелав мне счастливого пути. Других пассажиров в купе не было, и я хотел было прилечь отдохнуть. Но тут в коридоре послышался топот и раздался веселый смех многолюдной компании. В купе ввалилась шумная ватага из нескольких офицеров и штатских. Они про-

вожжали хорошо одетую, очень красивую женщину. Все были навеселе и покинули вагон только после третьего звонка.

Поезд тронулся. Женщина сняла шляпку и принялась раскладывать и развешивать всякие сумочки, свертки, коробки.

— Мы в этой суматохе даже не познакомились, — с улыбкой обратилась она ко мне и назвала свое имя и отчество. Затем добавила, что гостила в Москве у матери, а сейчас возвращается в Ростов к мужу — полковнику.

В свою очередь, я сообщил свою вымышленную фамилию и род занятий — агент по распространению зингеровских швейных машин.

— Приходится бывать в разных городах, знаете ли... Наши клиенты буквально засыпали фирму заказами. Сейчас развожу не только машины, но и запасные части к ним.

— Ах, это очень хорошо, что машины все больше вытесняют ручной труд! — восклицалась эта дама. — Много ли сделает швея одной иглой?

Мы разговорились, и она принялась рассказывать о своей семье, о двух дочурках, которых называла не иначе как «милыми ангелочками». Затем беседа перешла на более общие темы — о книгах, театре, музыке, выдающихся артистах. К тому времени я уже немало повидал, перечитал изрядно книг, но многое из того, о чем говорила моя спутница, было мне внове, и я внимательно ее слушал. Это ей нравилось, она увлеклась своими рассказами, еще более оживилась, шутила.

Поезд шел неровно, часто замедлял ход. Когда я обратил на это ее внимание, она заметила:

— Дорогу ремонтируют. Ее ремонтировали еще, когда я ехала из Ростова к маме.

Настроение мое испортилось: опоздание поезда могло сбить с толку тех, кто должен встретить меня в определенное время и в определенном месте. Стараясь не показывать своей озабоченности, я продолжал вести по возможности непринужденный разговор. А день тем временем перевалил за половину, мне захотелось есть. Как бы угадав это, дама начала раскладывать на столике хлеб, свежие овощи, яйца, жареную курицу и предложила разделить с ней «скромную трапезу». Я сказал, что хорошо поел перед самым отходом поезда.

Она заказала чай и принялась усердно работать своими перламутровыми зубками. У меня текли слюнки; я поглядывал в окно, ожидая какой-нибудь большой станции, чтобы успеть там перекусить. А поезд все шел и шел. Но вот промелькнули семафор, водонапорная башня, какие-то строения. Поезд замедлил ход, и я поднялся.

— Надо немного размяться, — как бы самому себе сказал я. — Пойду посмотрю, что за станция.

Моя спутница кивнула головой:

— Конечно, сходите. Я тоже люблю смотреть всякие новые места, только сейчас, — она улынулась, — видите, как занята.

Я вышел на перрон налегке — пиджак оставил в купе. У проходящего мимо кондуктора узнал, что поезд стоит восемнадцать минут, и устремился к буфету. Официант быстро подал заказанные мною котлеты. Однако едва я управился с ними, состав неожиданно тронулся. Очевидно, ввиду опоздания его отправили раньше срока.

Я вскочил из-за стола, на ходу рассчитался и кинулся к поезду. А он уже набирал ход. Вот промелькнул его хвост, и я побежал вдогонку. «Догнать, догнать во что бы то ни стало, иначе пропало все!»

К счастью, поезд вошел в полосу ремонта пути и несколько замедлил движение. Я еще сильнее рванулся вперед, до предела напрягая все силы, и, поравнявшись с тамбуром последнего вагона, ухватился за поручни, повис над грохочущими колесами. Струя встречного ветра била в лицо, слепила глаза. Неимоверным усилием воли мне удалось подтянуться и поймать ногами подножку. Согнутый в три погибели, я цепко сжимал пальцами железо поручней, подтягивался все больше и больше и, наконец, сумел закрепить себя как следует. Но тут над моей головой раздался окрик, одобренный семиэтажной руганью:

— Куда прешь, так-перетак! Сигай обратно!

Подняв глаза, я увидел занесенный надо мной сапог, готовый вот-вот сбить меня со ступенек на стремительно мелькающие внизу шпалы. А еще выше, над сапогом,

багровела искаженная яростью физиономия железнодорожного охранника — как я узнал впоследствии, это был почтовый вагон со специальной стражей. Еще миг, и я полечу. Раздумывать было некогда.

— Господи, да что же вы делаете! — запричитал я, стараясь и голосом и взглядом разжалобить стражника. — Ведь я пассажир второго класса из этого же поезда!

Готовый сокрушить меня салог застыл на месте, и на лице охранника появилось что-то человеческое. Он снова выругался, но уже без прежней злости.

— Смотри-ка ты, пассажир какой нашелся! Слазь, говорю. — И вновь выпучил на меня глаза. — Прыгай!

Но время было выиграно, и я уже более спокойно сказал:

— Прыгать на ходу — верная смерть. Неужели вы хотите, чтобы я разбился? Бог все видит и никогда не простит вам этого.

Упоминание о боге повлияло, и лицо стражника вновь приняло более или менее осмысленное выражение. Он заворчал:

— При чем тут бог! Ишь, разъезжают зайцами, а я отвечаю за них. Прыгай, тебе говорю! — И он опять заковыристо выругался. Но я, осмелев и успокоившись, продолжал:

— Я честный русский человек. Вот вам крест — я пассажир второго класса. Отстал от поезда, потому что заходил в буфет. Разве я виноват, что отравили раньше времени?

Видимо, стражник и сам знал, что стоянку поезда сократили.

— А ну покажи билет!

— Где же мне его взять? — спокойно ответил я. — Вот доедем до остановки, и я предъявлю вам билет — он вместе с моим пиджаком остался в купе. Как бы чего не случилось там с моими чемоданами, — добавил я уже другим тоном, напуская на себя глубокую озабоченность. — Ведь я агент фирмы «Зингер».

Это его мало тронуло, и он опять начал настаивать, чтобы я немедленно спрыгнул с подножки. Но я уже твердо знал, что столкнуть меня силой он не посмеет, и опять принялся взывать к его человечности:

— Как же можно так относиться к людям? — говорил я. — Вы сами увидите мой багаж, мою спутницу, и вам будет стыдно за свой поступок. Христианин не может так поступать. Святые заповеди требуют: возлюби ближнего, как самого себя!..

Но от этого душевного разговора положение мое не менялось. Путь в тамбур вагона был по-прежнему закрыт, и я продолжал висеть на нижней ступеньке. По-видимому, мой мучитель боялся не столько бога, сколько своего начальства.

Так продолжалось, пока поезд не подошел к следующей станции. На остановке я спрыгнул на платформу и стал разминать затекшие ноги. Стражник внимательно наблюдал за мной, а затем тоже соскочил с подножки и с руганью кинулся ко мне:

— Нет, голубчик, — заявил он. — Так я тебя не отпущу. Пойдем-ка к начальству!

С этими словами он подтолкнул меня в спину, и мы пошли к станционному помещению. И тут произошло чудо: из толпы прогуливающих пассажиров ко мне кинулась соседка по купе.

— А я думала, что вас потеряла совсем, — зашебетала она. — Решила, что вы отстали от поезда, и вот иду заявлять, чтобы сняли ваш багаж. Где же вы пропали?

— Об этом лучше всего расскажет вам вот этот господин, — указал я на остановившегося в оцепенении моего конвоира. — Он никак не хочет поверить, что я пассажир второго класса, и даже не пустил меня на площадку тамбура. Подтвердите, пожалуйста, что я еду с вами в одном купе, а то он меня бог весть за кого принял.

— Какое безобразие! — возмущенно воскликнула жена полковника, повернувшись к охраннику. — Как вы смели! Это действительно мой попутчик.

Но охранник сам уже понял свою оплошность, каким-то особым нюхом учуяв, что это не простая дама. Вытянулся перед ней, козырнул, пристукнув каблуками, повернулся кругом и поспешно удалился.

Дама же после этого стала еще внимательнее ко мне. Смахнула носовым платком пыль с моей рубахи, мягко упрекнула в неосмотрительности. А когда мы на-

чали подъезжать к Миллерово, где я должен был пересесть на другой поезд, идущий в Луганск, кокетливо сказала:

— Мне было приятно с вами. Буду рада видеть вас в Ростове и познакомить со своим мужем.

При этом сообщила свой адрес. Я пообещал непременно воспользоваться ее любезным приглашением, если, разумеется, выдастся такой счастливый случай.

Поезд остановился. Носильщики выносили мои вещи, а я во все глаза оглядывал перрон, ища встречающих меня. Однако никого не было. Позднее я узнал, что поезд, на который я должен был пересесть, чтобы попасть в Луганск, давно ушел, и мои товарищи, чтобы не вызывать подозрений полиции своим бесцельным шатанием по платформе, были вынуждены скрыться и предоставить мне действовать по собственному усмотрению. Делать было нечего, и я попросил носильщиков занести вещи в вокзал.

Разместив чемоданы и шляпную коробку-цилиндр в углу зала ожидания, присел на диван и стал незаметно наблюдать за происходящим вокруг. Здесь было не больше десяти — двенадцати пассажиров. Некоторые беседовали между собой, кое-кто промачивал горло у буфетной стойки; у дверей в служебную комнату какая-то дама поправляла костюмчик на своем маленьком сыне и что-то ему говорила; рядом с ней стояла другая, хотя и бедно, но опрятно одетая пожилая женщина. Она не походила на пассажирку — скорее всего станционная служащая.

Изредка кто-нибудь входил в зал или выходил. Степенно, в разных концах, прохаживались двое полицейских — один уже в годах, с усами. Высокий худощавый буфетчик в свободные минуты обменивался с полицейскими незначительными фразами, вроде: «Погода портиться начинает». Или: «Их благородие вчера опять у нас быть изволили».

А время шло. Начало смеркаться, пассажиров становилось все меньше. В зал вошел начальник станции, о чем-то заговорил с полицейскими. Порой они втроем громко смеялись и время от времени поглядывали в сторону буфета. Я решил действовать и поспешил к буфетной стойке, куда почти одновременно подошли и они.

Я заказал графин вина, закуску и затем учтиво обратился ко всей троице:

— Прошу прощения, господа. Не разделите ли вы со мной компанию, ужасно не люблю одиночества. — Повернувшись к буфетчику, распорядился: — Будьте любезны, еще три рюмки.

Наполнив рюмки, провозгласил:

— Ваше здоровье, господа! Пусть постоянно царствует благополучие в ваших семьях и пусть всегда процветает фирма «Зингер», которую я имею честь представлять в этом почтенном кругу!

Выпили по второй, по третьей... Я заказал еще графин и как бы между прочим спросил у начальника станции:

— А каков ваш город или, извините, поселок? Я впервые в этих местах... Из-за опоздания ростовского, на котором прибыл сюда, не успел пересесть на луганский. Придется ждать следующего поезда. Есть ли тут приличная гостиница и можно ли получить отдельный номер?

— Наша гостиница вам не понравится, — ответил за начальника станции полицейский с усами. — Комфарту нет, да и далеко.

— В этот час суток и извозчика не всегда найдешь, — добавил другой полицейский. — А носильщики в такую даль ни за какие деньги не пойдут.

Мы выпили. Снова наполняя рюмки, я вернулся к начатому разговору:

— Как же мне быть, господа? Посоветуйте, пожалуйста.

— А что тут советовать, — начальник станции ухмыльнулся и потянулся к вину. — Располагайтесь здесь, как дома, вот и весь сказ.

Полицейские и он сам громко рассмеялись, а безусый еще и сострил:

— Здесь хоть клопов нет.

— Но ведь это, кажется, не полагается, — застеснялся я. — Оставаться в вокзале на ночь пассажирам нельзя.

— Кому нельзя, а кому лзя, — парировал начальник станции и, сделав широкий жест, добавил заплетающимся языком: — Ночуйте, я разрешаю...

Этого мне только и надо было. Мы опустошили второй графин, и, пожелав всем доброй ночи, я отправился к своим чемоданам и стал собираться ко сну. Разумеется, я и не думал спать, но своими приготовлениями показывал, что укладываюсь как следует. Поговорив между собой еще некоторое время, мои богоданные приятели удалились. Женщина, в которой я угадал дежурную, закрыла входную дверь изнутри и ушла в служебную комнату.

Наступила ночь, но я не спал. Смежив глаза, думал о том, как бы случайно не потерять над собой контроль. Чтобы не упустить из поля зрения свои вещи, переставил их к себе поближе. Чемоданы с оружием придвинул вплотную к скамье, а коробку с патронами поставил на тумбочку у изголовья. Главное — не заснуть, внушал я себе.

Но усталость брала свое — сон одолевал. Я пытался бороться: читал про себя стихи, старался думать о завтрашнем дне, когда надо будет еще раз обмануть полицию. Вон оно, оружие, оно уже на донецкой земле! Остается сделать последние, решающие шаги...

Когда я проснулся, было уже раннее утро. Входная дверь открыта, но никого из пассажиров в зале еще не было.

Выругав себя за ротозейство, я проверил, на месте ли чемоданы, затем взглянул на тумбочку, и все во мне похолодело: коробка с патронами исчезла.

Наверное, она уже в лапах полиции, подумал я. Или, может быть, утром, когда открыли дверь, сюда проник вор и сейчас где-нибудь потрошит мою коробку? Как он себя поведет? Если это вор-рецидивист, то он не выдаст, не станет связываться с блюстителями порядка. А если какой-нибудь новичок, случайный похититель, то обязательно с перепугу заявит «куда надо». Тогда пойдет насмарку все — и оружие пропадет, и самому не избежать тюрьмы. Но страшно было даже не это, страшнее всего не оправдать доверие товарищей, не выполнить партийного поручения.

Вскочив со скамьи, я растерянно озирался по сторонам и в это время увидел, что за мной внимательно следит та самая женщина из служебной комнаты. Она видела все: и как я выпивал с начальником станции и полицейскими и как укладывался спать. Сейчас она молча смотрела на меня. Потом тихо спросила:

— Вы что, свою коробку ищете?

Вопрос был задан в упор, и отвечать надо было немедленно. Но что это, провокация, ловушка? Я как мог спокойнее ответил:

— Действительно, куда-то девалась моя шляпная коробка. Ума не приложу.

— А вы не беспокойтесь, она у меня в комнате. Можете ее взять.

В голову мне снова хлынули всякие мысли. Может быть, дежурная действует одно с полицейскими или ворами? Они хотят заманить меня и, пока никого нет, расправиться со мной или нажиться на моем несчастье. К тому же, недоумевал я, как могла эта несильная женщина поднять и перенести куда-то такую тяжесть, — ведь коробку с патронами и носильщик едва поднимал.

— Зачем вы это сделали? — спросил я ее, едва сдерживая обуревавшее меня волнение. — Кто вас об этом просил?

— Да никто не просил, — она, видимо, уловила в моем голосе тревогу и подозрение. — Вижу, заснул молодой человек, рука и ноги на чемоданах, а коробка-то на виду, безо всякого присмотра. А утром всякое может быть: глядишь, и позарится кто-нибудь на чужое добро. Вот я и забрала ее в свою комнату.

В ее глазах было столько тепла и доброжелательства, что я подумал: нет, такая не солжет. А она между тем продолжала звать меня:

— Да пойдёмте, голубчик. Возьмите ее, я бы и сама принесла, да уж больно она тяжелая.

И я пошел за нею. В служебной комнате в углу действительно стояла моя коробка, целая и невредимая, прикрытая сверху женским головным платком. От сердца отлегло, но я не имел права выдавать свои истинные чувства. Взяв коробку, я довольно холодно заметил дежурной, что ей не следовало утруждать себя, но я благодарен за внимание и готов ее вознаградить.

Достал из кармана бумажник. Лицо женщины вспыхнуло, она решительно отстранила мою руку.

— Не надо. Неужели вы думаете, что я поступила так ради денег? Я сама мать. Может быть, мой сын где-нибудь вот так же...

Мне нечего было ей ответить. Я взял коробку и перенес к своим вещам. Скоро должен был прийти местный поезд, с ним мне надо уехать на запасную явку. С помощью носильщиков я погрузил свой багаж и вскоре уже был у друзей.

Я был рад, счастлив — все обошлось хорошо. И по сей день с благодарностью вспоминаю ту женщину. Не знаю, догадалась ли она о чем-нибудь, но это была настоящая русская мать, действующая по велению и доброте своего сердца.

Так закончилась моя вторая поездка в Финляндию за оружием. Мы обеспечили маузерами и браунингами почти всех участников наших боевых дружин.

## ■ НАСТУПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Напуганное размахом революционной борьбы, под нажимом рабочего класса, царское правительство было вынуждено в начале 1906 года издать закон, разрешающий существование профессиональных союзов. Царизм рассчитывал повторить «зубатовщину» — поощрить объединение рабочих под началом полицейской или заводской администрации и тем отвлечь рабочие массы от активного участия в политических событиях, ограничить их деятельность благотворительными спектаклями, пикниками, созданием рабочих столовых и библиотек. Но этот маневр был разгадан и сорван социал-демократическими большевистскими организациями.

После опубликования закона Луганский большевистский комитет немедленно приступил к созданию боевого профсоюзного объединения, прежде всего на паровозостроительном заводе Гартмана. Мы взяли в свои руки подбор надежных людей — и большевиков и беспартийных — во все руководящие звенья профсоюзной организации, начали работу и над подготовкой текста устава. Это было нелегко: так изложить цели и задачи профессионального союза, чтобы внешне они выглядели далекими от политических и в то же время давали возможность использовать их как своего рода юридическую основу в борьбе против буржуазии и царского правительства. Мы много спорили, вносили множество различных предложений. В конце концов проект устава был вынесен на широкое обсуждение в цехах и мастерских. Мы стремились не только выслушивать замечания и советы рабочих, но еще и еще разъяснять им, для чего создаем профессиональный союз, в каком направлении должна протекать его деятельность. Таким образом, нам удалось совершенно легально провести широкую политическую кампанию и мобилизовать заводской коллектив на усиление революционной борьбы.

Предварительная работа была настолько тщательной, что екатеринославский губернатор дал нужное нам разрешение без особых проволочек. Правда, устав подвергся некоторому приглаживанию. Например, определение «профессиональный союз» было заменено на «профессиональное общество», были вычеркнуты пункты о стачках и стачечном фонде. Но в целом и после этих поправок устав оставлял широкий простор для борьбы за наше рабочее дело.

Первого октября 1906 года Луганский партийный комитет созвал общее собрание профсоюзной организации завода Гартмана. Многие сотни рабочих заполнили специально арендованную для этой цели Народную аудиторию. Председателем Правления профессионального общества избрали меня, заместителем — Д. Н. Гурова, секретарем — М. Н. Фридкина и казначеем — П. И. Пузанова.

Сразу же нам удалось получить от дирекции завода специальное помещение, в котором разместились правление, ссудо-сберегательная касса, заводская библиотека с читальной. Несколько комнат было выделено для кружковой работы. Здесь же под видом профсоюзных дел мы проводили и партийные: инструктировали агитаторов, устраивали встречи с приезжавшими из центра товарищами.

Профессиональное общество рабочих завода Гартмана, в котором к началу 1907 года насчитывалось 2 137 членов, приобрело в Луганске большой авторитет. По его настоянию, на заводе в дополнение к единственной и крайне переполненной шестиклассной школе была открыта двухклассная школа для детей из беднейших семей, причем эти семьи были освобождены от платы за право обучения.

Для культурно-массовой и общеобразовательной работы мы привлекали лучших большевистских пропагандистов, и не только местных, но и из Екатеринослава, Харькова, Ростова и даже из Петербурга. Организовали для взрослых рабочих вечернюю

школу по ликвидации неграмотности, а для тех, кто хотел повысить свою общеобразовательную и производственную подготовку, — вечерние курсы. Учитывая увлечения молодежи, были созданы драмкружок и духовой оркестр. Большой заслугой профсоюза было и то, что ему удалось добиться бесплатной юридической консультации, бесплатного лечения рабочих в заводской больнице и бесплатного отпуска лекарств наиболее нуждающимся семьям — за счет профсоюзной кассы. Правление профобщества и его комиссии отстаивали интересы рабочих и старались добиваться у заводской администрации улучшения условий труда, повышения расценок той или иной группе рабочих, пополнения инструмента и т. д. Все это быстро становилось известно не только рабочим луганских предприятий, но и соседних заводов, шахт и рудников, вызвало стремление также организовать свои союзы.

В результате при поддержке Луганского большевистского комитета возникли профессиональные организации приказчиков торговых заведений, модисток, булочников и кондитеров. Крупный профсоюз, в который вступило 1 700 человек из 4 700 работающих, был создан на родном и близком мне металлургическом заводе ДЮМО в Алчевске. Полиграфисты организовали «профобщество рабочих печатного дела в г. Луганске». Это позволило нам улучшить освещение в газете «Северный Донец» фабрично-заводских дел и жизни рабочих, а вскоре создать свой легальный партийный орган — газету «Донецкий колокол». И хотя эта газета просуществовала всего три месяца (с 17 октября 1906 года до 17 января 1907 года) и за это время вышло только двадцать номеров, тем не менее газета принесла нашей большевистской организации неоценимую помощь.

В своей работе в массах, в подготовке рабочих к вооруженному восстанию, которая стала особенно интенсивной во второй половине 1906 года, Луганский большевистский комитет постоянно опирался на помощь и поддержку профсоюзов и Депутатского собрания. Разумеется, нелегко было объединять клокочущую революционную энергию самых разных слоев рабочих и направлять ее в единое русло организованных действий. Некоторые рабочие, особенно молодые, обзаведясь оружием, пытались действовать в одиночку или небольшими группами, сбивались на явно анархистские методы борьбы, прибегали к террористическим актам. Мы терпеливо разъясняли недопустимость подобных действий, а наиболее горячие головы просто-напросто исключали из боевых десятков и отбирали у них оружие. Но все здоровые силы мы сумели привлечь на свою сторону, расширили ряды партийных организаций Паровозостроительного, Патронного и других заводов, приобщили наиболее стойкую часть молодого пополнения, вступившего в партию в 1905—1906 годах, к активной революционной деятельности.

Как известно, большевики бойкотировали выборы в I Государственную думу, чтобы развеять в народе иллюзии, будто бы деятельность думы, этого сборища буржуазии, помещиков и кадетов, может что-либо изменить в положении страны. Бойкот подорвал авторитет I думы, но не сорвал ее созыва и, как впоследствии отмечал В. И. Ленин, оказался неудачным, ошибочным. В связи с этим очень важно было использовать любой повод в ее деятельности для революционной пропаганды, разоблачения всякого рода маневров самодержавия. И мы старались поддержать любую критику царского правительства депутатами думы и тем более — любой протест против царского произвола и угнетения.

Когда правительство стало резко ограничивать деятельность думы и возник конфликт между ним и думой, мы широко распространили вызванное бесчинствами царизма обращение рабочих депутатов Государственной думы «Ко всем рабочим России». В этом документе критиковались действия правительства, он призывал к передаче власти в руки народа — к созыву учредительного собрания. Обращение было опубликовано 18 мая 1906 года, и на следующий же день мы созвали митинг на заводе Гартмана.

Собрались все рабочие цехов и многие служащие заводууправления. Ораторы-большевики призывали подняться на борьбу с царизмом и всеми угнетателями народных масс. Предложение послать приветственное письмо рабочей группе I Государственной думы было встречено аплодисментами. А когда был зачитан текст этого письма, участники митинга не только дружно проголосовали за него, но каждый поставил под **ним** своею подпись. Вот что говорилось в этом документе:

«Товарищи, мы, рабочие завода Гартмана в количестве 4 000 человек, обсудив ваше обращение ко всем рабочим России, приветствуем вас за ваши требования, как требования всего обездоленного и угнетенного народа.

Мы предлагаем вам, товарищи, твердо и неуклонно стремиться вырвать власть из рук самодержавного правительства и передать такую народу. Мы предлагаем настойчиво и решительно требовать:

- 1) немедленной отмены смертной казни;
- 2) освобождения из тюрем и сибирских тундр так называемых «политических преступников»;
- 3) снятия военного положения и чрезвычайной охраны, как причин, разоряющих нашу несчастную родину;
- 4) немедленного удаления «горемычного» кабинета усердных слуг отжившего строя и предания таковых народному суду.

Далее, принимая во внимание, что теперешняя дума не в состоянии провести в жизнь требования народа, мы предлагаем товарищам рабочим депутатам в Государственной думе требовать назначения срока для созыва учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, без различия пола, веры и национальности.

Считаем долгом напомнить вам, товарищи, что, пока вы и вся дума будете честно отстаивать требования всего народа, мы, луганские рабочие завода Гартмана, как и весь пролетариат России, готовы поддержать вас и думу до последней минуты. Если для этого понадобится хотя бы наша жизнь, мы охотно отдадим ее. Мы твердо решили добиться полной политической свободы или умереть в борьбе.

Да здравствует Всенародное Учредительное Собрание!

Да здравствует политическая свобода!

Да здравствуют рабочие депутаты Государственной думы!»

Давно я не видел такого душевного подъема и такой бодрости, с какой расходились мы все после этого митинга. Боевое настроение «гартманцев» передалось и другим рабочим коллективам города — Патронного завода, железнодорожных мастерских и более мелких предприятий.

Городские власти, полиция и жандармерия решили подавить «крамолу». В городе активизировались черносотенные элементы; среди обывателей поползли грязные антисемитские и всякого рода контрреволюционные слухи. Но мы уже имели некоторый опыт борьбы со всем этим, — срочно собрали на заводах активистов, привели в готовность боевые дружины, установили круглосуточное дежурство дружинников не только на предприятиях, но и на вокзале, у театра, провели рабочие собрания и митинги. Особенно крупный митинг состоялся опять же на заводе Гартмана. Конная полиция попыталась разогнать нас, но рабочие-дружинники держались стойко. Взявшись за руки, они мешали конным и пешим полицейским вклиниться в толпу и расчленить ее на части. На этом митинге мы приняли боевое решение: подавить всякое насилие над личностью и имуществом граждан всеми мерами.

Когда участники митинга стали расходиться, разъяренные полицейские напали на них в конце Луганского переулка и около Патронного завода. Рабочие не растерялись и начали отбиваться камнями и палками. Полицейские и прибывшие им на подмогу конные казаки пустили в ход нагайки и даже стреляли по безоружным; два человека были ранены.

Назавтра после работы на улицы Луганска вышли тысячи рабочих и членов их семей. Они несли плакаты, осуждающие царский произвол и требующие гарантии демократических свобод, созыва Учредительного собрания. Полиция опять попыталась сорвать мирное шествие и опять встретила дружный отпор дружинников и демонстрантов, запасшихся камнями и палками. Они не давали полицейским приблизиться к колоннам. Вызванные для разгона казаки также не смогли ничего поделать, хотя пустили в ход нагайки.

Вскоре нам стало известно, что 20 июня в столице начинается суд над Петербургским Советом рабочих депутатов. В партийном комитете и на Депутатском собрании я предложил провести в этот день в Луганске всеобщую забастовку солидарности. Предложение было единодушно поддержано и дополнено: прекратить 20 июня не только работу, но и торговлю в городе.

Мы собрали и подробно проинструктировали всех районщиков и подрайонщиков. Подчеркнули: надо донести до сознания каждого, что забастовка преследует высокую, благородную цель — показать наше сочувствие, нашу солидарность с Петербургским Советом рабочих депутатов и осудить произвол царских властей.

Прошла забастовка с большим подъемом. Прекратилась работа на всех предприятиях города, даже на самых мелких. Были закрыты и все магазины. Это еще больше укрепило в рабочих сознание своей силы: никто и ничто не может помешать нам, если мы действуем сплоченно, организованно.

Вскоре после только что описанной забастовки в Луганск из Москвы приехал С. М. Рыжков. Как депутат I Государственной думы, он выразил желание встретиться со своими избирателями и отчитаться перед ними о депутатской деятельности. С разрешения властей собрание было назначено в Народной аудитории. Мы, большевики, постарались обеспечить как можно более полную явку трудящихся, решив использовать это собрание в своих целях. И в назначенный час у Народной аудитории собралось около десяти тысяч рабочих и горожан. Помещение не могло вместить всех. Решили провести встречу избирателей на открытом воздухе; балкон Народной аудитории превратился в импровизированную трибуну.

В своем выступлении С. М. Рыжков пытался убедить слушателей, что Государственная дума якобы выражает интересы народа и старается сделать для него все возможное. Выступление бывшего моего учителя глубоко опечалило меня — идейно мы разошлись с ним очень далеко. Конечно, наши ораторы резко обрушились на эти утверждения, способные посеять у неподготовленных слушателей ложные надежды, дали большевистскую оценку деятельности кадетской думы. Особенно яркую речь произнес профессиональный революционер, большевик-подпольщик «Никита» (его подлинную фамилию, имя и отчество — Агарев Алексей Федорович — знал лишь узкий круг рабочих руководителей). В конце выступления «Никита» огласил проект резолюции, в котором указывалось на антидемократический характер думы и выдвигалось требование о созыве Учредительного собрания. С. М. Рыжков обратился было с просьбой к присутствующим не принимать никакой резолюции, чтобы не обострять классовых распрей, но участники собрания настаивали на своем:

— Голосовать!.. Голосовать!..

И резолюция была принята с огромным воодушевлением. Она открыто осуждала характер выборов и самое существо деятельности I Государственной думы и, что особенно важно, ясно показывала, что именно большевики являются подлинными защитниками интересов трудящихся. Авторитет нашей партии и ее Луганского комитета в результате этого собрания еще больше окреп.

Разгон царским правительством в начале июля 1906 года I Государственной думы еще более усилил авторитет большевиков.

Именно в это время, критикуя шатания и растерянность меньшевиков, В. И. Ленин разъяснял, что объективная причина гибели кадетской думы в том, что она не осилила революционной задачи борьбы за власть. В качестве неотложной задачи он определял обеспечение власти за народным представительством, устранение, разрушение, свержение старой власти, свержение самодержавного правительства. Полное осуществление этой цели, подчеркивал Ленин, возможно только путем вооруженного восстания. Он призывал соединить в один поток три ручья борьбы: рабочий взрыв, крестьянское восстание и военный «бунт».

Для того, чтобы правильнее организовать нашу практическую работу, мы послали тогда в Петербург к Владимиру Ильичу члена Луганского партийного комитета «Анатолия» (Г. И. Левина) — впоследствии он отошел от партии.

Владимир Ильич тепло принял нашего делегата. Выслушав подробный доклад, Ленин забросал его вопросами. Владимира Ильича интересовало буквально все, что имело отношение к нашей готовности принять участие в вооруженном восстании: численность и состав войсковых частей, налаженность связи с ними, влияние организованных ячеек в частях, много ли рабочих среди солдат, участвовали ли воинские части в подавлении рабочих выступлений и крестьянских волнений, откуда могут быть стянуты войска в Луганск в случае неповиновения местного гарнизона? Расспрашивал Ленин и о том, какова наша собственная боевая сила и на чем приходилось испытывать ее, как отразилось на настроении широких рабочих масс подавление Горловского восстания, на кого можно было бы возложить руководство боевыми действиями в случае выступлений, и о многом другом.

Ленин дал директиву Луганскому комитету РСДРП поддерживать в массах боевой революционный дух, не допускать изолированных и преждевременных выступле-

ний, ждать общего сигнала к восстанию. Он подчеркнул необходимость всемерного развертывания профсоюзного движения и других форм борьбы рабочего класса.

Нас обрадовали и воодушевили конкретные ленинские советы, они вдохнули в деятельность луганской социал-демократической организации новые силы. Мы постарались довести указания Ленина до каждого члена партии и всех сочувствующих нам в борьбе.

Обо всем этом, по всей вероятности, стало известно в департаменте полиции, потому что именно этот момент был избран царским правительством для расправы с руководящим ядром луганских рабочих. В ноябре 1906 года в Луганске состоялась выездная сессия харьковской судебной палаты для расправы со мной и другими организаторами июльской забастовки 1905 года на заводе Гартмана. Но мы, чувствуя свою правоту и твердую поддержку луганских пролетариев, смело пошли на этот суд.

В день открытия процесса, перед началом судебного заседания, рабочие завода Гартмана и других луганских предприятий прекратили работу, прошли по центральной улице города и направились к зданию суда. Постепенно здесь собрались огромные массы народа. Члены выездной сессии оказались как бы в западне.

Меня и других подсудимых ввели в зал, и мы увидели тревогу на лицах чиновников, охраны и «именитых» горожан, которые были допущены на процесс. Они едва скрывали свой страх перед теми тысячами людей, которые молча ждали на улице начала процесса.

Раздался традиционный возглас: «Встать, суд идет!» Из боковой комнаты к стоящему на возвышении столу прошли председатель и члены суда. Бледные, они с тревогой поглядывали в окна на все увеличивающиеся толпы народа.

Некоторое время председатель суда, стоя, перебирал бумаги на столе. Орден на его груди — какая-то серебристая звезда — мелко дрожал, и я понимал, что выдавший виды, матерый царский чиновник переживает мучительные минуты. Наконец, словно очнувшись, он объявил:

— Судебное заседание объявляю открытым. Прошу членов суда удалиться на совещание.

Судьи поспешно вышли в ту же боковую дверь, откуда вошли. А через несколько минут вновь заняли свои места, и председатель объявил: суд постановил слушание дела отложить и перенести его на другую сессию.

Это решение моментально облетело собравшихся на улицах. И надо было видеть, с каким ликованием, с каким восторгом они приняли в свою среду нас, подсудимых, только что вырванных ими из лап царской Фемиды! С радостными возгласами, с пением революционных песен все мы победителями прошли по улицам Луганска.

Так я второй раз был избавлен от царской тюрьмы рабочими Луганска, моими верными и боевыми соратниками по революционной борьбе.

На донесении славяносербского окружного исправника обо всем происшедшем генерал-губернатор Южно-Горно-Заводского района начертал: «Полковнику Кузинцеву: следует иметь за заводом Гартмана особое наблюдение, поскольку это уже не первое донесение о не совсем приятном настроении рабочих. Нет ли там особой организации? Какой состав организации?».

Одним из неотложных дел той поры была кампания по выборам во II Государственную думу. Эти выборы были двухстепенными. Вначале избирались выборщики, а затем они из своей среды избирали депутатов Государственной думы.

Следя ленинским указаниям о том, чтобы наша партия выступала на выборах как самостоятельная классовая сила и что допустимы лишь частичные соглашения на высших ступенях избирательной кампании с революционно-демократическими партиями (трудовиками, эсерами), мы в число выборщиков старались провести надежных большевиков, которым вменяли в обязанность проводить агитационную работу в массах. Одновременно мы подбирали кандидатуры для избрания в состав думы и тщательно изучали их, чтобы, став депутатами, эти люди оправдали доверие своих избирателей и были надежными проводниками воли и указаний нашей партии, активными борцами против самодержавия и думских иллюзий.

Для руководства работой по выборам мы создали специальную комиссию, выпустили несколько листовок, в близлежащие села и рудники послали наших лучших товарищей для агитации за список выборщиков от социал-демократической партии.

А в день выборов все наши партийцы и наиболее сознательные беспартийные рабочие вышли на улицы для встречи с избирателями, раздавали им социал-демократические списки и убеждали голосовать за своих братьев-рабочих. Все это дало свои плоды. На первой стадии мы одержали замечательную победу на выборах по рабочей курии. В числе избранных уполномоченных от Гартмановского и от Патронного заводов оказались социал-демократы (большевики) и лишь от коллектива железнодорожных мастерских — беспартийный рабочий, придерживавшийся правых взглядов. По Луганскому району заводов и шахт, в пределах Славяносербского уезда, были избраны 21 социал-демократ и 2 сочувствующих социал-демократии, 3 эсера и лишь один черносотенец. Однако выборы черносотенца были кассированы: мы сумели доказать, что они проводились под нажимом полиции. Нам предстояло обеспечить избрание в думу наших рабочих представителей.

На последней стадии выборов губернскому социал-демократическому избирательному комитету в борьбе против правых пришлось пойти на временное соглашение с кадетами и крестьянами-трудоуиками. Договорились, что из 8 депутатских мест от губернии два места предоставляются социал-демократам, три — кадетам и три — крестьянам-трудоуикам.

Согласованный список одержал победу, а крайние правые партии — октябристы и черносотенцы — потерпели поражение.

Завершив избирательную кампанию по выборам во II думу, мы сосредоточили внимание на разъяснении ленинской политики в революционном движении, развернули работу по подготовке к V съезду РСДРП. В партийных организациях начались предсъездовские дискуссии. Особенно горячо обсуждался вопрос о так называемом «рабочем съезде».

В основе меньшевистской затеи с «рабочим съездом» лежало стремление ликвидировать революционную партию рабочего класса. Большевики с пеной у рта доказывали, что идея «рабочего съезда» позволит трудящимся широко использовать легальные возможности, сулит им и иные блага, но мы сравнительно быстро поняли ее ликвидаторскую сущность, высказались против такого «съезда» и осудили как своих идейных противников тех, кто поддерживал его созыв.

В этой принципиальной борьбе нам помогал большевистский центр в Петрограде. Особенно ощутимой поддержкой оказался приезд в Луганск осенью 1906 года профессиональных революционеров: «Наташи» (Конкордия Николаевна Самойлова) и ее мужа «Антон» (Аркадий Александрович Самойлов). Марксистски хорошо подготовленные, они имели опыт и журналистской работы и конспирации. С их помощью мы усилили большевистскую пропаганду в районах, широко организовали распространение нелегальных изданий — газет, брошюр, листовок — и время от времени выпускали и свои собственные прокламации.

Зиму 1906—1907 годов мы использовали для усиления партийной учебы. В это время у нас работало около 15 марксистских кружков; в каждом из них занималось по 10—18 человек. В основе изучаемого материала лежал ленинский документ «Доклад об Объединительном съезде РСДРП». В качестве пропагандистов мы привлекали самых подготовленных товарищей из своей среды. Но наибольшей популярностью у слушателей пользовалась Конкордия Николаевна Самойлова («Наташа»). За короткий срок она стала у нас одним из самых авторитетных и уважаемых товарищей, и мне хочется рассказать о ней немного подробнее.

Восемнадцатилетней девушкой Конкордия Николаевна окончила в 1896—1897 году иркутскую гимназию и затем поступила на Высшие женские курсы в Петербурге. Здесь она включилась в революционную деятельность; царская полиция неоднократно подвергала ее преследованиям. Уехав в 1902 году в Париж, она примкнула там к Ленину и ленинцам и уже на следующий год вернулась в Россию для нелегальной партийной работы — была членом Тверского комитета РСДРП, участвовала в событиях 1905 года в Одессе, вела большую пропагандистскую работу в Екатеринославе и Ростове-на-Дону, откуда и прибыла по заданию большевистского партийного центра в Луганск. В дальнейшем Конкордия Николаевна работала в Баку, была членом Петербургского комитета большевиков, ответственным секретарем газеты «Правда», участвовала в 1914 году в выпуске журнала «Работница». После Октябрьской революции она стала видным деятелем женского коммунистического движения и, будучи

разъездным инструктором ЦК РКП(б) по работе среди женщин-работниц, много сил и энергии отдала налаживанию порученного ей дела на Украине, в Поволжье и на Урале. В 1919—1921 годах К. Н. Самойлова заведовала политическим отделом агитпарохода «Красная звезда» и погибла, заразившись холерой в одной из своих поездок. Я сохранил о ней, всегда остроумной и жизнерадостной, самые светлые воспоминания.

Но вернемся к революционным событиям 1907 года.

Большую роль в жизни Луганской большевистской организации в тот период сыграло районное социал-демократическое собрание, состоявшееся 8 февраля 1907 года в заречной части Луганска — Каменном Броде. На этом собрании я подробно доложил об итогах московского партийного совещания и о предстоящем партийном съезде. По сообщению развернулись прения. Говорили о характере работы организации, о проекте наказа нашему депутату II Государственной думы, об опасности и усилении безработицы — к тому времени нам стало известно о готовящемся массовом увольнении рабочих, и мы уже приняли кое-какие контрмеры... Собрание проходило остро, оживленно. Мы обсуждали и вопросы внутривнутрипартийной жизни — выборы делегатов на V съезд РСДРП и отчет съезду о всей нашей деятельности. Луганская организация РСДРП насчитывала к тому времени 1 070 человек, и нам предстояло избрать двух делегатов. Ими оказались К. Н. Самойлова и я, выступавшие на съезде под кличками Большевикова и Антимеков.

Единогласно избрав делегатов V съезда РСДРП и утвердив отчетный доклад, участники того памятного собрания хорошо понимали, какое большое дело ими было только что успешно завершено. Все были охвачены душевным подъемом. Кто-то запел «Интернационал», и все стоя исполнили наш пролетарский гимн. Мы и не подозревали, что среди нас был опытный, хорошо замаскированный провокатор.

Вскоре начались провалы. 23 февраля 1907 года в Луганске были проведены массовые обыски и арестовано девятнадцать наших товарищей; на квартире «Наташи» (К. Н. Самойловой) и «Антоня» (А. А. Самойлова) был обнаружен гектограф для размножения прокламаций, печать Луганского комитета партии, два экземпляра особенно важной для нас в тот период брошюры В. И. Ленина «Доклад об Объединительном съезде РСДРП» и два экземпляра газеты «Пролетарий», 10 отчетов Луганского комитета и социал-демократической организации Патронного завода, 22 листовки «Чего хочет черная сотня»... Однако хранителям захваченного полицией партийного имущества и документов удалось скрыться и бежать.

Это был сильный удар по нашей организации. Понимая, что враги не останутся, мы, избежавшие ареста члены Луганского комитета, начали действовать еще более осторожно.

## ■ СУД

Непрекращающиеся преследования вынуждали нас еще более законспирировать партийную работу. Легально осталось существовать лишь Правление профессионального общества рабочих завода Гартмана. Лично надо мной тоже сгущались тучи. Круг полицейских облав все сужался, и товарищи не раз предлагали мне покинуть Луганск, чтобы избежать почти неминуемого ареста. Но я не мог сделать этого: в моих руках были все связи внутри организации, надс было доделать намеченное в практической части нашего отчетного доклада V съезду РСДРП, да и сам доклад был у меня, а где находилась «Наташа» — второй делегат съезда от нашей партийной организации, — я не знал.

Кроме того, я все еще подлежал суду по обвинению в попытке убить полицейского во время июльской забастовки 1906 года; как уже говорилось выездная сессия харьковской судебной палаты разбор дела отложила, и я считал долгом своей чести защитить не только себя, но и всю нашу социал-демократическую организацию, использовать трибуну суда для разоблачения правительственной политики подавления революционного движения. Ради этого, думалось мне, стоило рисковать.

А события тем временем развивались. На завод Гартмана назначили нового пристава Григорьева. Это был хорошо известный нам цепной пес самодержавия. Свою

грязную, скандальную известность он приобрел необычайной жестокостью при подавлении крестьянских волнений в Макарово-Ярской волости. Теперь, получив назначение на большой завод и стремясь выслужиться перед своими хозяевами, он установил на заводе повсеместную слежку, усилил посты на проходных и не раз открыто похвалялся, что покончит с большевистской заразой.

Разнузданный и злобный, Григорьев пускал в ход кулаки не только против рабочих, но и против подчиненных ему полицейских. Вынужденные терпеть от него унижения и издевательств и в то же время хорошо зная о силе рабочей организации, о том, что за выдачу рабочих тайн можно тяжело поплатиться, нижние полицейские чины старались многое не замечать и, по доходившим до нас сведениям, скрывали от того же Григорьева кое-какие известные им факты. Думается, что они не исключали возможности победы революции и готовили на всякий случай «оправдания» для себя, если бы им пришлось отвечать за свои действия перед победившим народом. Так или иначе, но некоторые из них старались держаться по отношению к рабочим более или менее лояльно.

Один из этих нижних чинов с довольно выразительной фамилией — Дубина — даже как будто заискивал перед нами, членами Правления профессионального общества. При встрече со мной с глазу на глаз он неизменно величал меня по имени-отчеству и иногда даже кое-о чем информировал. А однажды Дубина сыграл в моей жизни совершенно неожиданную роль.

Но прежде, чем рассказывать об этом случае, необходимо небольшое отступление.

В то время, о котором сейчас идет речь, выпуск паровозов на заводе Гартмана значительно сократился и прием новых рабочих был почти прекращен. Однако муж моей старшей сестры, Иван Иванович Щербина, оказавшись без работы, упрасивал меня помочь ему устроиться на паровозостроительный завод. Я объяснял ему, что сделать это мне сейчас нелегко, к тому же Иван Иванович сильно пристрастился к вину. В пору запоев он буквально терял человеческий облик, тянул в кабак последние вещи из дому, где и без того царил нужда. Я не раз говорил ему: прекрати пьянство, а тогда уже подумаем о твоей работе. В один из запоев в его затуманенном мозгу вспыхнула злоба на меня: немало сделавший для меня в пору моего детства, Иван Иванович, по-видимому, считал, что я просто не хочу ему помочь. И он совершил поступок, едва не стоивший жизни и мне и ему самому.

Как-то, возвращаясь с работы часов в восемь вечера, я встретил у проходных ворот упомянутого выше Дубину. Оглянувшись по сторонам, он сказал вполголоса:

— Господин Ворошилов, будьте добры, зайдите ко мне...

— Мне нечего у вас делать, господин Дубина.

Однако полицейский, оглядываясь, продолжал настаивать, стараясь при этом подчеркнуть свою доброжелательность.

— А вы зайдите, пожалуйста. Там никого нет, один я.

Чтобы не препираться дальше и не привлекать к себе внимание прохожих, я пошел за ним в его полицейскую будку у ворот. Там на небольшом столике в углу, покрытом старой зеленой скатертью, лежал какой-то сверток в ситцевом женском платке.

— Это ваше? — Дубина показал на сверток.

Недоуменно пожав плечами, я вопросительно посмотрел на полицейского. Я действительно ничего не понимал. Тогда Дубина раскинул углы платка: передо мной лежали револьверы разных систем, запасные части к ним, несколько десятков патронов. Да, это было мое «имущество», но я хранил его в тайнике, известном лишь мне одному. Как оно попало сюда? Почему Дубина меня не арестовывает?

— Узнаете?

Я ответил, что впервые вижу сверток и совершенно не понимаю, зачем он мне его показывает. Тогда Дубина сказал такое, что бросило меня в пот. Оказывается, сверток в полицейскую будку принес не кто иной, как пьяный мой зять Иван Иванович Щербина. По всей вероятности, он решил досадить мне, не отдавая себе отчета в том, какое предательство совершает. Хорошо еще, что в будке дежурил Дубина, сыгравший — ничего не скажешь — благородную роль. Он не донес, как обязан был, по начальству, а дал Щербине по шее и выпроводил вон.

— Возьмите, возьмите, — сказал Дубина, — я этого не бачив.

Что оставалось делать? Я завернул все свое добро в узелок, сунул под мышку и, молча, кивком головы поблагодарив Дубину, поспешил на квартиру сестры, Екатерины Ефремовны. Щербины дома не было. Матери и сестре я ничего не сказал. Как после рассказывала сестра, они еще никогда не видели меня таким возбужденным. Наконец в сенях послышались шаги, открылась дверь, и в комнату вошел Иван Иванович. Хмель с него, по-видимому, наполовину уже сошел, и он как ни в чем не бывало поздоровался со мной, даже не удивившись моему присутствию в их доме в столь неприличный час (обычно, и то изредка, я появлялся у них лишь поздней ночью).

Щербина был высок и, судя по всему, значительно сильнее меня. Но в тот момент я не думал об этом: во мне бушевала ярость. Выхватив из кармана небольшой пистолет, с которым я не расставался в последнее время, я со всего маху ударил им Ивана Ивановича в голову. Чуть вскрикнув, он мешком повалился на пол, а я кинулся к нему и сел на него верхом.

— Как же ты, пьяная рожа, — начал я в ярости, — дошел до жизни такой, что стал своих предавать? Ты знаешь, что мне полагается за то, что отнес ты в полицию? Где ты все это взял?

С Ивана Ивановича слетели остатки хмеля. Только теперь поняв всю глубину своего падения, он стал просить прощения. Оказалось, он перевернул весь дом в поисках каких-либо более или менее ценных вещей, чтобы снести их в кабак, и в это время наткнулся на мой тайник. Пьяная, слепая злоба толкнула его на преступление.

— Убить тебя мало, — сказал я ему уже более спокойно, но ярость еще кипела во мне. и это хорошо понимали невольные свидетели этой сцены — моя матушка и сестра Катя. Они хорошо знали мою вспыльчивость и понимали, что, если Иван начнет препираться или вырываться, я могу совершить непоправимое. Ругая его, они стали упрашивать меня, чтобы я пожалел семью и детей, которые, мал мала меньше, жались в испуге по углам.

— Ну, счастье твое, — сказал я ему, — что здесь мать и сестра да и дети. А то бы ты сейчас навсегда расстался со своим пьянством. Попомни это!

С тех пор Ивана Ивановича будто подменили. Как передавали мне мать и сестра, он ни в тот день, ни позднее не сказал ничего худого в мой адрес, стал более собранным, выполнял любое домашнее поручение, казалось, желая хоть как-то загладить свою вину, о которой и знали-то лишь члены нашей семьи да полицейский Дубина.

А на заводе Гартмана производство сокращалось, предстояло массовое увольнение. Партийный комитет, профессиональное общество стремились сохранить сплоченность и организованность рабочих и начали готовить забастовку, чтобы предъявить заводской администрации свои требования: проводили собрания в цехах и в мастерских, беседовали с рабочими и членами их семей. В ответ на это пристав Григорьев усилил свои репрессии и возобновил рукоприкладство, что, в свою очередь, вызвало новую волну возмущения. До нас, членов Луганского большевистского комитета, стали доходить слухи о том, что кое-кто из молодых рабочих хочет разделаться с приставом.

Мы не придали этим слухам особого значения: подобные разговоры велись и раньше, и, кроме того, мы хорошо знали своих членов партии и были уверены, что никто из них не позволит себе никаких террористических актов, не скатится до методов эсеровщины и анархизма. Но как-то поздно ночью, возвращаясь домой, я неожиданно встретил одного заводского городского. Было похоже, что он специально дежурил у моста и поджидал меня. Во всяком случае, городской тотчас же подошел ко мне и радостно заговорил:

— Здравствуйте, господин Ворошилов, здравствуйте!.. Поздравляю вас. Это очень хорошо, очень правильно... Спасибо вам!

Я ответил довольно грубо:

— Вы что, навеселе сегодня?

— Есть малость!.. По этому поводу и выпил. Да вы не бойтесь, все хорошо, и мы об этом ничего не знаем... Бывайте здоровы! — И городской залился каким-то странным, булькающим смешком.

Я пошел своей дорогой, но на душе стало немного тревожно. Что за странная встреча и странный разговор? Ведь городской явно подкарауливал меня. К чему бы все это?

Так и не найдя ответа на эти вопросы, я дошел до квартиры и вскоре заснул. А утром уже весь город знал, что в городском саду убили пристава Гартмановского завода Григорьева. Эта весть передавалась из уст в уста и всячески комментировалась. Говорили, что вся полиция поставлена на ноги, что пристав был подлец из подлецов, что в этой истории замешана женщина и что убийство произошло на почве ревности... Во всяком случае, ни один человек не жалел о случившемся.

Кто убил Григорьева, мы тогда так и не узнали да особенно и не интересовались. Лишь много лет спустя кое-что рассказал в своих воспоминаниях И. И. Шмыров, который в описываемую мной пору был еще сравнительно молодым рабочим и молодым членом партии. После Великой Октябрьской социалистической революции И. И. Шмыров стал первым советским директором бывшего Гартмановского завода. В настоящее время он персональный пенсионер, награжденный за революционные заслуги орденом Ленина.

«В скором времени после локаута, — рассказывает И. И. Шмыров, — нам стало известно, что жандармерия решила очистить Гартмановский завод от «большевистской заразы», для чего на должность пристава был назначен некий Григорьев, прославившийся зверской жестокостью... С занятием должности новый пристав составил список подлежащих аресту. Список начинался Ворошиловым и рядовыми районщиками: нужно было принимать меры. Это дело поручили охотникам, каковые немедленно нашлись: Рыжов-младший, Кокарев и Стояновский».

Как описывается далее, эта группа и покончила с Григорьевым.

Но хотя в этих воспоминаниях и указывается, что группа действовала по чьему-то поручению, я решительно заявляю, что такого поручения Луганский партийный комитет никому не давал. По всей вероятности, это было делом эсеров или анархистов. Мы, большевики, всемерно боролись с подобного рода выходками, и, когда нам становились известны участники таких анархических «операций», мы их строго называли...

Убийство всем ненавистного пристава произвело в Луганске огромное впечатление. Большинство горожан объясняло его политическими мотивами и было радо тому, что возмездие свершилось.

Провалы и аресты ряда наших товарищей-большевиков не могли не сказаться на состоянии партийной работы. Подготавливая забастовку на заводе Гартмана, мы заметили, что в некоторых звеньях наши усилия не приносят ожидаемых результатов. Несмотря на строжайшее требование партийного комитета не давать заводской администрации никаких поводов для массовых увольнений и других репрессий, отдельные группы неорганизованных рабочих, не считаясь ни с чем, поступали по-своему. В результате произошли не предвиденные нами события.

Действуя по наущению некоторых анархистующих крикунов, рабочие механической мастерской 28 апреля 1907 года вывезли на тачке сверловщика Ивана Корсакова, обвинив его в том, что он шел против всех, добивался снижения расценок в целях повышения личного заработка. 2 марта такой же случай произошел в железнодорожном отделе завода — за грубое обращение с рабочими был вывезен на тачке весовщик Иван Дальнев. Через три дня после этого рабочие паровозной кузницы вывезли на тачке своего начальника инженера Туника. Все это дало администрации давно подыскиваемый ею повод для расправы с рабочими, и она объявила локаут — закрыла завод. Это было сделано по прямому указанию правления Российского общества машиностроительных заводов Гартмана (РОМЗГ), находившегося в Петербурге. В конфиденциальном письме на имя директора завода К. К. Хржановского правление РОМЗГ писало: «Было бы очень хорошо воспользоваться настоящим случаем для удаления с завода по возможности всего самого беспокойного элемента, для приведения в норму расценок, а также удаления с завода излишка рабочих». С паровозостроительного завода было уволено тогда одновременно 3 810 человек.

Мы мобилизовали все силы партийной организации и профессионального общества на защиту интересов трудящихся. На собрании рабочих я и М. Н. Фридкин убеждали не отступать от своих требований, предъявленных заводской администрации, держаться дружно и организованно, расчета не брать. Выступившие затем рабочие поддержали нас.

— Потребовать возобновления работы завода и ни в коем случае не соглашаться с увольнением рабочих, участвовавших в вывозе на тачках хозяйских холуев,— сказал рабочий Трофим Кратинев.— Если администрация не согласится с этим,— продолжал он,— мы должны добиваться выполнения наших требований силой, а ее у нас достаточно. Мы должны заставить капиталистов подчиниться нашей воле!

13 марта 1907 года мы организовали в Народной аудитории расширенное собрание рабочих завода Гартмана. Договорились: как только завод будет открыт, ни в коем случае не допускать на него штрейкбрехеров. Администрация должна восстановить всех товарищей, уволенных при локауте.

Завод простоял двадцать два дня. Правление завода терпело убытки, но стремились во что бы то ни стало сломить нашу волю. Все чаще и чаще полиция обрушивалась на рабочих свои удары, вырывала из наших рядов наиболее стойких товарищей, и в этот период связи Луганского комитета с рабочей массой начали ослабевать. Некоторые рабочие поддавались унынию, кое-кто, особенно одинокие, все же начали брать расчет и уезжали из Луганска в другие города.

В эти тяжелые дни на меня обрушилось еще одно испытание: пришлось предстать в качестве обвиняемого перед екатеринославской судебной палатой. На этот раз я был привезен в губернский центр и посажен на скамью подсудимых. Мне предъявили все то же обвинение — покушение на жизнь полицейского во время июльской забастовки 1905 года. Еще одна попытка расправиться со мной «на законных основаниях». Однако заранее подготовленный спектакль был сорван, и решающую роль в том сыграли не только мои показания на допросе и показания свидетелей защиты, но и показания свидетелей обвинения — двадцати шести городских Гартмановского завода.

Почувствовав себя в безопасности от уже похороненного пристава Григорьева, полицейские заявили, что рабочие проводили забастовку спокойно и организованно, без оружия, и что я являюсь одним из наиболее дисциплинированных рабочих и не только не допускал каких-либо «безобразий», но всегда выступал против беспорядков, и что вообще если бы не мое положительное влияние на рабочих, то они, наверное, разнесли бы завод на куски.

Не знаю, что вынуждало полицейских высказывать все это и нести подчас такую чепуху, что у меня, как говорится, уши вяли, но так или иначе, а их показания привели к тому, что вместо ожидаемой многолетней каторги я оказался оправданным.

Это было приятной неожиданностью, и мы, группа рабочих, прибывших на суд, были приглашены местными большевиками на обед. Не помню уж где, но мы собрались дружной компанией. Поздравляли друг друга с успешным завершением судебного преследования и провозглашали тосты за успехи революции и победу рабочих и крестьян в борьбе против самодержавия и буржуазии. Все шло хорошо до тех пор, пока не случилось такое, чему я и до сих пор не найду объяснения.

В разгар веселья у меня внезапно разболелась голова, а всего меня охватила непреодолимая тревога. Я чувствовал, я был почти уверен, что надо мной нависло какое-то несчастье, страшная беда.

Извинившись перед товарищами, я сказал, что немедленно должен ехать к родным — к отцу и матери.

Товарищи отнеслись ко мне сочувственно, помогли добраться до вокзала и сесть в отходящий поезд.

Подъезжая к станции Алчевская, я на перроне увидел встревоженных мать и сестру Аногу. Они специально поджидали этот же поезд, чтобы ехать в Луганск, куда накануне был отправлен находившийся при смерти отец. Оказалось, что сутки назад он и его товарищ пошли по железнодорожной ветке на Жилковский рудник. Ночь была темная, навстречу дул сильный ветер. Их настиг поезд и сбил отца. Отец упал, его подцепила решетка под паровозом и некоторое время тащила по шпалам. Когда наконец состав остановился, отец был весь в крови, но еще жив. Его тут же отправили в Луганск, в больницу.

Все это мать рассказала мне уже в вагоне, по дороге в Луганск.

Когда мы пришли в больницу, отец едва дышал, один его глаз совсем затек, а второй был чуть приоткрыт. Через две-три минуты отец скончался.

Похоронив его, глубоко пережив свое горе, я проводил в Алчевск мать и сестру, а сам снова включился в революционную деятельность. Нам, большевикам, предстояли

напряженные дни: надо было собирать силы, восстанавливать многие нарушенные связи, создавать новую типографию взамен провалившейся. Я упорно искал следы «Наташи» (К. Н. Самойловой): ведь нам предстояло вместе ехать на съезд. Однако разыскать ее мне удалось только в Москве, куда я был делегирован на Первую Всероссийскую конференцию профсоюза металлистов. Отсюда мы и поехали с ней в одном вагоне на север, в Петербург, навстречу новым испытаниям.

## ■ НА ПЯТОМ СЪЕЗДЕ РСДРП В ЛОНДОНЕ

Пятый (Лондонский) съезд РСДРП иногда называли «путешествующим». И это близко к истине.

Первоначально все мы, делегаты съезда, разными путями съехались в Финляндию и оттуда пароходом переправились в Швецию. Из Стокгольма на поезде поехали в Мальме, где нас прямо в вагонах перевезли на пароме и доставили в Копенгаген — столицу Дании. Здесь, в одном из залов, предоставленных в наше распоряжение местными социал-демократами, должен был начать работу съезд.

В день, предшествовавший открытию, в этом зале состоялась встреча В. И. Ленина с делегатами-большевиками. Владимир Ильич говорил тогда о мобилизации всех сил рабочего класса на активное участие в революционной борьбе, о том, что надо укреплять и вооружать боевые дружины. Рабочие делегаты от души аплодировали Ильичу; руководители или члены боевых дружин, мы по личному опыту знали: победить можно лишь тогда, когда на вооруженное нападение ответишь не только беззаветной смелостью и решимостью стоять до конца, но и оружием. Окружив В. И. Ленина, мы долго еще разговаривали, пока кто-то не сказал, что пора дать Владимиру Ильичу отдых.

Утром, когда мы снова направились в тот же зал, где собирались накануне, нас туда даже не впустили. Дежурившие у помещения товарищи сообщили, чтобы мы побыстрее собирали свои вещи и шли в порт к пароходу — билеты уже заказаны. Оказалось, что датское правительство ввиду родственных связей с русской царствующей фамилией в самый последний момент аннулировало свое согласие на проведение нашего съезда в Копенгагене, и мы были вынуждены возвратиться в Мальме. Однако нас и там ждала неудача — договориться со шведским правительством тоже не удалось. Отказало нам в гостеприимстве и норвежское правительство. Воспользовавшись этими трудностями, меньшевики пытались сорвать работу съезда, но благодаря настойчивости большевистских руководителей была достигнута договоренность с правительством Англии, и, как известно, V съезд состоялся в Лондоне.

Мы в третий раз пересекли горловину Балтийского моря — пролив Эресуни (Зунд) — и по железной дороге, через всю Данию направились в Асбьберг, чтобы отсюда на пароходе выехать в Лондон. Почти на каждой станции нас встречали делегации датчан с красными флагами, с плакатами, с музыкой самодеятельных оркестров и песнями. Рабочие, крестьяне, ремесленники приветствовали русских революционеров; им не было никакого дела до официальной политики датского «демократического» правительства. Более того, они иногда говорили нам, что им стыдно за вероломство официальных властей. До глубины души трогала эта ярко выраженная пролетарская солидарность простых людей Дании.

Правительство России стремилось и в Англии сорвать работу нашего съезда. Мы не раз замечали в Лондоне слежку царских сыщиков, видимо, прибывших сюда по специальному заданию жандармского корпуса. Однако помешать нам им не удалось: мы оказались вне досягаемости «всевидающего» ока и «всеслышащих» ушей.

Заседания V съезда проходили в будние дни, с 30 апреля по 14 мая 1907 года (с 13 мая по 1 июня по новому стилю) в помещении церкви Братства, принадлежавшей обществу реформистов-фабианцев. По воскресеньям по заведенному правилу в церкви справлялись богослужения, а мы, делегаты, отдыхали — знакомились с Лондоном, с его достопримечательностями.

Идейная борьба большевиков с меньшевиками на V съезде была еще более страстной и непримиримой, чем на предыдущем.

Резко критикуя отчет меньшевистского ЦК, В. И. Ленин убедительно доказал, что ЦК не обеспечил выполнения решений предыдущего съезда, отошел от самостоя-

тельной пролетарской политики, скатился на путь соглашательства с либерально-монархической буржуазией и обезоруживал партию, толкая ее на путь парламентской деятельности. Слушая доклады и прения, мы еще раз убедились, как глубоко анализирует Владимир Ильич обстановку в стране и расстановку классовых сил. Отстаивая взгляды, высказанные им еще на IV съезде РСДРП, В. И. Ленин показал, что сама жизнь подтверждает перспективы развития революционной борьбы, намеченные большевиками.

«Необходимо со всей определенностью признать,— говорил Ленин на съезде,— что либеральная буржуазия стала на контрреволюционный путь, и вести борьбу против нее. Только тогда политика рабочей партии станет самостоятельной и не на словах только революционной политикой. Только тогда мы будем систематически воздействовать и на мелкую буржуазию и на крестьянство, которые колеблются между либерализмом и революционной борьбой».

Реакционная меньшевистская идея так называемого «рабочего съезда», а по существу, идея создания новой, беспрограммной, разношерстной «широкой рабочей партии» позорно провалилась. Меньшевики давно уже носились с этой идеей. Чтобы придать какой-то вес своим словам, они пытались клеветать на нашу партию, характеризуя ее не как авангард рабочего класса, а как некое объединение представителей интеллигенции. Так, например, меньшевик Аксельрод заявил в своем докладе буквально следующее: «Я утверждаю, что партия наша по происхождению своему и до сих пор остается еще революционной организацией не рабочего класса, а мелкобуржуазной интеллигенции...»

Мы, рабочие — делегаты съезда, не могли терпеть эти наскоки на партию. Нам лучше, чем кому-либо из меньшевиков, было известно, что из себя представляет наша партия и из кого она состоит. Мы сами работали в низовых организациях партии и сами формировали ее состав из передовых рабочих, преданных делу народа, идеалам революции. Мы не могли спокойно слушать и наблюдать прения, так как речь шла, по существу, о судьбе нашей партии, о том, быть ей или не быть, ставилось на карту все, что мы связывали с победой революции: наша свобода, улучшение нашей жизни, будущее нас самих, наших детей, внуков и правнуков, будущее всей страны и всего нашего народа. Вместе со своим учителем и вождем В. И. Лениным мы потребовали укрепления рядов нашей социал-демократической рабочей партии. Был выдвинут и поддержан лозунг: увеличить вдесятеро и вдесятеро нашу партию, главным образом за счет пролетарских элементов, твердо стоящих на позиции революционного марксизма.

На последние дни работы съезда наложила свой отпечаток необычайная спешка, вызванная отсутствием средств. Воспользовавшись этим, меньшевики пытались не допустить избрания нового состава Центрального Комитета, при выборах которого, как они это чувствовали, им придется потерпеть поражение. Вопрос о нехватке средств и о дне окончания работы съезда специально обсуждался на двадцать пятом (закрытом) заседании. Предлагая прекратить работу съезда без принятия каких-либо решений, меньшевики старались при этом показать видимость своей заботы о рабочих делегатах (рабочие, мол, имеют ограниченный отпуск и, вернувшись в Россию, могут остаться без работы). Но мы не могли согласиться с этим фальшивым доводом. Мы считали себя более всех заинтересованными в принятии съездом таких решений, которые вооружали бы партию перспективами дальнейшего развития революции, мобилизовали трудовые массы на победоносное завершение революционной борьбы.

Стремясь вместе с другими рабочими делегатами дать отповедь меньшевистской болтовне, попросил слова и я. Волнуясь, я произнес тогда первую свою речь на высшем форуме нашей партии. Она уместилась в несколько строк протокольной записи:

«Говорили о рабочих. Хочу указать на одну сторону, о которой говорили здесь. Мы имеем дело не с простыми рабочими, а с.-д., которые рисковали утонуть в океане. Елкин говорил, что сама идея съезда будет дискредитирована. Мы ничего еще не сделали. Те, которые предлагают уехать, хотят дискредитировать съезд».

Кстати, стоит заметить, что во всех злоключениях, связанных с переездами делегатов из страны в страну, на что была истрачена значительная сумма партийных средств, в большой мере был повинен меньшевистский состав ЦК. Это меньшевики без должной твердости и гарантий вели переговоры с датскими социал-демократами и

не учли всех возможных противодействий датских властей. Большевикам, и особенно В. И. Ленину, пришлось тогда многое сделать, чтобы исправить промахи меньшевиков и найти дополнительные средства на продолжение работы съезда. В этом Владимиру Ильичу помог Алексей Максимович Горький, присутствовавший на съезде в качестве гостя вместе со своей женой и другом Марией Федоровной Андреевой. Алексей Максимович нашел человека, который согласился дать займы русским социал-демократам 1 700 фунтов стерлингов (по тогдашнему валютному курсу 17 тысяч рублей золотом) при условии, чтобы на заемном письме расписались все делегаты съезда.

Этим человеком был лондонский либеральный буржуа мыловар Джозеф Фелс, заядлый собиратель автографов. При выдаче займа он не потребовал каких-либо процентов, и это ускорило сделку. Долговое обязательство было подписано 30 мая 1907 года. Конечно, мистер Фелс в какой-то мере рисковал своим капиталом, но, думается, он рассчитывал и на то, что в крайнем случае сумеет кое-что заработать на распродаже автографов многих известных русских революционеров. Впрочем, английскому мыловару не пришлось испытать никаких неприятностей: сразу же после победы Великой Октябрьской социалистической революции взятая у него сумма была полностью возвращена Советским правительством.

Заем Фелса сыграл свою роль, хотя сумма была явно недостаточная. Чтобы обойтись наличными средствами, пришлось пойти на самые крайние меры. Поскольку срок договора с церковью Братства истекал 1 июня (а было ясно, что потребуется еще время для завершения работы съезда), В. И. Ленин предложил начать немедленную отправку делегатов в Россию, а для избрания ЦК и решения других, главным образом организационных вопросов выделить от каждых четырех делегатов всех фракций по одному представителю.

На последних заседаниях съезда произошел довольно характерный случай, показавший растерянность и беспринципность меньшевиков. При выборах состава ЦК, кроме прошедших большинством голосов, оказалось пять человек — в том числе и один меньшевик, — получившие равное число голосов. Из них надо было путем перебаллотировки избрать троих. И вот, не надеясь на избрание своего представителя, меньшевики предложили... метнуть жребий. Но Ленин, председательствовавший на этом заседании, настоял на перебаллотировке, и она была проведена, хотя дело затянулось до глубокой ночи. Как и следовало ожидать, меньшевик остался за бортом состава ЦК.

Нам, рабочим делегатам, приятно было наблюдать трогательную дружбу Владимира Ильича и Алексея Максимовича Горького. Они часто беседовали в перерывах между заседаниями, вместе в свободное время осматривали Лондон. Ленин организовал для делегатов съезда доклад Горького о перспективах развития русской художественной литературы. Я впервые видел тогда Алексея Максимовича и с гордостью думал о том, что этот большой писатель (а мне уже удалось к тому времени прочитать многие его рассказы и повесть «Мать») является другом Ленина, сочувствует нашему партийному делу, выступает вместе с нами за победоносное завершение революционной борьбы.

Держался Алексей Максимович просто, скромно и, казалось, смущался от внимания к нему В. И. Ленина и делегатов съезда.

Зная, что рабочие делегаты получают на питание и другие личные нужды очень скромную сумму — два шиллинга в день — и никаких иных средств не имеют, Горький и Мария Федоровна Андреева организовали буфет, в котором мы могли бесплатно съесть бутерброд и выпить кружку пива. Это было для нас существенным подспорьем.

Алексей Максимович интересовался работой этого буфета, заботился, чтобы в нем всегда были свежие продукты и чтобы бутерброды соответствовали аппетитам взрослых людей. Однажды Алексей Максимович заметил, что наряду с рабочими-большевиками в буфете питаются и меньшевики. Я слышал, как он сказал Марии Федоровне, полагая, что вблизи никого нет:

— Как-то нехорошо получается, Мария Федоровна... Сочувствуем мы и помогаем большевикам, а тут вот подкармливаем их идейных противников.

Разумеется, это была шутка, но и она выражала симпатии Горького к нам, рабочим-большевикам — сторонникам великого Ленина.

В течение всего съезда В. И. Ленин почти ежедневно встречался с большевистской частью делегатов на фракционных собраниях. На этих собраниях не было официальной повестки и специального председателя; они походили на товарищеские беседы, причем чаще всего руководил этими собраниями не Ленин, а кто-либо другой. Однако в центре внимания всегда был он — Владимир Ильич. Мы всей душой тянулись к нему.

Перед началом работы съезда Владимир Ильич попросил нас, делегатов с мест, сообщить о настроениях в партийных организациях, о наказах и высказать свои соображения, как распределяются голоса большевиков и меньшевиков в составе делегаций от различных районов страны. Сообщения сделали представители из Петербурга, Москвы, Урала, Кавказа. Я тоже очень коротко доложил о представителях Донбасса. Слушая нас, Владимир Ильич иногда выражал сомнения в оценке того или иного товарища, о котором шла речь и которого он в какой-то мере знал.

— Мы должны быть достаточно осведомлены, — сказал он, — кто будет поддерживать подлинно революционные требования, кто выступит против них и кто примкнет к «центристам», к «болоту». По мере возможности мы будем переубеждать их, перетягивать на свою сторону...

На этом собрании я вновь встретился с Ивановичем (Иосифом Джугашвили — И. В. Сталиным), который являлся делегатом с совещательным голосом. Мы сидели в разных местах, но он узнал меня и приветливо кивнул. А когда начался подсчет голосов в группе кавказских делегатов, он внес поправку в сообщение М. Г. Цхакая, заявив, что двое из делегатов, отнесенных к меньшевикам, на самом деле еще не определили своих позиций, и вполне вероятно, что один из них примкнет к «болоту», а другого удастся склонить на сторону большевиков. Чувствовалось, что Иванович хорошо знает людей, разбирается в их настроениях. В ходе работы съезда он твердо стоял на ленинских позициях.

На Пятом съезде я вновь встретился со многими замечательными товарищами, с которыми близко сошелся еще в Стокгольме: с Ф. Э. Дзержинским, И. И. Скворцовым-Степановым, С. Г. Шаумяном, Е. М. Ярославским. Посчастливилось познакомиться и со многими другими видными большевиками и очень интересными людьми: В. П. Ногиным, В. К. Слуцкой, М. М. Литвиновым, Ю. Ю. Мархлевским, И. С. Уншлихтом и другими.

Когда обсуждался вопрос о так называемом «рабочем съезде», В. И. Ленин долго и очень обстоятельно разъяснял нам на фракционном собрании, на какой гибельный путь толкают нашу партию оппортунисты-меньшевики. В связи с этим он высказал мнение о возможном укреплении состава ЦК за счет рабочих, хорошо знающих обстановку на местах и настроения масс. В качестве возможных кандидатур он назвал несколько фамилий, в том числе и мою. При этом Ленин пояснил, что представители заводов и фабрик в составе ЦК явились бы своеобразными мостками, которые еще теснее связали бы руководящий орган партии с рабочим классом.

Не помню уж, как начался обмен мнениями, но я по своей горячности и недостаточной в то время политической зрелости сразу же попросил слова и отвел свою кандидатуру. Да еще и попытался довольно бестактно иронизировать: мол, наша партия, как я себе представляю, является сердцевиной и авангардом рабочего класса, а тут, оказывается, для связи ЦК с рабочими нужны какие-то балки.

Владимир Ильич терпеливо слушал этот мой детский лепет, но под конец не выдержал и рассмеялся. Смеясь и в шутку грозя мне обоими кулаками, он как бы говорил: «Ну и зарываешься же ты, молодой человек». Но вслух сказал очень мягко, безобидно:

— Ведь это же только предположение...

Долго после этого мне было стыдно смотреть в глаза Владимиру Ильичу. Но хотя впоследствии нам приходилось довольно часто встречаться, он никогда не напоминал мне о моем промахе.

В числе приглашенных на съезд был и идейный руководитель русского анархизма князь Кропоткин. Он интересовался ходом прений, присматривался к делегатам и однажды, подойдя к нам, рабочим, изъявил желание встретиться с нами у него на квартире за чашкой чая. Мы рассказали об этом на одном из наших фракционных собраний. Владимир Ильич улыбнулся:

— А что ж тут плохого? Попейте чайку с князем, поговорите с ним по душам. Не знаю, как вам, а ему, уверен, будет от этого большая польза.

И вот мы, группа рабочих-большевиков — уральцы, петербуржцы, донбассовцы, всего человек восемь — десять, — направились к Кропоткину. Он встретил нас приветливо, пригласил пройти в комнату, где уже стоял на столе «под парами» родной русскому сердцу самовар. Угощала чаем нас не то дочь, не то родственница хозяйка — молодая красивая женщина. Кропоткин, худощавый, с бородкой клинышком, в сапожках на высоких каблучках, какой-то весь очень легкий и игривый, помогал ей, но не задавал нам никаких вопросов. Мы тоже молчали, приглядывались. Когда молчать стало уже неловко, кто-то из нас спросил князя:

— Вот вы бываете на съезде каждый день и, как видно, сочувствуете русской революции. Почему же вы не принимаете активного участия в революционной деятельности?

Кропоткин улыбнулся, попытался отшутиться:

— Годы мои уже не те... И потом, вы знаете, я стою за свободу личности: хочешь что-либо делать — делай, не хочешь — оставайся в стороне. Никто никого не должен понуждать. Человек сам несет за себя ответственность.

Так завязался разговор. Мы засыпали князя вопросами, примерами из жизни.

— Человек действительно сам выбирает, что ему делать, сам несет ответственность за свои поступки, — говорили мы. — Но как все это согласуется с практикой анархизма? Анархисты выступают против организованных действий рабочих, совершают грабежи и убийства, во время забастовок действуют как штрейкбрехеры. Как прикажете это понимать?

И опять Кропоткин уклонился:

— Каждый человек вправе поступать по своему разумению — как хочу, так себя и веду.

— Ну, а если он грабитель и вор, убил банковского служащего, отнял у него деньги, оставил вдовой его жену и сиротами его детей — тогда как?

Князь поморщился, пожал плечами:

— Ну что ж, лес рубят — щепки летят.

Стало ясно, что мы говорим на разных языках. Главный идеолог анархизма предстал перед нами во всем своем духовном убожестве. Мы еще раз убедились в превосходстве нашего миропонимания. Мы, простые рабочие, видели перспективу развития революции, ее неизбежную победу, верили в силу народных масс, чувствовали себя творцами нашей грядущей победы, а Кропоткин олицетворял собой нечто старое, безвозвратно уходящее. И, может быть, потому, что мы так отчетливо ощущали свою силу, нам не хотелось обижать его. Поблагодарив за чай, мы пожелали ему и хозяйке доброго здоровья и благополучия.

Запомнилось мне в Лондоне и еще многое: минуты молчания на могиле великого Карла Маркса; экскурсия в Британский музей, в котором собраны сокровища из многочисленных в то время английских колоний; посещение лондонского Гайд-парка — места постоянных прогулок горожан, массовых народных гуляний и всякого рода митингов. Побывали мы и на одном металлургическом заводе, который произвел на меня неважное впечатление: его оборудование было еще более старым, чем на наших русских предприятиях подобного типа.

Одно из самых ярких впечатлений оставили встречи с моряками и береговыми рабочими в лондонском порту, куда завел меня сын моего квартирного хозяина. Это был выходец из России, молодой еврей; он еще не забыл русский язык и в то же время свободно владел английским.

Лондонский морской док в устье Темзы — огромный людской муравейник, скопище судов и механизмов, не только место упорного и тяжелого труда многих тысяч людей, но и подлинная клоака. Тут можно было увидеть и валяющихся пьяных докеров, и пристающих к прохожим женщин, и открыто орудующих воров-карманников.

Конечно, с тех пор утекло много воды, и, может быть, теперь в Лондоне нет ничего подобного. Но тогда все это произвело на меня настолько тяжелое впечатление, что, когда спустя несколько лет после моего побега из ссылки мне в ЦК предложили выехать за границу и назвали Лондон, я наотрез отказался.

Перед отъездом из Англии мы, большевики, собрались на свое последнее фракционное совещание на этот раз не в церкви, а в одном из залов небольшого ресторана. По нашей просьбе Владимир Ильич сделал краткий обзор работы съезда и подвел его основные итоги. Особо подчеркнул главное наше достижение — победу над меньшевиками по всем принципиальным вопросам.

— Ход работы и решения V съезда партии, — говорил тогда Владимир Ильич, — дают нам уверенность в том, что мы идем по правильному пути. Но это только начало нового этапа в нашей работе. Надо довершить на местах разгром оппортунистов-меньшевиков, всемерно повышать сплоченность и руководящую роль рабочего класса в революционной борьбе, усиливать наше влияние на рабочих и крестьян, разоблачать все происки либеральной буржуазии, которая все более скатывается на путь контрреволюции. Мы победили, но не должны зазнаваться. Наш долг и обязанность — спокойно и уверенно вести массы по избранному пути с упорством и последовательностью, достойными наших великих учителей, Маркса и Энгельса.

Провожая нас, Владимир Ильич нашел для каждого теплое слово приветия и путешествия; он много шутил и в то же время был как бы сгустком энергии и деловитости. Ему было в то время тридцать семь лет, но он был уже общепризнанным авторитетом и испытанным руководителем партии.

С радостным настроением покидали мы английскую землю. Помню, мне было особенно приятно сознавать, что и я, простой рабочий, являюсь одним из соратников замечательного человека и негибавшего революционера — Ленина... Впереди нас ждали новые трудности и испытания, упорная борьба за дело народа, быть может, и самое страшное — смерть в этой борьбе. Но мы были готовы к этому. Мы верили: будущее принадлежит нам — людям труда.

В Россию я вернулся без каких-либо особых приключений, хотя эта поездка была сопряжена с риском: по поручению В. И. Ленина я вез в Петроград, как мне сказали, очень важные партийные документы. Сдав их в издательстве «Вперед», я тут же направился в Луганск. Хотелось поскорее попасть в родные края, доложить своим товарищам о съезде, о встречах с Владимиром Ильичем.

Приехал я в Луганск 18 июня 1907 года.

К этому времени в стране произошли важные события: 3 июня 1907 года царское правительство разогнало II Государственную думу, арестовало социал-демократическую фракцию и еще больше урезало и без того скудные «демократические свободы», объявленные в манифесте 17 октября. Изданный в обход думы новый избирательный закон ставил новые рогатки против участия рабочих и крестьян в избирательной кампании и обеспечивал безраздельное господство в новой думе ярых черносотенцев, помещиков и крупной буржуазии.

Этот «третьеиюньский государственный переворот» и усилившиеся расправы с участниками революционного движения свидетельствовали о наступлении в стране самой черной реакции. Однако среди своих заводских товарищей я не заметил растерянности. В своей основной массе рабочие были настроены по-боевому, хотя им и пришлось пережить тяжелый локаут, потерять многих своих вожakov — часть из них была арестована, а часть покинула город под угрозой ареста.

Новые условия требовали настойчивых и в то же время осторожных и умелых действий. Партийный комитет решил как можно скорее заслушать мой отчет о работе Лондонского съезда перед массовым партийным собранием и развернул широкую подготовку к нему во всех районных организациях. Надо было не только провести это собрание под носом у полиции, не допустить провала, но дать еще один бой меньшевикам, а главное, наметить, как мы будем осуществлять решения съезда.

Это большое собрание состоялось в ночь на 24 июня 1907 года в Вергунской балке. Присутствовало около двух тысяч социал-демократов и передовых рабочих. Участники собрания горячо поддержали решения партийного съезда, разоблачали раскольнические действия меньшевиков, требовали усилить вооружение рабочих.

— Теперь, — сказал один из выступающих, — самое главное — не дать отнять у нас то, что уже завоевано, и умело продолжать борьбу в новых условиях. Будем

учиться у Ленина революционной стойкости и умению поднимать массы на борьбу в любых условиях.

Собрание в Вергунской балке помогло нам своевременно разъяснить всем членам партии обстановку, создавшуюся в стране, и начать организованный переход на режим строгой конспирации.

В отчете луганской социал-демократической организации V партийному съезду мы сообщали, что одной из своих неотложных задач считаем создание окружной организации, которая объединила бы партийную работу на многочисленных шахтах, рудниках и других предприятиях, тяготеющих к Луганску. В этом направлении уже многое было сделано, но массовые провалы в феврале 1907 года помешали нам довести до конца начатое. Во время моего пребывания на съезде члены Луганского комитета и партийные руководители на местах, избежавшие ареста, продолжали эту работу. Вернувшись в Луганск, я тоже включился в нее.

В тесном контакте с Луганским партийным комитетом осуществляли свою деятельность партийные группы на Кадиевском металлургическом заводе и металлургическом заводе ДЮМО в Алчевске, на близлежащих шахтах и рудниках, а также на ряде железнодорожных станций (Алмазная и др.). Все они входили в состав Алмазно-Юрьевской социал-демократической организации. Выборный комитет этой организации включал в себя представителей от низовых ячеек и регулярно, примерно раз в неделю, собирался для решения текущих вопросов и выработывал общий план действий. И в послесъездовские дни это стремление местных организаций к укреплению связей друг с другом и с Луганским комитетом продолжало сохраняться.

Характерной особенностью в работе социал-демократических организаций того периода было выдвижение новых надежных руководителей из числа уже закаленной в борьбе молодежи. В это время в Луганске активно включились в революционную работу только что прибывшие в город большевики А. В. Медведев, М. К. Владимиров, хорошо проявили себя недавно избранные в состав партийного комитета И. И. Шмыров и П. А. Чижиков, рабочие-большевики А. И. Руденко, Василий Афонин, Зиновий Ляпин, Федор Чекмарев, Андрей Чеканов и другие. На металлургическом заводе ДЮМО в Алчевске способным организатором рабочих показал себя только что вступивший в партию С. В. Коссиор. Эти и другие активисты старались сплотить рабочих на основе решений V съезда партии, разоблачали оппортунизм меньшевиков, укрепляли подпольные связи и умело использовали легальные возможности для своей партийной работы.

Массовые увольнения во время локаута на заводе Гартмана привели к росту безработицы и резко ухудшили и без того тяжелое положение многих семей. Это порождало у отдельных рабочих упадочнические настроения, и надо было как-то повлиять на них, разъяснить, что, как бы ни злобствовала реакция, мы еще увидим время, когда новый шквал революции сметет с лица земли господство самодержавия, помещиков и капиталистов. И вот Луганский большевистский комитет провел в Ботаническом саду сходку луганских безработных, перед которыми я выступил с политическим докладом.

Чтобы обмануть бдительность полиции, мы собрали сходку 2 июля 1907 года на рассвете. На нее пришло около 120 безработных — представители от разных районов.

— Наша сила в сплоченности и организованности, — убеждал я наших безработных товарищей. — Если мы будем взаимно поддерживать друг друга, то сумеем отстоять наши интересы. Когда же наступят более благоприятные обстоятельства, мы будем действовать еще решительнее, чем в 1905 году, и обязательно одержим победу. Нельзя унывать и опускать руки. Надо действовать, действовать даже теперь, когда условия для борьбы очень осложнились. Мы должны не просить, а требовать от властей, чтобы все безработные получили работу и обеспечили своим семьям хотя бы минимальные возможности для существования.

Участники сходки оживились, поддерживали меня своими репликами, и я чувствовал, настроение у них улучшилось. Решили избрать делегацию и направить ее к исправнику и в городскую управу с требованием предоставить работу всем безработным.

Предложение было принято единогласно. Однако возникли разногласия — в какой форме выразить эти требования и как действовать в случае их отклонения. Я советовал держаться твердо, заявить властям, что если они откажутся выполнить требова-

ния, то безработные, чтобы не умереть с голоду, будут вынуждены сами позаботиться о своих нуждах за счет тех, у кого имеются излишки средств и продовольствия. Но хотя и я и мои товарищи объясняли, что это всего лишь тактический прием, средство для нажима на исправника и городскую управу, многие не согласились, опасаясь арестов и других репрессий. Тем не менее избранная делегация отправилась для выполнения своей миссии.

Как выяснилось позднее, исправника найти не удалось, а в городской управе нашим делегатам заявили: меры, чтобы облегчить положение безработных, будут приняты, но сразу этот вопрос решить нельзя. Разумеется, то была уловка, чтобы оттянуть время. Но мы были довольны и тем, что в очень сложных и опасных условиях сумели еще раз напомнить властям, что наша организация живет и действует.

А обстановка в Луганске и его окрестностях все более ухудшалась. Репрессии царизма усиливались. Повсюду рыскали полицейские, жандармы, конные казаки, шпионская агентура. Черносотенцы из «Союза русского народа» и анархисты распоясались: бесчинствовали на улицах и в общественных местах, избивали рабочих, совершали бандитские налеты на рабочие окраины. В ответ на это некоторые рабочие, доведенные до отчаяния, совершали террористические акты — убивали полицейских и казаков. А это, в свою очередь, еще более ожесточало власти.

Разгул реакции и непрерывные аресты породили у некоторых рабочих уныние и даже панику. Увеличилось пьянство, а кое-кто вступил и на путь предательства — выдавал полиции партийных и профсоюзных активистов. Некоторые дружинники, не понимая обстановки, требовали ответить репрессиями на репрессии; а когда мы попытались призвать их к благоразумию, принялись действовать в одиночку и становились жертвами своей горячности. Все это, конечно, усложняло и без того тяжелые условия для нашей партийной работы, но надо было продолжать начатое дело.

Еще находившиеся на свободе руководители партийного комитета и члены правления профессионального общества были на положении травимых: за нами днем и ночью охотились полицейские ищейки. Отлично понимая, что полиция принимает все меры, чтобы схватить меня, а может быть, и физически уничтожить, я старался как можно лучше, полней использовать каждый день и час. Надо было передать в надежные руки и хорошо упрятать оружие, партийные документы, деньги, печать Луганского комитета, конспиративный шифр, подобрать опытных и верных людей для связи с соседними партийными организациями и большевистским центром. Мы, большевики-комитетчики, спали по три-четыре часа в сутки, соблюдали осторожность, часто были вынуждены гримироваться, но дни нашей свободы были уже сочтены.

В ночь с 30 на 31 июля 1907 года меня арестовали на одной из конспиративных квартир. Сопrotивляться и бежать было бесполезно: я знал, что в таких случаях полиция блокирует место облавы двойным и тройным кольцом и живым из него не вырваться. Пришлось подчиниться, заявить протест против самоуправства полицейских, допускающих насилие над свободой личности, и проследовать под конвоем в луганскую тюрьму.

Эта дорога не была для меня новой, по ней я уже прошел однажды — в 1905 году. Но тогда меня сумели вырвать из тюремного застенка тысячи луганских пролетариев, поднявшихся на борьбу с самодержавием. А сейчас наступили иные времена, и я понимал, что на этот раз придется испытать всю тяжесть и горечь длительного тюремного заключения, а возможно, каторги или ссылки.

В тюремной одиночке в ожидании допросов и суда я много раз мысленно возвращался к нашей революционной борьбе и с гордостью сознавал, что мы, большевики-ленинцы, действовали смело, решительно и выражали коренные интересы рабочего класса, народных масс. Конечно, мы не избежали ошибок, но рабочий класс и крестьянство закалились в борьбе, и в другой раз — я не сомневался, что этот другой раз наступит в недалеком будущем, — мы будем действовать еще смелее и победим.

Сейчас, с высоты прожитых лет, яснее видятся причины поражения революции 1905—1907 годов, но и тогда я более или менее правильно представлял себе, в чем заключались наши основные недостатки и слабости: нам не удалось создать повсеместно прочного союза с крестьянством, мы слабо работали в армии и не обеспечили широкий переход на сторону революции солдат и матросов, не имели достаточно оружия, слабо и нерешительно использовали его в революционной борьбе против само-

державия. Не сумели мы до конца и повсеместно разоблачить оппортунистическую, соглашательскую политику меньшевиков, сеявших в массах вредные иллюзии, будто либеральная буржуазия заинтересована в победе революции, что свободу и лучшую жизнь можно якобы добыть мирным, конституционным путем. Открытое соглашательство либеральной буржуазии с царизмом, думал я, должно до конца рассеять эти иллюзии и вместе с тем еще яснее показать подлую роль меньшевиков, пресмыкающихся перед классовым врагом пролетариата.

Я вновь и вновь вспоминал В. И. Ленина, беседы с ним, его напутствия нам, делегатам-большевикам, и становилось легче на душе. Хотелось поделиться с кем-нибудь из товарищей своими мыслями, но я был в одиночной камере, и немymi свидетелями моих раздумий были только голые тюремные стены.

«Нет, мы не остановимся на полпути,— размышлял я.— Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». — От этих мыслей становилось веселее, и я даже запевал «Вихри враждебные» или «Смело, товарищи, в ногу».

— Прекратить пение! — грозно рявкнул в «глазок» надзиратель.

«Что бы ни случилось со мной,— продолжал думать я,— но общего течения жизни, ее законов, процессов общественного развития не изменить. Условия, породившие революцию, продолжают существовать, и в этом залог неизбежности новой революции. Я не одинок, потому что существует партия, а вместе с партией и своим классом я вынесу любые трудности».

Позднее мне было особенно приятно узнать ленинскую оценку исторической роли нашего рабочего класса в те годы и того опыта, в приобретении которого и мне выпало счастье принимать непосредственное участие.

В статье «Исторический смысл внутрипартийной борьбы в России» В. И. Ленин писал: «... своей геройской борьбой в течение трех лет (1905—1907) русский пролетариат завоевал себе и русскому народу то, на завоевание чего другие народы потратили десятилетия. Он завоевал **освобождение** рабочих масс **из-под влияния** предательского и презренно-бессильного **либерализма**. Он завоевал **себе** роль **гегемона** в борьбе за свободу, за демократию, как условие для борьбы за социализм. Он завоевал всем угнетенным и эксплуатируемым классам России **умение** вести революционную массовую борьбу, без которой нигде на свете не достигалось ничего серьезного в прогрессе человечества».

**Эти** завоеваний не отнимет у русского пролетариата никакая реакция, никакая ненависть, брань и злобствование либералов, никакие шатания, близорукость и маловерие социалистических оппортунистов».

Эти ленинские слова запомнились мне на всю жизнь, и весь их глубокий смысл всегда и везде наполнял меня силой и гордостью за нашу партию, за своих братьев по классу — рабочих-пролетариев, принявших на себя главную тяжесть революционной борьбы и оправдавших доверие и надежды всех трудящихся, угнетенных и обездоленных. И во мне крепло убеждение, что счастье именно в этом — быть в гуще революционной борьбы, идти в первых рядах тех, кто штурмует устои самодержавия, отдавать всего себя делу революции, сметать с пути все старое и отжившее, мешающее жить хорошо и радостно всему простому народу, людям труда.

Навсегда сохранил я в памяти и другие ленинские слова, относящиеся к оценке значения первой русской революции, но сказанные уже после установления Советской власти. «Без такой «генеральной репетиции», — указывал Владимир Ильич, — революция в 1917 году как буржуазная, февральская, так и пролетарская, Октябрьская, были бы невозможны».

Мне выпало счастье активно участвовать во всех трех революциях и внести посильный вклад в общенародную борьбу с самодержавием, помещиками и буржуазией, в нашу великую победу в октябре 1917 года. И я всегда с особым чувством вспоминаю свои молодые годы и все то, что довелось пережить и совершить в ту первую революционную бурю.

(Конец 1-й книги)

## О тех, кто в море

**Д**уша морская!  
Стало жить труднее  
с тех пор, как мы с тобой на якорь  
встали...  
А в море бродят разные ветра,  
а в море бродят всякие ветра.  
И все они попутчиков зовут  
с собой в дорогу дальнюю.  
И каждый  
свой берег предлагает чудный —  
вместе  
с пристанищем от гроз и ураганов.  
А в море веют разные ветра  
и всякие скитаются ветра...  
Ну что же, выбирайте ветер — вы,  
которые свободны потому, что  
все веры существующие ваши  
и все пути-дороги тоже ваши,  
и все ветра попутны вам.  
Скорее,  
скорее выбирайте их!  
А вы,  
которые с рожденья привязали  
себя к священной мачте той любви,  
что никаким сомненьям  
не позволит  
свободу вам вернуть,  
затем, чтоб снова  
дорогу, ветер, пристань выбирать.  
Вы, кровные товарищи мои,  
должны в кулак собрать и честь,  
и совесть,  
и ненависть с любовью  
для того,  
чтоб это все собой явило якорь  
и крепко ваш корабль держало  
в бухте,  
когда ветра враждебные бушуют...

О, пусть ветра над вами шум  
заводят  
и пусть трубят о том, что вам всю  
жизнь  
судьба — бродить по замкнутому  
кругу  
своей ортодоксальности,  
живя  
под колпаком безветренного неба!  
Друзья мои!  
Легко прощайтесь с теми  
знакомыми и близкими, что ныне  
от ваших берегов уходят в море,  
рассеиваясь по миру, как пыль.  
Без зависти вы слушайте салюты,  
звучащие в честь этих  
честолюбцев,  
которые за славой и признаньем  
уже плывут  
во след чужим ветрам.  
Их паруса, беременные верой,  
в иные страны и моря иные  
вы проводите  
и снимите шапки,  
друзья мои!  
Печален их удел...  
Они от вас уходят навсегда.  
И горькой будет ваша встреча  
с ними,  
когда их, мертвых,  
вынесет однажды  
на мертвый берег черная волна...  
Душа морская, жаждущая ветра!  
Благословен твой парус  
легкокрылый.  
Но трижды будь  
благословен тот якорь,  
что не дает от Родины уйти!

## Солнечное притяжение

Во времена минувшие, бывало,  
палач на выбор жертвам  
предлагал  
кинжал или пулю, яд или веревку...

И жертвы выбирали, исходя  
из страха перед смертью, исходя  
из представления о чести и позоре,  
о жизни прожитой...

А мы  
 что выберем,  
 коль выбирать придется?  
 Хочу я, чтобы путь, каким иду,  
 связал мой день рождения  
 со смертью  
 подобно траектории снаряда:  
 от места выстрела —  
 до взрыва!  
 Смерть моя  
 наступит от разрыва сердца.  
 Это  
 я выбрал сам...  
 При первом шаге  
 человек впервые  
 свой выбор совершает.  
 А потом  
 при каждом новом шаге.  
 Мир бескраен.  
 Безбрежен мир.  
 И все тебя зовет.  
 Все сущее имеет позывные:  
 от аиста, что кружит  
 над гнездовьем  
 во славу материнства и любви,  
 и до ракеты, дерзко посягнувшей  
 на звездный мир, не знающий  
 предела...  
 Стихии жизни —  
 ненависть, любовь,  
 неверие и вера,  
 жизнь и смерть.  
 И среди них —  
 открытое ветрам  
 живое человеческое сердце:  
 антенна, что сигналы  
 всей Вселенной  
 свободно принимает,  
 и ракета,  
 из-за которой звезды и планеты  
 с минуты старта бешено  
 враждуют:  
 ведь каждая завлечь ее желает  
 в объятья притяженья своего...  
 При первом шаге  
 человек впервые  
 свой выбор совершает.  
 А потом  
 при каждом новом шаге...  
 Вы сегодня  
 припомните ракету, что когда-то  
 впервые пролетела без возврата  
 над лунным ореолом.  
 А куда  
 она летит сейчас в пустыне  
 звездной,  
 в пустыне запредельной, где  
 сигналы

«Спасите наши души!»  
 не слышны?..  
 И кружится Земля вокруг своей  
 оси,  
 чтоб Солнце и ее теплом  
 не обделяло,  
 чтоб были ей слышны  
 сигналы всей Вселенной,—  
 бескрайне любопытная Земля...  
 Она подобна детищам своим.  
 Подобно нам  
 она давно б рванулась  
 в спокойствие и сон созвездий  
 древних  
 и столько бы наделала хлопот,  
 когда б не Солнце...  
 О притяженья солнечного власть,  
 да будешь ты вовек благословенна!

Пусть в стороне от нашего пути  
 проходят, вырастают, заполняют  
 собою каждый миг планеты,  
 звезды,—  
 мы будем продолжать лететь  
 своею  
 орбитою — вокруг величья Солнца.  
 И будем вечно мы пересекать —  
 о, пусть давленье нашей красной  
 крови  
 восходит над предсмертною  
 чертой! —  
 пересекать и навсегда сметать  
 с пути  
 сетей паучьих перекрестки  
 и перекрестки черные крестов!  
 И путешествующих будем мы,  
 сигналиа,  
 предупреждать:  
 — Внимание! Мираж!..  
 И после смерти сердцу моему,  
 я знаю, суждено лететь по той  
 орбите —  
 рядом с Солнцем...

И если вам  
 среди хаоса и фантастичных звуков  
 удастся услышать его сигналы,  
 припомните о том, как я при жизни  
 мечтал пройти свой путь.  
 И верьте, верьте, что я прошел  
 упрямо,  
 как снаряд,  
 прошел —  
 от места выстрела  
 до взрыва!



Замечательному армянскому поэту Егише Чаренцу в этом году исполнилось бы семьдесят лет... Он ушел из жизни тридцать лет назад, в расцвете своего могучего дарования, не спев, быть может, лучших своих песен. Но и то поэтическое наследие, которое он оставил своему народу и всем, кому дорога советская поэзия,— великое богатство. Его стихи и поэмы, исполненные горячей революционной романтики, страстные, непримиримые к мещанской косности, гневные и нежные, патетические и грустные,— это вечно живой источник поэтической мысли и чувства.

Стихам Чаренца — одного из зачинателей советской поэзии — свойственны философские раздумья над судьбами века, глубокий историзм и в то же время пристальное внимание к сокровенным движениям человеческой души. Поэт и солдат революции, он пламенно воспевал ее за то, что она раскрепощает человека не только материально, но и духовно. Читая Чаренца, нельзя не восхищаться тем, с какой силой и убежденностью проповедует он идеи пролетарского интернационализма, с какой любовью воссоздает образ вождя революции — В. И. Ленина, с каким сочувствием пишет о героической борьбе братьев по классу,— будь то армяне, русские или турки.

Художественные достоинства поэзии Чаренца таковы, что делают ее классической в самом высоком значении этого слова.

Мы публикуем в этом номере произведение Егише Чаренца, до сих пор не переводившееся на русский язык. «Ното sapiens» — маленькая поэма, в которой поэт возвращается к годам своей юности, протекавшей в затхлой атмосфере провинциального армянского городка.

## „Ното sapiens“

### 1

**С**ередина июня. Тринадцатый год.  
Тихий город наирский дремотой одет.  
Преисполнен ему лишь известных забот,  
Шел по улице мальчик шестнадцати лет.  
Нет, не мальчик, а юноша... Худ. Невысок.  
Бледный лоб затенен синевою кудрей.  
Был он в черной рубашке, отслужившей свой срок,  
В школьной мятой фуражке, с желтым кантом на ней.  
Равнодушный, как лошадь, ко всем и всему,  
Он, задумавшись, брел, узкогруд, узкоплеч.  
Редко кто попадался навстречу ему,  
Да и сам избегал он, мне помнится, встреч.  
Выйдя из дому в полдень, он знал, что отец  
Вскоре сядет, ворча, за обеденный стол.  
Он отца раздражал, нерадивый юнец.  
Был отцовский характер угрюм и тяжел.  
И, по правде сказать, не любил он отца.  
От нотаций в ушах надоедливый звон:  
Лоботряса не станут терпеть без конца,  
А провалит экзамены,— из дому вон!..  
Вспоминая, досадливо дернул плечом:

Школа, школьный инспектор — отец, перед ним  
 Он понуро стоит,— толковать им о чем? —  
 И обида глаза разъедает, как дым...  
 Он вздохнул глубоко и пошел побыстрей,  
 В блеске солнца шафранном, в ленивой тиши,  
 Мимо плотно закрытых от зноя дверей,  
 Пыльной улицей, где в этот час ни души.  
 Глаз не радуя, не беспокоя умов,  
 Суждено этой улице долго петлять,  
 Наподобье проселка, меж хилых домов —  
 Желтых, розовых, серых и желтых опять.  
 Одинокый прохожий по этой жаре  
 Еле плелся навстречу — ни молод, ни стар.  
 Вот он медленно скрылся в каком-то дворе,  
 И опять опустел впереди тротуар.  
 Все придавлено зноем, охвачено сном,  
 Лишь соседка соседку порой из окна  
 Позовет через улицу, скрипнет окном —  
 И опять воцарится кругом тишина.  
 Видел все это юноша тысячу раз —  
 Ноги словно бы сами привычно вели  
 В парк, суливший прохладу в полуденный час,  
 Что призывно уже зеленел невдали.  
 А под мышкой сокровище нес он свое —  
 Книгу. Ту, что сумел наконец он достать.  
 Не пугайся, читатель, названья ее:  
 «Ното sapiens»\*. Вот что он будет читать.

## 2

В безлюдной аллею, листвою затененной,  
 Он пылко и жадно к страницам приник,  
 Под дубом, где некогда некий влюбленный  
 Ножом на коре начертал: «Арпеник».  
 Глотал он страницы и целые главы,  
 С героем в одно обратившись уже,  
 Чья страсть, горячей вулканической лавы,  
 Ответный огонь высекала в душе.  
 Чужою судьбой заменив свою долю,  
 Казалось, глазами впивал он слова,  
 И сердце стремилось на волю, на волю,  
 И жарко пылала его голова.  
 И не было больше ни улиц, ни парка,  
 Исчезли домишки, исчезли дубы —  
 Лишь гений мужчины, сияющий ярко,  
 И женщина трудной и гордой судьбы.  
 Он с ними проделывал путь их печальный,  
 Он с ними беседовал накоротке —  
 Тот юноша — жалкий и провинциальный —  
 В июне в наирском глухом городке.  
 В пучину мечты он нырял безоглядно,  
 Туда, где вставал со страниц человек,  
 Умевший во все проникать беспощадно,  
 Титан, презиравший свой низменный век,  
 Бесстрашный воитель с душой молодою,  
 Всесильный, свободный от всяческих уз,

---

\* В данном случае — роман польского писателя С. Пшебышевского.

Вознесшийся гордо над пошлой средою,  
 Подобно тому как вознесся Эльбрус.  
 И наполнилось сердце такой же тревогой,  
 И юноша вслед за одним из «предтеч»  
 Шел мысленно той же «высокой» дорогой,  
 Возжаждав таких же событий и встреч.  
 Своею судьбой дерзновенно и властно  
 Он правил, не пряча от молний лица,  
 И женщина, так же чиста и прекрасна,  
 Одна понимала его до конца...  
 Читавший ту книгу, мы знаем, был молод...  
 От сильных волнений, что он испытал,—  
 Не смейтесь,— почувствовал юноша голод,  
 Всего две копейки — его капитал...

## 3

Вечерело. Печально скрипела арба...  
 Утомленный, больной, наглотававшийся глав,  
 Пальцем, словно мыслитель, коснулся он лба,  
 Встал и вышел из парка, монету зажав.  
 Дух был сыт — пищи жаждала бедная плоть.  
 Рядом с парком, в лавчонке, монету свою  
 Обменял он на пышного хлеба ломоть  
 И обратно вернулся к себе на скамью.  
 Там тайком его съел он, а чуть погода  
 Тем же важным движеньем  
 Лба коснулся опять  
 И внезапно решил, по аллее бродя,  
 Что великим поэтом суждено ему стать...  
 В бильярдной студенты гоняли шары.  
 Парк под вечер был полон уже горожан.  
 Вслед за книгой летавший в иные миры,  
 Он вдруг замер...  
 Он вдруг, побледнев, задрожал...  
 Он глядел — и не верил себе самому:  
 По аллее, в сиянье своей красоты,  
 Гениальная дева, создание мечты,  
 Нвард, прекрасная Нвард приближалась к нему!..  
 Он повел, заикаясь, какую-то речь,  
 Он хотел перед ней свою душу открыть,  
 Он хотел в ней такое же чувство зажечь,  
 Глубиною ума своего покорить.  
 Но цветок, им протянутый, был отстранен,  
 И в ответ было сказано, чтобы отстал...  
 . . . . .  
 А поэтом действительно сделался он—  
 Тот, что эту историю вам рассказал.

*Перевел с армянского Вл. ЛИФШИЦ.*



Виктор ГУРА

---

## Народ и герой



Наши недруги за рубежом не раз пытались противопоставить современную советскую литературу ее «золотому веку» — двадцатым годам. Полное забвение историко-литературных фактов, всей сложности идейно-художественных исканий, в которых складывалась советская литература, выходящая на просторы социалистического реализма, заставляло и некоторых молодых советских литераторов тянуться ко всякого рода формалистическим, натуралистическим и модернистским течениям 20-х годов.

Все это действительно требует вернуться к литературе того периода и объективно разобраться в ее сложных течениях и магистральных исканиях. Обращение к истокам советской прозы, к изображению в ней народа и героя ныне, накануне 50-летия Великого Октября, представляется особенно актуальным. Ведь до последнего времени принято было больше говорить о том, чего не смогли сделать те или иные писатели этой поры, чего они не поняли или не сумели понять, нежели о том, что было сделано ими для развития советской прозы уже в самом начале 20-х годов.

### ■ ДВИЖЕНИЕ «МНОЖЕСТВ» И ЛИЧНОСТЬ

Героические события революции и гражданской войны с их бурными, непримиримыми классовыми битвами, резкими переменами в судьбах людей вызвали в литературе не менее сложные художественные искания. Одна из особенностей прозы этих лет — в сложном переплетении возвышенной революционной символики с реалистически конкретным раскрытием жизненных конфликтов. Неред-

ко, однако, предметом изображения становились случайные явления. Схватывались не ведущие тенденции, а отдельные, увиденные в жизни и натуралистически скопированные сцены. Красочные зарисовки боевых эпизодов и зыбкого быта революции, «запись» многоголосия толпы стали «детской болезнью», которую надо было пережить, прежде чем вступить на путь многостороннего обобщения революционной действительности.

Массовые сцены в композиционной структуре романа стали фактором, определяющим динамику повествования. А в центре их — собирательный портрет борющегося народа. В шумном многоголосии, с прихотливыми переливами разбуженной энергии, предстают народные массы в произведениях В. Зазубрина, Вс. Иванова, Л. Сейфуллиной, А. Неворова.

В повести «Падение Даира» А. Малышкин впервые создал обобщенно-гиперболический образ «множеств», поднявшихся на борьбу. Синтетический образ массы в этой повести содержит реальные приметы революции: негибаемую волю народа к победе, духовную общность людей и несокрушимую веру в справедливость.

Пристальное внимание писателей к народной массе, стремление зарисовать ее облик, чувства и настроения связаны с особенностями социалистической революции, в которой народ выступал активно действующей силой, преобразующей мир.

В ходе борьбы, по мере накопления политического опыта росло революционное самосознание народа. И мысль о благотворном духовном влиянии революции на массы находила в литературе все бо-

лее крупное, художественно цельное и реалистически-конкретное выражение.

В первых попытках создания синтетического образа массы нельзя видеть только слабости молодой прозы начала 20-х годов.

Пафос «безымянности» при изображении масс обычно связывается с «поэтизацией стихийного начала в революции». Всего два-три года минуло со времени окончания гражданской войны, а уже были тревогу, полагая, что в литературе «пропала одна из главных и необходимых опор художественного творчества: тип и типичность». Да и в наши дни литературное развитие той эпохи рассматривают как переход от изображения «множеств» к изображению личности, «от собирательного образа массы», «к углубленному психологическому портрету народного героя».

Разумеется, поначалу литература фиксировала то, что наиболее ярко проявлялось в революции, — активные действия масс в целом, их энергию, чувства, волю, классовую солидарность. Однако новаторские поиски писателей 20-х годов в изображении массы крупным планом неотделимы от поисков в изображении отдельной личности. Это был двуединый процесс, и он шел не только параллельно, но и совмещался. Достаточно сказать, что «Падение Даира» появилось в печати в один год с «Чапаевым» и «Виринеей», а недостаток ранее опубликованной «Недели» Ю. Либединского, в которой действуют как раз отдельные личности, виделся Д. Фурманову в невнимании автора к массе: «Массы нет, вы ее не видите, не чувствуете нигде, ни единого разу... Это дефекты колоссальные: показ массы, толщи, основы придал бы повести характер значительного, крупного, научно-верного произведения...» В фурмановских заметках о «Конармии» А. Бабеля лаконично сформулированы равнозначные недостатки: «нет боев», «нет массы», «нет подлинных коммунистов». Недаром в своем «Чапаеве» писатель раскрывал формирование и рост героя не изолированно от массы, а в единстве с народом.

Процесс поисков героя в литературе шел с самого начала 20-х годов. Еще В. Зазубрин в романе «Два мира» не ограничился групповым портретом массы. Одним из первых он начал искать средства художественной индивидуализа-

ции характеров. Из массы партизан В. Зазубрин сразу же выделяет фигуру народного вожака Жаркова, а затем и Молова. Рядом с руководителями он рисует и рабочего Вольнобаева и крестьянина Чубукова, конкретизируя в их образах чувства и настроения борющегося народа.

Фигура Жаркова у В. Зазубрина интересна как одна из первых попыток создать образ героя, вышедшего из народа и ставшего во главе борющихся масс. Жарков разделяет с народом страдания и невзгоды, лишения битв и походов. В бою он узнает о гибели жены и ребенка и «усилием воли» сохраняет самообладание. Воля Жаркова выступает на первый план в боевых условиях. Волевое начало заглушает все другие чувства и переживания героя В. Зазубрина. Очень схематично, без глубокой художественной мотивировки называются качества руководителя народной борьбы, которым предстоит быть развернутыми в последующих повестях и романах. Но важно, что В. Зазубрин начинал этот процесс поисков героя, нащупывал соотношения и героя и массы, искал средства его индивидуализации.

Совсем не таким уже безликим предстает народ в повестях Вс. Иванова. Не столько общий портрет, сколько портреты отдельных личностей, выражающих общие чувства и настроения, писатель рисовал уже в повести «Партизаны». В основе повествования, как и у В. Зазубрина, — созревание протеста, переход к борьбе, действия масс. Вс. Иванов, однако, с самого начала повествования прорисовывает индивидуальные фигуры Кубди, Горбулина, Беспалых и через них раскрывает сущность происходивших в народе перемен. Конкретизирован и сам образ партизанской массы. Богатая речевая характеристика, внешний и «внутренний» жесты, сопоставление психологического состояния, поступков и действий героев с настроениями и поведением массы — таковы многообразные средства индивидуализации, мобилизованные писателем для создания конкретных и вместе с тем типических образов, выражающих устремления масс революционной России.

И в других повестях Вс. Иванова изображение народа неотделимо от поисков в создании образа-характера. И чем шире захватывал писатель народные толщи

в повести «Бронепоезд 14-69» или в романе «Голубые пески», тем многообразнее, шире, многочисленней становилась галерея индивидуализированных образов (Вершинин, Пеклеванов, Знобов, Син Бин-у и др.).

Почти каждая глава повести Л. Сейфуллиной «Пережной» — массовая сцена. Это — сельский сход, спор о религии, проводы в армию, сенокос... Повествование строится на развертывании больших исторических событий и преломлении их в сознании крестьянской массы. Даже при таком построении повести писательница видит в массе фигуру Софрона и конкретизирует в нем настроения крестьян. Как и у Вс. Иванова, это образ бедняка, вернувшегося с фронта прозревшим, активным в утверждении своей правды. Софрон мужественно и энергично борется с богатыми мужиками, у него обостренное классовое чутье и безудержно горячий характер. Его поступки противоречивы, мировоззрение еще не сложилось, но он искренне и напористо идет к новой жизни и, как умеет, утверждает ее, становясь организатором коммуны в Небесновке, революционной силой, утверждающей новую жизнь.

Хотя обобщенность изображения борющихся миров, сама специфика повествования в «Падении Даира» А. Малышкина, в центре которого — движение массы, не предполагали четких индивидуальных характеристик, однако и в рамках такого широкого обобщения писатель идет на индивидуализацию (правда, скупую) чувств и настроений массы в образах Микешина и Юзефа. Фигуры этих героев высечены крупно, как и образ народа, который они представляют: «Крайний с фланга парень с красным обветренным лицом, в черном заплатанном пиджаке, в опорках, укутавший шею в красный дырявый шарф; и рядом с ним, в австрийской аккуратной шинели и кепи, уса́тый, пожилой, с крупными прозрачными глазами. И эти двое шли (за ними еще тысячи) в пенье фанфар, шли упоенные — на крыльях сказок о прекрасных веках...»

А. Малышкин намеренно отказался от психологической разработки выделенных из массы фигур. Монументальному изображению народа в революции он подчинял все другие образы своего синтетического повествования. Волевое устремление побеждающего революционного мира

сконцентрировано и в образе «каменно-торжественного» командарма. Командарм резко высечен в камне, но все-таки и его «каменная черта на лбу» тает под счастливым «ветром побед». Он входит в штаб, «близоруко щурясь», греется у солдатского костра, вслушивается в голоса «множеств» и улыбается, разделяя с ними мечту о будущем.

Шли на стороне революции, сражались и гибли за нее и герои А. Веселого, Б. Лавренева, Ф. Гладкова. Эти герои далеко не сразу определяли свое место в революционной борьбе. Пафосу пробуждающейся к активной жизни народной массы сопутствовал пафос освобождения рядового человека от рабского прошлого, тяга его к переустройству жизни своими руками. Рядовой участник революции становился заглавной фигурой повестей и романов начала 20-х годов. В нем олицетворялось настроение и поведение масс, творящих революцию, героизм борющегося народа, его интернациональная солидарность.

Нисколько не идеализируя своих героев, рисуя их в обстановке суровой и жестокой гражданской войны, в кровавых схватках и страданиях, писатели 20-х годов в реальных ситуациях и живых характерах воплощали истинный гуманизм рождающихся в революционной борьбе новых отношений.

## ■ «КОЖАНАЯ КУРТКА» И ЧЕЛОВЕК РЕВОЛЮЦИИ

Поиски героя времени и принципов его изображения — едва ли не самый важный вопрос в развитии литературы. С поисками героя тесно связано и рождение нового творческого метода. Идеальные позиции писателей, их отношение к революции обнаруживались в этих исканиях особенно четко.

Если В. Полонский в эти годы отстаивал понятие «романтического реализма» как метода отражения «общих идей», бросающих свет «в завтра», то А. Толстой выдвигал понятие литературы «монументального реализма»: «Ее метод — создание типа. Ее пафос — всечеловеческое счастье... Ее вера — величие человека. Ее путь — прямо к высшей цели: в страсти, в грандиозном напряжении создать тип большого человека».

В понятие «монументального реализма» А. Толстой вкладывал и пафос уст-

ремленной в будущее революционной романтики, которую он видел в самой жизни. Но главное в том, что понятие «метода монументального реализма» складывалось под давлением грандиозности революционного времени и творящего революцию Человека, диктовалось необходимостью чувственного познания живого типа революции. «Нам нужен герой нашего времени, — заявлял А. Толстой. — Героический роман. Мы не должны бояться широких жестов и больших слов... Мы не должны бояться громоздких описаний, ни длиннот, ни утомительных характеристик: монументальный реализм!»

Поиски нового героя и нового творческого метода были противоречивыми и шли в различных направлениях. А. Бушмин справедливо замечает, что в литературе начала 20-х годов «сложный идеологический тип нередко подменялся упрощенной схемой, натуралистическими или вульгарно-психологическими примитивами, которые легко становились шаблонами». Но когда в качестве примера приводятся «внешне орнаментированные образы, силу характера которых должны были выразить «кожаная куртка», «каменные» или «саженные» плечи, богатырский рост и т. п.», становится ясно, что речь идет не о становлении реалистических принципов молодой литературы, не о раскрытии ею характера современника, а об откровенно натуралистических писаниях, о чуждых реализму антигуманистических принципах изображения героя.

Образ большевика как «кожаной куртки» был введен в литературу Б. Пильняка. В романе «Голый год» он так рисовал этих людей: «В исполкоме собрались — знамение времени — кожаные люди в кожаных куртках (большевики!) — каждый в статью — кожаный красавец, каждый крепок и кудри кольцами под фуражкой на затылок — у каждого больше всего воли в обтянутых скулах, в складках губ, в движениях утюжных, — и дерзанья. И то, что в кожаных куртках, — тоже хорошо: не подмочишь этих лимонадом психологии — так вот поставили, — так вот знаем, — так вот хотим, — и баста!»

Б. Пильняк схватывал чисто внешний рисунок человека в «кожаной куртке» и отказывался разбираться в идейно-психологическом его складе, даже не де-

лая попытки проникнуть во внутреннюю сущность коммуниста, показать духовное богатство его личности. В орнаментированном рисунке Б. Пильняка коммунист крайне прямолинеен, душевно ограничен.

Подобные образы не стали сколько-нибудь примечательной особенностью в прозе 20-х годов. В таких повестях и романах, как «Неделя» Ю. Либединского и «Шоколад» А. Тарасова-Родионова, «Города и годы» К. Федина и «Барсуки» Л. Леонова, «Виринея» Л. Сейфуллиной и «Мятеж» Д. Фурманова, «Гуси-лебеди» и «Андрон Непутевый» А. Неверова, люди, творившие революцию, представляли в дни крайнего напряжения сил, в борьбе со стихией обманутых и заблудших. Духовная сдержанность, сознательное самоограничение, порой даже аскетизм — во всем этом сказывалось воинствующее подчинение всех нравственных качеств личности служению революции.

Еще А. Аросев в очерковой повести «Недавние дни» (1921) начал рисовать коммунистов в атмосфере суровых, напряженных будней, в борьбе с заговорщиками, левозесерами, мятежниками на Волге, оппозиционерами. Рабочий-революционер Андронников в этой борьбе «чувствовал себя мощным, крепким, словно вылитым из чугуна». Он энергичен и неутомим в своей деятельности во имя революции, беспощаден к ее врагам и человечен к тем, кто искренне заблуждается, дружески поддерживает тех, кто устал и надорвался. Он полон желания победить, «противопоставить усталости силу», продолжить и закрепить успехи в новых, не менее сложных условиях.

Активные поиски нового героя вел и Ю. Либединский. В повести «Неделя» он едва ли не первым противопоставил бездушным, застегнутым на все пуговицы «кожаным курткам» Б. Пильняка «людей современности» — коммунистов, вступающих в борьбу с разрухой, с мятежом, со слепой стихией, со всем тем, что враждебно революции. Писатель рисует коммунистов как членов монолитного коллектива, спаянного единством цели. Это обыкновенные люди, со своими биографиями, индивидуальными особенностями, даже слабостями. В каждом из героев Ю. Либединский стремился выявить духовное богатство, нравственную красоту, человечность. Так, в суровом и оза-

боченном Климине жила радость весеннего пробуждения жизни, большое и нежное чувство к Симковой, пробивавшееся «сквозь раздражение, печаль и заботу так же ощутимо, как весенняя трава сквозь последнюю тонкую корочку льда».

Коммунисты «Недели» нарисованы в дни особого напряжения их революционной энергии. У многих из них, особенно у Горных, широко раскрывается «в эту роковую неделю» железная воля, мужественная собранность, героизм борцов. Автор романтизирует не жертвенность одиночек, а их сознательное служение революции. На смену погибшим в боях с мятежниками идут новые люди. Впереди еще немало трудностей, но вера в победу не оставляет героев Ю. Либединского.

Трудной дорогой поисков шел в это время и А. Неверов, создавая повесть «Андрон Непутевый» как поэму «о пионере коммунизма в деревне». Его герой, вернувшийся в родное село с фронта красноармеец Андрон, нарисован броско, выпукло, красочно, как на живописном полотне. Горит на нем «рубашка красная», на буденновском шлеме «звезда пять концов». Скачет он по улицам Рогачева, а у коня «грива в лентах, на лбу цветок бумажный, красный»; сидит в исполкоте, а над ним — хоругвь красная с золотыми кистями. Такая нарочитая картинность внешней обрисовки героя не мешает А. Неверову создать образ живого человека, убежденного сторонника переустройства деревни, показать его в действии, в трудные дни становления революционной нови. События в повести разворачиваются динамично, краски становятся все более контрастными, картины столкновений Андрона с темными силами деревни — все более рельефными. Его сторонники «флаг красный для коммуны шьют», а противники — топоры и косы точат, «рубить коммуну Андронову собираются».

Героя А. Неверова до сих пор упрекают в пассивности, считая, что ему еще только предстоит преодолеть ложногуманистические идеи. На самом же деле Андрон хорошо понимал всю сложность классово-борьбы и активно участвовал в ней. Кулацкий бунт лишь усложнял путь к новому. «Стоит Андрон темной ночью на пепелище отцовском, крепко сжимает голову, платком перевязанную... Давит горе мужицкое, заливают сердце слезы и жалобы. Не жалеть нельзя и

жалеть нельзя». Так думает не только Андрон, глядя на сожженные кулаками избы бедняков, но и сам автор повести. «Дорога трудная» зовет его героя вперед: «через жалобы тихие, через трубы обгорелые, через черное горе мужицкое».

Если образ нового человека в повести «Андрон Непутевый» только намечен, то в романе «Гуси-лебеди» А. Неверова разворачивается широкая картина революционной борьбы. Судьбы вожаков деревни — Федякина, Синькова, Кочета, Ледунца — предстают в тесной связи с судьбами народных масс.

А. Неверов стремится проследить процесс формирования характера большевика, показать, как сама жизнь выковала убежденных революционеров, подобных Трофиму Федякину. Отец хотел увлечь сына мечтой о богатстве, сам «готов был работать без хлеба, без отдыха, лишь бы только разбогатеть», но «хорошая жизнь на хороших лошадях» скакала где-то стороной, а семью Федякиных все больше подминала жизнь несытая, голодная. И пришлось Трофиму идти в батраки к Прокатову. Не знал забитый нуждой крестьянин, как нужно бороться за свои права. Два с лишним года пробыл на фронте и «словно из купели вышел, оставив многолетнюю коросту, заглушавшую разум и сердце». «Не было уже ни жадности, ни корысти, ни желания строить себе пятистенную избу». Первым бросил он винтовку и вернулся домой со стремлением «устроить неустроенную жизнь», «вывести людей на другую дорогу».

Серьезным просчетом «Недели» Ю. Либединского Д. Фурманов считал неумение автора «захватить глубочайшие пласты, подпочвенный слой той массы, которая в конечном итоге и является основным двигателем исторических событий». «Вожаки» в этой повести оторваны от массы. В романе А. Неверова повествование разворачивается как борьба бедняцких масс за торжество революции.

С первого же появления на страницах романа большевик Федякин — в гуще самих масс. Вместе с ними он и поднимается на борьбу. Если Андрон Непутевый выписан романтически красочно, броско, то Федякин внешне ничем не выделяется из среды крестьян: «Вошел Федякин в зеленой рубахе, подпоясанный ремешком. Старая солдатская фу-

ражка сидела боком на голове у него, в угловатой фигуре чувствовалось скрытое раздражение». «Голову держал высоко, на лице лежала холодная презрительная улыбка, и было что-то красивое, покоряющее в неvyšсокой, но твердой фигуре с круто переломленными бровями».

А. Неверов сосредоточивает внимание на духовном богатстве своего героя, кровного сына народа. «Невзрачный мужик в солдатской рубашке» высказывает «твердые, продуманные мысли». Он еще не умел ярко показать будущее, но верил в него и убежденно вел за собой других. Вернувшись с фронта, Федякин «сеял вокруг большевистские зерна», «в первый же вечер разрубил все сомнения, опутавшие мужиков».

Большевик Федякин — за решительные действия («пускай говорят, а мы будем действовать, коли решили по-своему повернуть»), за сильного духом в борьбе («кто не верит в нашу правду — отходи в сторону»). Он смело вступает в бой с кулаками и завоевывает на свою сторону бедноту, сплачивает и просвещает ее. Федякин понимает, что впереди — тяжкий путь лишений и жертв, но другой дороги к победе нет («Тут деваться некуда, товарищи, потому что — борьба»). Он не скрывает эти трудности и от товарищей.

Для многих героев романа отношение Федякина к их поступкам становится высоким нравственным критерием. Вдова Наталья Пучкова испытывает чувство стыда, мысленно представляя, как осуждает ее Федякин за душевную слабость. Даже учительница Мария Кондратьевна, напуганная жестокой схваткой богатых и бедных, вспоминает знающего свое место в борьбе Федякина и осознает его нравственное превосходство.

А. Неверов реалистически раскрывал процесс завоевания большевиками массы, показывал Андронов и Федякиных как воспитателей народа.

Чем активнее преодолевалось в нашей литературе абстрактно-романтическое восприятие революции, чем решительнее отказывались писатели от натуралистического копирования быта революционных дней, тем ощутимее были успехи в раскрытии характера героя с его конкретно-историческими качествами, рожденными революционной действительностью.

Появление повестей и романов Ю. Либединского, А. Неверова, Д. Фурманова, А. Серафимовича, Ф. Гладкова и других, по словам Л. И. Тимофеева, «свидетельствовало о том, что проблема человека в революции переходила в проблему человека революции, что огромная, многообразная, противоречивая правда революции начинала находить все более разностороннее и полное отражение». Особенно большую роль в этом процессе суждено было сыграть повести Д. Фурманова «Чапаев», в которой впервые так широко и крупно предстали революционная современность и творящий ее новый герой.

## ■ ЛЮДИ, ТВОРЯЩИЕ ИСТОРИЮ

«Фурманов дал критике первую твердую опору в ее требованиях к писателям показать героя нового времени — опору искомого и должного в советской литературе... — писал К. Федин. — Но в начале двадцатых годов только немногие писатели вплотную брались за решение этой задачи. Едва ли не большинству представлялось, что с ней можно поременить, пока жизнь не создаст кристально сложившуюся форму современного героя. Такого решения задачи, как герои Фурманова, кроме этого писателя, тогда еще никто не дал».

Понимание новаторской роли «Чапаева» в развитии советской прозы и творческого метода, названного позже социалистическим реализмом, пришло со временем. Выход повести в свет вызвал не только одобрение, но и резкие споры. Наиболее активной формой неприятия фурмановской повести отличалась позиция А. Воронского и его сторонников, которые настойчивым замалчиванием выводили «Чапаева» за пределы литературы. Рапповские противники А. Воронского также весьма сдержанно оценивали повесть Д. Фурманова. Понимание их новаторского значения оказалось в это время недоступным даже М. Горькому. Он выразил свое несогласие «ни с чрезмерной похвалой Серафимовича, ни со снисходительной похвалой Луначарского».

Жанровая неопределенность произведения Д. Фурманова смущала не только Горького, считавшего, что «по форме

«Чапаев» ни повесть, ни биография, да же не очерк, а нечто нарушающее все и всякие нормы». Д. Фурманов, как известно, и сам затруднялся сказать, к какому жанру отнести создаваемое произведение. Однако новаторство «Чапаева» в том и заключается, что в «формальных рамках» очерковой повести заложены идейно-художественные принципы реалистического изображения и осмысления больших историко-революционных событий — принципы, восторжествовавшие в развитии советского романа.

Динамичность действия диктуется здесь драматизмом народной борьбы, ростом личности в революции. Писатель щедро вводит в повествование массовые сцены, создает коллективный образ народа. «Жизнь массы» так же важна для Д. Фурманова, как и судьба отдельной личности, воплотившей в себе энергию масс. В повести выписаны бытовые картины и батальные сцены, походы, бои, митинги, в которых участвуют тысячи людей. Но это уже не «многоголосая», «темная» толпа, а люди, решающие судьбу революции, растущие в огне ее боев, осознающие цели борьбы и свое место в ней. Масса у Д. Фурманова состоит из ярких личностей.

В единстве с массой встает в повести и образ Чапаева. В его характере концентрируются социальные и конкретно-исторические качества, присущие крестьянской массе, участвующей в революции: «В нем собрались и отразились, как в зеркале, основные свойства полупартизанских войск той поры — с беспредельной удалью, решительностью и выносливостью, с неизбежной жестокостью и суровыми нравами».

Д. Фурманов отказался рисовать в образе Чапаева «фигуру фантастическую», романтически идеализированную, такую, какую создала в своем воображении, в своих легендах породившая его народная масса. Писатель склонился к тому, чтобы нарисовать Чапаева «с мелочами, с грехами, со всей человеческой требухой», со всеми его сильными и слабыми сторонами, отражающими силу и слабость его среды.

Еще до встречи с Чапаевым Клычков думает о нем как о народном герое из лагеря вольницы — типа Емельяна Пугачева, Степана Разина, Ермака Тимофеевича — и с тревогой ждет встречи с легендарным «степным атаманом». Но вот

перед ним стоит «обыкновенный человек, сухощавый, среднего роста, видимо, небольшой силы, с тонкими, почти женскими руками; жидкие темно-русые волосы прилипли косичками к лбу... Глаза... светло-синие, почти зеленые — быстрые, умные, немигающие».

Д. Фурманов не столько вносит новые штрихи в портретную характеристику легендарной личности, сколько выписывает сложный, противоречивый характер в динамике: Чапаев — «шумный, крикливый», «поглядеть со стороны — зверем зверь, а поближе приглядись — увидишь простецкого, милейшего товарища, сердце которого открыто каждому чужому дыханию, и от этого дыхания каждый раз вздрагивает оно радостно-чутко».

Большое внимание уделяет автор биографии своего героя. Чапаев рассказывает о себе с фантазией, с выдумкой. Грустно повествует он о своем детстве, о батрацких лишениях, о скитаниях по Волге с девушкой Настей. В этом рассказе, богатом народной образностью, напевными лирическими интонациями, герой гражданской войны предстает как натура поэтическая, чутко воспринимающая и природу и человеческие переживания.

Малограмотность, анархичность некоторых поступков Чапаева, политическая наивность не заслоняют от нас его духовного богатства. Этот человек полон классовой ненависти к богатым, беспредельно предан революции. От стихийного участия в народной борьбе он идет к осознанному пониманию своего места в ней. Революция разбудила в нем человеческое достоинство, раскрыла талант полководца. Целенаправленной становится его воля как командира, а храбрость и отвага — осознаннее, разумнее.

Не ухарство и бессознательная удаль, а подлинно революционное мужество во имя утверждения социализма определяет характер Чапаева как народного героя. Суровый и требовательный в бою, он прост во взаимоотношениях с подчиненными на отдыхе. Храбрый и скромный, находчивый и трудолюбивый, он выше всего ценит и поощрял смекалку, чутко прислушивался к мнению товарищей, «любовно шел навстречу живым мыслям».

В образе Чапаева писатель синтезировал национальные черты русского народ-

ного характера, проследил рождение в огне революции нового героя нового времени. Исключительный героизм Чапаева, самобытность его личности, великолепный организаторский талант и трудолюбие воспринимаются как конденсированное выражение массового героизма и революционной энергии народа. В этом ключ к пониманию новаторских принципов типизации характера героя.

Еще до появления повестей Д. Фурманова да и после них реалистически зримо изображались процессы стихийного участия масс в революции. Заслуга писателя-большевика в том, что он первым так ярко, в живых характерах типизировал процесс внесения революционной воли и разума в борьбу масс за социалистические идеалы. Образ комиссара Клычкова, под партийным воздействием которого растут и Чапаев и окружающая его крестьянская масса, поднимается на высоту крупного художественного открытия.

Клычков вступает в повествование как личность с вполне сложившимся мировоззрением. Выходец из демократических низов, он не отделяет себя от рабочей массы, впитывает лучшее, что есть в ее среде, и растет в ходе революции как организатор, несущий в массы разум и волю партии. «Клычкова рабочие знали близко, любили, считали своим».

Характер Клычкова постепенно, по мере развития действия, раскрывается все с новых и новых сторон. В общении с людьми крепнет его воля, развертывается талант руководителя. Во взаимоотношениях комиссара с Чапаевым, перерастающих в дружбу, выявляются большая выдержка, такт, чуткость коммуниста-воспитателя. Действуя целенаправленно, он завоевывает симпатии Чапаева, оказывает влияние и на него и на бойцов чапаевской дивизии. Все свои усилия комиссар сосредоточивает на том, чтобы Чапаев, преодолевая слабости, глубже осознал цели революционной борьбы, становился духовно богаче.

Писатель стремится проникнуть во внутренний мир своего героя, передает интеллектуальное богатство личности коммуниста, его человечность, чуткость к людям. Д. Фурманов первым в нашей литературе так тщательно анализирует чувства и переживания коммуниста, пси-

хологические мотивы его поведения. В идейной убежденности, внутренней организованности, гуманизме Клычкова выступают типические черты подлинно партийного руководителя и выразителя интересов пролетариата.

Судьбы героев фурмановской повести, динамика развития центральных характеров сплавлены воедино с раскрытием народных судеб в революции. Исторически конкретно изображает художник революционную энергию массы и ее социальную неоднородность, ее духовные и нравственные запросы. Единство устремлений масс и героя воплощается в сюжетно-композиционном построении повести. Не перипетии личной судьбы героя лежат в основе ее композиции, а узловые моменты народной борьбы, в которых развертывается талант Чапаева как советского полководца, формирует его характер как революционера.

Победа сознательности и организованности над разбушевавшейся стихией анархических сил, поднявших восстание против революции, роль коллективного разума революционеров-большевиков раскрыта Д. Фурмановым и в повести «Мятеж». Перенесение идейно-эстетического центра тяжести на изображение сплоченности ведущих сил революции ощутимо в этой повести, пожалуй, еще более явственно, чем в «Чапаеве». Стихийность и сознательность здесь сталкиваются, что называется, в лоб, драматизм конфликта обостряется до предела.

С железной логикой развертывает писатель события: движение горстки коммунистов по Семиреченскому тракту в край, охваченный контрреволюционными восстаниями, этапы деятельности большевиков в обстановке скрытого заговора, обостренной классовой и национальной борьбы. Повествование достигает предельного накала в сценах, где коммунисты лицом к лицу сталкиваются с мятежной толпой в крепости. Ясность революционных целей, неколебимая убежденность, мужество коммунистов одерживают блестящую победу.

Еще до «Мятежа» Д. Фурманова вышел в свет роман С. Буданцева «Мятеж». В нем изображается стихийно возникший и стихийно погасший мятеж белых офицеров, сменившийся мятежом левых эсеров. Но автор увлечен не столько художественным анализом клас-

совых схваток, сколько созданием общей картины «ритма времени», прощупыванием «пульса» жизни южного приморского города, описанием его улиц, пристаней, вывесок, афиш, «стустков» «вылитых» на улицу людей. Один из героев романа замечает: «Человека не видно. Мы захлебнулись «коллективами», «массами». Динамика повествования достигается здесь не глубиной раскрытия реальных коллизий и человеческих характеров, а экспрессией прихотливо изломанного и разорванного стиля:

«Хлынуло,  
шарахнуло,  
сыпалось  
что-  
то  
трескуче, как черепки:  
грохнуло.

От белой стены рвануло куском белого лица все время такого невидимого красноармейца.

— Бей их!

— Ур-ра!

Мелькнул погон.

Рассыпались обоймы.

Наперли, нажали, все, что было деревянным до сих пор, треснуло шепеляво и... прорвалось вперед».

Композиционным центром двух частей своего романа С. Буданцев сделал два мятежа, стихию их разворота. Силы, противостоящие мятежам, отстаивающие завоевания революции, оказываются в стороне. И только в эпилоге сообщается о революционном суде над мятежниками, вселявшем уверенность, что «такие лощманы, как красный матрос тов. Болотов, сумеют вывести государственный корабль Трудовой республики к желанным берегам мировой революции».

Д. Фурманов сжато, но точно определил коренную слабость «Мятежа» С. Буданцева, сделав на этой книге пометку: «Нет большевиков-типов».

В противоположность роману С. Буданцева идейный и художественный центр фурмановской повести — в характерах коммунистов. Писатель изображает целый коллектив сознательных революционеров, подавляющих стихию не силой оружия, а силой политического убеждения, силой революционной прав-

ды, верой в историческую закономерность победы революционных идей.

Документальный характер повествования не мешает Д. Фурманову сосредоточиться на логике развития художественных образов. Драматизм жизненных ситуаций, впервые используемых в литературе, окрашивает новизной сюжетные коллизии повести. В трудные дни мятежа в центре повести встает образ коммуниста, от имени которого ведется рассказ. Образ этот вырастает в художественный тип, какого еще не знала литература, — тип активного деятеля, организатора новой жизни с присущими ему целеустремленностью, партийным отношением к делу, волей и мужеством революционера. Образ коммуниста в «Мятеже» Д. Фурманова — одно из самых ранних новаторских открытий, определивших основные искания советской литературы в решении проблемы положительного героя.

Автор повестей «Чапаев» и «Мятеж», опираясь на «черный хлеб фактов», нес в новое искусство идеи социалистического гуманизма, выдвигал воспитательные цели литературы как непереносимое условие ее развития, утверждал реалистические принципы изображения революционной действительности.

## ■ У ИСТОКОВ СОВЕТСКОГО ЭПОСА

Тяготение к эпическим формам изображения, вызванное особенностью эпохи, бурным движением масс, становилось существенной особенностью той литературы, основной метод которой вскоре определился как метод социалистического реализма. Большие завоевания основоположника этой литературы М. Горького характеризуются утверждением тех основных принципов социалистического реализма, которые впервые нашли выражение в лепке характера нового героя, в сюжетной и композиционной организации романа.

Художественная структура романа «Мать» подчинялась задаче изображения роста рабочего движения в России, проникновения в массы социалистических идей, сплывающих и подымающих народ на организованную, сознательную борьбу за свое освобождение. В широких картинах социальной жизни, в

судьбах главных героев М. Горький выражал ведущие тенденции эпохи, ее исторические закономерности, перспективы развития.

Роман становился «эпопеей нашего времени». Если еще во времена Белинского «жизнь разбежалась в глубину и ширину в бесконечном множестве элементов» и различные отношения людей «сделались бесконечно многосложны и драматичны», то эпоха революции в России несла с собой и неизбежное обновление романических форм, призванных выразить духовное обновление народной жизни, ее многообразные и бурные конфликты, судьбы масс и выдвинутых ими героев.

Попытки изображения действительности в эпических формах делались и модернистским романом. Но если М. Горький и шедшие его дорогой писатели, вторгаясь в жизнь, изображали ее узловые процессы в типических конфликтах и характерах, то А. Белый и связанные с его формальными поисками писатели оказывались на отлете от реальной действительности, бежали в мир хаоса и мистики. Методы символизма, натурализма, так называемого «неореализма», по существу, шли в одном русле формальной трансформации жанра романа, не вносили в него принципиальных обновлений, связанных с эпохой. Ни «Петербург» и «Эпопея» А. Белого, ни романы Ф. Сологуба и Е. Замятина, ни натуралистический роман Б. Пильняка «Голой год» не отразили сложных жизненных процессов и явлений в их развитии.

Хаос «потока сознания» и бытия безгеройных романов А. Белого и Б. Пильняка вступал в резкое столкновение с реалистическими принципами, с теми поисками эпических форм отражения действительности, которые велись реалистической повестью и романом начала 20-х годов. Уже в повестях и романах В. Зазубрина, Вс. Иванова, А. Малышкина и особенно в повестях Д. Фурманова борьба народа в революции становилась основным объектом изображения. Этих писателей влекли большие драматические события, и они изображали их движущуюся панораму в живой исторической конкретности.

При этом писатели не укладывались в традиционные формы обычной повести. Обновление жанра вытекало из необхо-

димости изобразить характерные признаки времени. Д. Фурманов не только не противостоял этому процессу, напротив, в своих повестях он закреплял особенности поисков советской прозы в эти годы, тяготение ее к эпическим формам, отчетливо сознавая, как «необходимы эпические произведения вровень эпохе». Высказывая М. Горькому свое сокровенное, Д. Фурманов говорил о намерении «писать эпопею гражданской войны»: «это уж в форме романа, там уж руки у меня не будут так связаны историзмом, как связаны были в этих двух книжках».

У Д. Фурманова только еще возникла мысль создать эпопею гражданской войны, а А. Серафимович уже развертывал свой «Железный поток» как эпическое полотно, ставил задачу дать «правду синтетическую, обобщенную». Он намеренно уходил от экзотических сюжетов, искал ситуации, рожденные революционной борьбой и содержавшие в себе основу для крупных художественных обобщений. Его особенно волновали пути крестьянства в революции, проблема внесения пролетарской сознательности и организованности в стихийное движение народа. Д. Фурманов раскрывал эти процессы в основном через «собирательную личность» Чапаева. А. Серафимович сосредоточился на изображении «дикого шумящего потока» неорганизованных, стихийно входивших в революцию крестьянских масс и превращении этого потока в «железный поток». «Синтетическая, обобщенная» правда, выраставшая из конкретных фактов народной борьбы, из ее героико-эпического размаха, включала в себя и трагические конфликты.

Сюжетные звенья романа совпадают с этапами движения Таманской армии на соединение с основными силами Кавказского фронта. Но А. Серафимович не просто «копирует» ситуации, имевшие место в действительности. «Я пытался в «Железном потоке», — писал автор, — очертить синтез борьбы жесточайшей, борьбы небы в а л о й, не на жизнь, а на смерть». Воссозданию этого небывалого, невиданного в истории размаха и накала народной борьбы писатель подчиняет все средства художественной изобразительности.

Творческая история «Железного потока», рассказанная самим писателем, проливает свет на особенности архитектурни-

ки романа. А. Серафимович прежде всего написал финальную сцену митинга, в которой «сконцентрировался весь смысл вещи», а вслед за ней — сцену митинга, которой открывается роман. Это «обрамление» явилось композиционным средством конденсированного раскрытия тех перемен в крестьянской массе, которые произошли в результате похода. Вначале масса стихийна, подвержена анархическим вспышкам, способна на безрассудные действия. Она не сознает своего кровного родства с Советской властью, хотя и смутно тянется к ней. В конце похода перед нами та же масса, но уже прошедшая школу классово-борьбы, вошедшая в «железные берега» революционной организованности, осознавшая необходимость сплоченной борьбы за революционную правду.

«Железный поток» построен по принципу нарастания трудностей на пути участников похода. А. Серафимович объясняет это сложностью обстановки, в которой он не мог ничего смягчить и приукрасить не только для того, чтобы не утратить напряжения борьбы, но прежде всего, чтобы реалистически передать рождение в этой кровавой схватке небывалой человечности и невиданной доселе коллективной спайки народа.

Образ народной массы определяет своеобразную организацию повествования. «Построить такую величественную эпопею, как поход таманцев, — писал Д. Фурманов, — на действиях отдельных лиц было бы неестественно: десятки тысяч людей не могут быть механически действующими фигурками... У Серафимовича как раз действует вся красноармейская масса...» Писатель тщательно выписывает ее внешний вид, настроения и переживания, душевную силу и жизнелюбие массы, воссоздает ее социальное лицо.

«Массовые сцены, — писал Д. Фурманов, — родная стихия Серафимовича». И это так. Вся поэтика романа, все средства художественной выразительности подчиняются передаче массовости движения, раскрытию ритма жизни борющегося народа и создают неповторимо своеобразную манеру письма «Железного потока» как эпоса.

Художник-реалист романтизирует героиню революционной борьбы народа. Вздволнованный голос автора не просто «прорывается» в повествование в виде

особых лирических отступлений, а пронизывает его насквозь, создавая тот «твердый сплав» эпического и лирического, который становится особенностью советского эпоса о героическом революционном подвиге народных масс.

Подчиняя весь «фактический материал» основной задаче повествования — показу «реорганизации сознания массы», А. Серафимович создавал ее многоликий образ, вводил множество персонажей, не называя их. Через роман проходят, не приобретая самостоятельного значения характеров, десятки безымянных бойцов и командиров. Двигаются за ними их матери и жены, старики и дети. Так создавался общий образ движущегося людского потока. Крупным планом писатель рисует, пожалуй, только одну бабу Горпину. Но опять-таки все индивидуальное в ней подчинено раскрытию собирательного образа народа, тех перемен, которые происходят в крестьянской массе под влиянием революции.

Между тем роман А. Серафимовича был далек от действительно безгеройных романов А. Белого и Б. Пильняка.

Детально разработанный характер вожака масс Кожуха писатель поставил в тесную связь с многогранно раскрытым образом народной массы. «Кожух — герой и не герой, — объяснял смысл этого образа А. Серафимович. — Он не герой потому, что если бы его не сделала масса своим вожаком, если бы она не влила в него свое содержание, то Кожух был бы самым обыкновенным человеком. Но в то же время он и герой потому, что масса не только влила в него свое содержание, но и шла за ним и подчинялась ему, как своему командующему... Отнимите от него массу, и пропадет весь его ореол».

Писатель вводит Кожуха в повествование с первых же страниц романа: «У ветряка стоит низкий, весь тяжело сбитый, точно из свинца, со сцепленными четырехугольными челюстями. Изпод низко срезанных бровей, как два шила, посверкивают маленькие, ничего не упускающие глазки, серые глазки». Эта первая внешняя характеристика затем неоднократно повторяется в своих «ударных» деталях. И только на митинге, после завершения похода, «челюсти дрогнули» у Кожуха, и все ахнули, как будто в первый раз увидев его синие глаза. А они «действительно оказались

голубые, ласковые и улыбались милой детской улыбкой».

«Железная воля» Кожуха проявляется не только в портретной характеристике героя. Целеустремленность, воля к победе, борьба за дисциплину конкретизируются писателем в цепи поступков и действий, совершаемых командиром. Характер Кожуха раскрывается в острых столкновениях с толпой, с анархистствующими матросами, с «расплывчатым чело-веком» — неорганизованным, своевольным и тщеславным Смолокуровым. Изображение Кожуха «в разной обстановке, в столкновении с разными людьми» и составляет внутреннюю динамику его развития как характера.

Сосредоточиваясь на раскрытии «железной воли» командира, писатель не противопоставляет его массе. «Кожух потому и герой, — метко подметил Д. Фурманов, — что его воля совпадает с десятками тысяч волей бойцов, которых он уводит от гибели». А. Серафимович иной раз не называет своего героя по имени, сливая его с массой. Но всякий раз читатель узнает Кожуха именно как олицетворенную, персонифицированную волю народа.

Накопилось немало упреков в том, что Кожух представлен в романе как психологически обедненная личность. На самом же деле писатель рисовал своего героя «простым», но деловым, умным и строгим командиром, сросшимся с массой. Он намеренно уходил от усложненной психологической характеристики Кожуха, а раскрывал прежде всего те его чувства, мысли и настроения, которые сосредоточивались в данное время вокруг главной его цели — вывести людей из кольца врага.

Рассказывая о сыне «вековечного казачьего батрака», решившем «каленным железом» выжечь следы униженно-рабского прошлого и «послужить громаде бедноты, кость от кости которой он был», А. Серафимович показывает во всей конкретности путь Кожуха в революции, а на его примере — путь других, близких ему людей.

Эпическая форма сознательно была избрана А. Серафимовичем. Жанр «Железного потока» вырисовывался как героическое повествование о героических событиях. Писатель обратился к вечно

живым источникам народного эпоса, черпал в них поэтические образы и творчески использовал для передачи героики современности. Немалую роль сыграло и приобщение художника к опыту Гоголя и Л. Толстого.

В то время как модернисты всех мастей предлагали всякого рода «новации», подобно Е. Замятину вещали, что «реализм нереален», звали к «сдвигу», «кривизне», «искажению», «необъективности», А. Серафимович своим «Железным потоком» не только утверждал неисчерпаемость реализма как творческого метода, но и обогащал его социалистическими идеалами.

Однако, закладывая основы советского эпоса, А. Серафимович еще не ставил задачи развернуть эпопею в «более широкое полотно», которое ему представлялось «Войной и миром» советской эпохи и в котором характеры раскрылись бы не только с «ударной стороны», а во всем своем психологическом богатстве, подкрепленном точными бытовыми деталями времени. «...Мне, повидимому, — говорил А. Серафимович, — было не под силу справиться с такой шириной художественного охвата, и поэтому я отметил все, что в обстановке похода не служило основной цели яркого освещения коллективных стремлений и общих переживаний массы».

На подступах к «Войне и миру» советского времени «Железный поток» стал тем отвоеванным плацдармом, на котором накапливались новые силы и с которого развернулись бои за эпическое освоение новой действительности. Реалистические принципы изображения революционной современности становились ведущей тенденцией развития советской литературы, ее методологической основой.

Развитие советской прозы от самых ее истоков шло в напряженных исканиях, в борьбе за утверждение социалистических идеалов. Только на этом пути и были достигнуты и первые и дальнейшие успехи в раскрытии социалистической действительности и героя современности. Опыт передовой советской литературы двадцатых годов, ее завоевания озаряют основные искания советской литературы наших дней.

А. ГРЕБЕНЩИКОВ

## История, которая всегда с нами



Об этом заводе, о его людях написаны и будут еще написаны романы и повести, сложены и будут слагаться стихи и песни. Весь более чем полутора-вековой путь Кировского (бывшего Путиловского) завода — это одна из самых ярких страниц в истории русского рабочего класса. В предисловии к только что вышедшему второму тому истории завода Михаил Шолохов пишет: «Читая историю завода, невольно думаешь и о том, что для будущих поколений (и не только для будущих кировцев) эта книга будет неоценимым пособием в области познания того, как героический рабочий класс Питера — Петрограда — Ленинграда страдал, яростно боролся, побеждал и победил!»

Первый том (авторы — М. Мительман, Б. Глебов, А. Ульяновский), посвященный жизни предприятия с момента его возникновения до победы Великого Октября, вышел в свет в 1939 году. И вот второй — фундаментальное исследование истории завода с 1917 по 1945 год<sup>1</sup>. У этого тома три автора — С. Костюченко, И. Хренов, Ю. Федоров. Но, как заявляют они сами, «книга эта — результат долгих усилий всего коллектива путиловцев-кировцев». Книга рождалась на основе архивных документов, научной и мемуарной литературы, журналов и газет. Но главное, что придало ей неоценимый колорит, — это живое слово участников тех событий, о которых идет речь. На общезаводских и цеховых вечерах ветеранов производства, в акку-

ратно подшитых тетрадях воспоминаний находили и отбирали авторы тот материал, те факты, которые могли бы сделать работу еще более полной и всесторонней. И сейчас, когда книга уже лежит перед нами, можно с полным основанием сказать, что в работе над ней нашла свое развитие замечательная горьковская традиция создания истории фабрик и заводов силами широкого круга людей — партийных и научных работников, рабочих, инженеров, журналистов.

Гражданская война, восстановление народного хозяйства, курс на индустриализацию, помощь города селу в период коллективизации, предвоенные пятилетки, Великая Отечественная... Каждый из этих этапов жизни страны — этапов героических, сложных и трудных — нашел свое отражение в книге. Да иначе и быть не могло — в традициях путиловцев-кировцев жить всем, чем живет страна.

С Кировским заводом связаны крупнейшие, принципиально важные успехи советской индустрии. И как часто здесь приходится говорить слово «первый»!.. Из ворот завода вышел первый советский трактор «фордзон-путиловец» (или «Федор Петрович», как его сразу же окрестили в цехах), здесь был построен первый в стране 75-тонный железнодорожный кран, здесь впервые создавались сверхпрочные марки сталей для нашей оборонной промышленности. Паровозы и турбины, автомобили и редукторы, артиллерийские орудия и танки — все это Кировский завод. И все это было для своего времени новым шагом в технике, открытием, все это требовало и точного,

<sup>1</sup> С. Костюченко, И. Хренов, Ю. Федоров. История кировского завода. 1917—1945. Изд. «Мысль», 1966.

выверенного научного поиска и огромного напряжения сил.

Заслуга авторов книги, в частности, в том, что они донесли до читателей ту атмосферу поиска и дерзания, в которой жил и работал заводской коллектив. Атмосферу революционную, одухотворенную величием тех идеалов, во имя которых трудились люди. Да, были успехи, были победы, но давались они нелегко, и тем больше чести людям завода.

1921 год. Нет топлива, голодно, меньшевики и эсеры подстрекают рабочих на забастовки. Но коммунисты завода создают топливные отряды, пускают в ход кузницу, новомеханическую, медницкую и пилорубную мастерские. Завод начинает выходить из разрухи...

1930 год. Под угрозой срыва месячное задание по выпуску тракторов. Ударник Алексей Волков предлагает: «Первой смене остаться в помощь второй, а второй остаться помогать третьей». И люди работают, не считаясь со временем. Поздно вечером член бюро партячейки Костя Каримов звонит в Мариинский театр, просит прислать бригаду музыкантов. И в полночь сквозь металлический лягз и гул под застекленными цеховыми сводами зазвучала мелодия «Интернационала». Задание было выполнено...

1934 год. Металлурги завода бьются над созданием «краснопутиловского» твердого сплава. Несколько сот опытов, неудача за неудачей, бессонные ночи. И все-таки решение было найдено, сплав получился, теперь можно было обходиться без дорогостоящего импортного сплава.

Все это история, но написанная и воспроизведенная не академически бесстрастно, а эмоционально, где в каждой строке мы ощущаем личное, взволнованное отношение авторов к тому, о чем они говорят. В книге органически сочетаются объективный научный анализ фактов истории с живым рассказом о тех или иных эпизодах минувшего, выдержки из документов, протоколов, речей с вставными новеллами. Это сочетание и помогло авторам создать книгу, которая, несмотря на свои весьма солидные размеры, читается с неослабевающим интересом.

Из множества эпизодов складывается неповторимое своеобразие эпохи. Сейчас мало уже кто помнит, что возле завода стояла путиловская церковь святого Николая и царицы Александры, что ка-

ждое воскресенье жители района просыпались под звон колоколов. И разве не примета времени, что в конце 1924 — начале 1925 года во всех цехах завода прошли собрания, требующие закрыть церковь и передать ее помещение под клуб! Сейчас могут вызвать улыбку и обряд «похорон брака» и общественный суд, во время которого на сцене стоял обвиняемый — дефектный трактор «фордзон». Но разве не стоит за этим страстное стремление работать для себя, для своей страны лучше, чем когда бы то ни было раньше?

Не только труд, но и все другие сферы жизни завода интересуют авторов книги. И то, как путиловцы-кировцы участвовали в коллективизации сельского хозяйства, и то, как крепили интернациональные связи с зарубежными рабочими, и то, как переиначивали, переделывали свой быт на новых, социалистических началах.

Но самое ценное, что есть в книге, — это рассказы о людях завода. О людях разных поколений, бережно хранящих прекрасные заводские традиции — революционные, боевые, трудовые. Книга «населена» людьми, оставившими свой след в истории завода.

Комиссар-большевик Иван Газа, организатор комсомола за Нарвской заставой Вася Алексеев, профессор Александр Раевский, участники штурма Зимнего кадровые рабочие Владимир Карасев и Александр Мирошников — это люди, добрая слава о которых давно вышла за пределы завода, города, стала гордостью всего нашего народа. Авторы стараются избегать обычных биографических справок, они рассказывают о том главном, что характеризовало человека, что придавало ему неповторимую индивидуальность.

Не так уж много сказано в книге об Иване Николаевиче Бобине, но как хорошо ощущаем мы душу, характер этого человека. Видим, как он, отстояв 40 лет у своего четырехтонного молота и уйдя на пенсию, по утрам, услышав заводской гудок, спешит к проходной, жадно прислушивается к разговорам, тоскует без дела. Видим, как, прочитав в многотиражке о первых рекордах заводских стахановцев, всю ночь не спит, а наутро идет в цех и просится на свой старый молот. Как великомерно чувствует свое дело. «Громко и строго крикнет старшой: «Вдарь!» — и молот со страшной силой

падает вниз, мигом сплющивая болванку. Когда же Бобин почти ласково скажет: «Бей!» — молот, сорвавшись вниз, вдруг за сантиметр до раскаленной болванки задерживает удар и, мягко коснувшись металла, лишь приминает поверхность».

У Георгия Никитина — другая судьба, другая профессия. Бывший пастух, потом грузчик, потом санитар на фронте, он стал после революции организатором на «Красном путиловце» «цеха здоровья». Это его силами, его энергией, его умом была создана на заводе та поликлиника, которой уже в тридцатые годы восхищались зарубежные гости.

Рос завод, росли его люди. Книга рассказывает о том, как формировался новый, неизвестный до сих пор истории тип советского рабочего. На многих примерах авторам книги удалось создать коллективный социальный портрет рабочего человека нашей страны, всем нашим общественным строем, Коммунистической партией поднятого к активной политической и трудовой жизни.

Послеоктябрьская история завода неотделима от истории его партийной организации. Одни из самых интересных страниц книги посвящены жизни заводских коммунистов. Их умению в трудные минуты повести за собой коллектив, их принципиальности и выдержке в борьбе с антиленинскими течениями (например, с зиновьевской «новой оппозицией»), их заботе о создании на заводе максимальных условий для развития способностей каждого. Этому коммунистов завода учил Ленин, неоднократно встречавшийся с путиловцами, высоко ценивший их революционный авторитет. Этому учил Киров, несколько лет входивший в состав парткома завода, помогавший коллективу в решении многих ответственных задач. В книге рассказано о людях, в разные годы возглавлявших заводскую партийную организацию.

Лучшие черты советского характера с новой силой проявились в трудные годы Великой Отечественной войны. Раздел тома, посвященный этому периоду, пожалуй, наиболее насыщен интересными фактами — об участии кировцев в боях на фронте, в отрядах Народного ополчения (только в первые дни в ополчение записалось около 15 тысяч работников завода), в выпуске и ремонте танков. Во время блокады седьмая трамвайная остановка, считая от Кировского завода, на-

ходила на территории, оккупированной врагом. Более 2 500 человек умерли от голода, на территорию завода упало 4 680 снарядов и 770 фугасных и зажигательных бомб. Но завод продолжал жить. И как вдохновенно звучали тогда по Ленинградскому радио слова Николая Тихонова:

Мы выкуем фронту обновы,  
Мы вражье кольцо разорвем,  
Недаром завод наш суровый  
Мы Кировским гордо зовем...

Однажды (это было в первую блокадную зиму) в инструментальный цех подвезли партию деталей, требующих точной обработки. Никто не мог сделать этого лучше, чем фрезеровщик Евгений Савич. Начальник цеха послал за Савичем.

«Рабочий лежал на своей кровати. Щеки ввалились, от неестественно больших скул падала тень на плотно сомкнутые веки, отчего круги под глазами казались еще темнее. Комсорг цеха Жора Александров тронул Савича за плечо.

— Женя, друг, вставай. Детали привезли.

Савич открыл глаза, посмотрел на товарища:

— Помоги, брат, подняться. Совсем ослаб.

Комсорг помог ему сесть. Потом, опираясь на плечо Жоры, Савич добрался до станка. Тут же хлопотали его подручные-ремесленники. Держась руками за станину, Савич подавал команды. Когда первая деталь была закреплена, он включил станок и, вращая маховик лимба, натянуто улыбаясь, сказал:

— Поддержите, а то грохнусь...

Пока он вел расточку, ребята держали его под руки, чтобы не упал. Когда детали кончились, Савича пришлось нести. Ребята попытались снять с него валенки, но ноги распухли. Валенки разрезали. На следующий день его отвезли в больницу. Товарищи навещали его. Отрывали от себя последнее: несли ему хлеб, картофельные лепешки. Савич выжил».

Савич выжил. Многие другие — нет. Мастер Д. С. Зайцев, отдавший заводу почти полвека, упал, идя на работу, почти у самых ворот своего цеха. Литейщик Егор Власов за несколько дней до смерти принес в редакцию заводской многотиражки самое для него дорогое — вырезки своих заметок, публиковавшихся еще в дореволюционной «Правде».

А танки продолжали выходить из заводских цехов. А на Урале, в Танкограде, эвакуированная туда часть рабочих-кировцев на привезенном с собой заводском оборудовании добилась невиданной производительности труда в выпуске боевых машин...

Книге присущ историзм в самом высоком смысле этого слова. Я имею в виду не только документальную точность в изложении фактов, насыщенность большим и разнообразным материалом. Историзм — в умении определить то главное, характерное, что было присуще тому или иному периоду нашей жизни, точно соотносить правду факта и правду явления. Не замалчивая отрицательных явлений в жизни страны, авторы определяют место этих явлений в истории, справедливо утверждая, что они не могли решающим образом повлиять на существо, характер нашего общественного строя, социалистических преобразований.

К достоинствам книги нужно отнести

и богатый фотоиллюстративный материал, органично связанный с текстом. Это и портреты, и жанровые фотоснимки, и копии с интересных архивных документов.

Последние страницы книги посвящены дням победы над фашистской Германией. С тех пор прошло больше двух десятков лет. Это тоже история, насыщенная интереснейшими событиями. Четырежды орденоносный Кировский завод сегодня — одно из самых передовых, технически оснащенных предприятий страны. Несколько лет назад заводу было поручено новое ответственное дело — выпуск могучих тракторов «К-700» — «степных богатырей». Приходит в заводские цехи молодое пополнение рабочего класса, продолжатели традиций путиловцев-кировцев, о жизни и труде которых так ярко и так любовно рассказали авторы книги. Книга, которая еще раз убеждает, что история не принадлежит вчерашнему дню, что она с нами сегодня.

Валентин ШЕПЕЛЕВ

## С т р а н и ц ы обжигающей правды

**В**олнующая эта книга рождена под сенью партизанских джунглей. Ее автору, специальному корреспонденту «Правды», довелось побывать в освобожденных районах и на оккупированной территории Южного Вьетнама, провести длительное время среди бойцов Национального фронта освобождения, деля с ними трудности и тревоги боевой походной жизни.

По своей форме книга Ивана Щедрова «В пятнадцати километрах от Сайгона» — своеобразный путевой дневник, лирически взволнованное «боевое домешение» с переднего края борьбы героического вьетнамского народа.

Подобную повествовательную форму хорошо знает советская литература, явившая в этом жанре замечательные образцы. Можно назвать «Испанский дневник» Михаила Кольцова, проникнутый пафосом интернационализма и яростной непримиримости к воинствующей империалистической реакции. «Сила этой книги, — писали об «Испанском дневнике» А. Толстой и А. Фадеев, — сила правды».

Не секрет, что в своих заграничных путевых повествованиях некоторые авторы все еще скользят по поверхности явлений, отводят душу в благомном экзотическом созерцательстве. Тем ценнее достоинства южновьетнамских репортажей И. Щедрова, своей бескомпромиссной правдивостью решительно спорящие с пацифистской беспечностью и развлека-

Иван Щедров. В пятнадцати километрах от Сайгона. Изд. «Правда», 1967.

тельной описательностью. Действенный гуманизм, не допускающий никакого идейного примирения и нейтрализма, одухотворяет его рассказ о героической вьетнамской эпопее.

В потоке фактов и событий, многочисленных человеческих судеб, бытовых деталей автор не теряет главную нить повествования — вдумчиво исследовать и глубоко понять социальный смысл наблюдаемых явлений, классовую сущность преступной американской эскалации во Вьетнаме — этой преднамеренной и тщательно разработанной диверсии против социализма и национально-освободительного движения.

Захваченные обжигающей правдой увиденного, мы как будто даже не замечаем некоторой хроникерской сухости стиля, компенсируя информационную сдержанность интересными открытиями и свидетельствами очевидца. Здесь нет выпренной риторики, жалостливых излияний, каждый эпизод, выхваченный из жизни, «работает» на ведущую идею книги, каждая страница вопиет и обвиняет, показывает хищнический облик американских оккупантов, зовет к борьбе и действию.

«Мы вступаем в зону, — рассказывает И. Щедров, — видимо, отмеченную особым знаком на картах американского военного командования. В ней проводятся чудовищные опыты по использованию химического оружия...»

Сначала над деревушкой, конечным пунктом нашего сегодняшнего перехода, прошлись на бреющем полете истребители-бомбардировщики. Затем один за другим показались вертолеты, оставляя за собой серые облака, быстро оседающие на землю, дома, рощу. Деревню огласили дикий вой слепнувших буйслов, душераздирающие крики женщин, детей. У детей, женщин и стариков пошла кровь из носа, ушей... В соседних деревнях погибли не только домашние животные, но и люди. Пропал весь урожай риса, овощей...»

Вот она, американская тактика «выжженной земли» и глобального опустошения!

Мы переживаем и еще одну трагедию вьетнамского народа — разорванность прекрасной страны на две части.

У небольшого провинциального городка Куангчи, по ранее неизвестной речушке Бенхай, что на 17-й параллели, про-

шла граница, встали лицом к лицу настоящее и прошлое Вьетнама, социализм и империализм, мир свободы и света и тут же рядом царство тьмы. К югу от Бенхая американская военщина в нарушение всех соглашений о демилитаризованной зоне создала бетонированный плацдарм, нацеленный против Северного Вьетнама. Вот почему Куангчи — символ трагедии вьетнамской земли, насильственно рассеченной искусственным барьером. Эта разорванность родной земли болью отдается в сердцах всех честных вьетнамцев.

Путешествуя по израненной и опаленной пожаром войны вьетнамской земле, по неведомым партизанским тропам, общаясь к мужественной борьбе вьетнамских патриотов, советский журналист смотрит на ход событий глазами этих людей благодаря чуткому проникновению в их сокровенные думы и чаяния, в самые истоки их духовного благородства и героизма.

Где-то в пути, на партизанской тропе мелькнул тоненький листочек бумаги, укрепленный на стволе дерева. На нем слова, написанные от руки: «Мы отмстим за тебя, Нгуен Ван Чой». Образ национального героя Нгуен Ван Чоя, отдавшего жизнь за освобождение и счастье своей родины, живет в душе вьетнамского народа. Сын батрака, затем сайгонский рабочий, он стал одним из неустрашимых бойцов революционного подполья. «Я вырос вместе с революцией, — писал он в своем заявлении в подпольный центр, — мой отец, участник войны Сопrotивления, был арестован и подвергнут зверскому допросу и пыткам. Для меня это не прошло бесследно. В сердце моем зажегся огонь ненависти к врагу. Вместе с отцом я приехал в Сайгон, чтобы продолжать революционную борьбу». Эта исповедь героя выражает неукротимый революционный дух верных сынов и дочерей Вьетнама.

Пусть нельзя еще сегодня назвать подлинное имя популярного партизанского композитора и поэта Суан Хонга (это вынужденный псевдоним), но мы знаем его самоотверженность, его преданность народу, его беззаветное служение делу свободы своим замечательным искусством. «Суан Хонг ушел, — пишет И. Щедров, — а я все лежу и не могу уснуть. Думаю о его судьбе, об этом мужественном, душевном человеке, о его

песнях, в каждую из которых он вложил частичку своей жизни».

Со страниц книги зримо встают образы и других мужественных и простых людей, которые вышли на битву, чтобы зажечь во тьме джунглей свет новой жизни.

Легендарная комсомолка Чан Тхи Ван — южновьетнамская Зоя, сердце которой до последней минуты пылало неугасимой любовью к людям, и вьетнамский Павка Корчагин — доблестный командир 307-го батальона, сменивший после тяжелого ранения «грамматикую» на литературную переводческую работу, прославленная партизанка Мьюй Ли — веселая, приветливо улыбающаяся солнцу, но гроза для карателей, и неуловимый Фам Ван Хай — коммунист, руководитель вооруженных отрядов народных мстителей, действующих на улицах Сайгона, — какая замечательная фаланга героев! И таких тысячи.

Многие страницы репортажа посвящены дружбе народов Вьетнама и Советского Союза. Символичен такой эпизод.

Южновьетнамские партизаны решили отметить 95-летие со дня рождения Ленина. «Лесной» клуб, где должен был состояться митинг, к вечеру бойцы украсили алыми знаменами и лозунгами. На плакате по-вьетнамски и по-русски написано: «Да здравствует нерушимая дружба между народами Советского Союза и

Южного Вьетнама!» В глубине сцены — портрет Владимира Ильича, созданный бойцом-партизаном Ле Ван Баем.

В тот день с самого утра вдохновенно трудился партизанский художник.

«Ну, как, — то и дело обращается он ко мне, — похож товарищ Ленин?»

— Очень похож, Ле Ван Бай, — отвечаю ему.

А один раз, оторвавшись от белого листа, он сказал:

— Ты знаешь, я очень хочу, чтобы Ленин был как живой. Для меня Ленин — это вождь всех угнетенных и обездоленных, для меня Ленин и Советский Союз, Ленин и международная солидарность неотделимы...

Ле Ван Бай берет в руки карандаш и погружается с головой в работу. Сегодня Ленин должен присутствовать на митинге, его обязательно должны увидеть бойцы...»

Идея братской дружбы вьетнамского и советского народов пронизывает всю образную и публицистическую ткань репортажей, придавая им радостную, жизнеутверждающую тональность. Документальный рассказ И. Щедрова о сражающемся Вьетнаме привлекает своей суровой правдивостью, кровной заинтересованностью в судьбе братского вьетнамского народа, верой в торжество его правого дела.

Главный редактор **В. А. КОЧЕТОВ**,

Редакционная коллегия: **С. П. БАБАЕВСКИЙ, С. А. ВАСИЛЬЕВ, В. Г. ГОРДЕЙЧЕВ, Ю. В. ИДАШКИН** (отв. секретарь), **А. П. КЕШОКОВ, Д. Ф. КРАМИНОВ, В. Е. МАКСИМОВ, М. Д. МИХАЛЕВ, А. А. ПЕРВЕНЦЕВ, А. А. ПРОКОФЬЕВ, Д. В. СТАРИКОВ** (зам. главного редактора), **П. С. СТРОКОВ** (зам. главного редактора).

Технический редактор **О. Ш в о в а**.

Адрес редакции: Москва, А-47, ул. «Правды», д. 11/13.

Телефон главного редактора — Д 1-62-05, заместителя гл. редактора и ответственного секретаря — Д 1-63-64, отделов: прозы — Д 1-71-34, поэзии — Д 1-74-67, критики — Д 1-69-37, публицистики — Д 1-60-24.

А 60457. Подписано к печати 23/IX 1967 г. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Объем 19,60 усл. печ. л. 22,24 учетн.-изд. л. Тираж 126 950. Изд. № 1773. Заказ № 2480.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

А. ПРОКОФЬЕВ, Г. РЕГИСТАН, А. РЕШЕТОВ, И. РИНК, В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Л. РОМАНЕНКО, Н. РУБЦОВ, Г. РУДЯКОВ, М. РУМЯНЦЕВА, Б. РУЧЬЕВ, И. САВЕЛЬЕВ, В. САНГИ, И. СЕЛЬВИНСКИЙ, В. СИДОРОВ, А. СМЕРДОВ, Д. СМИРНОВ, С. В. СМИРНОВ, Вл. СОКОЛОВ, В. СОРОКИН, А. СОФРОНОВ, Ф. СУХОВ, М. ТАРАСОВА, Л. ТАТЬЯНИЧЕВА, Н. ТИХОНОВ, В. ТУРКИН, Н. ТРЯПКИН, В. УРИН, Н. УШАКОВ, Я. УХСАЙ, Вас. ФЕДОРОВ, В. ФИРСОВ, В. ЦЫБИН, Н. ХАЗРИ, Ф. ХАЛВАШИ, И. ХАРАБАРОВ, С. ХОХЛОВ, Е. ХРАМОВ, А. ЧЕПУРОВ, О. ЧИЛАДЗЕ, А. ЧИСТЯКОВ, В. ШЕФНЕР, Ф. ЧУЕВ, Ю. ШАВЫРИН, Л. ЩИПАХИНА, Д. ЯНДИЕВ.

## **ПУБЛИЦИСТИКА**

Н. АЛЕКСЕЕВ, В. БАЗУНОВ, К. БУКОВСКИЙ, С. ГАРИН, Л. ДАВИТАШВИЛИ, Б. ДЬЯКОВ, А. ЗЯБРЕВ, А. ИВАНЧЕНКО, В. КАНТОРОВИЧ, Н. КАРТАШЕВ, М. КОЛОСОВ, Н. КУЗНЕЦОВ, А. КРИВИЦКАЯ, В. МАЕВСКИЙ, Л. МАКСИМОВ, В. МАРИНА, Ю. МЕЛЕНТЬЕВ, Е. МИКУЛИНА, М. МИХАЛЕВ, П. МИХАЛЕВ, А. МОРОЗ, К. НЕПОМНЯЩИЙ, П. НИКИТИН, И. ПЕШКИН, Г. ПЛАТОНОВ, С. ПОЛЕСЬЕВ, А. РЕВЕНКОВА, Ф. САМОЙЛОВ, Б. СВЕТИЧНЫЙ, Л. СЛАВОЛЮБОВА, Б. СТРЕЛЬНИКОВ, Я. ТАВРОВ, Б. ТИХОМОЛОВ, В. ТИТОВ, А. ТРУБНИКОВА, В. ТУР, Р. ФИШ, Л. ФОТИЕВА, В. ФРОЛОВА, Н. ХОХЛОВ, И. ЧЕМЕКОВ, В. ЧИВИЛИХИН, З. ШЕЙНИС, К. ШНЕЙКРАСИКОВ, В. ЧЕРНОВ, П. ЯХТЕНФЕЛЬД.

## **КРИТИКА**

А. АБРАМОВ, Ю. АНДРЕЕВ, В. АРХИПОВ, И. АСТАХОВ, Г. БРОВМАН, А. ВЛАСЕНКО, А. ВОЛКОВ, П. ГЛИНКИН, А. ГРЕБЕНЩИКОВ, В. ГУРА, М. ГУС, В. ДЕМЕНТЬЕВ, И. ДЕНИСОВА, А. ДЕЙЧ, Е. ДЗИГАН, В. ДИТЦ, А. ДРЕМОВ, В. ДРУЗИН, А. ДЫМШИЦ, А. ЕЛКИН, Л. ЕРШОВ, К. ЗЕЛИНСКИЙ, Ю. ЗУБКОВ, Ю. ИДАШКИН, В. КАМИНСКИЙ, З. КЕДРИНА, В. КОВАЛЕВ, А. КОЛПАКОВ, И. КУЗЬМИЧЕВ, Г. КУЧЕРЕНКО, Л. ЛАВЛИНСКИЙ, А. ЛАНЩИКОВ, В. ЛИТВИНОВ, Н. МАЛАХОВ, В. МЕЖЕНКОВ, А. МЕТЧЕНКО, Д. МОЛДАВСКИЙ, В. НОВИКОВ, А. ОВЧАРЕНКО, В. ПАНКОВ, В. ПЕРЦОВ, В. ПЕТЕЛИН, С. ПЕТРОВ, О. РЕЗНИК, В. РОМАНЕНКО, Н. СЕРГОВАНЦЕВ, Э. СКОБЕЛЕВ, Б. СОЛОВЬЕВ, Д. СТАРИКОВ, П. СТРОКОВ, Н. ТОЛЧЕНОВА, С. ТРЕГУБ, Л. ФОМЕНКО, М. ЧАРНЫЙ, М. ХРАПЧЕНКО, В. ЧАЛМАЕВ, Ф. ЧАПЧАХОВ, В. ШОШИН, В. ШКЛОВСКИЙ, В. ЩЕРБИНА, А. ЭЛЬЯШЕВИЧ.

## В 1968 году читайте в журнале «ОКТЯБРЬ»

**Анатолий АНАНЬЕВ. После войны.** Роман.

Автор стремится раскрыть сложные противоречия жизни и психологии современника в борьбе с нашими послевоенными трудностями, с остатками частнособственничества и эгоизма.

**Семен БАБАЕВСКИЙ. Белый свет.** Роман.

Первая книга романа напечатана в № 3 «Октября» за 1967 год.

**К. Е. ВОРОШИЛОВ. Рассказы о жизни.**

Воспоминания Клим Ворошилова о юности его поколения напечатаны в №№ 9, 10 «Октября» за 1967 год.

**Борис ДЬЯКОВ. Повесть о тридцатых годах.**

Документальный рассказ о развертывании социалистического строительства, о встречах с героями первых пятилеток на дальних журналистских дорогах.

**Всеволод КОЧЕТОВ. Чего же ты хочешь!** Роман.

Книга посвящена актуальным проблемам современности.

**Н. Г. КУЗНЕЦОВ. Дни войны.**

С довоенными воспоминаниями известного советского флотоводца читатель «Октября» познакомился в 1965 году (№№ 8, 9, 11).

**Владимир МАКСИМОВ. И ночь, и утро.** Роман.

Автор утверждает идею единения человека с обществом, с другими людьми в борьбе за преобразование мира.

**Аркадий ПЕРВЕНЦЕВ. Остров надежды.**

Книга о североморцах, о подледном походе на атомной подводной лодке.

**Илья СЕЛЬВИНСКИЙ. Царевна-лебедь.**

**Владимир СОЛОВЬЕВ. Царь Юрий.**

Драмы в стихах посвящены бурным событиям русской истории XVII века.

**Иван СТАДНЮК. Генералы видят дальше.** Роман.

Произведение о советских полководцах.

Новые прозаические произведения журналу передают также Михаил АЛЕКСЕЕВ, Константин БУКОВСКИЙ, Марк ГОРЧАКОВ, Андрей ГУБИН, Михаил ДЕМИН, Борис ЕГОРОВ, Игорь КОВАЛЕНКО, Антонина КОПТЯЕВА, Даниил КРАМИНОВ, Леонид ЛЕНЧ, Лев ОВАЛОВ, Вадим ОЧЕРЕТИН, Петр ПРОСКУРИН, Юрий РЫТХЭУ, Сергей САРТАКОВ, Галина СЕРЕБРЯКОВА, Василий ТИТОВ, Владимир ХАНЖИН, Мариэтта ШАГИНЯН, Лев ЮЩЕНКО.

Помимо прозы и поэзии, рядом интересных материалов располагают постоянные отделы журнала «Проблемы и очерки наших дней», «Клуб «Октября», «Страницы минувшего», «За рубежом», «Литературная критика», «Полемика», «Короткие рецензии».